ISSN 0130-6545

3.1996

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

ДИДЬЕ ВАН КОВЕЛЕР
Путь в один конец

УИЛЬЯМ ГОЛДИНГ
Пирамида

NB:
Томас Пинчон

СОВМЕСТНЫЕ РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ

Редакция журнала "Иностранная литература"
и посольство Франции в России
учредили институт ежегодных литературных премий:

ПРЕМИЯ им. АНАТОЛЯ ЛЕРУА-БОЛЬЁ
за лучшее произведение о Франции

ПРЕМИЯ им. МОРИСА ВАКСМАХЕРА
за лучший перевод произведения французской литературы

Состав Жюри:

Председатель - Постоянный Секретарь Французской Академии *Морис Дрюон*;
Заместитель Председателя - *Алексей Словесный* (Россия);
Пьер Морель (Франция);
Юлиана Яхнина (Россия);
Виктор Ерофеев (Россия);
Мишель Окутюрье (Франция);
Анн Колдефи-Фокар (Франция).

В 1996 году лауреатами стали:

Премия им. Анатоля Леруа-Больё — *журнал **"Новое Литературное Обозрение"***, специальный номер, посвященный литературе и гуманитарной мысли во Франции

Премия им. Мориса Ваксмахера — ***Юлия Гинзбург*** за перевод "Мыслей" Б.Паскаля.

Издательство им. Сабашниковых получило **Почетный Диплом "Программы Пушкин"** за публикацию произведений французской литературы.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР — КОНВЕРСБАНК А.О.
(АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК КОНВЕРСИИ)

Из общего тиража в 27 300 экз. Институт «Открытое общество» ежемесячно выписывает и направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 10 000 экз. журнала.

Редакция поздравляет коллектив Конверсбанка с успешным завершением финансового года

Главный редактор
А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

О.Г. БАСИНСКАЯ — ответственный секретарь
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
А.В. МИХЕЕВ — заведующий отделом критики и публицистики
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ, И.А. БРОДСКИЙ,
П.Л. ВАЙЛЬ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА, Б.В. ДУБИН,
А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, Д.В. ЗАТОНСКИЙ, А.М. ЗВЕРЕВ, Вяч.Вс. ИВАНОВ,
В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, Л.З. КОПЕЛЕВ, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н.ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
ЭРВЕ БАЗЕН, МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ,
ТОНИНО ГУЭРРА, МОРИС ДРЮОН, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

3 март 1996

СОДЕРЖАНИЕ

ЭНН СТИВЕНСОН — Стихи (*Перевод с английского и вступление А.Кудрявицкого*) 5
ДИДЬЕ ВАН КОВЕЛЕР — Путь в один конец (*Роман. Перевод с французского Н.Мавлевич и Г.Зингера*) 10
НИНА КАССИАН — Стихи (*Перевод с румынского и вступление Кирилла Ковальджи*) 65
ТИБОР ДЕРИ — Две женщины (*Новелла*). «Дорогая мама, завтра я отплываю в Нью-Йорк» (*Фрагменты тюремной переписки Т.Дери. Предисловие Пола Реза. Перевод с венгерского и послесловие Е.Малыхиной*) 72
УИЛЬЯМ ГОЛДИНГ — Пирамида (*Роман. Перевод с английского Е.Суриц*) 115

NB

ТОМАС ПИНЧОН

АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ — Энигма 209
ТОМАС ПИНЧОН — Энтропия (*Рассказ. Перевод с английского С.Кузнецова*) 213
СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ — Обучение хаосу 223
ТОМАС ПИНЧОН — К Тебе тянусь, о Диван мой, к Тебе... (*Эссе. Перевод с английского С.Силаковой*) 230

Критика и публицистика

ПЕТР ВАЙЛЬ — Перевод с итальянского (*Вступление Витторио Страды*) 234
«Самое место в мусорной корзине...» (*Составление, перевод с английского и вступление А.Ливерганта*) 240

К нашим иллюстрациям

О.ХЛЕБНИКОВА — Портреты цветов, или Топография наготы 251

У книжной витрины 253

Авторы этого номера 255

© «Иностранная литература», 1996

В следующем номере «ИЛ»

«ПЕНСИОНЕР» **Фридриха Дюрренматта** — книга, впервые опубликованная через пять лет после смерти автора. Этот детективный роман известного швейцарского писателя стал сенсацией Франкфуртской книжной ярмарки 1995 года.

Роман знаменитого американского прозаика, лауреата Пулицеровской премии **Уильяма Кеннеди** «ЖЕЛЕЗНЫЙ БУРЬЯН» — книга о человеке, который стал бродягой, превратив свою жизнь на земле в чистилище.

Что общего у монаха Владимира Печерина, профессионального боксера Криса Юбэнка, автора «Заводного апельсина» Энтони Бёрджесса и создателя «Портрета Дориана Грея» Оскара Уайльда? Об этом в эссе **Зиновия Зиника** «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДУБЛИН».

Цветные иллюстрации номера — работы Джорджии О'Кифф:

На 1-й стр.обложки — «Лестница на Луну» (1958).
На 2-й стр.обложки — «Аризема II» (1930).
На 3-й стр.обложки — «Обнаженная VIII» (1917).

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47; факс 233-50-61.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 5.02.96. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага типографская. Усл. печ. л. 22,40. Усл. кр.-отт. 23,80. Уч.-изд. л. 26,75. Заказ №1435

Тираж 27 300 экз. Цена по подписке 13 000 р.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

ЭНН СТИВЕНСОН

Стихи

Перевод с английского и вступление А. КУДРЯВИЦКОГО

Бывает, что поэтический дар в человеке спит, и лишь коренная ломка жизненных устоев затрагивает лирические струны в его душе. Так случилось и с американкой Энн Стивенсон (род. в 1933), дочерью американского философа, учившегося в Кембридже вместе со знаменитым Людвигом Витгенштейном. В 1964 году она переехала в Англию в связи с замужеством, резко изменив свою жизнь. «Предстояло ей корни пустить в земле каменистой» — кажется, эта строка из стихотворения Энн Стивенсон относится и к его автору. Сурова природа Северной Англии — заросшие лесом горы, хмурое море, заснеженные поля. Все это поражало воображение, очаровывало. Молодой женщине захотелось выразить свои ощущения в стихах.

Досуг ее был теперь заполнен работой творческой. Сперва предстояло дать выход мыслям об оставленной родине. Так появилась на свет книга с неоднозначным названием «Correspondences», что можно понимать как «Переписка», а можно и как «Соответствия». Поиск соответствий английской и американской жизни и составляет суть этой книги. Поэтесса со свойственной ей зоркостью выявляет полюса притяжения и отталкивания обитателей Нового и Старого Света. После этого вышло еще несколько книг. Наиболее интересными считаются «Хватит зеленого» (1977), «Беллетристы» (1985) и «Зимняя пора» (1986); вторая из этих трех была признана в Англии лучшей поэтической книгой года.

В стихах Энн Стивенсон чувствуется не просто начитанность, но и любовь к классикам — к Чосеру, к Йейтсу. В подражание «Малому завещанию» Вийона она написала в чем-то шуточную, а в чем-то и очень серьезную балладу «На мое пятидесятилетие», подводя итоги своего двадцатилетнего творческого пути.

Хорошее знание классики обогащает поэтику Энн Стивенсон. Но не только верностью традиции отличаются ее стихи. Поэтесса так определила природу своего поэтического дара: «Доныне я гляжу на мир по-детски». Отсюда — неожиданные образы в ее стихах: день «гладок, как гладильная доска», «март — груда черепков». В Энн Стивенсон нет свойственной англичанам излишней сдержанности, она не пасует перед условностями, жизнь свою сама называет «бурной». Стихи переполняет желание выплеснуться, растопить жаром своего сердца унылый снег в полях. «Душою устремлюсь я к свету» — вот строка, которая могла бы стать девизом поэтессы.

Не чужда ее музе и философская лирика, где отражается способность «в одном мгновенье видеть вечность». Порой ее стихи сочатся иронией:

Жить в Америке —
Говорят интеллектуалы в Гарварде —
Это плата за право жить в Новой Англии[1].

Но основная тональность стихов Энн Стивенсон — проникнутые печалью размышления:

Дни черные
лежат передо мною цепью горной.
Должна я пересечь ее,
чтоб выйти к цели. Но к какой?

И дни — а с ними и годы — идут, оставляя на пути за спиной лишь вехи написанных стихов. Вот уже 30 лет Энн Стивенсон живет в Англии, считается ныне одной из самых «английских» поэтесс Альбиона (она представлена в антологии «Десять лучших поэтесс Англии»). Издательство Оксфордского университета выпустило в свет ее «Избранные произведения» (1986) и готовит к изданию «Собрание стихотворений».

Публиковались стихи Энн Стивенсон и на русском языке — восемь ее стихотворений появились в книге «Поэты Северной Англии», вышедшей в 1988 году в московском издательстве «Радуга» (перевод А. Казарновского). Когда книга эта готовилась к печати, поэтесса побывала в Москве. Ее радовало, что русский читатель скоро познакомится с ее творчеством. Доброжелательность и «открытость» поэтессы запомнились всем, кто с ней встречался. В настоящее время Энн Стивенсон живет то в Кембридже, то в горах северного Уэльса близ Харлеха, пишет литературоведческие статьи и эссе, а главное — создает «фразы языка несуществующего», имя которому поэзия.

---

[1] Перевод А. Казарновского.

Незавершенное

...Идея события — горизонталь,
идея личности — вертикаль.
Литература начинается
с идеи их перекрещения.

Мировой разум —
неоглядное поле, усеянное крестами.
Мы пробираемся по этому кладбищу,
оглашая имена и истории.

Порою история
известна заранее,
известно и как ее следует рассказывать.

Порой же событие
принесено в жертву
вымыслу о том, как оно происходило...

Олуши

Океан черный,
потому что губы его белы.

Олуши белые,
потому что крылья их черны.

Камнем падают в воду.

Белая молния
обручается с черным женихом.

Твой замысел, Господи,
хотя вряд ли благодарна Тебе
пронзаемая клювом рыба.

Вдова музыканта

Ей нравилась зелень, растений роскошество.
Чернозем для нее был питательней пищи,
прельстительней плотских утех (особенно с возрастом).
Смерть она ненавидела, мужа кончину — вдвойне.
Его ноты все время буравили мозг в тишине.

Порой мысли ее уносились к покойному.
За спиной оставалась гостиная нового дома
пианино, клумба с цветами, ограда.
Воспоминанья лопатой вгрызались в остуженный жар
любви, хоть у чувства теперь был предел — крутояр.

Вожделенье сгорело в печи вместе с телом супруга.
Прах ностальгии беречь — хуже, чем расточать добро.
Мир ждал ее: женщина — саженец света,
и хоть прошлая жизнь — как зияние пропасти льдистой,
предстояло ей корни пустить в земле каменистой.

© Anne Stevenson 1985, 1986

Сон о камнях

Норману Николсону

Мне снилось: летнею тропою я иду
(быть может, в поисках чего-то),
и вот в песке передо мной
камней гнездовье.
Что мне делать с ними?
Они тусклы, на украшенья не годятся,
подобны семенам.

Хороший матерьял для зодчих,
но что же строить здесь,
где моря голый брег в песок зарылся весь?

И тут подумалось мне: эти камни влажны,
идеей жертвенности отягощены,
так почему б их не посеять в землю?
Кругом ведь нет деревьев.
Кто знает, вдруг из этаких семян
взойдут ростки?

Взрыхлив ногою почву, камни я кладу
сюда, сюда и вот сюда —
пусть в ямках всех, как жемчуг, заблестит слюда.

Несть счета им —
камням, иль семенам,
иль фразам языка несуществующего.
Обратившись в слезы,
они поселятся в моем рассказе,
как будто слишком много жизни в них,
чтоб опочить под грузом бренных лет.

Развод

В манере Гертруды Стайн

Я есть я — ведь щенок мой знает меня.
Мы есть мы — ведь щенок наш знает нас.

Я есть я, но щенок мой знает тебя.
Ты есть ты, но щенок твой знает меня.

Я есть я. Ты есть ты.
Бедный щенок! Бедный щенок!

Приметы

Раструб подснежника с крестом зеленым,
Горшок, разбитый сойкой на окне,
Дымок над крышей домика в предместье
Шлют небу весть о светозарном дне.

Доныне я гляжу на мир по-детски.
Полвека позади — немалый срок,
И — как когда-то — холодом предчувствий
Мне щеки жжет апрельский ветерок.

Календарь

Дни черные
лежат передо мною цепью горной.
Должна я пересечь ее,
чтоб выйти к цели. Но к какой?

Дни красные —
окалина напрасных слов.
Должна пройти я сквозь завалы эти.
Но как?

Дни, что я вычеркну,
крепки, надежны с виду —
гранитные громады меж долин,
заросших хвойным лесом.

Дни, что уже перечеркнула я, —
булыжники в тумане.
И линия пера расскажет лишь
о твердости руки. Иль о привычке.

А этот день,
что я зачеркиваю под дождем или на солнце?

Он гладок, как гладильная доска.

И солнце будет праздновать мое бессилье,
когда душою устремлюсь я к свету,
и дождь на тонущие в лужах капли
поставит траурную мету.

Ноябрь

Все святые и все души,
страждущие в благополучные дни...
Дневной свет легким дымком уносится
из костра тьмы. Постаревшее солнце прячется
в ворсистые впадины. Но здесь хотя бы
заметно движение. Да, заметно движение.
В полях воображения
злокозненно тарахтит трактор.
Черный уголь на черной каминной решетке
вдруг заалел, словно горящие
березовые поленья в печи,
где обжигают клинкерные кирпичи.

Любовь

1

Все дни и ночи все
белеет страсть.
Любовь ты или снег?
Дома окрестные чужими стали,
накрытые упавшим небом.

2

«Трудом любви» мы это называем,
но результат его —
священные масла даров прощальных.
Мы вместе — острова,
омытые неведенья приливом.
Что ждет нас? Пиршество, но не блаженство.

3

Любовь сочится кремом,
на высохшие ветки сахар сыплет.
Хрупка, но неизбежна
преграда прошлых лет меж нами!

4

Высокие фестончатые пики
украсили оградой окоем.
Волнистый это край ракушки нашей
иль вскрытое письмо?

5

На свежевыпавшем снегу любви
становимся мы всем, что замечаем:
трезубцами следов вороньих,
морзянкой кроличьих прыжков
иль вензелями желтых струй собачьих.

6

Саней затормозивших скрип
похож на детский шепот.
Что этот звук сказать нам хочет
о таянье сердец?

■

ДИДЬЕ ВАН КОВЕЛЕР

Путь в один конец

РОМАН

Перевод с французского ***Н. МАВЛЕВИЧ и Г. ЗИНГЕРА***

Моя жизнь началась с того, что меня подобрали по ошибке. Вернее, украли вместе с машиной. Мы были припаркованы в неположенном месте, и, помню, Мамита долго грозила мне, маленькому, когда я плохо ел, что меня заберут на штрафную стоянку. Тогда я начинал торопиться, глотать, как гусак, и в конце концов меня выворачивало и я выдавал обратно все, что съел. Впрочем, оно и неплохо — я не жирел. Вроде как знал свое место: приемыш, он приемыш и есть.

У цыган ребенок — это свято. Он должен быть упитанным, чем толще, тем лучше. До четырех лет с ним носятся как с королем, а дальше — пусть встает на ноги и живет как хочет. Со мной никто не носился, я обошелся без королевского дебюта, был тише воды, ниже травы и не лез на рожон, самый незаметный, самый щуплый. А когда стараешься не высовываться, о тебе никто и не вспоминает.

Часто по ночам мою стоящую не по правилам машину подцеплял полицейский автокран и тащил под пресс, на металлолом. Хорошо, что в фургончике Мамиты всегда бывало полно сопливых королей — хоть один да заорет, — и сон обрывался, прежде чем меня успевало раздавить в лепешку. Целый и невредимый, я снова закрывал глаза. Пухлые цыганята ворочались в темноте, бренча цепочками и медальонами, и я знал: здесь, в тепле и покое, меня никто не тронет. Счастье, которое я умел ценить, тем более что, как мне часто твердили, был обязан им одному-единственному человеку, старому *рому* Вазилю. Это он нечаянно украл меня, не заметив на заднем сиденье, среди вороха рождественских подарков, корзинку со спящим младенцем. И на совете старейшин все решил его голос: он горячо воспротивился тому, чтобы меня отдали в приют. В «бардачке» не оказалось никаких документов, и Вазиль решил, что меня послало небо. Ему не стали перечить: он и тогда уже был совсем дряхлым, а по нашим обычаям слово старца, пусть даже выжившего из ума, — величайшая мудрость.

Назвали меня Аметистом, потому что мой фамильный автомобиль принадлежал к семейству «аметист», из рода «ситроенов». Все чин чином — имя соответствовало происхождению. Со временем Аметист превратился в Амисиста, потом в Амисиса и, наконец, в Азиза, так удобнее. Мамите, румынской цыганке, которую во время войны стерилизовали фашисты, такое сокращение не нравилось: она верила, что имя переиначивает человека на свой лад, а я, маленький, был самым настоящим французом. По мне, так все равно. Араб — ну и пусть, даже хорошо, таких много, никто ко мне не цепляется. Когда я встал на ноги и занялся автомагнитолами, пришлось обзавестись липовыми документами — на случай ареста. С тех пор у меня есть и фамилия: Кемаль. Почему так, не знаю. Может, в том году шла серия на «К».

Я часто думал о своих настоящих родителях: наверно, они объявили розыск сына, ждали, что похитители запросят выкуп, а поскольку тело не обнаружено, то все еще надеются. Я давно собирался дать как-нибудь объявление в «Провансаль»: «Ребенок, похищенный под Рождество в «ситроене» модели «аметист», ищет родителей. Писать на имя Азиза Кемаля, синий почтовый ящик напротив «фольксвагена» фургона-пиццерии «У Вазиля», Валлон-Флери, Марсель-Северный». Но все откладывал. Раз уж тебя худо-бедно приняли в одну семью, как-то не тянет делать

© Éditions Albin Michel S.A. — Paris 1994

вторую попытку. Лучше оставаться в неизвестности и не разрушать мечту. Кто я по рождению — еще неизвестно, нынешнее же положение вполне сносно, а от добра добра не ищут.

Иногда я воображал, что моим отцом был нападающий из команды «Марсель-Олимп», который одолжил «аметист» у своего механика на время, пока тот отремонтирует его «мерседес». Иногда представлял себя наследником Марсельских мыловарен. А не то — младшим отпрыском безработного докера: двенадцать душ на одно пособие. В дождливую же погоду и вовсе думал, что родители давно обзавелись другим ребенком и думать обо мне забыли.

Наконец, когда мне стукнуло восемнадцать, я узнал правду. Оказалось, все совсем не так, куда хуже или, может, куда проще, чем я мог предположить. Старый Вазиль вовсе не крал мой «ситроен», он врезался в него своим фургоном-пиццерией на крутом повороте, когда тот пошел на запрещенный обгон. Мои родители разбились насмерть. А меня Вазиль успел вытащить, пока машина не взорвалась. Ну а дальше — все известно. Вазиль тяжело пережил этот случай, с тех пор он ни разу не сел за руль и не запустил свою мини-пиццерию, вот почему, сколько я помню, его фургон всегда стоял застопоренный кирпичами и заросший плющом, а в амбразуре печи была установлена статуэтка Богоматери.

Я был тронут деликатностью, с какой весь квартал так долго и дружно врал, щадя мои чувства, хотя чем-то это меня задевало. Нарядившись в лучшую рубашку, я отправился к Вазилю и церемонно поблагодарил его за то, что он не украл, а спас меня. Он выпростал из-под пледа сморщенный палец и проскрежетал:

— Зачать — еще не создать по образу Отца благим Его произволением, все и вся сотворившим.

Я принял его слова за загадку и не знал, что надо ответить. Впрочем, ни для кого не было секретом, что старый Вазиль совсем спятил, его вытаскивали на свет Божий только по особо торжественным случаям, так что скорее всего никакого ответа на эту бессмыслицу и не требовалось.

Конечно, участь родителей меня опечалила. Но оплакивать, кого не знаешь, не очень легко. И я скоро утешился мыслью, что они, по крайней мере, не горевали обо мне. А вот чего мне действительно не хватало, и еще долго, так это заветного объявления: я уже не мог по вечерам, перед сном, составлять его в голове, переделывать так и этак, подбирать слова поточнее и покрасивее. Объявления, которое я всегда носил при себе, в глубине души, чтобы в любой момент достать и продиктовать. Теперь оно теряло всякий смысл. Я был сиротой — окончательно и бесповоротно.

Как бы то ни было, но жизнь шла своим чередом. Официально я считался марокканцем со временным видом на жительство в Марселе, подлежащим периодическому возобновлению с оплатой. На мой взгляд, раз уж ксива все равно липовая, так почему было не записать меня французом. Правда и то, что это обошлось бы дороже и я сам не пожелал бы разоряться. У меня свои принципы. Деньги, которые я зарабатываю на магнитолах, должны идти в казну общины, чтобы возместить расходы на мое воспитание, а не изготовителям ксив из Панье. Ну а вообще-то, по-моему, национальность не сделаешь на заказ, это как цвет глаз или погода — такие вещи не выбирают, что есть, то есть. И потом, если кому-то, чтобы удостовериться, что я француз, нужен липовый паспорт, лучше уж я останусь арабом. Из гордости.

Нет, проблемы такого порядка возникают у меня только на футбольной площадке. Вот тут я разрываюсь надвое. Когда играю за цыган Валлон-Флери против арабов Роше-Мирабо, то чувствую себя предателем. И самозванцем впридачу: я ведь знаю, что *рома* не считают меня за своего. А *гаджо* остается *гаджо*, каким бы классным центрфорвардом он ни был, хоть бы даже забивал голы в ворота своих соплеменников. Вот почему в конце концов я стал судьей.

С Лилой мы ровесники, ей тоже девятнадцать. Мы знаем друг друга с детства, но теперь приходится соблюдать осторожность — из-за моего происхождения. Братья прочат ей в мужья такого же чистокровного *мануш*, местного уро-

женца, из паствы *Святых Марий*[1], как они сами, Ражко, специалиста по «мерседесам». Поэтому на улице мы с Лилой еле смотрим друг на друга, здрасьте — до свиданья, и все. Но раз в неделю она садится в трамвай, я — на мотороллер, и мы встречаемся в бухте Ньолон, это самое красивое место в мире; по крайней мере, так я считал раньше, потому что никогда еще не выезжал за пределы департамента Буш-дю-Рон.

Лила научилась от матери гаданию по руке. На моей она прочитала только, что мой путь скоро прервется, а потом, после пересечения, возобновится. У Лилы черные волосы, жгучие глаза, от нее пахнет липовым цветом, и носит она красные или синие юбки до щиколоток, которые раздуваются, когда она танцует, но больше я ничего не скажу — при том, как все обернулось, мне больно вспоминать о ней.

Первое время она все донимала меня рассказами о стране своих предков, в которой сама никогда не была, — об Индии. О тамошних обычаях, священных коровах, украшенных цветами погребальных кострах, куда бросают вдову, если усопший был чистых кровей, — я не особенно вслушивался. Слушать я как-то вообще не привык, разве что в школе приходилось, а туда я уже давно не хожу. Но с того дня, как мы с ней первый раз любили друг друга — я не раздеваясь, она спиной ко мне, чтобы соблюсти себя до свадьбы, ее свадьбы, разумеется! — все это стало неважно. Она сказала мне на своем языке: «Я люблю тебя», — у меня же своего, то есть какого-то особого, языка нет, поэтому вслух я ничего не сказал, но подумал то же самое. А еще подумал, что после свадьбы можно будет уже не заботиться о приличиях и любить друг друга, не отворачиваясь.

Вечером, перед сном, у нас любят поговорить о предках, о краях, где они жили, посетовать на то, что с появлением нержавейки закатилась слава клана *Кэлдерары*, потомственных жестянщиков-лудильщиков, вспомнить под переборы гитары и трели губной гармошки о гонениях, погромах и законах, из-за которых все и очутились здесь, в Валлон-Флери, в департаменте Буш-дю-Рон, и сменили колеса фургонов на кирпичи, а странствия — на воспоминания. Я при этом сижу и молчу. Киваю для вида головой, но пропускаю все мимо ушей.

Меня огорчает не то, что у меня нет родины — если не считать «ситроена», — это бы ладно, а то, что я один такой.

Счастье я нашел в школе. Учиться — вот настоящее счастье. У меня появилась своя собственная семья, из слов и цифр, которые я мог тасовать по своему усмотрению: склонять и спрягать, складывать и вычитать, — и все меня понимали. Все слушали, когда я отвечал у доски о какой-нибудь битве или реке, как будто рассказывал о самом себе. Миллионы погибших: жертвы войн, наводнений, заговоров — приносили мне хорошие отметки. Но лучшей наградой была сама возможность изучать рельеф и климат любой страны, не потому что ты оттуда родом, а потому что она есть на свете. И ведь это было только начало, предстояло узнать еще столько нового — на всю жизнь хватит!

Но в шестом классе школу пришлось бросить — в Валлон-Флери не любят дармоедов. В пять лет малец уже работает «кукушкой» — стоит на стреме; в семь «стрижом» — стрижет первые кошельки; а в одиннадцать дорастает до «голубка», разведчика на мопеде, и уходит из школы. Так заведено.

Господин Жироди, наш учитель географии, очень жалел, что я ухожу, хотя мы с ним не так уж много беседовали помимо уроков: я не мастер вести разговоры, так трудно ухватить нужное слово, они все ускользают и отбиваются, как рыбы, когда пытаешься их вытащить из воды, куда приятнее стоять и смотреть, как они плавают. Господин Жироди сказал, что в жизни все устроено несправедливо; ему виднее: он прожил на свете уже полвека. В Марселе, сказал он, в других кварталах, есть нормальные школы, где никаких тебе каракулей на стенках, никаких наркотиков, драк и краж, и я заслуживаю лучшего, потому что хочу

---

[1] Имеется в виду храм «Святых Марий у моря» в городке Сент-Мари-де-ла-Мер, на берегу Средиземного моря, на юге Франции. Согласно христианской легенде, здесь нашли пристанище изгнанные из Иудеи жены-мироносицы Мария Иаковлева и Мария-Саломея. Дважды в год, в мае и октябре, сюда стекаются паломники, в основном французские цыгане. (*Здесь и далее — прим.перев.*)

учиться. Он был такой печальный, когда говорил все это, я никогда не видел, чтобы человек так расстраивался, и подумал: может, оно и неплохо, что я бросаю школу, раз школа — это так печально.

Господин Жироди пожелал мне счастья и подарил потрясную книгу, трехкилограммовый атлас «Легенды народов мира». Я ничего не сказал — боялся расплакаться, мне ведь столько раз внушали: «Араб должен быть гордым»; но подумал про себя: «Да хранит тебя Пророк на всех путях твоих». Просто повторил, что слышал от других, без особой веры, но с чувством.

Когда я украл свою первую автомагнитолу, «Грюндиг», то отослал ему по почте в подарок и приложил записку: «От Азиза из 6 «Б», с благодарностью за вашу доброту». И решил про себя, что, когда вырасту, украду для господина Жироди машину, чтобы он на ней ездил, а то ему все приходится в автобусе. А потом как-то забыл и не успел из-за приключений, которые посыпались мне на голову.

Так вот, пока все сидели у костра и рассказывали друг другу про Румынию, Турцию, северную Индию и разные другие страны, откуда их выгнали, я учил наизусть легенды народов мира, особенно арабские, раз я сам араб. А поскольку неизвестно, из какой именно я страны, то было вернее изучать сказки, чем повседневную реальность, ее было сколько угодно в газетах, которыми я пользовался для упаковки моих магнитол на продажу.

Краем глаза я посматривал сквозь языки пламени на Лилу; она сидела рядом с Ражко, своим суженым, специалистом по «мерседесам», а он подыгрывал на гитаре рассказам о гонениях. Я же подыгрывал своей тоске, рассказывая сам себе историю о любовниках из Имильшиль: как юноша из племени аит Брагим влюбился в девушку из враждебного племени, как из их слез появилось два озера: Исли, озеро Жениха, и Тислит, озеро Невесты (см. стр. 143 моего атласа), в которых сродники утопили их обоих, порознь, чтобы не допустить нежелательного брака.

Как-то жарким июльским днем в нашей бухте, когда мы с Лилой были вместе, а потом сидели на камнях, я тихонько нашептал ей на ухо историю влюбленного Брагима. Лила решила, что я рассказываю про какого-то своего приятеля из арабских кварталов, послушала и пошла нырять за морскими ежами.

Порой, когда я отправляюсь в другие, французские, кварталы Марселя, чтобы поглядеть на новые модели автомагнитол и сориентироваться в ценах, мне попадаются на глаза молодые пары и вдруг страшно хочется очутиться на их месте. Но это проходит. Пусть в Валлон-Флери мне не хватает тепла и ласки, зато я принят в деловое братство. Тут я такой же член клана, как остальные: у меня широкая улыбка, ловкие руки и быстрые ноги.

Одна из наших коронных штучек — это итальянский набег. Итальянцы, наоборот, говорят «цыганский набег», но они в меньшинстве. Делается это так: вы останавливаетесь у светофора, тут подъезжает мопед, и вам протыкают шину, а потом услужливо помогают сменить колесо и по ходу дела угоняют машину. Полиция советует тем, кому никак не объехать наших кварталов стороной, не останавливаться на красный свет. Чудесный совет, но кто не останавливается, тем устраивают столкновение. Дальше составляется протокол с обещанием заплатить по договоренности, хозяин уходит пешком, и по дороге его грабят. Это другой способ атаки, «бельгийский». Машину уволакивают в поселок и разбирают по деталям, каждая бригада получает свою долю: одним достаются части двигателя, другим — покрышки, третьим — всякие мелочи, а мне — автомагнитолы. Чаще всего мы имеем дело с «мерседесами», причем мастер вроде Ражко, чтобы не копился лишний товар, работает только по предварительному заказу. Вы говорите ему: «Ражко, мне нужна прокладка головки цилиндра для пятисотки», — и на другой день вы эту прокладку получаете.

Когда остается один кузов, его вытаскивают на окраину, чтобы забрали мусорщики, иначе некуда будет деваться от рухляди. У нас тут не кладбище машин. Валлон-Флери — наша гордость, мы даже посадили цветы, чтобы оправдать на-

звание[1],так что Мамита права: со временем имя отпечатывается на самой вещи.

Вот и я, став Азизом Кемалем, лет в пятнадцать ударился было в мусульманство. Но увлечение было недолгим: мне слишком нравились губы Лилы, чтобы я пожелал запрятать их под чадру. Я вернул Коран Саиду, сторожу одного из арабских кварталов, который поставил рекорд: целый год отваживал бейсбольной битой от своего участка торговцев травкой, — и продолжал болеть за «Марсель-Олимп».

Жизнь у нас в Валлон-Флери мирная, облавы бывают редко. Надо сказать, что, вздумай какой-нибудь страж порядка затеять проверку паспортов в северных кварталах, его для начала выперли бы оттуда, а потом префект еще и намылил бы ему шею, потому что у него, у префекта то есть, свой способ снижать преступность — делать вид, что нас не существует. Официально Марсель-Северный превратился в пустыню. Даже на карте нет наших районов. На двести тысяч как бы несуществующих жителей чисто символически оставили три десятка полицейских, и мы взялись охранять их как исчезающий вид.

Нет, кроме шуток, префект оказался по-своему большим хитрецом: всем известно, что если на полицейского нападут и он напишет жалобу, его начальство никогда не передаст дело в суд, чтобы не портить статистику; ну, мы своих легавых пожалели и, вместо того чтобы на них нападать, постарались установить самодисциплину. Зная, что патрульные бригады, по пять машин каждая, колесят по улицам одна с полудня до семи вечера, другая — с семи вечера до четырех утра, мы стараемся работать с четырех утра до полудня, когда они спят, так что все довольны. Они же, в благодарность за нашу тактичность, открыли у нас оптовый рынок; теперь мы можем посылать туда своих пацанов отовариваться бесплатно, вместо того чтобы обчищать «Леклерк» и «Казино», солидные лавочки, куда ходят местные старики, которые за неимением лучшего способа вынуждены платить в кассу. Этих старичков у нас все уважают. Тем более, что многие из них живут тут по нескольку десятков лет в собственных квартирах, на три четверти обесценившихся из-за соседства с нами.

Нет, в целом в Марселе-Северном все идет неплохо. Иногда до нас докатываются даже столичные фокусы. Приезжают разные комиссии, которые нас изучают и вносят предложения, как улучшить наш уровень жизни. В прошлом году, например, у нас в Валлон-Флери здорово улучшили солнечную освещенность: взяли и снесли старые многоэтажные башни — дескать, на верхних этажах гнездится преступность. Если так, то нам опасаться нечего: цыган, даже такой приемыш, как я, не переносит высоты. Жить в башнях мы просто не смогли бы, так же как в длинных, лежачих коробках, там, должно быть, с правонарушениями дело обстоит не лучше, чем в стоячих. Как только в коробке освобождается квартира, жилищное управление не сдает ее новым жильцам, а замуровывает. Наверно, ремонт обошелся бы дороже.

Когда одна такая комиссия заявилась в Валлон-Флери, все получилось замечательно. Мы их радушно встретили, угостили анисовкой, чтобы привести в чувство, а то они прибыли только что от коморцев из квартала Басс-Робьер, где на них свалили из окна холодильник. Небольшой концерт: цыганский джаз, фламенко, джипси кингс — и нервы в порядке. Комиссия поблагодарила нас за теплый прием. И унесла с собой корзинки, которые протягивали детишки, —решила, что это подарки. А потом в новостях зачитали ее отчет: «цыганское население» не может приспособиться к городской жизни, потому что ютится в фургончиках, и из-за этого все его беды. Что ж, кто не знает, так и подумает. И вот на месте старых развалюх, где у нас были устроены механические мастерские, нам отгрохали типовые дома компании «Буйиг».

Мы были очень довольны. Пока шло строительство, мы даже цемент не воровали: для нас же строят, так пусть заканчивают поскорее. Наконец все отделали и наступил торжественный день, понаехало народу: вся та комиссия, да еще префект, представитель строительной фирмы, телевидение, — нам должны были вру-

---

[1] Валлон-Флери (Vallon-Fleuri) — Цветущая долина (*франц.*).

чать ключи. И тут обнаружилось, что ключи некуда вставлять: нет не только замков, но и дверей, а также оконных рам, раковин и унитазов — все размонтировано и продано в розницу. Черепицу на крыше не тронули — оставили до зимы, когда на нее выше цены. Господин от фирмы «Буйиг» позеленел от злости, прогнал телевизионщиков; префект, кажется, готов был сквозь землю провалиться. А что расстраиваться? Нам домики очень даже понравились, такие миленькие, так приятно на них смотреть из окна фургончика. Они создают среду — мы так им и сказали в утешение. И поздравили их, и пригласили — милости просим, работает буфет.

Они же не притронулись ни к вину, ни к закускам, а мы-то старались, наготовили деликатесов из их родных продуктов, специально по такому случаю позаимствовали в аэропорту на складе Фошона. Комиссия уехала, а мы остались, как дураки, с целой горой заливных яиц и омлетов с лососиной. Пришлось все это съесть самим, причем оказалось не так уж вкусно.

Позднее пришел Пиньоль, чтобы мы подписали заявление: получалось, что мы понесли убытки от самих себя. Он помог нам прикончить угощение.

Мы с Пиньолем приятели с детства. Познакомились в школе, только я ушел, а он остался учиться дальше, и иногда жалеет об этом, глядя на меня. Сначала он хотел работать на железной дороге, но не прошел по конкурсу в училище и тогда пошел по стопам отца. Вот когда порадуешься, что ты сирота. Да еще полицейскую школу нарочно разместили на границе двух неблагополучных кварталов, чтобы ученики не отрывались от населения. Что-что, а это удалось в полной мере: бедняги занимаются за решетками, в постоянной осаде и под обстрелом, в них швыряют камнями и пивными банками — отличная практика! Днем они сидят в школе, как в бункере — выходить без охраны не разрешается, — а вечером их отвозят в общежитие в воронке́, и все это называется «оставаться в лоне закона». Общежитие находится в другом горячем местечке, в квартале Жан Жорес, там их всю ночь караулит патруль, только тем и занимается, что защищает будущих полицейских от их будущих жертв. Естественно, в результате такого образования у воспитанников копится ненависть, а поскольку у нас ей не дают выхода, то образуется избыток невостребованных эмоций, которые находят применение в лионских пригородах, где не так культурно, как здесь.

По воскресеньям я обычно навещал Пиньоля, мы с ним сидели в зале для посетителей, и мне было не очень весело: разве не обидно, что он, делавший такие успехи во французском, вынужден теперь только стрелять в тире да резаться в карты до полного отупения! Будущее, в обмен на загубленную за решетками полицейской школы юность, не сулило ему ничего хорошего, а пока отец, работавший там же инструктором, обзывал его олухом, слабаком и тряпкой. Просто многим старым полицейским псам, когда-то командовавшим в Марселе, теперь не на ком отыграться, кроме как на несчастных учениках.

Я всегда, как мог, помогал Пиньолю. Когда он стажировался в патрульной службе, я предупреждал его, в какие места лучше не соваться, и даже подстроил для него парочку мелких задержаний с поличным, чтобы он получил свой диплом. Когда-то он мне давал списывать диктанты, а теперь настал мой черед выручать друга — все нормально.

Как-то раз, когда он с кислым видом тянул пиво, я рассказал ему одну легенду из моего атласа. Кубинскую, про Хосе Луиса, молодого парня, как мы, который по ночам с помощью заклинаний «воду»[1], позволяющих переноситься из сна в явь в любом образе, превращался в ягуара. И вот этот Хосе Луис много ночей подряд пытался обольстить ягуариху, а она его не хотела. Ему было так плохо, что он забросил все, что должен делать взрослый ягуар, не охотился и не приносил пищу детенышам, а только предавался отчаянию; и то же самое творилось с ним днем: вместо того чтобы убирать сахарный тростник, он вздыхал по чужой жене. В конце концов духам «воду» это надоело, и в одно прекрасное утро Хосе Луиса нашли в постели мертвым: его, человека, загрыз тот самый ягуар, которым он был во сне.

Пиньоль только пожал плечами и сказал, что я утопист. А я пожалел, что он

---

[1] «Воду» — магический культ, распространенный среди негров Антильских островов и Гаити.

не понял смысла моей истории, такого, кажется, прозрачного: кто с головой уходит в отчаяние, того могут пожрать собственные химеры, внезапно обратившиеся против него самого.

Интереса ради я зашел в книжный магазин и посмотрел в словаре, что такое «утопист». Оказалось, это слово придумал в 1516 году некий господин Мор, образовав его от греческих корней, и означает оно что-то вроде «выходца ниоткуда». Что ж, неплохо.

С того дня и до тех пор, пока на меня не свалилось мое приключение, я больше никогда никому не рассказывал легенд. Держал их при себе, они были моим миром, не доступным ни Лиле, ни Пиньолю. Мало-помалу старый красный с золотом фолиант, потрепанный, зачитанный до дыр, стал для меня родной страной, землей предков. Была там одна сказка, австрийская, которую я особенно часто перечитывал. В ней рассказывалось об одном человеке, который однажды, купаясь в озере, залюбовался кувшинками и подплыл к ним поближе. Они были так прекрасны, так безмятежны, с ними было так хорошо, не то что с людьми, которые швыряли в него камни, потому что он еврей. И вот он протянул руку, чтобы потрогать цветок, и тут стебель плотно обвился вокруг его ноги и утянул его на дно озера. А там он нашел чудесное подводное царство, где его окружали рыбы-красавицы и водоросли-друзья и где ему дышалось лучше, чем на земле.

По ночам я лежал и мечтал прикоснуться к такой кувшинке, причем не только из-за людской жестокости. Я ведь вырос среди кочевников, хотя и временно осевших на одном месте, и меня часто томило страстное желание уйти в дальний путь, но что толку идти одному — я и здесь один! Лила смогла бы отправиться со мной не прежде, чем овдовеет, а Ражко был в добром здравии.

Часто, читая легенду за легендой и не покидая своего прислоненного к столбу фургона без колес, я забывался и воображал себя на дне озера, куда рано или поздно непременно попаду. Когда-нибудь буду вот так перебирать слова, и они увлекут меня в глубину, а над раскрытой книгой никого не останется.

Мы с Лилой искупались в зажатой меж холмов бухточке, там была пристань, много лодок, наверху стоял старый вокзал с синими ставнями, полустертой росписью по фризу и высоким гребнем крыши, над которым сновали ласточки. Мы занимались любовью прямо в воде, под учебной скалой альпинистов, откуда ныряли бледнокожие студенты, и их вопли и смех заглушали нашу возню. Потом мы сидели на террасе кафе «У Франсиса», спокойно попивали коктейль и любовались закатом над бухтой, как вдруг Лила собрала свои тяжелые волосы, скрутила в жгут и, энергично отжимая, сказала:

— Ну вот.

Таким тоном, что я удивился. Как будто объявляла о чем-то неотвратимом. Поначалу я решил, что это относится к погоде: в самом деле, над виадуком собирались тучи, и мне на руку уже капнула капля. Я сказал, что на будущей неделе будет теплее. Но она сказала «нет» еще более значительным тоном. Тогда я понял. Последнее паломничество к Святым Мариям они с Ражко совершили вместе, и теперь дело было только за тем, чтобы собрать Лиле приданое, а ее братья вот-вот должны были провернуть крупное дело: перепродать жилищному управлению партию в тысячу бронированных дверей, которые были украдены в декабре. С одной стороны, все это причиняло мне боль, с другой — я уважал Ражко. Прекрасный механик, это он научил меня справляться с сигнализацией на магнитолах и с секретным кодом. Можно сказать, Лиле повезло с женихом. Я знал, что она впустила его через парадный вход, но не ревновал. Я готов был удовольствоваться задним, только бы меня не отлучили вовсе. В конце концов, любовь «не в том, чтобы смотреть друг другу в глаза, а в том, чтобы вместе смотреть в одну сторону», как было сказано в диктанте из Сент-Экзюпери, который я когда-то написал всего с тремя ошибками.

— Значит, — сказал я, — твои братья продали двери.

Она пожала точеными плечами; может, сегодня я в последний раз обнимал их в воде.

— Этого надо было ожидать. — сказала она.

— Но мы все равно будем встречаться, — проговорил я сдавленным голосом.

— Нет. Ражко узнал про нас с тобой. Он не отказывается жениться на мне, но я поклялась, что между нами все кончено и ты для меня больше не существуешь.

Ну, раз так... Я проводил ее до станции. И наш роман оборвался на залитой солнцем платформе: вокруг счастливые парочки в мокрых купальниках, с блестящей от морской соли кожей. Она поднялась в вагон, а я глядел на ее облепленные юбкой бедра и не мог представить себе, что через десять лет она станет как мать, наберет те же сто десять килограммов — наследственность беспощадна. Мы могли бы полнеть вместе, так нет же — я так и останусь тощим. Однако на самом донышке души во мне тлела смутная надежда и не давала совсем отчаяться. Предчувствие никогда не обманывало меня, и хоть я не умею читать по руке, как Лила, которая все говорила, что, судя по линиям, я веду двойную жизнь, а меня, при моей верности, это бесило, — но если почему-то несчастье не вызывает у меня бурю переживаний, на то оказывается причина.

Когда за десять дней до свадьбы во время ночной вылазки на склад «мерседесов» Ражко нарвался на охранника и был убит, я возблагодарил Святых Марий, Пресвятую Богородицу, Аллаха и «Марсель-Олимп» — всех богов нашего града Марселя. Во мне говорила не злоба, а любовь: я ведь давно молился, чтобы Лила овдовела да поскорее, пока не успела слишком раздобреть.

Весь Валлон-Флери знал, что Ражко потребовал у Лилы залог супружеской любви и получил его, выходило, что теперь она обесчещена, и мне это было на руку. Я пошел к старшему брату Лилы Матео предложить себя взамен Ражко. В уплату за невесту готов был отдать дюжину лазерных «Пионеров» и сорок «бозов». Лучшего претендента на товар б/у было не найти. Состоялся совет старейшин, и дело было решено в мою пользу с перевесом в два голоса; оба они принадлежали старому Вазилю: из уважения к возрасту его голос считался за два, хоть он уже не помнил, как его звать. Матео скрепя сердце был вынужден согласиться. Чудные они иногда, эти *мануш*: предпочитают оставить девушку на всю жизнь обесчещенной, незамужней и пятнающей честь семьи, чем уступить ее со скидкой *гаджо*, который покроет позор и заберет ее из дома.

Сама Лила не прыгала от восторга, когда узнала, что я добился своего. Она печально улыбнулась и сказала:

— Рано радоваться, Азиз.

Я подумал, что она просто хотела несколько осадить меня: как-никак, она еще носила траур. И только через месяц, когда пришел день помолвки и оборвалась моя первая жизнь, понял, что она имела в виду.

Я выбрал кафе «Маршелли», расположенное на границе нашего квартала, на мосту через железную дорогу. Там обычно велись все переговоры по поводу наркотиков — на своей территории мы этим не занимаемся. Принципиально. Наша коммерция стимулирует производство: чем больше машин украдено, тем больше будет продано, героин — дело другое, это прямой вред потребителю, не говоря уж о первоначальных затратах на первую, бесплатную, дозу, чтобы только посадить на иглу. Лично я торговцев травкой беру на таран своим фургончиком. А когда рискую схлопотать крупные неприятности, перекрашиваю его.

Так вот, я выбрал для банкета в честь помолвки «Маршелли», потому что там настоящие скатерти на столах, приличное меню и можно украсить зал, к тому же, это почти заграница, чем не свадебное путешествие.

Я пригласил стодвадцатикилограммовую мамашу невесты, которую домашние принесли вчетвером в плетеном кресле; дюжину братьев с женами, кучу дядюшек, и все они затарахтели на своем языке, *синти*. Я не понимал ни слова, у Мамиты, царствие ей небесное, если что, говорили на *кэлдерары*, а вообще разные кланы общались между собой только по-французски. Обстановка была несколько напряженной, к моей досаде, потому что я постарался, как мог. В смысле убранства получилось неплохо, а что касается остального, я не успел ничего оценить — нагрянула полиция.

Пиньоль был в отпуске, и некому было меня предупредить. Ворвались четверо с пистолетами — и давай шуровать: руки вверх, лицом к стене! А мы как раз подняли рюмки, и первым нашим побуждением, понятно, было пригласить их выпить с нами. Но нас не поняли, схватили, скрутили, учинили форменный цыганский погром — не говорю «арабский», потому что арабов, кроме меня, не было. Я спросил, что мы такого сделали, мне ответили: «Заткнись!» Не иначе как они хотели выслужиться перед временным начальством — Пиньоля замещала какая-то тетка. Устроили «примерную» облаву, а поскольку в машине было только одно свободное место, забрали одного человека — меня. Видно, рассудили, что одним этническим конфликтом станет меньше. И не ошиблись.

Цыгане и не подумали за меня заступаться. Матео даже влепил пощечину Лиле, когда она заголосила: «Азиз!» Маршелли, хозяин кафе, как ни в чем не бывало протирал стаканчик — дескать, все в порядке, дело обычное. Когда меня выводили, я успел услышать, одновременно с дверным колокольчиком, его вежливое: «До свидания, господа». Думаю, что гости умяли угощение — за все уплачено, не пропадать же.

Лила еще пробежала метров двести за полицейской «рено-19», держа в руках белые туфли и оглашая округу отборной руганью — чем-чем, а голосом ее Бог не обидел, и проклинать она умела так, что небу жарко станет, — а потом остановилась, бессильно всплеснула руками и как-то неопределенно помахала мне вслед. Из заднего окошка я видел, что она вернулась в кафе, где уже, должно быть, приступили к закускам. И, странное дело, я почувствовал нутром, что между нами все кончено. Лиле пришлось выбирать между женихом, которого увозят, и ужином, который остывает, — и она сделала свой выбор. Возможно, я несправедлив к ней — все-таки она бежала за машиной. Но я, как Астириос Македонский, греческий прорицатель со сто пятнадцатой страницы моего атласа, который прочитал по печени жертвенного цыпленка, что его хозяин Эпиранд убьет его, и тут же сказал ему об этом. Я всегда знаю, кто причинит мне зло, хотя сам человек, может, еще и не собирается.

Меня заперли в клетку, где держат всех, кого загребли, пока не успеют рассортировать. Мне было неловко перед другими за свой прикид: белый костюм от Эштера, брюки с отворотами, по моде, и классическая рубашка в полоску с галстуком натурального шелка от Пьера Кардена, — но объяснить, что меня забрали в день помолвки, я не успел, меня сразу повели на разбирательство. И тут меня ждал сюрприз.

В кабинете комиссара я увидел Плас-Вандома, ювелира из Панье, у которого купил кольцо для Лилы, потому что подарок для невесты порядочные люди не крадут, — так вот этот самый ювелир сидел в кресле, сложив ручки на брюхе. Я выбирал престижную фирму, а когда на красном кожаном футляре белыми буквами вытеснено «Плас-Вандом, Париж», — это солидно. «Садись!, — приказывает мне комиссар. — То есть садитесь». Видно, префект наказал ему, чтобы все было без сучка, без задоринки. Я сел. И тут Плас-Вандом меня как обухом по голове огрел: я, говорит, ограбил его лавку. Комиссар спросил, узнаю ли я футляр. Еще бы не узнать — они его нашли у меня в кармане, когда обыскивали в кафе, я ведь не такой чурбан, чтобы дарить невесте кольцо, едва успели сесть за стол. Но я за него заплатил, выложил восемь с лишним тысяч, честь по чести! А Плас-Вандом уперся: цена верная, но кольцо я у него, видите ли, украл.

Комиссар спросил, есть ли у меня чек. Я пожал плечами — не стану же я дарить кольцо, завернутое в чек, что я, приличий не знаю! Он предупредил, что все, что я скажу, может быть использовано против меня, и я сначала чуть не засмеялся — вот и будь после этого честным! — а потом чуть не заплакал, когда вспомнил, что чек-то я и не спросил, забыл — не так часто что-нибудь покупаю.

— Спросите, — говорю, — у Плас-Вандома, чек у него.

Хотя сам понимал: сказать такое — все равно что ничего не сказать. Плас-Вандом вздохнул, покачал головой и воздел глаза к потолку. Тут я вскочил и чуть ему не врезал, но меня удержали и усадили, разорвав попутно фирменный рукав, так что больше уж я не рыпался, спросил только, когда вернется из отпуска Пинь-

оль, да и это было не очень удачно, они только обозлились на меня, снова засунули в обезьянник, и там, в компании торчков, я разрыдался, как девочка, потому что такая несправедливость случалась со мной первый раз в жизни.

Потом я подумал про атлас: он остался у меня в фургончике, который даже не закрывается; если у меня его украдут, это будет еще хуже, чем потеря Лилы; ее я любил просто так, потому что мы вместе выросли, атлас же — бескорыстный подарок человека, который делился со мной знаниями, а это самое главное на свете, это мои корни, моя связь с миром, и вот теперь у меня все отнимут, а галстук отнимать не стали, чтоб я сам убедился, какой я трус: вешаться не пожелал, зачем-то еще хотел жить.

День прошел, как будто перелистнулась страничка, притом пустая страничка. Обо мне все забыли, все, что у меня было, подошло к концу — хотя и была-то самая малость. Впрочем, жаловаться не на что: девятнадцать лет прожил и никому ничего плохого не сделал, не считая Плас-Вандома, которому свернул-таки шею, представив, что вилка — это его голова. Поэтому варево, которое мне принесли, пришлось есть пальцами, так я отметил свою помолвку, ну и ладно, пусть себе Лила станет шлюхой, пусть продается по пять франков за кило живого веса, я так любил ее, так долго и так сильно, любил только ее одну, жизнь была так прекрасна, когда мы с Лилой купались в море в Ньолоне, и лучше бы старый Вазиль оставил меня гореть в моем «аметисте» на фриунском повороте.

Наступила ночь, весь обезьянник дружно храпел, а я не мог глаз сомкнуть, перебирал в уме все, что случилось, что было и чего не было — лишь бы не думать об атласе и совсем не упасть духом.

На другой день меня перевели в одиночную камеру. Явился какой-то тип в темном костюме, попросил меня встать, повернуться, улыбнуться. Потом облегченно вздохнул и сказал комиссару:

— Ну вот, этот подойдет!

Комиссар сказал мне «спасибо», и они вышли из камеры. От нечего делать я подумал о Мамаду М'Ба, герое эфиопской легенды, и стал представлять, как меня поведут продавать на рынок рабов, но у меня ничего не вышло. Перед глазами стоял Ражко, его улыбка, его гитара, его проворные пальцы. Он научил меня моему ремеслу, Лила наверняка была бы с ним счастлива, а он умер ни за что ни про что. Я мысленно просил у него прощения.

Наконец появился Пиньоль, вышел из отпуска. Я думал, он меня отпустит, но не тут-то было, я сразу это понял по его кислой физиономии. Он сказал, что дело не во мне лично, я должен понять. Я сказал, что все понимаю, кроме подлости Плас-Вандома. А он сказал, что Плас-Вандом — это только деталь. Вот как? Что ж, я согласился, главное — мой атлас. И попросил его сходить ко мне, а он говорит: незачем, его коллеги уже ходили, собирались сделать обыск, а там ничего нет.

— Совсем ничего?

Он положил руку мне на плечо. У меня уже кто-то «побывал», и по тому, как он произнес это «побывал», мне все стало ясно... Значит, остался только фургончик, пустой каркас. Специально спрашивать про атлас я не стал — зачем лишний раз расстраиваться. У нас, как у зверей: пока ты со всеми, тебе помогают, но если ты ранен — тебя прикончат в интересах стаи. Ничего не попишешь.

Пиньоль добавил еще, что документы у меня хуже некуда. Такая грубая фальшивка — прямое издевательство. Я ничего не ответил, ведь получал-то я их у Плас-Вандома, скажешь — еще хуже будет, что́ я докажу без чека! Ювелир работал на два фронта, это все знали, и краденым приторговывал, и в полицию стучал. У него небось была рука в префектуре, куда мне с ним тягаться!

— Тебя отправят домой, Азиз.

Я поблагодарил, но отказался: никакого «дома» у меня больше не было, Лилу я потерял, так что пусть лучше судят.

— Да нет, Азиз. «Домой» — значит на родину.

— На какую родину?

— В Марокко.

Сначала я ничего не понял, но потом сообразил: действительно, в паспорте я

значился марокканцем, а мог бы с таким же успехом оказаться тунисцем, алжирцем или сирийцем, было бы правдоподобно, а кто я на самом деле — никто не знает.

— Понимаешь, им нужен пример. И они обязаны выслать тебя на родину.

Ну, это уж извините! Послужить примером я готов, но хватит того, что всю жизнь я считался иностранцем в своей стране, ехать в чужую, где меня будут считать своим, я не собирался. И так уже хлебнул лиха с цыганами. Я, Азиз из «ситроена-аметиста», такой же марселец, как ты, какого черта, Пиньоль! Это же видно и слышно!

Но я и сам понимал, что мне нечего возразить: даже физиономия говорила не в мою пользу, все, ну все против меня! Чтобы не расплакаться перед Пиньолем, я попросил его поблагодарить префекта от моего имени.

— Это приказ сверху, Азиз. Правительство приняло меры против нелегальных переселенцев. Вернее... в их защиту. Это совместная акция комиссии по правам человека и ОММ, отдела международных миграций.

И Пиньоль объяснил мне в общих чертах, что для искоренения фашизма во Франции необходимо выслать всех эмигрантов в их страны. Я выслушал молча, но мне показалось странным, что ради искоренения идеи ее применяют на практике. Пиньоль добавил, что я улетаю завтра утром из Мариньяна и что специальный служащий, так называемый гуманитарный атташе, будет сопровождать меня в Марокко; его задача — все проконтролировать, помочь мне освоиться, найти работу, жилье и, как говорилось в инструкции, «привезти во Францию добрые вести о ее возвращенных на родину друзьях».

Этот атташе, по словам Пиньоля, уже должен был быть здесь, но опоздал на поезд и приедет следующим. Неплохое начало, съязвил я. Просто хорохорился перед Пиньолем, дескать, ко всему надо относиться с юмором. На самом деле я был страшно расстроен. Пиньоль тоже. Тут его кто-то позвал, и он бессильно развел руками, запер меня в моей клетке и пошел обедать. Мне тоже принесли миску и вчерашнюю вилку, которой я свернул шею вместо Плас-Вандома, так что пришлось опять есть руками, и еда была та же самая, как будто время застыло. Зато завтра я лечу на самолете, и я стал ждать.

Около пяти снова пришел Пиньоль. Он избегал смотреть мне в глаза, но я за это время успел подумать и успокоиться.

— Приехал твой атташе, — уныло пробормотал Пиньоль.

Я продолжал себе сидеть, скрестив ноги, с самым беспечным видом.

— Ну и что, передали ему мои документы?

— Да.

— Отлично, он, значит, заметил, что они фальшивые?

— Нет.

Я перестал разглядывать ногти.

— Он заметил только, что у тебя просрочен вид на жительство.

Пиньоль уселся на койку со мной рядом, опустил голову и свесил руки между колен. Меня снова охватила тревога.

— Но вы ему сказали, что паспорт липовый?

Он ответил не сразу. Вытащил изо рта жвачку и стал скатывать пальцами. Только когда скатал гладкий шарик, изрек, что так или иначе, хочу я или нет, но положение у меня незаконное. Я возмутился:

— Да я нахожусь в нем с самого рождения!

Он скорчил гримасу, чтобы я заткнулся:

— Пойми, Азиз, вот уже три дня, как эти молодчики не дают жизни всему полицейскому управлению. Подавай им нелегально проживающих! Вынь да положь! Прямо сбесились! Перетрясли весь спецприемник, а того не могут в толк взять, что парни, которые попадаются без документов, ни за что не скажут, откуда они, чтобы их некуда было выгонять; все наши вопли им пофигу, отсидят неделю — и их отпустят, таков закон.

— А я почему не имею права отсидеть неделю?

— До тебя единственный, кого они нашли для выдворения, был негр из Басс-Терра[1]. Уже и билет ему взяли. Забыли на минуточку, что Гваделупа — француз-

[1] Басс-Терр — порт в Атлантическом океане, столица Гваделупы.

ская территория. Представляешь?

Представить не трудно, но это их проблемы. Я-то марселец, у меня и душа, и акцент коренного марсельца, в любом случае сомнение должно истолковываться в мою пользу, и если уж меня куда-то выдворять, то не дальше фриунского поворота. Моя родина — департамент Буш-дю-Рон, квартал Валлон-Флери, моя команда — «Марсель-Олимп».

Пиньоль испустил глубокий вздох, сводивший на нет все мои аргументы:

— Ты, Азиз, первый иностранец, задержанный с паспортом, в котором указано, из какой ты страны.

— А если я скажу, что это неправда?

— Ну и что это тебе даст? Отсидишь два года в «Бометте» за поддельные документы и кражу кольца. Тебе что, так важно считаться французом?

И он поднял на меня глаза, в которых я в последний раз увидел дружеское участие. Он явно был уверен, что мне улыбнулась удача. Здесь меня ничто не удерживает, будущего у меня здесь никакого, оставаться бессмысленно. А там я начну новую жизнь с помощью квалифицированного специалиста. Пиньоль крепко сжал мое колено и сказал:

— Мне будет тебя не хватать.

Для него я уже уехал. Ужас, до́ чего быстро люди ко всему привыкают.

Пиньоль встал и, не оборачиваясь, вышел. Шарик из резинки упал на пол и покатился мне под ноги.

Где-то рядом стучала пишущая машинка. Чуть погодя мне принесли расческу, чтобы я привел себя в порядок для, как они сказали, «предварительного собеседования». Расческа была такая грязная, что я причесался пальцами, да и какое это имело значение.

Наконец я предстал перед долгожданным гуманитарным атташе. Это был блондин лет тридцати пяти, бледный, со впалыми щеками и воспаленными красными глазами, не то чтобы урод, но какой-то недоделанный; поджатый рот выдавал в нем человека, считающего себя обиженным судьбой. На нем был слишком теплый для здешней погоды серый костюм, похоронный галстук и белая в зеленую полоску рубашка. Он сунул мне руку не глядя и представился:

— Жан-Пьер Шнейдер.

В ответ я только поздоровался — мое имя было указано в паспорте, а паспорт лежал прямо перед ним. Он предложил мне сесть, правда, стула в комнате не было, но это его не смутило. На столе была разложена карта Марокко, ее-то он и разглядывал.

— Где именно вы родились? — спросил атташе с таким видом, будто страшно торопился, хотя наш самолет отлетал только завтра.

Я заглянул в паспорт и прочитал вверх ногами название города, который Плас-Вандому заблагорассудилось сделать местом моего рождения:

— В Иргизе.

— Знаю, — говорит он, — это я и сам прочитал, только не могу найти. Где это?

Тут я заметил, что на карте лежит лупа, и понял, почему у него красные глаза. Он изучил все названия, но нужного не нашел. Я чуть не посоветовал ему обратиться к Плас-Вандому, но никакого Плас-Вандома более не существовало, я вычеркнул его из памяти, осталась только сломанная вилка. Да и потом наверняка он этот «Иргиз» взял из головы, чтобы нельзя было проверить по метрическим книгам. Каждые десять секунд атташе смотрел на часы, как будто после нашего разговора у него было назначено свидание. И, судя по тому, как он поддергивал плечи пиджака, я понял, что это свидание с женщиной. Сам помню это лихорадочное напряжение всех мускулов перед встречей с Лилой на платформе в Ньоло́не, неизвестно же, в каком настроении она приедет: то ли будет ворчать и дуться, то ли смеяться без причины — вот и пытаешься хоть как-нибудь успокоиться.

Атташе упрямо допытывался:

— Иргиз — это что: поселок, деревня?

Я подумал о женщине, которая где-то ждет его. Везет же! Даже если у них не

все гладко — это было написано на его кислой физиономии, — все равно. Меня-то больше никто не ждал.

— Так где же это, я вас спрашиваю?

Я наугад ткнул в карту:

— Вот здесь.

— В Атласе? — в голосе его прозвучал ужас. — Вы уверены?

— Еще бы! — оскорбился я.

Смешно, но это вырвалось у меня само собой. Он произнес заветное слово «атлас», как будто прочитал его у меня в мозгу, для него оно имело совсем не тот смысл, а для меня стало той самой кувшинкой, которая затягивает на дно озера — так и меня засосало в его цветную карту. Много часов подряд я только о нем, о моем атласе «Легенды народов мира», и думал. Лила — конечно, ее я тоже потерял, но Лилу с таким же успехом будет обнимать в море под скалой кто-нибудь еще, а вот книжку мою загонят букинисту за двадцать франков, и никто никогда не будет относиться к ней так, как я.

— В какой области Атласа? — спросил гуманитарный атташе, еще раз нервно глянув на часы.

Его голос нарушил ход моих мыслей, и я ответил довольно резко: увидим на месте. Он не рассердился. А я только тут с удивлением сообразил, что как-никак, а он приставлен обслуживать меня.

— Видите ли, — принялся объяснять свою настойчивость атташе, — моя задача вполне определенна и в то же время не совсем ясна для меня. Я должен препроводить вас по месту первоначального жительства, помочь вам снова пустить корни в родную почву, оказать содействие в устройстве на работу, походатайствовать перед местными властями... Но дело в том, что вообще-то я служу в пресс-центре Министерства иностранных дел и меня оторвали от моих обычных обязанностей и назначили на эту, только что учрежденную, должность. Я, можно сказать, еще только осваиваю ее, и мне очень жаль, если вам придется от этого страдать.

— Мне тоже, — сказал я.

Просто из вежливости. Я мало что понял из его объяснений, но почувствовал к нему симпатию: он, вроде меня, говорил одно, а думал о другом. У него был какой-то странный выговор, совершенно не вязавшийся с его официальным видом, — такой глухой, рубленый, согласные так и отскакивали, а гласные как будто зависали в горле. Позднее я узнал, что это лотарингский акцент, от которого, по его собственному мнению, он давно избавился.

Я стоял перед ним, заложив руки за спину, и пытался представить его даму сердца, просто так, чтобы не думать о предательнице Лиле — даже не пришла навестить меня! Атташе спросил Пиньоля, можно ли от них позвонить в Париж. Пиньоль же ледяным тоном, какого я за ним и не знал, уведомил его, что в связи с ограниченным бюджетом вызывать абонентов за пределами департамента запрещено, но, если господин атташе напишет заявку с обоснованием, поставит дату и подпись и назовет нужный номер, он, Пиньоль, может заказать разговор. Атташе пробормотал, что это неважно и несрочно, хотя глаза его говорили об обратном, а пальцы нервно барабанили по столу. Он судорожно вздохнул, как будто захлопнул дверь, и снова склонился над картой Марокко:

— Так, значит, Атлас, но какой? Высокий, Средний или Сахарский?

Я выбрал наобум или, может, из гордости:

— Высокий.

— Но это же ни в какие ворота! — возмутился он, хлопнув ладонью по складке карты. — У меня билеты в Рабат, а это на другом конце страны!

— Это из-за макета, — сказал тип, который стоял рядом с ним. — Утром только один рейс — в Рабат, остальные слишком поздно, не успеешь дать в номер.

Сначала я не обратил внимания на этого рыжего в кепке, потому что он был с фотоаппаратом. А я каждый раз, как захожу к Пиньолю, натыкаюсь на фотографов из «Провансаль» и «Меридиональ», двух главных марсельских газет. У них разные политические направления, но общий хозяин, и драка идет, по большей

части, из-за снимков: кто первый успеет на место происшествия, на задержание преступников. Но этот рыжий был явно не местным, он говорил на парижский манер, как по телевизору. Я смотрел на него с любопытством, и атташе представил мне его: Грег Тибодо из «Пари-Матч». Я этот журнал иногда листал в поликлинике, когда ждал очереди к зубному.

— Ему поручено осветить этот сюжет, — со вздохом прибавил атташе.

Ого, видно, мое дело приобретало размах, недаром легавые стали вдруг такими вежливыми. Толстый полицейский с усами даже предложил мне сигарету, и я, хоть не курю, взял ее и попускал дым, чтобы не нарушать теплую дружескую обстановку.

— Какой сюжет? — спросил я.

Прежде чем ответить, атташе сдвинул очки на темя, прижав ими свои светлые, слегка волнистые волосы, на секунду закрыл лицо ладонями, а потом набрал побольше воздуха и выпалил единым духом:

— Франция считает своим долгом защищать права переселенцев, но, разумеется, только работающих и проживающих на законных основаниях, в отношении же остальных, вроде вас, решено отказаться от таких недостойных демократического государства мер, как применение грубой силы и высылка за пределы страны. Я говорю все это, чтобы внести полную ясность, вы меня понимаете?

— Конечно, — кивнул я.

— Так вот, не вдаваясь в детали, скажу, что правительство установило порядок действий, не только не ущемляющий ничье достоинство, но и нацеленный на положительные результаты, поскольку цель его — не выгнать вас с территории нашей страны, куда мы рады будем вас пригласить, если в том будет надобность, а приложить все силы, чтобы помочь вам убедиться, что в настоящее время вы нужны *вашей* стране, ибо единственное средство остановить эмиграцию из стран Магриба — это обеспечить вам будущее *на родине*, проводя в жизнь политику стимулирования не только в экономическом, но и в общегуманитарном плане, и...

Он осекся на полуслове, как будто в нем что-то сломалось. Отвернулся, проглотил слюну, шумно вздохнул и первый раз посмотрел мне в глаза:

— И поскольку в субботу передача «Марсель, арабский город» собрала тридцать процентов телезрителей, именно отсюда решено начать акцию! — В голосе его был вызов, как будто это все я виноват. — Я даже не успел ознакомиться с вашим досье! Даже не знаю, какая у вас специальность!

— Автомагнитолы, — машинально сказал я.

Минуту он смотрел на меня, стараясь подавить свой порыв, потом сделал извиняющийся жест в сторону карты Марокко и наконец выдал длинную тираду: что-то про точное приборостроение, аудиовизуальную технику и новые предприятия «Рено» в районе Касабланки. Я важно кивал головой. Впечатление было такое, что он сдает мне экзамен.

— И вы хотели бы совершенствоваться в этой узкой области техники или получить другую профессию, более соответствующую вашим возможностям? Если так, говорите смело: я уполномочен Министерством иностранных дел ходатайствовать о вас перед вашим правительством, чтобы облегчить все формальности.

— Свет готов, — вмешался фотограф.

— Угу, — отозвался атташе и нехотя встал из-за стола, подошел ко мне и положил мне руку на плечо. Но тут же убрал — видно, счел, что это уж слишком, и просто остался стоять рядом, заложив руки за спину, с застывшей улыбкой на лице. Фотограф велел мне смотреть не на атташе, а в объектив и тоже улыбаться.

— Но не во весь же рот!

Я притушил улыбку.

— Нет, улыбайся, улыбайся, только чуть-чуть и, если можешь, как бы удивленно.

Пожалуйста — я принял удивленный вид.

— Теперь поменьше удивления, побольше улыбки. Посердечнее! Но все же с легким беспокойством. Здорово! Замри! Вот так в самый раз — нет, зубы убери,

так... Да-да, руку оставь, так естественнее... хорошо... И карту, карту... о'кей, месье, отлично, берете карту и показываете ему какое-то место, а ты смотришь, что-то говоришь в ответ, классно, гениально! О'кей! Теперь еще разок на черно-белую, и все!

Фотограф трещал без умолку, прыгал вокруг нас. Все это придавало происходящему некоторую торжественность. Я вспомнил свою помолвку, банкет и последние снимки — наверно, получились грустноватыми. Наконец фотограф свернул свою технику, простился до завтра и ушел. Атташе сказал, что я могу перестать улыбаться, и прибавил с виноватыми нотками в голосе:

— Простите за все эти... издержки... но правительству важно сейчас... Понимаете? Можно мне звать вас Ахмедом?

Я сказал «пожалуйста», мне уже было все равно, но вмешался Пиньоль, его так и трясло от негодования, и резко возразил, что меня зовут Азиз. Атташе извинился за рассеянность: «Не понимаю, что со мной такое!» Я-то понимал, но мы были еще недостаточно знакомы, чтобы я мог спросить, как зовут женщину, которой заняты его мысли, и какая она из себя, — а жаль, меня бы это поддержало. Не знаю почему, но этот парень мне нравился. Может, под настроение пришлось. И потом, он был нездешний.

Прощаться со мной за руку он не стал, видно, решил, что хватит одного рукопожатия, зато произнес на неизвестном мне языке — должно быть, на моем родном — какое-то слово, наверно, «до свидания». Он вышел и закрыл дверь без особой поспешности, но я чувствовал, что он сильно запоздал, и желал, чтобы та женщина дождалась его звонка и все у них уладилось к завтрашнему дню, к нашему отлету.

— Какая мерзость! — прорычал Пиньоль, провожая меня в камеру.

— Что? — спросил я.

— Да все! Эта... комедия, эти снимки — все мерзко! По-твоему, нет?

Я сказал, что, по-моему, нет. По-моему, мерзость — история с кольцом. Все остальное вполне сносно.

— Но ты же не собираешься играть в эту дурацкую игру, Азиз?

Я не мог понять, почему он вдруг за какой-то час изменил мнение. Сам же советовал мне уезжать, вот я уезжаю — так в чем дело?

— Этот тип — полный кретин, ты что, не видишь? И ты хочешь, чтобы он нашел тебе в Марокко работу? Да он явился, чтобы покрасоваться перед фотоаппаратом, и все, он же полное ничтожество!

Интересное дело: я прекрасно понимал, что Пиньоль прав, и в то же время мне хотелось защитить моего атташе. Нас уже что-то связывало, меня и его, а Пиньоль здесь был ни при чем, может, от ревности он и бесился.

— А мне он нравится. Мы с ним вполне поладили.

— Да черт возьми, воспротивься хоть раз в жизни! Сделай что-нибудь!

Странно слышать, чтобы полицейский, пусть даже мой приятель, призывал воспротивиться закону, причем стоя по ту сторону решетки, которую сам же только что за мной закрыл.

— Знаешь, почему они решили вывозить именно тебя? Неужели все еще не понял? Из-за твоей смазливой физиономии, потому что ты фотогеничный, ясно? Фо-то-ге-ничный!

Я не понимал, что его так злит. Это ведь скорее лестно для меня.

— Перестань, Азиз! Да меня тошнит от всего этого! Не знают, что сделать с безработицей, как задобрить общественное мнение, вот и придумали: взять одного араба и с помпой отправить его на родину, да при том еще вроде бы случайно этот араб больше смахивает на корсиканца, так что расизм не так бросается в глаза! Но если ты и сам доволен...

Сходство с корсиканцем нисколько не задело бы мою «арабскую» гордость, но, по-моему, его нет и в помине; однако я промолчал — Пиньоль по матери корсиканец, и в его устах это было чем-то почетным.

— Ничего я не доволен, — сказал я, — просто мне плевать.

— Плевать? Это же сплошное лицемерие, вранье, кто-то делает себе рекламу, а ты отдуваешься — и тебе плевать?

Я смиренно пожал плечами. Пиньоль стал кричать, что я тряпка, но быстро выдохся — уж очень это напоминало споры и ссоры на футбольном поле в школьном дворе, когда мы оба были сопливыми пацанами и играли сначала за первый, второй и, наконец, за шестой «Б» класс — от года к году менялись только надписи на тетрадках... Все это в прошлом, и теперь уже окончательно, потому что на другой день я улетал.

— Ты классный парень, Азиз.

— Ты тоже.

— Мне жаль, что ты уезжаешь.

— Мне тоже.

На самом деле, может, уже и не очень. Пиньоль потупился, повернул ключ и протянул мне через решетку пакетик жевательной резинки. Но я не взял, только улыбнулся и помотал головой. Старый друг — это хорошо. С ним не так больно расставаться, как с любимой женщиной. Всегда есть надежда, что вы останетесь друзьями и новая дружба не сотрет в памяти старую.

Совсем под вечер все-таки явилась Лила вместе со своим братом Матео — я как увидел его, мне все стало ясно. Лила стояла, опустив глаза, а говорил один Матео. Он сообщил мне, что я дохлый пес с обочины — это у них такая манера ругаться, — что подарить цыганке краденое кольцо — неслыханный позор, что я оскорбил Святых Марий и что он всегда говорил, что я двуличный араб, поганый *гаджо* без чести и совести. А Лилу он привел только затем, чтобы она как следует поняла свою ошибку. Ей, как он сказал, повезло, что меня посадили, меньше срама будет, чем если бы я мозолил всем глаза, и пусть это будет ей хорошим уроком на будущее.

Я слушал его, а про себя думал, что они с Плас-Вандомом недурно на мне нажились: один оставит себе в возмещение ущерба дюжину лазерных плейеров и сорок штук кассет, которые я ему дал, а другой снова продаст мое кольцо, да к тому же полиция будет им благодарна, за то что они поставили ей такой фотогеничный экземпляр.

Лила вышла вслед за братцем, так и не открыв рта. Понятно, что он ей запретил, но могла бы хоть взглядом со мной попрощаться, как-никак мы не один день знали друг друга. Сердце мое было разбито вдребезги. Поскорее бы уехать подальше; ради Бога, пусть возвращают меня туда, где я никогда не был, лишь бы началось что-то новое; а с Валлон-Флери и цыганами покончено раз и навсегда. Мне даже не терпелось увидеться с моим нервным атташе, он, по крайней мере, ничего против меня не имел и не сам меня выбирал. Мы с ним оба были жертвами, нас обоих посылали куда-то к черту на рога, и, если на этой неделе будет нехватка войн, убийств или скандалов с принцессами, нас поместят на обложке «Матч», но мне от этого ни холодно, ни жарко, все равно некому вырезать и хранить мою рожу.

Матрас уже не так сильно вонял — то ли я привык, то ли мысленно был уже не здесь, — я быстро заснул, и мне приснилось, что самолет снижается над картинкой из моего атласа, и чем ниже он опускается, тем больше картинка похожа на реальность, садится же он на самую настоящую землю, а строчки легенд превращаются в длинные бараки аэропорта. И я говорю гуманитарному атташе: «Добро пожаловать в мою страну!» А он улыбается и кивает головой. Во сне он выглядел не таким нервным.

В девять часов утра мне принесли кофе с гренками, а потом отвезли в аэропорт. Гуманитарный атташе расхаживал взад-вперед у входа, по отгороженному барьерами пространству. Полицейские отгоняли от него зевак. Не успел я вылезти из машины, как он вцепился в меня и куда-то потянул — скорей, скорей! Уже на ходу спросил, где мои вещи. Я ответил, что все мое имущество растащили. Тогда он посоветовал мне зайти в магазин «Родье» и обновить гардероб. Я поблагодарил за внимание, но пояснил, что у меня ни гроша. Оказалось, однако, что все расходы берет на себя министерство, поэтому он дал мне три тысячи франков ка-

зенных денег и велел купить одежку на каждый день да поживее, потому что возникли некоторые осложнения — я уже догадывался, что с ним они будут возникать постоянно.

В примерочной я без малейшего сожаления снял свой белый костюм — он навевал неприятные воспоминания, да к тому же изрядно запачкался в камере — и переоделся в новенький серенький костюмчик из чистого хлопка, подобрал к нему полосатую рубашку и галстук в тон. Атташе ждал меня у стеклянных дверей магазина, с ним рядом стоял еще какой-то тип в светло-бежевом костюме, по виду — важная шишка. Представитель префекта, сказал мой атташе. По тому, как они на меня посмотрели, я понял, что мой прикид чересчур шикарный, не годится для фотографий, но я же хотел, чтобы им было за меня не стыдно. Ну да ничего: «бежевый» сказал, что снимать не будут, из-за непредвиденных обстоятельств. И правда, в зале почему-то пахло рыбой, но поскольку я летел самолетом первый раз, то старался не выказывать удивления.

— Достали с этим портом! — прошипел представитель префекта.

— Мне надо позвонить, — сказал на это атташе. — Я быстро, на минутку.

Он попросил чиновника покараулить меня и побежал к автоматам. Между тем полицейские ставили ограждения, чтобы отделить пассажиров от пикетчиков, которых становилось все больше.

— Ма-ринь-ян с на-ми! — скандировали рабочие рыбоконсервных заводов. Они размахивали транспарантами и выливали на пол бидоны буйябеса.

— Южный порт будет жить! — ревел мегафон.

— Подходящее вы выбрали времечко! — желчно заметил «бежевый».

Я ответил, что ничего не выбирал, и спросил, летают ли самолеты.

— Летают, летают! — раздраженно огрызнулся он и повернулся ко мне спиной.

В толпе появились телекамеры, которые полиция тут же огородила своими барьерчиками, я углядел там же фоторепортеров из «Провансаль» и «Меридиональ», они отпихивали друг друга локтями, общелкивая одну и ту же мишень: лидера докеров, который вырывал микрофон у девушки из справочного бюро. А рыжий фотограф из «Матч» улегся животом на регистрационную стойку и целился телеобъективом в полицейских с опущенным прозрачным забралом перед витринами магазинов, срочно прикрытыми железными шторками. Я понял, что больше не котируюсь, репортаж о том, как меня заботливо вышвыривают вон, будет замещен материалом о разбушевавшихся докерах, которые захватили аэровокзал в знак протеста против закрытия морского порта. Они были еще фотогеничнее, чем я.

— Не работают, — сказал Жан-Пьер Шнейдер, снова подхватывая меня под руку. — Там дальше будут еще, попробую оттуда.

Мы пошли к паспортному контролю. Со всех сторон орали мегафоны: «Пока есть порт, Марсель, ты горд!» Рабочие судоверфей пели хором гимн Южного порта, наступая сомкнутыми рядами под развернутыми транспарантами на шеренгу блюстителей порядка, а те ждали, пока уберутся журналисты.

В зале для отлетающих пассажиров было спокойнее. Я сел на металлическую скамейку, а атташе снова побежал звонить. Песня докеров засела у меня в голове и продолжала звучать, как будто мысленно я был солидарен с ними: не отдадим наш порт! В то же время я не обольщался и прекрасно понимал: даже если порт спасут, для меня он больше не будет «нашим». Порой боль настигает, когда не ждешь. Я не плакал, оттого что потерял Лилу, а теперь вдруг защипало глаза, как только я вспомнил старые доки, застывшие портовые краны на фоне заката и стаи чаек над рейдом. Как знать, может, по ту сторону моря и чаек-то не будет?

Нас стали запускать порциями, в порядке посадочных номеров, в длинный, коленчатый коридор, который вел на взлетное поле. Атташе так и не удалось дозвониться, и он шел, нервно помахивая чемоданчиком, я точно так же помахивал сумкой фирмы «Родье», в которую все-таки запаковал свой белый костюм — пусть лучше останется горькое воспоминание, чем никакого.

Я надеялся напоследок набрать полные легкие марсельского воздуха, пахну-

щего горячим маслом, лавандой, чуть отдающего тухлыми яйцами — ими тянет с Берского озера, — но мы так и не вышли на летное поле, коридор впритык подходил к самолету. Может, это и к лучшему, зачем растягивать прощание! Уезжать так уезжать, нечего оглядываться.

И я переключил внимание на аэробус, тут все для меня было ново и интересно, хотя залезать пришлось почти как в полицейский фургон. «Ваш номер, проходите в салон, вот ваше место, курить запрещается». Стюардессы были старые, никаких тебе стройных ножек. Я был зажат в тесном пространстве: перед носом — спинка переднего сиденья, сзади — чужие коленки, упирающиеся в мое кресло. Это меня слегка разочаровало: в фильмах, например в «Эмманюэле», самолеты совсем не такие. Хотя, конечно, и полет у меня не развлекательный.

Едва усевшись, атташе вскочил, переступил через меня и сказал, что еще разок сбегает позвонить и сейчас вернется. Хорошо бы, потому что я как-то плохо себе представлял, что буду делать на родине без него. Чтобы отогнать эти мысли, я, пока его не было, поигрывал откидным столиком. Но тут подошла стюардесса, велела мне перестать и поднять спинку кресла на время взлета. На это кто-то с другого конца салона громко возразил, что она перепутала самолет — в этом кресла не откидываются, и вообще ему надоело это безобразие, вечно опоздания и никаких объяснений. Стюардесса в ответ потребовала, чтобы он не курил, а он ей посоветовал заткнуться, и другие пассажиры были за него, а она им сообщила, что она на работе — на работе, господа! — а они ей — что зато они на отдыхе и не желают, чтобы с ними обращались как с быдлом. Я подумал про себя, что летать самолетами «Эр Франс» не так уж и комфортно.

Атташе вернулся еще более возбужденный и расстроенный, чем прежде. Наверно, дозвонился. С несчастным видом он сел на свое место и понурился, сжав зубы, потом вскинул голову и злобно велел мне смотреть в иллюминатор, потому что там интереснее. Из добрых чувств к нему я так и сделал, недоумевая, однако, чего ради он вдруг на меня напустился. Он же достал какую-то электронную игрушку, должно быть, она заменяла ему записную книжку, и, чтобы забыть о моем присутствии, углубился в изучение своего расписания день за днем в обратном порядке, на месяцы назад. Я мысленно торопил самолет, мне казалось, что моему спутнику будет полезно на некоторое время потерять почву под ногами.

Однако, когда мы наконец взлетели, мне стало жутко, хоть я не подал виду. Я, конечно, понимал: пилот знает свое дело, но отрываться от земли — как-то все же... а впрочем, *инш'Алла!* Восклицание вырвалось у меня само собой, словно сработал какой-то рефлекс, и на губах остался странный привкус. Вот что значит перемена климата.

Я стал внимательно изучать инструкцию на случай аварии, лишь бы не смотреть на панораму Марселя с птичьего полета. Мне совсем не нужно было этой картинки на прощанье. Гораздо больше подходила к моему душевному состоянию акция в зале аэропорта; она прекрасно отражала все, что я испытывал: предательство и равнодушие окружающих, отказ от иллюзий и протест. Начнется или нет для меня новая жизнь, но со старой покончено — и то слава Богу!

Когда прозвучал музыкальный сигнал и погасли надписи, призывающие застегнуть ремни, снова появилась стюардесса, придерживая за веревочку накинутый на шею спущенный спасательный круг. Жан-Пьер Шнейдер откинул столик. Я не решился сказать ему, что это запрещено и что стюардесса будет ругаться. В конце концов, гуманитарный атташе фигура поважнее, чем какая-то стюардесса. Он раскрыл мое досье и молча углубился в него. А я, чтобы не мешать ему, закрыл глаза, как будто сплю.

Когда я проснулся, мы летели в облаках, голос пилота объявил, что в Рабате ясно. Я взглянул на атташе: он покончил с моим досье и теперь крупным, решительным почерком писал письмо. Начиналось оно с обращения «Клементина». Имя необыкновенно красивое, но я оставил это замечание при себе — нехорошо соваться в чужие дела. Однако, поскольку он писал и зачеркивал, я позволил себе полюбопытствовать. Все равно он это выкинет, так что ничего страшного. Прочел я следующее:

«Клементина, я знаю, что ты (дальше зачеркнуто) *и все же что-то во мне* (опять зачеркнуто) *и твой голос* (зачеркнуто) *оставь мне возможность* (зачеркнуто) *сказать тебе* (зачеркнуто)».

Атташе поймал мой взгляд и быстро спрятал листок:

— Ну-ну, не стесняйтесь!

— Извините, — сказал я. — Я не читал, а просто смотрел.

— Смотрите лучше в окно!

Я уткнулся в иллюминатор и стал созерцать небо, но по звуку определил, что он рвет листок и поднимает столик. Глядя на облака, я пытался представить лицо этой его Клементины.

— Простите, Азиз, — сказал атташе. — Я сорвался.

Я промолчал, а он чуть погодя прибавил:

— Я развожусь с женой. Неприятно говорить об этом.

Ладно, не важно, сказал я, то есть, конечно, очень важно, но я понимаю, это дело личное. В утешение ему я хотел было рассказать про свою неудавшуюся помолвку, но не стал: он из другой среды, и наверняка его проблемы не имели с моими ничего общего.

— Ее зовут Клементина, — со вздохом сказал атташе.

Я изобразил удивление и восхитился: красивое имя, и ведь есть такие фрукты, клементины, они как раз растут в Марокко. В этом я был не совсем уверен, но надо же было что-нибудь сказать. Он вдруг ударил кулаком по подлокотнику между нашими сиденьями, да так сильно, что из него выскочила пепельница и выплюнула мне на колени окурок. Как раз в это время мимо проходила сердитая стюардесса, я пояснил ей, что не курю: это просто из пепельницы вылетело.

— Не понимаю, просто не понимаю, что произошло и *как* вообще такое могло случиться! — бедный атташе воздел руки, вопрошая переднее кресло.

Должно быть, он имел в виду свои отношения с Клементиной. А я подумал, что все происходит само собой и ничего нельзя поделать. Вот, например, я: позавчера радостно садился за стол, накрытый по случаю моего обручения, а сегодня, неповинно-уличенный, наглядно-выдворенный, лечу на фальшивую родину в сопровождении человека, не понимающего, почему его разлюбила жена. Нас свел друг с другом случай, однако мы были так похожи. Что-то в этом проглядывало утешительное.

Сидящая в ряду напротив пассажирка обнажила левую грудь, готовясь накормить младенца, и я остро ощутил тоску по Лиле. Лила была самой красивой девушкой из всех, кого я знал, не важно, что знал я только ее. Я явственно ощутил под ладонями ее грудь, словно мы опять обнимаемся в воде, у скалы, и мои руки скользят под ее купальник. Я быстро открыл глаза, чтобы прогнать это видение. Кормящая мать была хрупкой блондинкой, примерно такой должна быть Клементина, рядом сидел ее муж, араб. Он улыбнулся мне — наверно, решил, что у нас с ним есть что-то общее: мой Жан-Пьер Шнейдер такой же белокурый, как его красотка.

— У вас есть дети, господин атташе?

Он дернул плечом. По выражению его глаз и выпяченной губе я понял, что вид младенца смущает его так же, как меня. Он достал сигарету, сосредоточенно оглядел ее и яростно затолкал назад в пачку. После чего резко повернулся ко мне и взорвался:

— Они что думали, я закачу скандал, буду мешать им встречаться? Только не говорите, что они испугались! А я поступил просто: как только она сказала, что у нее кто-то есть, взял и ушел из дому! Собрал чемодан, взял свои бумаги и уехал в гостиницу. Вот и все! Что еще я мог сделать?

— Не знаю, — сокрушенно отозвался я.

— Ну да, я должен был бороться, ответить ударом на удар, нанять сыщика, вооружиться компрометирующими фотографиями, первым подать на развод, швырнуть Лупиаку в лицо заявление об уходе? Так?

Я ответил, что в жизни бывает всяко: иногда не успеваешь сообразить, что надо сделать, и потом есть ведь гордость.

— Лупиак — это ее любовник. Замдиректора пресс-службы министерства. Это

он отослал меня в командировку, чтобы быть спокойным. Видите, я вам все рассказал.

Я поблагодарил за доверие. Странно, до чего мы были похожи и в одинаковом положении, с той только разницей, что он думал, будто мы направляемся в какое-то определенное место.

— Меня все это бесит, — тоскливо закончил он. — Ну, ладно.

Он снова взял досье, на котором значилось мое имя, задом наперед, как в школе: Кемаль Азиз. И тут же мучительные воспоминания о теле Лилы вытеснились другими: я вспомнил школьные запахи — чернил, тетрадных обложек, — которые когда-то так любил. Атташе с наигранной бодростью — так, чтобы забыть о неприятностях, включают футбол по телевизору — произнес:

— Займемся-ка твоими делами, Азиз.

Он выговаривал мое имя непривычно коротко, сухо, отрывисто. Цыгане произносили его нараспев: «Ази-и-из». Марсель остался далеко позади. Интересно, как долго продержится у меня акцент?

— Извини, что пристал к тебе со своим нытьем.

— Не за что извиняться, — сказал я, — наоборот.

Мне было бы куда интереснее слушать его и воображать эту привыкшую к роскоши женщину, Клементину, теперь я видел ее совсем светлой, с короткой стрижкой — полная противоположность Лиле. Но представить себе весь их антураж я не мог — не хватало материала.

— А где вы живете, господин атташе?

— Можешь говорить мне «ты», как принято у тебя на родине, меня это нисколько не шокирует.

Зато меня шокировало, что он говорил мне «ты», но я промолчал. В те полгода, что я проучился в шестом классе, меня называли на «вы», и я с таким удовольствием вспоминал об этом! Однако очень скоро он снова перешел на «вы», так ему явно было удобнее. Но разрешил мне звать его не господином атташе, а господином Шнейдером или просто Жан-Пьером. А на мой вопрос ответил, что жил на бульваре Малерб, то есть там они жили с женой, но, поскольку квартира принадлежит ей, то он оказался бездомным.

— В какой-то степени мы с вами в одинаковом положении, Азиз.

Тут он смолк, вероятно, обдумывая, в какой именно, я тоже молчал, чтобы не мешать его размышлениям. От этого человека пахло школой — приятный запах, напоминавший коллеж Эмиль-Оливье, где, что ни говори, моя жизнь надломилась в первый раз — когда пришлось бросить учебу. Теперь я как будто возвращался после каникул, длинных-длинных, в целых шесть лет.

Так прошла минута-другая. Потом он снова раскрыл мое досье, чтобы ознакомиться со всеми данными; непонятно, зачем оно ему было нужно, раз я сам, живьем, сидел с ним рядом. Он вздохнул:

— Да, но, оставляя в стороне мои личные проблемы и некоторые, так сказать, аналогии... я не одобряю подобных методов. То есть я не спорю, любая гуманитарная миссия достойна уважения, и я готов отнестись к ней серьезно, но эта поспешность... Во-первых, я долгое время занимался исключительно проблемой распространения французского языка и культуры во Вьетнаме, по заданию литературно-издательского отдела, — а потом еще удивляются, почему у нас, не примите на свой счет, постоянные провалы во внешней политике. Во-вторых, я переживаю душевный кризис, меня нельзя было никуда посылать, кроме того, безотносительно к моему состоянию — еще раз прошу прощения за то, что докучаю вам, — так вот, я все равно не могу устроить вас за два дня; если бы даже не вмешался Лупиак, вы же видите: все делается с бухты-барахты; всем командует пресса — ну, о вас я не говорю... Но мне даже не дали времени приготовиться. А я совсем не знаю Марокко.

Как, и он тоже? Хорошенькое начало.

— У вас есть фотография? — спросил я.

— Какая фотография?

— Фото госпожи Шнейдер. А я вам покажу карточку Лилы. Это моя невеста, она меня бросила.

Он вздернул бровь над очками, поколебался, но все-таки достал из бумажника маленькую, как для паспорта, фотографию, которая была засунута между кредитных карточек, и протянул мне ее, неохотно, как брезгливый человек дает попить из своей бутылки. Я взглянул и неприятно поразился, но не выдавать же разочарование: Клементина оказалась довольно противной, с холодными глазами, поджатым ртом, тяжелым подбородком и, главное, чернявой. Нет, ему нужна была блондинка, и я еще разок взглянул на молодую женщину напротив, но с другим чувством: она уже не служила мне моделью для неведомой Клементины — смешное имечко, все равно что Банана или Апельсина.

Блондинка перехватила мой взгляд. Я вежливо улыбнулся ей, она — мне, без всякой мысли, улыбка передалась ей рефлекторно, как зевота. Однако ее супруг счел, что довольно и этого, он забрал ребенка, чтобы подчеркнуть свои отцовские права, и велел жене спрятать грудь. Тогда я вытащил из кармана засунутого в сумку мятого белого костюма карточку Лилы. Атташе сказал, что она тоже очень красивая, и вернул мне фотографию, а я порвал ее. Подчиняясь какому-то чувству солидарности, медленно и глядя атташе прямо в глаза. Он смотрел на меня неуверенно, потом со слабой дрожащей улыбкой разорвал надвое Клементину; но я видел, что он сделал это только ради меня, потому что обе половинки аккуратно спрятал в карман.

Затем сказал строго покровительственно, как бы подчеркивая, что мы переходим к мужским делам:

— Ну, расскажите мне об Иргизе.

Я повторил этот приказ вопросительным тоном, чтобы хоть немного оттянуть ответ, но в самом деле, хоть мне и было приятнее обсуждать его дела, летели-то мы все-таки по моим. И тут на меня накатило. Может, потому что в голове все время мельтешились обрывки воспоминаний о коллеже Эмиль-Оливье: болтающиеся двери, размалеванные стены, драки класс на класс, шприцы по углам и посреди всего этого господин Жироди, уже немолодой и словно отгородившийся почтенной старостью от безобразия, в котором он очутился, точно пришелец из другого мира, — но я вдруг так живо вспомнил свой полученный на прощанье атлас, что заговорил, не думая. Сначала слова шли медленно и как бы с натугой, но постепенно я обретал уверенность. Это была легенда из двенадцатой главы о сероликих людях, которые жили в недоступной долине, куда нет дороги и не проникла цивилизация, на зеленом райском острове с пышной доисторической растительностью, отгороженном от мира голыми каменистыми горами. Только эти горы и представали глазам путешественников, о райской долине они и не подозревали, ибо жители ее из поколения в поколение свято хранили тайну. Да никто из них оттуда и не выходил, не считая стражей, которые сбивали с пути экспедиции, чтобы не дать им обнаружить нас. В общем, я позаимствовал сказание о Firdaws al m'fkoud, потерянном рае, который открыл Магомет на пути в Медину, только моя неведомая долина называлась Иргиз, и я был первым из сероликих, кто вышел за ее пределы и приехал в Марсель.

Атташе слушал, и глаза его становились большими и круглыми, как блюдца.

— Но почему? — сиплым голосом спросил он, и я понял, что, будь он сероликим, он ни за что не покинул бы долину.

Я уцепился за первое пришедшее в голову объяснение:

— В горах прокладывают дорогу, взрывают скалы, и долину может завалить, вот я и отправился искать помощь.

Он даже не заметил стюардессу, которая предлагала ему апельсиновый сок. Та пожала плечами и пошла дальше. Я-то выпил бы с удовольствием, у меня пересохло в горле, но, может, сок давали только французским подданным, поскольку полет выполняла компания «Эр Франс». Закончил я тоном оскорбленного достоинства:

— Мир не заботит судьба Иргиза. Ничего удивительного, ведь о нем никто не знает. Только поэтому он и остался прекраснейшим местом на свете, но теперь его надо спасать.

— Почему же вы ничего не сказали тому репортеру из «Матч»? — воскликнул Жан-Пьер.

Я ответил, что это тайна и что я и так уже рассказал слишком много. Легенда из атласа на этом заканчивалась. Сам не знаю, почему я выбрал эту, а не другую. Можно было подобрать что-нибудь более практичное. Правда, она была на редкость захватывающая — на физиономию моего атташе стоило посмотреть.

— Так, значит... это туда я должен вас доставить?

В голосе его звучал ужас, смешанный с детским восторгом — мне это было приятно, потому что, когда мы с Лилой плескались в бухте, я, среди прочего, мечтал о том, как у нас — когда она овдовеет — будут дети и я буду рассказывать им свои любимые легенды, а они будут в них верить; все лучше, чем то образование, которое получали у нас другие дети: с десяти лет учиться обчищать карманы прохожих. От жизни не спрячешься, она все равно покажет себя такой, как есть, но чем позже, тем лучше.

— Постойте, постойте, — атташе судорожно оттянул узел галстука, — я что-то не понимаю. Почему вы отправились именно в Марсель? Вышли из вашей затерянной долины — и прямиком в Марсель?

Действительно, концы с концами сходились плохо. Но я тут же придумал: один из наших старейшин был знаком с профессором Марсельского университета господином Жироди, который знал, как избежать катастрофы, и меня послали уговорить его приехать к нам с отрядом спасателей.

— Но каким образом этот старейшина мог познакомиться с профессором, если он ни разу не выходил из долины? — спросил атташе.

Он начинал раздражать меня. К легенде не придираются, ее слушают, и все. Я упускал из виду, что для него это была подлинная история. Удивительно, как легко он мне поверил. Возможно, ставил себя на мое место и вообразить не мог, чтобы разумный человек, каким был он сам, зачем-то принялся сочинять небылицы, когда к нему специально приставили человека, который должен его устроить в определенном месте. Мне было выгодно использовать министерский престиж атташе, чтобы пробить себе дорогу, и совершенно не было смысла морочить ему голову.

— Профессор прилетел на вертолете, — сказал я.

— На вертолете?

— Да, господин Жироди исследовал горы с вертолета и потерпел аварию над нашей долиной. Мы вылечили его с помощью чудодейственных трав, и он нам сказал: «Я профессор Марсельского университета, специалист по загадкам природы, и если вам что-нибудь понадобится, приходите ко мне, потому что я обязан вам жизнью». А когда улетал, поклялся никому о нас не рассказывать.

Я с удовольствием повысил статус господина Жироди, старого учителя географии, и превратил его в этакого Indiana Jones — он это вполне заслужил.

— Но теперь-то, — вскинулся атташе, — теперь наоборот надо, чтобы весь мир узнал о существовании сероликих, чтобы люди встали на их защиту и долина была спасена! Понимаете? Нет, это уму непостижимо! Ведь у нас под рукой был фотограф из «Матч», можно было взять его с собой, сделать сногсшибательный репортаж, я представил бы вас борцом за экологию, за спасение долины Иргиз, а Франция, таким образом, оказала бы помощь Марокко в сохранении археологических ценностей. Но ничего, еще не поздно, можно успеть к следующему номеру, да еще я подключу телевидение. Там есть телефон?

— Где?

— В Иргизе?

Мне стало так смешно, что он с ходу освоился в моей легенде, так смешно, что я стал относиться к нему по-приятельски. И уже мысленно называл его просто Шнейдером, так же как старину Пиньоля, — что ж, это в порядке вещей, друзья меняются, как и все остальное в жизни: раньше я химичил с автомагнитолами и оказывал поддержку полицейскому; теперь летел в облаках в незнакомую страну, где, вместо корней, обзавелся легендой, и оказывал поддержку интеллигенту, который нуждался в сказке, чтобы забыть жену.

Отсмеявшись, я заметил, что мой атташе расстроен. Несмотря на кабинетный образ жизни и душевную травму, он сохранил чистое сердце, и ему было стыдно за свой заскок насчет телефона. Ведь я описал ему земной рай, где людей связыва-

ли самые подлинные чувства и где он, может быть, не потерял бы свою Клементину, если бы жил с ней в пещере у прозрачного ручья, отрезанный от мира. Я понимал его нравственные терзания: что лучше — спасти Иргиз, превратив его в курорт, или не нарушать первозданности долины, но допустить ее гибель?

Однажды я случайно видел один такой фильм. Мы с Лилой пришли смотреть «Терминатора» и ошиблись залом — там были такие запутанные ходы, — вместо своего, попали в другой, длинный, похожий на подвал, где показывали документальный фильм про Рим. Оказалось так любопытно, что мы немножко задержались. Там был такой эпизод: прорывая тоннель метро, рабочие наткнулись под землей на пещеру с первобытной наскальной живописью. Они стояли ошарашенные и смотрели, а рисунки тем временем бледнели и исчезали под действием кислорода, который проник в пещеру. Вот и Жан-Пьер чувствовал себя виноватым за то зло, которое мог бы причинить моей долине, хотя еще не успел ее увидеть.

Я нажал на кнопку вентиляции над головой. С ума сойти, какой силой обладала легенда, стоило в нее искренне поверить. Мой атташе оказался не таким уж нерасторопным. Не прошло и часа, как он меня трудоустроил: определил в арабские сказители.

Жан-Пьер подтянул галстук — дуло слишком сильно. А когда я стал уменьшать напор, он, нахмурившись и сев вполоборота ко мне, сказал:

— Но, Азиз... Вы говорили, что делаете автомагнитолы...

— Не делаю, а ворую.

Это вырвалось у меня в каком-то безотчетном порыве искренности. И я тут же пожалел об этой оплошности, поскольку заметил, что моя откровенность ничуть не поколебала легенду об Иргизе, как я надеялся, а, наоборот, придала ей достоверности. Во мне поистину проснулся талант недюжинного сказочника. После минутного шока Шнейдер отмахнулся от моего признания, как от назойливой мухи:

— Это меня не касается. Знать не хочу, что там у вас было и чем вы занимались в Марселе; для меня все это не существует — я же не полицейский. Меня интересует только Иргиз. Ваше прошлое и ваше будущее.

Я снова уперся взглядом в блондинку напротив, она опять кормила грудью, и вид сосущего младенца вогнал меня в тоску. Вот она действительно, можно сказать, пестовала свое будущее, а я вынашивал сказку, причем выкидыш был неизбежен, как только мы высадимся в Марокко и Жан-Пьер спросит дорогу. Не могу же я его таскать целый месяц по стране в поисках мифической долины и навлекать на его голову насмешки местных жителей и недовольство начальства — деньги-то казенные! Лучше спустить все на тормозах. Улучить только подходящий момент.

— Я должен вам сказать, месье...

— Называйте меня Жан-Пьером.

— Должен вам сказать, Жан-Пьер... На самом деле господин Жироди просто учитель географии в коллеже Эмиль-Оливье.

— Вот оно что, — воскликнул Жан-Пьер с горячим сочувствием. — Значит, вы его отыскали в Марселе и, когда оказалось, что никакой он не археолог и наврал вам с три короба, были вынуждены... ну, понятно, жить-то не на что. А возвращаться в Иргиз с пустыми руками не посмели.

— Никакого Иргиза нет на свете, месье Шнейдер.

— Да, конечно, понимаю: тайна, клятва... Разумеется, я уважаю ваши традиции, но надо же что-то делать. И мой долг — помочь вам.

Похоже, я здорово влип. Оставалось надеяться, что, как только мы приземлимся, он забудет злосчастную долину и побежит звонить жене, а я тем временем улизну и скроюсь где-нибудь в глуши, не разрушая его мечту; ей-Богу, это был бы лучший выход для нас обоих. Моя участь, как говорится, была предрешена: я так и буду воровать магнитолы, только в другой стране, а он вернется в свое министерство и помирится с женой. Я видел, что своим рассказом пробил брешь в его модели мира, но не собирался уподобляться тем рабочим метро, которые уничтожили древние рисунки, обдав их свежим ветерком.

— Нет никакого Иргиза, — повторил я.

— А чем вы занимались там, у себя, до отъезда?

Чертов упрямец! Ну я взял да и выложил ему все чохом: что я природный марселец, что меня подобрали на дороге после аварии с «ситроеном» и отсюда мое имя, что долину сероликих я почерпнул из атласа, который мне подарил господин Жироди в тот день, когда я ушел из школы и стал промышлять на улице. Он слушал со скептической улыбкой, твердо уверенный, что правдой был тот, первый, рассказ про Иргиз. А когда я замолчал, повторил:

— Так чем вы там занимались?

В ответ я протяжно вздохнул. Не знаю уж, как он истолковал мое молчание, но почему-то оно его подбодрило, и он принялся гадать:

— Ремесленник... земледелец... пастух?

Я понял, что упорствовать бесполезно: чем больше я отпирался, тем прочнее становилась его убежденность. Раз уж он поверил в мою историю, любые попытки пойти на попятный только увеличивали притягательную силу тайны, которую я будто бы нечаянно выболтал.

— В Иргизе никто не работает, — обреченно сказал я. — Мы собираем фрукты, охотимся, воду берем из родника.

— Так-так... но поймите и простите меня. Я пристаю к вам с этими дурацкими вопросами, потому что мое поручение только тогда будет считаться выполненным, когда я привезу в Париж бумагу, подтверждающую, что вы нашли работу у себя на родине. Так что лично мне все равно: существует ваш Иргиз или не существует, спасут его или нет, ради Бога, как хотите, но что я скажу начальству? Положение безвыходное.

Возразить было нечего: действительно безвыходное, и, казалось, ему это доставляло какое-то особое удовольствие. Я зашел слишком далеко, но видеть его довольным, воскресшим, полным идей было очень приятно. Ладно, поживем — увидим.

Стюардесса разнесла всем пластмассовые подносы с корзиночками, в которых было что-то съедобное, похожее на разноцветную пену. Жан-Пьер открыл корзиночку с желтой массой и высыпал в нее содержимое пакетика, который достал из чемоданчика. Какой-то порошок, вроде опилок. Он заметил мое любопытство и объяснил, что это такое. Я плохо расслышал, кажется, «сушеные вибрионы». Жан-Пьер стал вытаскивать из бумажной упаковки вилку и ложку, а я откинулся к иллюминатору. Может, он готовится к химической войне и вырабатывает иммунитет, принимая каждый день по маленькой дозе бацилл.

— У меня избыток свободных радикалов, — продолжил он. — Мне, при моей депрессии, нужен селен. Хотите?

Это было предложено так радушно, что я, сам того не желая, сказал «да». Вот уж поистине: прежде чем судить о людях, нужно их как следует узнать. На борт лайнера со мной поднялся какой-то придурковатый чиновник, теперь же в нем обнаружился потенциальный спаситель народов и человек будущего, пожирающий вибрионы.

— Вот увидите, это восхитительно, и биологически сбалансированно. Селен в чистом виде.

Он открыл и мою желтую массу и посыпал ее своим порошком. А потом энергично, как преисполненный надежды больной, приступил к еде. Я вспомнил, что говорилось в моем атласе о египетских мумиях: они при жизни ели желуди, чтобы бальзамироваться заранее.

— А это вибрионы чего, какой болезни? — спросил я, с опаской глядя на него и не решаясь пустить в ход вилку.

— Что-что?

— Ну, это не опасно?

— Опасно? Почему? Конечно нет. Это пшеница.

Слегка разочарованный, я стал есть. Жан-Пьер откупорил мою бутылочку вина, наполнил мой бокал и вдруг, извинившись, выпил сам. А мне дал свой стакан минеральной. Я поблагодарил. Ничего, я подожду, пока он выйдет в туалет, и попрошу у стюардессы еще вина. Не следует шокировать людей, открыто пренебрегая религиозными запретами.

Доев желтую корзиночку, он перешел к коричневой и с полным ртом подытожил:

— Дело обстоит очень просто. Надо, чтобы люди узнали об Иргизе, тогда Франция и ЮНЕСКО смогут выделить ассигнования для операции по спасению археологически заповедной зоны, но при этом надо, чтобы селение не изгадили туристы. Казалось бы, одно исключает другое, но выход, возможно, есть.

Тут он взял меня за плечо и, понизив голос, продолжал:

— Понимаешь, Азиз, у меня в жизни все не так. И уже давно, Клементина тут ни при чем. Это еще серьезнее. Именно по этой причине я женился на такой женщине, хотя знал, что она меня бросит. Я ведь тоже оторвался от родной почвы. Отрекся от среды, в которой вырос, от своих предков. И с тех пор начались мои несчастья.

Я кивнул. Что бы он о себе ни рассказал, мне все равно уже было его жалко; к тому же это отвлекало меня от моих собственных несчастий. И вот срывающимся голосом он поведал мне, что родился в Лотарингии, в Юканже, где был крупный литейный завод. Его отец и брат работали литейщиками, а он в семнадцать лет решил уйти из дома, но не просто так: в тайне от всех он написал роман о жизни своего отца и поехал в Париж, чтобы напечатать его. Но в столице никому не было дела до Лотарингии, и ему пришлось долго учиться, чтобы в конце концов стать рядовым служащим. Он недурно зарабатывал, посылал домой чеки, но так ни разу и не решился приехать в Лотарингию, потому что с книгой, которая должна была представить ее Парижу живой, ничего не получилось. А теперь отец состарился, литейный завод закрывали, лучший металлургический район Франции превращался в какую-то детскую площадку, и Клемантина уходила к другому: она выходила замуж за будущего писателя, а он оказался неудачником.

Может быть, Иргиз был его последним шансом. Пусть Лотарингия никого не воодушевляла, зато здесь был сюжет для потрясающего романа. Но долина сероликих — это моя собственная Лотарингия. Что ж, он поставит себя на мое место, будет говорить от моего лица и сумеет все «транспонировать», выразить через мою судьбу то, что наболело у него самого. Книга и будет лучшим средством рассказать миру о долине Иргиз, не нарушая ее естественной гармонии. Жан-Пьер говорил, что верит в Бога, что не случай, а само Провидение свели наши пути, что роман начинается прямо здесь, в аэробусе, и это чудесно, и что, поскольку источник его вдохновения — моя жизнь, мы, разумеется, поделим авторские права пополам, идет?

Я молчал. Самолет шел на посадку и уже выпустил шасси. Может, было бы лучше, чтобы он разбился. Первый раз в жизни я почувствовал ответственность за другого человека. Если я, как собирался, слиняю и оставлю этого белобрысого очкарика в клетчатом костюмчике одного в стране, которая для него держится только на моей выдумке, он пропадет. При нынешнем его состоянии, если он убедится, что я все наврал и его миссия провалилась, он может запросто, несмотря ни на какие антидепрессивные вибрионы, покончить с собой.

А сияющий Жан-Пьер уже тряс мою руку:

— Это будет что-то фантастическое!

С этим я согласился.

Рабатская толпа ничем не отличалась от марсельской, разве что мундиры полицейских были другого цвета. У меня возникли трудности с паспортом — естественно, здесь липа оказалась более явной, чем во Франции. Я уже начал надеяться, что нас отошлют обратно и таким образом честь моего атташе не пострадает, а роман можно написать и в Париже, но Жан-Пьер достал из моего досье целую кипу бумаг с печатями, которые доказывали, что он официально уполномочен препроводить меня в Марокко, а раз его документы в порядке, то, значит, и мои тоже. Его слова подтверждал факс с гербом Королевства Марокко, предписывавший всем органам власти оказывать содействие его предъявителю. Мгновенно переменившись, полицейский сказал мне что-то по-арабски. В ответ я неопределенно улыбнулся, но, должно быть, не угадал тон его слов, потому что

он посмотрел на меня с оскорбленным видом.

Атташе сразу потащил меня к телефонным кабинам. В этом полном марокканцев зале я чувствовал себя бездарно замаскированным: весь маскарад не стоил ломаного гроша, поскольку я не знал языка, а значит, был *ненастоящим.* Но чем, в конце концов, я виноват, что родился в Марселе.

— Нужен заголовок, — сказал Жан-Пьер.

— Что?

— Для нашей книги. Как она будет называться?

— «*Гуманитарный атташе*», — предложил я.

Во-первых, я хотел проявить скромность, во-вторых, просто не знал, как обозначить себя в заголовке. Но Жан-Пьер сказал «нет» и, с блестящими глазами, торжественно воздев палец, произнес:

— «*Груз под охраной*».

Он даже остановился, не дойдя до телефонов, чтобы распробовать, посмаковать это название, и три раза одобрительно тряхнул головой.

— Это про меня, — пояснил он. — Ну то есть про вас, это же я и есть вы в романе. «Груз под охраной». Название отражает весь комизм, всю нелепость и парадоксальность ситуации...

Я тоже кивнул, но, по правде говоря, не знал, как к этому отнестись. Жан-Пьер попытался дозвониться Клементине и поделиться с ней радостной новостью, но было все время занято. Тогда он посмотрел на часы, на табло расписания полетов и спросил, как ближе добираться до Иргиза: через Марракеш или через Агадир. Я выбрал Агадир, чтобы оттянуть время — это был последний рейс.

Четыре часа мы просидели в аэропорту, в ресторане. Жан-Пьер то и дело бегал звонить, а в промежутках строчил, как сумасшедший, на обороте официальных бумаг из моего досье — лепил себе биографию из моей. Каждое мое слово превращалось в три страницы, обрастая его собственными переживаниями, и меня это как-то коробило. Выражаясь его языком, он «транспонировал». Он предложил мне перекусить, и я съел бриошь, а он взял себе тарелку кускуса с белыми от застывшего жира ломтиками мергеза и обильно полил все это гариссой, чтобы, как он сказал, «влезть в мою шкуру» и «окунуться в среду».

Я не знал, как выпутаться из этой истории. Смыться от Жан-Пьера, как я собирался сначала, теперь, когда он задумал написать по моей легенде книгу, было никак нельзя. Эта выдумка уже срослась со мной, стала слишком важной, чтобы я мог бросить ее на Жан-Пьера. Под его пером оживала часть меня самого. Атташе весь преобразился. Завороженный просящимися наружу словами, он то прерывался, смотрел на меня горящим взором, благодарил, то снова уходил в работу, что-то шептал, мучительно вздыхал. Я чувствовал себя так, будто зачал ребенка и теперь присутствовал при родах.

Наконец объявили наш рейс, Жан-Пьер сделал последнюю попытку дозвониться Клементине. И дозвонился. Вернулся он серьезный, печальный и вялый. Минутный разговор с этой особой погасил пламя, пылавшее целых четыре часа, пока он общался со мной. Хотя, с другой стороны, это давало мне передышку.

Самолет был поменьше, поплоше, чем первый, на креслах — чехлы в цветочек, зато стюардесса — помоложе. Столиков не было. Атташе закинул ногу на ногу, положил на колено лист бумаги и снова принялся писать и зачеркивать слова, сочиняя послание жене. Я понял, что перестал существовать для него, даже в качестве груза, и закрыл глаза, чтобы помечтать о блондинке с обнаженной грудью, которая сидела напротив в прошлый раз, — мне ее не хватало. Может, попросить Жан-Пьера, чтобы он в своем романе устроил мне с ней любовную интригу? Допустим, муж бросит ее и заберет ребенка, а она, одинокая и несчастная, отправится с нами в Иргиз — иначе кто купит книгу, где нет героини. Дальше все будет развиваться как положено: двое друзей, одна женщина; ситуация непростая, тем более что она любит нас обоих, но это только укрепляет нашу дружбу, а кончится тем, что в последней главе меня, уснувшего у иллюминатора, уносит самолет, а Жан-Пьер лежит, заняв место младенца у груди блондинки, на берегу прозрачного ручья, под сенью платанов и раскидистых сосен, перед освещенным

солнечными бликами гротом, стены которого покрыты рисунками, начертанными миллионы лет тому назад сероликими жителями долины Иргиз.

Гостиница торчит над городом огромной штуковиной в современном стиле вроде марсельского «Софителя». Здесь кишат потные французы с одышкой: во-первых, жарко, а во-вторых — в рекламных проспектах все вообще выглядело привлекательнее, чем оказалось. Мой атташе записывает нас в книгу посетителей, просит соединить его с Парижем, сует мне ключ от моей комнаты и во весь дух бросается в свой номер.

Я упираюсь взглядом в затворившуюся за ним дверь лифта. Сам себе я кажусь странным расплывчатым героем из какой-то книги, безразличным всем, даже автору, который все тянет историю о нем и никак не удосужится поставить точку. Марокканец-рассыльный по-французски предложил отнести в номер мой полиэтиленовый пакет, но я смутился еще больше, чем в тот раз, когда полицейский в Рабате заговорил со мной по-арабски, отрицательно замотал головой, быстро поднялся в свою комнату и заперся там.

Комната — семь метров на шесть: сам промерил ее шагами. В первый раз у меня свой гостиничный номер — для начала уже неплохо. Я покрутил ручки телевизора, краны, пощупал маленькие брусочки туалетного мыла, какую-то замысловатую фигню, похожую на машинку для мытья собак, наконец сообразил, что ею чистят ботинки, а затем мне стало скучно.

Некоторое время я проболтался на террасе, глазея на море, песок, луну, звезды, лепную балюстраду, плитки пола... Пахло чем-то непонятным, хотя совсем не противным, воздух был легким, даже, пожалуй, слишком: недоставало машин, и было непривычно тихо. Я говорил себе: «Быть может, я на земле моих предков». Впрочем, не сказал бы, чтобы меня это сильно волновало. Главное: была комната под номером 418 и в ней тип, ломавший голову над моей историей. Забавно, что и меня занимала его Лотарингия, семья, заводик, я не слишком представлял себе, что такое на самом деле литейный завод, по крайней мере, мне бы не хотелось, чтобы он выглядел как парк аттракционов для недоразвитых. Я бы с удовольствием послушал его рассказы о Лотарингии, даже если бы они и не вошли потом в книгу. Я тоже был бы не прочь что-нибудь «транспонировать» — хоть на бумагу, хоть куда еще... подделать себе детство по его образцу, тем более что моего собственного отныне не существовало.

Я принял душ, переоделся, снова повязал узел галстука и отправился в 418-й номер. Постучал я не сразу, так как не хотел ему мешать: он как раз говорил кому-то, что не ему самому взбрело смотаться на Юг, что идея принадлежит Лупиаку. Нет, он отправился с этим магрибским парнем, чтобы бежать от ответственности, а потому, дескать, любовь моя (это он так говорил), она должна понять, как он ее любит, его жизнь без нее — пустыня и что, говорят, вулкан, что давно погас, из остывших ран бьет огнем подчас[1], и что, наконец, все сплошной бардак, гадость и дерьмо.

После этих слов за дверью стало тихо. Но он снова затянул с того места, где вулкан бьет огнем, и я понял, что он говорит в автоответчик, который прервал его тираду. Поскольку показалась какая-то девица с тележкой на колесиках, я нагнулся, делая вид, что завязываю шнурки. Он же повторял, что не по своей воле влип в это дурацкое дело, а я, сидя на корточках под дверью, чувствовал себя виноватым, что его вынудили связаться со мной, вместо того чтобы мирно улаживать семейные дела, раз для него это так важно. Когда я выпрямился, он, однако, добавил, что все еще пойдет на лад и он, мол, уже начал работать над книгой. Ему снова стало казаться, что старый вулкан в нем проснулся от спячки, он еще не весь порох растратил и завоюет ее, «вспомни, Клементина, как я читал тебе рукопись в том ресторанчике... »

Дождавшись следующей паузы при переключении автоответчика, я помедлил еще секунд тридцать и постучал. Он крикнул: «Войдите!», я просунул в дверь го-

---

[1] Цитата из песни Ж.Бреля «Лишь не уходи». (*Перев. Г.Русакова*)

лову и предупредил, что пойду прогуляюсь, и пусть-де он не беспокоится. Между нами говоря, если бы я вздумал смыться, всю ответственность возложили бы на него. По крайней мере, я так полагал.

Он обернулся ко мне, но его взгляд блуждал где-то далеко. Он стоял в полосатой пижаме, с всклокоченными волосами и походил на ювелира под прицелом грабителя.

— Так я пройдусь немного.

Он промямлил: «Да-да, хорошо...» И вдруг кинулся к дорожной карте, разложенной на мини-баре.

— По какому маршруту мы двинемся завтра?

Меня несколько утешило, что он все еще помнит о моей долине, несмотря на все потухшие и проснувшиеся вулканы, и я упер палец в то место Высокого Атласа, где ничего не было написано. Казалось даже странным, что приходилось делать какое-то усилие, чтобы напомнить себе, что Иргиз — всего лишь плод моего воображения.

— А как мы туда попадем?

Поскольку я молчал, он видоизменил вопрос, желая уточнить, каким видом транспорта я воспользовался, когда покидал родные места. Я ответил, что отправился на осле и потратил недели три на путь до города; это показалось мне одновременно вполне вероятным и совершенно не поддающимся проверке. Он печально поглядел на меня, представив себе, сколько тягот я перенес, чтобы в конце концов оказаться ни с чем, и на губах его появилось какое-то подобие улыбки, потому что чужое горе, когда страдаешь сам, хоть немного, а утешает. Он хлопнул меня по спине, чтобы подбодрить, и его голос вдруг зазвенел и обрел решительность:

— Так. Отъезд в восемь часов! Пожалуй, я возьму напрокат в агентстве Герца джип, вездеход или «лендровер», идет? Интересно, какую машину мы можем себе позволить?

Я посоветовал ему модель с откидными столиками, чтобы можно было писать по пути, он положил руку мне на плечо и взглядом поблагодарил меня. Я вышел, а он снова бросился к телефону. Но перед тем как снять трубку, посоветовал мне далеко не уходить и быть повнимательней. Может, для человека, у которого были родители, такие слова — дело скучное и житейское, но я-то их слышал впервые.

Я вышел к бассейну глотнуть свежего воздуха. Сперва мне там понравилось, поскольку все было хорошо прибрано на ночь: стулья в углу поставлены друг на дружку, купальные матрасы сложены горкой; затем я разглядел несколько влюбленных парочек под деревьями и ретировался в холл. Там я сел и стал изучать рекламные проспекты о Марокко, их была целая куча, но сперва ничего не удавалось запомнить. Местный колорит, народные костюмы, жилища, страна контрастов — все это не для меня: я-то приехал не на экскурсию. Я не узнавал Иргиз ни на одной из панорамных фотографий туристических прогулок; укрытая от глаз долина, придуманная мной, смущала и угнетала меня тем больше, чем меньше я понимал, куда ее пристроить: к вечным снегам или в пески пустыни, средь раскаленных камней или в прохладе оазиса. Она отступала, как мираж на горизонте. Я отпихнул от себя каталоги и вышел.

Перед гостиницей служители из камеры хранения о чем-то с жаром болтали, но когда я проходил мимо, стали говорить тише, поглядывая на меня с явной подозрительностью: я в своем костюмчике, от которого так и разило Францией, был из другого мира, турист и не более того.

От отеля к городу тянулось длинное прямое шоссе с ветхим бетоном разделительной полосы, осыпавшимся кучками гальки, проросшими пожухлой травой. Я долго шел по ней, заложив руки за спину. Меня обгоняли микроавтобусы, отправлявшиеся в Медину на ужин. Я знал, что «медина» означает «центр города», что рынок здесь называют «сук», а еще, что ислам запрещает пиво и свиную колбасу. Впрочем, есть пока не хотелось — просто идти куда-нибудь, вот и все.

Улочки на моем пути становились все оживленнее, с распахнутыми окнами в каждом доме, из которых звучала музыка, с цветными лампочками на ветвях де-

ревьев и собратьями по бывшему моему ремеслу, продававшими на тротуаре приемники, ковры, майки, бижутерию и сувениры. Клиенты из автобусов вяло торговались, жуя пропитанные жиром пирожные и печенье. Поскольку мне нечего было продать, я ни для кого как бы и не существовал.

Меня охватила тоска, ощущение полного одиночества среди всех этих людей, говоривших на другом французском, без моего марсельского акцента. Впервые в жизни я почувствовал себя иммигрантом. И чтобы не скиснуть окончательно, я стал представлять себе, как одинок настоящий араб, когда очутится во Франции, особенно ежели в обход закона. Мне-то не Бог весть как, но повезло: у меня есть гуманитарный атташе, мой телохранитель с королевской охранной грамотой, чтобы никто ко мне не цеплялся. Довольно-таки славный парень, не забывавший обо мне, несмотря на собственные проблемы, помнивший, что нужно снять номер в отеле, взять напрокат машину, и притом не требовавший от меня ничего, кроме лоскута моей собственной мечты, чтобы не чувствовать себя совсем покинутым. Одновременно я походил на того потерявшего память типа из многосерийного фильма: я бродил по родным местам, не припоминая ничего, а при всем том в глубине души ощущая какое-то волнение. А встречные прохожие толкали меня, не замечая, потому что для них я был только частью пейзажа. О таком можно написать в романе, знатный вышел бы кусок. В конце концов, Жан-Пьер послал меня на рынок для того, чтобы я принес ему свои впечатления, описания, в которых не было бы фальши, местные запахи, колорит, а кроме того — внутренние переживания, так сказать, состояния души.

Я запихнул в свою память две-три приметные местные черточки, запахи из харчевен, цвет домов, высоту деревьев и марки автомашин. И направился назад, весь поглощенный приобретенными знаниями, все по тому же прямому как стрела шоссе.

Перед отелем стояли два магазинчика, где продавалось все то же, что и в городе, но с расчетом на более тугие кошельки. Как раз подъехал автобус с грязными стеклами, измотанными пассажирами, чемоданами в багажнике, которые нужно разнести по номерам, и всякими проблемами, неизбежными при каждом прибытии. По виду что-то в роде экспресс-тура «Весь Магриб за неделю», потому что каждый хотел заполучить сувениры перед тем, как отправиться спать, и все галдели, что завтра утром лавочки окажутся закрытыми. Девица-гид обещала им, что нет, но ее никто не слушал. К тому же они все поголовно желали пойти в тот магазинчик, что справа, поскольку там сумки «Виттон» продаются дешевле и притом со скидкой; напрасно сопровождающая девица твердила, что, поскольку они на попечении фирмы «Марокко-тур», им продадут за ту же цену в левой лавчонке, — они все бросились в правую, чтобы обделать свои делишки в обход «Марокко-тур», где, понятно, только и норовят погреть руки за их счет.

Тут прибыл автобус другой фирмы — «Оазис-трэвел», у которой был контракт с правым магазином; люди из «Оазиса» стали исходить пеной, решив, что те, первые, расхватают их сумки. Их гид вступил в переговоры с девицей от «Марокко», пытавшейся вытурить своих подопечных из магазина направо, божась, что в другом *такие же* сумки за *такую же* цену, но те не желали ничего знать и кричали, что они — свободные люди, протряслись на собственных задницах добрых шесть сотен километров, а потому и не подумают слушаться чьих бы то ни было приказов, а что до этих из «Оазиса», так они могут и подождать своей очереди.

Видя, что девица-гид начинает психовать, они образовали две группы сопротивления: первая вопила нечленораздельное «Гы-ы-ы-ы-ы-ы-ы!» , а вторая скандировала, словно на демонстрации: «Ги-да до-лой! Ги-да до-лой!» И тут у нее вовсе сдали нервишки, она как заорет:

— Да имела я вас всех с прибором!

Надо же! Я тотчас сказал самому себе: вот была бы хорошая женушка для Жан-Пьера. Лет двадiати на вид, в джинсах с латками на довольно клуглом и приятном на взгляд заду, в тенниске от «Марокко-тур», откуда выглядывал пляжный лифчик того же цвета, грудки ничего себе, волосы кое-как обрезаны, грязные от

пота и пыли, скорее всего натурального льняного цвета (впрочем, под неоновыми огнями все естественное выглядит поддельным), солнечные очки торчат в волосах прямо на макушке.

— Эй вы, банда извращенцев, покупайте где угодно ваши дерьмовые шмотки и уматывайте восвояси! Мне обрыдли ваши морды, вы все равно не видите ничего красивого, сколько ни старайся, а только пялитесь, как бараны, осиновые поленья, тыквы огородные! И с вашим занюханным автобусом разбирайтесь сами, а с меня довольно!

И она бросилась в отель под радостные восклицания туристов из «Оазис-трэвел», довольных, что людей из «Марокко-тур» так приложили, и щелкавших фотоаппаратами, целясь в ошарашенные физиономии соперников (на память об Агадире, будет о чем порассказать!), в то время как женщины из «Марокко» орали, требуя уполномоченного от компании, какой-то тугоухий тип все еще продолжал скандировать: «Ги-да до-лой!», а кое-кто под шумок умыкал целые упаковки сумок «Виттон» по полтора десятка штук в каждой.

Девицу-гида я обнаружил в гостиничном баре с белеными стенами, расписанном «под минарет», с гигантскими опахалами и плетеными табуретами. Она заказала виски и, усевшись бочком на табурет, уперев локти в стойку, одним глотком опорожнила стакан. Я подсел рядом и велел гарсону повторить для нее виски и налить мне кока-колы. Она ничего не сказала, даже не повернула головы. Ладонями она зажимала уши, чтобы не слышать постороннего шума, у нее был длинный, чуть вздернутый носик, крутой лоб и тонкие губы. Не слишком обходительна, за это можно ручаться, но свое дело знает круто. О моем существовании она заподозрила, когда перед ней появился полный стакан, а я сказал бармену, что это мое виски. Она отодвинула виски в мою сторону, но я прибавил, что меня плохо поняли: виски ей, а плачу я — вот что я имел в виду. А затем я стал шарить в карманах и обнаружил, что не имею при себе ни монеты. Она понаблюдала за моими телодвижениями и посоветовала оставить попытки выучить французский.

— Барака Алла фик! — с этими словами она подняла стакан. — Тех чурбанов я послала, так что же мне теперь делать?

Она спрашивала это у змеи, обвившейся вокруг пальмы, вытатуированной на ее предплечье. Потом заплатила за два виски, мою кока-колу и ушла.

Я нагнал ее в холле, чтобы узнать, свободна ли она. И снова я выразился так, что меня не поняли: она презрительно оглядела меня с ног до головы и спросила, неужто я мог принять ее за шлюху. А, значит, нет? Тогда чао! Я был задет и уточнил:

— Да я не о том.

— Ну и отстань.

— Я, конечно, люблю девушек, но это вовсе не причина, чтобы из меня вить веревки. И потом я — не от фирмы «Марокко». Вот что я ей сказал, крепко взяв ее за локти и развернув лицом к себе. И уточнил, что мой друг и я, мы нуждаемся в гиде, притом мы отнюдь не бараны, сумки «Виттон» нас не интересуют вовсе, мы — путешествующие писатели, направляемся в сторону Высокого Атласа, имеем средства оплатить машину и персонального проводника, я выбрал ее, так каков ее тариф? Конечно, если она не предпочитает вернуться к толпе, которая не прочь ее линчевать. И вправду шум за дверьми нарастал: только что в холл принесли двух сильно помятых женщин, по всей видимости, подравшихся во время перепалки между автобусами, и управляющий отеля уже спешил туда выяснять, что стряслось.

— У тебя какой номер? — спросила девица.

Я не смог вспомнить и спросил у дежурного; тот поглядел в книгу записей и положил передо мной ключ. Она тотчас зажала его в кулачок и направилась к лифту. Ее наглость меня несколько обескуражила, но я послушно потопал следом. Дверь лифта захлопнулась за нами как раз тогда, когда раздались чьи-то разъяренные голоса, вопрошавшие, куда подевалась гид фирмы «Марокко-тур».

Пока лифт поднимался, мы стояли неподвижно и смотрели в разные стороны. На пятом этаже она осведомилась, не стеснит ли меня, если я дам ей приют на

ночь. Я ответил, что нет. На это она заметила, что в таком случае я мог бы выказать больше энтузиазма.

Телефон зазвонил, едва я переступил порог своей комнаты. Управляющий гостиницы желал поговорить с гидом. Я сообщил ему, что это невозможно: девушка реквизирована представителем французского правительства для выполнения официальной миссии; все детали будут ему сообщены утром господином Шнейдером, гуманитарным атташе, у которого на руках охранная грамота самого короля Хусейна, а теперь совсем не время нас беспокоить. Я бросил трубку, не дослушав его, и подобное нахальство меня самого удивило. Потрясающе, как это быстро приходит — уверенность в себе. Стоит только получить хоть немного власти.

— Хусейн, господин литератор, это в Иордании. А здешнего короля зовут Хасан. Тем не менее спасибо.

Ее голос был мягок, она чуть насмешливо тянула слова. Когда она начала стаскивать с себя тенниску, я сказал, что это необязательно, потому что у меня есть своя гордость. Я вполне мог оставить ее здесь, не затаскивая в кровать, и к тому же я уже предупреждал, что отнюдь не считаю ее потаскухой. Она снова натянула тенниску, и я опять, похоже, попал впросак. «Да нет, все в порядке», — пробормотал я. Уж в который раз я, наверное, не так выразился. Она ответила довольно резко, что ей начхать на собственное тело, она никогда ничего не чувствует, так что я могу им располагать, если мне хочется попытать удачи, ведь все парни немного сдвинуты на женщинах, которые не получают удовольствия, и лезут из кожи, словно боятся упустить большой куш. Как можно достойнее я отвечал, что, прежде всего, я обручен, даже если... впрочем, в конце концов, это мои проблемы... и потом, не моя вина, что она такая, а говорить со мной можно бы и в другом тоне. Она извинилась и сослалась на то, что слишком вздрючена. Я заметил, что нервы есть и у меня. Тут она снова стянула свою майку со словами, что, по меньшей мере, это нас успокоит, а с таким доводом согласился и я.

Когда ее бордовые джинсы и все прочее спустились к щиколоткам, я подумал: если она не любит заниматься любовью, то только зря портит такой стоящий товар. Она красовалась на паласе нагишом, а я старался открыть мини-бар, чтобы малость взбодриться. Наконец, воспользовавшись связкой ключей как фомкой, я успешно взломал дверцу и начал приготовлять коктейль собственного изобретения. Лежа поперек кровати с сигаретой в зубах, она наблюдала, как я смешиваю напитки из миниатюрных бутылочек. Обратив мое внимание на то, что обычный способ использовать ключ — вставить его в замочную скважину, она затем не без надежды в голосе спросила, не страдаю ли я случайно бессилием. Я же был просто слишком заморочен историями с Жан-Полем и Иргизом. И к тому же, ежели я сначала займусь любовью с этой девчонкой, мне, как я себе представлял, потом будет легче ей все объяснить.

Когда я разделся и перевернул ее к себе спиной, она забормотала, что нет, так не надо, мы же еще не слишком знаем друг друга, а я отвечал, что именно поэтому я и желаю явить к ней уважение как к незамужней девушке. Но тут мне стукнуло в голову, что она-то не цыганка, и я плюхнулся ей на живот, и видел ее глаза, и это было тоже хорошо, несмотря на то что она вежливенько поглядывала на меня, ожидая, пока я уймусь. Надо сказать, чувствуешь себя при этом довольно странно. Я уж пускался во все тяжкие, елозил, как мог, перемежал нежности с грубостью, но можно было бы подумать, что я мою ее машину, а она терпеливо пережидает, посматривая на меня через лобовое стекло.

— Если вам угодно, я могу и прекратить.

— Ничего, это меня не беспокоит.

— А меня вот как раз напротив.

— Ну, если мы будем продолжать хамить, то не стоило и начинать.

— Но начал-то не я первый или как?

— А что за книжку вы пишете?

Мне захотелось выказать свое мужское превосходство классным уколом шпаги. Она же лишь хмыкнула, что это не ответ. Тогда я сказал ей, что это разные истории о жизни человека. Это ее немножко смутило, и я смог без помех заняться

собственным удовольствием, думая о Лиле: она-то вкладывала столько жара в это занятие, что теперь у меня даже выступили слезы и закапали на грудь блондинки.

— Ты что, плачешь или это пот?

Я не ответил. Проглотил свои дурацкие слезы о потерянном прошлом, которое, пусть теперь я изо всех сил и стараюсь о нем забыть, все же принесло мне немало счастья. В некотором смысле я был доволен, что топлю Лилу в теле этой совершенно бесчувственной девицы. Такова плата за то, что меня предали. Я спрашивал себя: неужели мне по гроб жизни суждено остаться таким сентиментальным? Но тут моя красавица вскрикнула: дело в том, что, перепихиваясь с ней, я затолкал ее к самому изголовью, и она стукнулась головой о стену. Оттуда раздался голос сонного соседа-постояльца: «Войдите!»

Тут мы оба разом зашлись от хохота, и сам не пойму, что дальше произошло: может быть, что-то там у нее в нутре содрогнулось или сдвинулось, но голову могу прозакладывать — мы оба разом вознеслись на небеса. Обхватив друг дружку за бока, мы катались по простыням, обоим стало как-то сладко не по себе, было трудно дышать, но главное — все перегородки между нами обрушились, и мы посмотрели друг на друга, как старые приятели. Получилось даже лучше, чем когда просто любишь, и совершенно по-новому: два чужака, двое отверженных, на которых всем наплевать, обрели друг друга, и я был горд, что смогу увезти ее в Иргиз.

— Поганец, — улыбнулась она. — Это какое-то жульничество.

Я прошептал, что меня зовут Азиз, чтобы не упустить минуты моего скромного триумфа. Она расщедрилась, заметив, что так даже неплохо, и я по чести должен был бы принять ее слова за комплимент, а потому тотчас сказал «спасибо» и что в следующий раз будет еще лучше. Ну нет, следующего раза не случится (это уже она сказала), таков ее принцип: единственный способ иметь нормальные отношения с мужчинами — тотчас ложиться с ними в постель. Так они получают, что им нужно, и можно перейти к другим делам, например к разговору. Меня задело за живое, но я не показал виду. Наверняка она — девушка с высшим образованием. О чем я и осведомился. Ну да, она дипломированный специалист по массе таких вещей, о которых я даже не знал, как они называются. Имело смысл переменить тему.

— Почему ты наколола себе дерево?

Она едко обронила, что это меня не касается, мол, дела семейные. Настаивать я не стал. Идя за ней в ванную, я спросил, как ее зовут.

— Валери.

Куда ни шло. Даже лучше, нормальнее, чем Клементина.

— Валери, а дальше?

— Д'Армере.

— Валери, мне надо с тобой поговорить.

Дальше мы замолчали. Она смотрела на меня, опершись на раковину. Поскольку я все не решался, она выпроводила меня из ванной, и я отправился пить мой фирменный коктейль, который на вкус оказался еще хуже, чем американская бурда из кафе «Маршелли». Через дверь она резко спросила:

— Как там твое давешнее предложение?.. Что-то серьезное или только предлог покататься на мне верхом?

Я прокричал ей, что она действительно тронутая и что в жизни приходится заниматься не одной только любовью. Она открыла мне дверь, буркнула, что я милашка, и я плюхнулся вместе с ней в ванну.

— Тебе известны работы Конрада Лоренца о гусях?

Конечно, я усек, что дело здесь вовсе не в гусиной печенке, но на всякий случай промямлил что-то невразумительное.

— Я пишу диссер по социологии. О групповой агрессивности. Работа гида позволяет платить за курс и подбрасывает материал. И потом, ежу понятно: коли хочешь зацепиться в Марокко, выбор профессий совсем невелик. Пены прибавить?

— Угу. А почему не вернешься во Францию?

— Я отсюда родом. Впрочем, не о том речь. К тому же у меня нет выбора. Но все путем, не бери в голову, с моими гусями я совсем неплохо устроилась. Обычно

я никогда не даю промашки. Так что сегодняшний случай — это что-то новенькое.

Я кивнул. Для меня тоже в новинку прохлаждаться вдвоем в мыльной пене после постельной баталии и вот так дружески болтать. По-своему совсем неплохо. Я не позволял себе ее приласкать, чтобы чего-нибудь не испортить. Уперев голову мне в грудь, так что мой нос оказался в ее шевелюре, рассеянно закручивая кончиком пальца волоски у меня на лодыжке, она выслушала всю мою повесть: похищение из горящей машины, Валлон-Флери, арест в кафе «Маршелли», изгнание из страны, оказавшееся на руку «Пари-матч», жена гуманитарного атташе, требующая развода. А закончил я собственной легендой, придуманной в самолете. За все время она не произнесла ни слова. Я трижды замолкал, проверяя, не спит ли, но каждый раз меня дергали за волосок, чтобы продолжал.

В конце моей исповеди я с комом у горла спросил, согласна ли она сыграть роль в моей комедии с Жан-Пьером. Ответила не сразу. Что-то чертила большим пальцем ноги на запотевших кафельных плитках. Попросила в точности повторить то описание Иргиза, что пришло мне на язык в самолетном кресле компании «Эр Франс».

Я закрыл глаза, чтобы припомнить точные слова: о долине, пещере, освещенной отблесками горных ледников, волшебном источнике и новой автостраде, угрожающей нарушить сокровенную тайну жизни сероликих людей, уберегавших свои доисторические нравы и обычаи от нынешней цивилизации.

— Я устрою тебе нечто похожее в горном массиве М'Гун. Мы сунем ему под нос местечко, где в равных долях будут и кусочек пустыни, и клочок оазиса, и горные ледники. Тебе подойдет?

Я сказал, что да.

— А когда мы доберемся до Айяши и поднимемся на половину его высоты, ты скажешь, что мы опоздали, по-видимому, горная лавина погребла под камнями Иргиз, и я привезу вас обратно. Как ты думаешь, он проглотит такую байку?

Я ответил, что он сам ни о чем другом и не помышляет, особенно из-за своей Лотарингии. До утренней зари мы обсуждали все подробности будущего спектакля, подбавляя в ванну горячей воды, а потом отправились часок вздремнуть. Я чувствовал, что как раз вовремя попался на ее пути: чувство мести заставит ее повести моего бедолагу в несуществующий заповедный край, чтобы хоть немного отдохнуть от гусей, привычных рекламированных маршрутов, обязательных красот, безделушек и воспоминаний по сниженным ценам. Мы лежали голышом, прижавшись друг к другу под прохладными простынями, и у меня не появлялось никаких желаний; то, что я испытывал, походило на какую-то нежную доверчивость, и я решил, что, может быть, вот-вот влюблюсь по второму разу.

— Знаешь, Валери...

— Что?

Я уткнулся носом в ложбинку ее плеча, и запах ее тела вытеснил все мысли.

— Так.

Она тихонько прижала к себе мою ладонь:

— Не забивай себе голову. Спи.

Без десяти восемь я нашел моего атташе в холле. По его лицу было видно, что он провел ночь без сна; для путешествия он напялил на себя костюм геолога: высокие башмаки и бежевую хлопчатобумажную курточку с короткими рукавами, белый легионерский шарф и бейсбольную каскетку. Он достал себе радиотелефон и, сжимая его в руке, нервно мерил шагами холл.

Завидев меня, он бросился навстречу, волоча за рукав детину боксерского вида в джелабе, и представил его как Омара, специалиста по Атласу, согласившегося отвезти нас туда в своем джипе. Я отвел Жан-Пьера в сторонку и прошептал ему, что этого не следовало делать. Так как он не мог взять в толк, почему я заупрямился, пришлось объяснить ему, что Омар — из народности разауи, искони слывших заклятыми врагами сероликих людей из Иргиза. Довод попал в цель. Жан-Пьер отправился улаживать вопрос с боксером, и тот, получив отступного, ушел,

довольный удачным дельцем.

Тут я сообщил Жан-Пьеру, что отыскал для нас идеального шофера: девушку из почтенного бордоского семейства, с фамилией, начинающейся на «де» (в общем, если говорить точно, не совсем на «де»: на «д» с закорючкой вверху). Я убеждал его, что они быстро найдут общий язык, тем более что эта особа знает Атласские горы назубок и даже слыхала о существовании сероликих людей, хотя, впрочем, не смогла бы сама отыскать тропы в заповедную долину. Он оставался все таким же мрачным, и я под конец счел нужным весело добавить, что нам достаточно лишь в нужный момент завязать ей глаза. Он поинтересовался, где она сейчас, и я ответил, что на пляже. Тогда он вдруг забубнил, что телефонный номер занят. Я растерянно уставился на него, и он, сложив телефонную антенну, пояснил: слышны только гудки, а значит, он израсходовал всю ленту Клементининого автоответчика и теперь до него не доходит даже голос бывшей жены, просящий передать сообщение после звукового сигнала. Хуже для него не придумаешь: теперь между ними все кончено — дальше тишина. Мне осталось просто прошептать:

— Но я-то здесь.

Он поглядел на меня странно внимательным взглядом, словно пытался уяснить, какую роль я играю в его сложных семейных отношениях, а затем снова вытянул антенну и сказал:

— Я люблю ее.

Да, как видно, ночь не поправила его дела, подумал я, а значит, самое время шевелиться. И потащил его на террасу. Он покорно плелся, еле удерживая в повисших руках телефон с волочащейся по полу антенной, словно человек, прогуливающий по улицам поводок своего недавно умершего пса. Их встречу я устроил под солнечным тентом, после завтрака, чтобы он мог увидеть ее в купальном костюмчике, служившем, по моему разумению, самым весомым доводом в пользу Валери; другой ее довод — обещание блеснуть изысканной добропорядочной манерой выражаться, принятой в лучших семьях Бордо — не внушал мне особого доверия.

— Мадемуазель Валери д'Армере, — представил я ее. — А это господин Жан-Пьер Шнейдер, мой атташе по гуманитарным вопросам.

— Как поживаете? — спросила Валери, протянув ему руку. В эти слова она чуток переложила рахат-лукума, но мы так и договаривались, так что пока роль удавалась ей.

Жан-Пьер несколько растерянно глянул на меня, потом переложил телефон в левую руку, чтобы протянуть правую девице.

— У вас есть на примете подходящий автомобиль? — спросил он.

— Могу вам предложить настоящий корабль пустыни, модель разработана для гонок Париж — Дакар. Восемь ведущих полуосей, триста пятьдесят лошадиных сил, три тысячи пятьсот километров автономного пробега; кондиционированный воздух, душ, туалет, кухонный блок. Ни дюны, ни солевые болота, ни снег, ни песок не способны его остановить, а вы сидите как дома, в клубном кресле перед экраном телевизора.

— Наши претензии скромнее, — только и выдавил из себя Жан-Пьер.

— За шесть дней двадцать тысяч франков. Незабываемые ощущения гарантированы. К тому же платить будет ваше правительство. Кофе?

Жан-Пьер уселся по-турецки на песок и застыл с прямой как палка спиной. Нет, спасибо, он уже завтракал. Увы, отпущенные ему средства не беспредельны. Затем он принялся задавать ей вопросы по географии, проверяя ее компетентность, и неожиданно показал себя весьма подкованным. Наверное, прокорпел над картой всю ночь. Ветер сорвал с него каскетку, и я отправился за ней вдогонку.

Было уже тепло, от песка шел жар, птички и коты дрались из-за оставленных людьми крошек. Какое-то время я не отрывал глаз от воздушного змея с трещоткой, парившего на нитке, которую сжимал в кулачке маленький мальчик. Малыш ревел, уставясь на кончики своих сандалий. Нескончаемый пляж с шеренгами людей, листавших «Вельт», «Монд», «Суар», «Матен», «Гуд морнинг», «Морген», не имел запаха и был совершенно тих. Ни рыбака с удочкой, ни паруса в море, ни

скалы на берегу, ни радостного смеха — гладь и безмолвие. Там, откуда я ушел, Валери отвечала на вопросы, глаза ее блестели, и она поднимала палец, как в школе. Я смотрел на нее и начинал забывать об уютных марсельских бухточках. Каскетку Жан-Пьера я принялся усердно отчищать от пыли, чтобы иметь какое-то занятие и не мешать им как следует познакомиться.

Когда я наконец к ним подошел, они сошлись на «лендровере» за девятьсот дирхемов в неделю, не считая бензина. Жан-Пьер уже начинал понемногу расслабляться. Я позволил себе заметить, что со своей белой кожей северянина без каскетки он сожжет себе лицо. Валери тотчас схватила свой тюбик и, не спрашивая у него разрешения, намазала ему кремом лоб, щеки и нос. Я же подметил, как он украдкой поглядывает на то, что у нее под купальником, и это мне понравилось. А тут заверещал его телефон, он вскочил, подняв вокруг себя кучу песка, и отошел, чтобы сделать вызов. На сей раз он звонил не Клементине, так как я расслышал «господин директор», и сразу он перестал походить на маленького мальчика. Стал почти мужчиной, хотя и из тех, кто всегда не в своей тарелке. Ну да, на него возложена ответственность, он отдает себе в этом отчет, но незачем его в чем-то обвинять, ни его, ни выдворенного уроженца Марокко: им необходимы время и средства, чтобы выполнить взятую на себя миссию, твердил он, шлепая ногами по мелководью. Таким он мне очень нравился. Я был горд тем, что он пытается отбиться и защищает меня. Я даже обернулся к Валери, призывая ее в свидетели. Однако ее лицо не выражало особого воодушевления.

— Гнилой парень. Дырявая кастрюля.

— Дырявая что? — переспросил я.

— Кастрюля.

Я поглядел на Жан-Пьера, шлепавшего взад и вперед по кромке воды с подвернутыми штанинами, носками в одной руке и телефоном в другой. Он уже дал отбой и теперь снова пытался дозвониться до автоответчика своей Клементины, и могу дать голову на отсечение — он снова превратился в сосунка.

— Ему надо бы влюбиться в тебя, — сжав зубы, процедил я.

— Что ж, влюбиться так влюбиться! — вздохнула она с чинной покорностью уроженки Бордо и потянулась. — Ты не намажешь мне спину?

Она перевернулась на живот и расстегнула лифчик. Я втер крем ей в спину, не отрывая глаз от Жан-Пьера. Волоча ноги по песку, тот печально слушал гудки автоответчика.

— Понимаю, он, наверное, кажется тебе странным...

— Нет.

— Да? А почему?

— «Все характерные особенности поведения, объективно наблюдаемые у гусей, потерявших своего партнера, — зевая, прочитала она на память, — в значительной мере проявляются среди людей, удрученных расставанием».

Вдруг Жан-Пьер издал вопль, выпустил телефон из рук прямо в воду и прыжками помчался к нам, размахивая руками, словно ветряная мельница.

— Конрад Лоренц, «Агрессивность», глава одиннадцатая. — закончила цитировать Валери, перевернувшись на бок и опершись на локоть.

С багровым, искаженным от боли лицом он рухнул прямо на ее завтрак и задрал ногу. Потом грубо сорвал с Валери лифчик и обвязал его тугим жгутом вокруг лодыжки. Я только хмыкнул: мне-то казалось, что я подам им на блюдечке неспешную любовную историю, роман при свете костра у горного уступа, где они раскроют друг дружке свои разбитые сердца.

— А трусы мои тебе не нужны, господин Чурбан? — закричала Валери, отбросив прочь полотенце, которым я хотел было прикрыть ее грудь.

— Морской дракон, — запыхавшись, прохрипел Жан-Пьер. — Такое со мной уже однажды было в Раматюэле. А я аллергик... Я... У меня в комнате есть телефон моего врача...

И он боком заполз на купальный матрасик, его била дрожь. Да, в таком путешествии подобный тип — отнюдь не подарок.

Надув от ярости щеки, Валери вскочила на ноги, напялила свою тенниску и не слишком вежливо заметила мне:

— Как видишь, при прочих равных условиях мои гуси для меня предпочтительнее.

И она бросилась по узенькой дорожке, тянувшейся вдоль пляжа за шеренгой эвкалиптов. Я уже начал было думать, что на том наше путешествие и закончится, когда она возвратилась с симпатичным парнем и тот мне помог дотащить нашего атташе до своего такси.

— Мне больно, — стонал Жан-Пьер.

— Пустяки, обойдется, — успокаивал я.

На нашем пути курортники переставали играть в волейбол, и мне было стыдно нести, как мешок, по пляжу моего недотепу в костюме льва пустыни с лифчиком вокруг лодыжки. Я стыдился и переживал за него.

— Тебе сейчас везти в поликлинику, мисью, — повторял шофер. — Там тебе лечить.

Я злился и на него тоже — за его уродский выговор, оскорблявший мой родной язык. Я бы с удовольствием подрался с ним по-мужски, как араб с арабом, в моем положении это был бы единственный способ нормально пообщаться с кем бы то ни было, потому что мне все обрыдло, обрыдло, обрыдло. Жан-Пьера я бросил, как тюфяк, на сиденье старого «пежо», и он замычал в истерике:

— А... А мой телефон?

— Дерьмовая жизнь! — подытожил я.

Он снова принялся клацать зубами, а потом потерял сознание, уронив голову мне на плечо и трясясь в разъепанной четырестачетверке по всем ухабам проселочной дороги. Валери права: этот тип — кастрюля, дырявая кастрюля. Она перегнулась через атташе и схватила меня за руку, так мы и доехали, пихая друг на дружку этого беднягу, которого мотало между нами. То, что она так же раздражена, как и я, меня немного успокоило, хотя мы не проронили ни слова. Меж нами действительно что-то происходило, хотя что именно, не могу сказать, но ничего подобного я раньше не испытывал. Ведь мы же встретились: она, после долгих лет бессмысленной зубрежки кончившая гидом, и я, потерявший годы и годы, ломая автомобили и скучая до слез по оставленной школе. Мы дополняли друг друга: два неудачника по бокам третьего — атташе-смертельный-номер, которого хотелось отослать назад в его страну с письмецом для его жены. Но я не умею долго быть эгоистом, возможно, потому, что мне нечего защищать.

Я выпустил руку Валери. Одновременно со мной она сжала пальцами коленку бредившего Жан-Пьера, которого мучили кошмары, и этот жест заставил меня полюбить ее еще сильнее. В конце концов именно чего-то подобного я от нее и добивался: чтобы она нянькалась с этим великовозрастным младенцем вместе со мной, чтобы мне удалось хоть ненадолго почувствовать себя отцом. Может, такие желания приходят из детства, не знаю, но и она тут сыграла не последнюю роль: я чувствовал, что и ей, и мне необходимо что-либо поосмысленнее передка, чтобы любить друг друга.

Я взволнованно пялился на нее, как вдруг заметил, что нашего атташе раздуло. Да, такая аллергия — отнюдь не шутка, его отек норовил заслонить нам обзор, и я отвел глаза (из осторожности, чтобы не прыснуть). Валери тоже, должно быть, вообразила, что он будет раздуваться и раздуваться, пока не раздавит нас о бока машины. Послышался какой-то сдавленный кроличий писк: она тоже пыталась подавить приступ смеха, и для моих ушей он прозвучал как сладкая музыка — так хихикают подельщики. Вероятно, в подобную минуту я не имел права чувствовать себя счастливым, однако никогда не знаешь, где несчастье подкарауливает тебя самого, а потому счастье следует подбирать везде, где оно плохо лежит. Такова моя философия, и хорошо, что теперь есть кто-то еще, кто ее разделяет...

Поликлиника оказалась новеньким зданием на холме и выглядела гораздо роскошнее, чем диспансер Святого Иосифа в Марселе-Северном. Доктор в безукоризненно белом халате принял от нас и погрузил пострадавшего на тележку, а затем возвратился, чтобы спросить наши имена и заполнить карточку.

— Это мой приятель, случайный попутчик. — сказал я.

— А вы кем ему приходитесь? — спросил он у Валери.

— Я владелица лифчика.

Он поднял голову и проворчал, что жгут из ее бюстгальтера слишком затянут и пациент рисковал получить гангрену. Валери уточнила, что он, кроме всего прочего, аллергик, но ей неизвестны противопоказания. Ну, укол-то ему уже сделали, успокоил нас врач, а дальше будет видно. Он ушел, забыв прихватить заполненные нами бланки.

Я шепнул Валери на ушко, что нахожу его странноватым; она заметила, что сейчас, слава Богу, не рамадан, а то в прошлом году ее отцу оперировали мочевой пузырь во время поста, и хирург потерял сознание, зашивая разрез. Чтобы немного отвлечься от дурных предчувствий, я спросил ее, чем занимается ее отец. Она отвечала, что он тоже врач, но бросил практику из-за пьянства. А теперь занимается садоводством. Нет, не для денег, а от отчаяния: после смерти жены мир для него перестал существовать.

Меня охватила страшная грусть, так как на ум взбрело, что умри сейчас Жан-Пьер на своей каталке, земля не прекратит вращаться. Его Клементина станет вдовой, что гораздо престижнее развода, а лотарингская родня хоть и погрустит — не без того, — но они-то помнят семнадцатилетнего будущего писателя и совсем не знали атташе по гуманитарным проблемам, пентюха-неудачника с его чемоданчиком, радиотелефоном и бейсбольной каскеткой; вот он-то станет моим личным усопшим, я единственный, кто не устанет оплакивать его такого, какой он сейчас; но мне полезно было бы кого-нибудь оплакивать. На этого, по крайней мере, я очень рассчитывал, и после него осталась бы пустота, потому что он бы покинул меня не по своей воле.

Через полчаса нам его вернули, уже не раздутого, победно семенящего и довольного, что аллергия побеждена, «между тем как тогда, в Раматюэле, не поверите, я бредил три дня подряд с температурой под сорок». Потом он попросил прощения за беспокойство и пожелал во что бы то ни стало подарить Валери новый купальный костюм, как я заподозрил, она начала ему нравиться, и потому я намеренно не стал выходить из такси, когда они делали покупки. Видимо, он даже огорчался, что я не разделяю его ликования, но мне требовалось какое-то время, чтобы избыть свою печаль: ведь всего полчаса назад я его почти что похоронил.

6
ПУТЕВОЙ ЖУРНАЛ
Жан-Пьер Шнейдер
Агадир — Иргиз (Марокко)

Ясно, солнечно, 25°С.

Отъезд в 14 часов по дороге Р32, соединяющей Агадир с Варзазатом. Следуем вдоль реки Сус по равнине с роскошной растительностью; пастухи пасут свои стада под оливковыми деревьями и арганиями, причем длинные колючие шипы последних послужили причиной нашей первой задержки: прокол шины. Азиз взял на себя смену колеса.

Пастухи в бурнусах сбежались к нам отовсюду. Я-то по наивности подумал было, что они предложат помощь. Увы, их единственным желанием оказалось что-нибудь выклянчить. Наша проводница помешала мне раскрыть кошелек, в качестве довода указав на их многочисленность. Заодно она обучила меня первому арабскому выражению — «ашиб Алла», что значит: «Аллах подаст». Я повторяю это, постепенно совершенствуя свое произношение, так что новоприбывшие обслуживаются качественнее первых. Шучу, конечно, но картина вопиющая: нищета, обусловленная не столько жизненными обстоятельствами, сколько социальным рефлексом. Как всегда, виноват Запад. Везде, где сказывается его влияние, он окультуривает, создавая новые потребности. «Ашиб Алла»... Деликатность ритуала, привитого на почву отвратительной реальности.

Вспоминается великолепная фраза Люсьена Гитри. Однажды, увидев сидящего у стены слепца, он дал маленькому сыну золотую монетку, чтобы положить нищему в шляпу, а потом спросил: «Саша, почему ты не улыбнулся этому человеку,

когда творил милостыню?» — «Но он же слепой, папа». А отец отвечает: «Конечно, милый, *но вдруг это фальшивый слепой?*»

Азиз справился с колесом, и мы вновь трогаемся. Скорее бы покинуть эти равнины, слишком обкатанные туристами! Впрочем, я прекрасно отдаю себе отчет, что в этом путешествии с элементами инициации, приобщения моего спутника к жизни предков, важно буквально все.

Жара вполне терпима. Азиз сидит впереди, я — на заднем сиденье, под которым лежат канистры с бензином, и струйка воздуха из окна помогает кое-как справляться с дурнотой. Голова Азиза повернута к снежным вершинам Атласа, которые уже обозначились по левую руку. Угадываю, сколь напряженно и тревожно его ожидание; постараюсь выразить его в слове, но позже, когда все отстоится. Пока же делаю лишь некоторые заметки, веду бортовой журнал, который послужит доказательством подлинности нашего предприятия, и притом позволит мне избежать *a posteriori*[1] подвохов памяти.

Набрасываю эти строки около живописного водопада среди расположившихся на пикник немцев, чудовищно дисгармонирующих с экзотической красотой здешних мест. Олеандры. Финиковые пальмы. Опунции. Верблюды напрокат. По штабной карте-миллиметровке определил, что наша проводница сделала крюк в сорок километров, чтобы мы могли полюбоваться видом. Вечером или завтра намекнуть ей, что мы не имеем ничего общего с *туризмом*. Все прелести местного колорита, как бы хороши они ни были, не совпадающие с тем маршрутом, который избрал Азиз, *вне нашего круга интересов*.

Мы без остановки пересекаем Тарудант и его базары, мимо мелькают бугенвилии, проносятся крепостные стены XVIII века с аистиными гнездами. Мадемуазель д'Армере правильно поняла мое нетерпение. А точнее, непременное условие: я не открываю, я воспринимаю. Я подготавливаюсь. Тренируюсь.

Сколько лет я уже не писал! Стиль. Позаботиться о стиле.

P.S. Когда в Таливине нас остановил дорожный патруль, в ее паспорте я прочитал ее фамилию целиком: д'Армере де Вильнёв. Я был знаком с одним Вильнёвом на подготовительных курсах в институт. Спросить при случае, не родственница ли она ему?

Среда 26-го.

Время то же.

Провели ночь в «Клаб Караме», шикарном отеле Варзазата. Отвратительно. Кондиционеры, прислуга. На будущее — требовать ночлега у коренных жителей, в крайнем случае, на местных постоялых дворах. И к тому же, черт подери, в наше снаряжение входят палатки! Будем разбивать лагерь! В нашей истории нет места для патентованной асептики международных отелей.

Что до Варзазата — ничего примечательного. Казармы иностранного легиона, за фасадом которых обрел приют паб в английском стиле. Американские автобусы еле плетутся по песку к глинобитной деревушке, где Орсон Уэллс снимал «Содом и Гоморру». Сувенирные сигары, «подлинные» кресла режиссера с его именной табличкой на спинке. Жалкая картина.

Стараюсь восстановить утраченный контакт с Азизом. Он уклоняется, а я не понимаю его нового настроения. Казалось, он полностью разделял мой энтузиазм в аэропорту Рабата, когда мы закладывали основу моей будущей книги. Мне необходим *его взгляд* на страну, ведь именно ему предстоит стать в романе рассказчиком. Мои персональные реакции не имеют никакого значения, и я стараюсь не фетишизировать их. Но если собственные впечатления Азиза не подхватят мою эстафетную палочку, говорить будет не о чем и повествование сойдет на нет.

Быть может, Азиза стесняет присутствие «третьего лишнего». Мне надо бы поговорить с Валери, но это тоже нелегко. Я чувствую: между нами воздвиглась какая-то стена, и здесь тоже дело в Азизе. Он уловил, что ее явственно притягивает ко мне — конечно, она успешно сопротивляется своему чувству; впрочем, сделавшаяся инстинктивной холодность необходима для ее профессии: ей фатально

---

[1] Впоследствии (*лат.*).

приходится терпеть наскоки всякого самца, не вышедшего из возраста, в котором способны любить. Возможно ли, чтобы при его внешности, его двадцати годах, улыбке, крепких плечах Азиз *приревновал* меня к ней?

Если именно так и есть, это было бы прискорбно для моего романа, но восхитительно для меня. Ведь мне уже тридцать три года, правда, без шести месяцев. Боже всемогущий! Что я сделал со своим талантом? Да, да, знаю. Но за кого мне сражаться? Я позабыл о женских взглядах с тех пор, как моя жена меня в упор не видит. Валери д'Армере де Вильнёв...

Не стоит об этом.

P.S. В том чувстве, что она демонстрирует по отношению ко мне, не заметно и тени сексуальности. Лишь взаимное притяжение людей одной культуры. Странно, что она так заблуждается относительно меня — она, выходец из замкнутой касты бордоской знати, с непременной учебой в пансионе, воскресными хождениями к мессе, простынями с кружевами, занятиями на фортепьяно, уроками гольфа... Она отождествляет меня с собой, она судит обо мне по дипломатическим этикеткам моего чемодана; быть может, она принимает меня за кого-нибудь из боковой ветви Шнейдеров, входящих в политическую и индустриальную элиту Франции, владельцев «Крезо», тех, кого преподаватели истории именуют «Шнедры», чтобы блеснуть эрудицией перед учениками, так же как тогда, когда роняют «Брёй», «Ласс» или «Тремуй», имея в виду благословенных обладателей имен, которые произносятся не так, как пишутся, и очаровывают всех прочих, воспитанных культурой готовой одежды. Меж тем как подлинный принц, наследник, последний представитель династии, живое продолжение традиции — это как раз Азиз. Я же вышел оттуда, где читают «Юманите» по воскресеньям и почитают патрона в будни, покорно проживают раз и навсегда прочерченную жизнь: от калитки к заводу, а потом от проходной — в кафе, где трогательно гордятся профессиональным братством, добротной работой — всем, с чем я порвал.

Однако и она бунтарка. Достаточно поглядеть на ее тонкие пряди, природой созданные для шиньона, грубо откромсанные кухонными ножницами, на кожу без грима, татуировку на руке, на чисто мужскую манеру чуть выпячивать подбородок, когда говорит по-арабски, резковатый голос. Непокоренная бунтарка... Она избрала себе в удел трудные тропы, высохшие русла рек, необозримые пространства. Я — книги, свободу, умственный труд. И чего мы оба достигли? Никому не нужный атташе по связям с прессой. И рядом с ним — глотающая пыль бродяжка, окруженная измочаленными туристами, фотографирующими прирученных туарегов, промышляющих торговлей открытками.

Вчера вечером в ресторане, где на столиках лежали гротескные меню в твердой обложке с тарабарским тиснением, — голубой лучик ее взгляда, протянутый к моим рукам. А у меня руки с короткими, квадратными пальцами человека, не причастного к иному труду, кроме физического. Из третьего поколения сталеваров. В них так трудно держать авторучку. И все же, и все же... Видела бы ты меня сейчас, Валери, на моем стуле из синтетического каучука, перед стаканом йогурта, в котором плавают мои пшеничные проростки, посреди горной террасы с видом на вершины Высокого Атласа, меня, который все пишет, пишет, не замечая красот природы — до них ли мне теперь! Важны лишь руки, пытающиеся выразить, каков я есть. Я всегда прятал эти руки там, в Париже, на коктейлях в стенах Кэ-д'Орсэ[1], на званых обедах, а вчера вечером, знаешь, я с гордостью выставлял их тебе на обозрение. Мы свернули с автострады P32. Наконец-то! Куда ни глянь, никаких туристов — настоящее приключение начинается. Несколько полуонемеченных берберов голосуют на дороге. Валери не останавливается. Через опущенное стекло я кричу им: «Ашиб Алла!»

В нашем доме на колесах царит какое-то непередаваемое возбуждение. Охватившее всех единое чувство: наконец мы вступили на стезю, где поджидает неизведанное, *действительно* вышли на дорогу в Иргиз. Даже молчание Азиза обрело иной смысл: теперь оно нам сопутствует, как добрый ветер парусам. Словно улыбки Ва-

---

[1] Обиходное название Министерства иностранных дел, расположенного на набережной Кэ-д'Орсэ в Париже.

лери, посылаемые мне в зеркальце заднего обзора, светлые, дружеские, пронизанные терпеливым любопытством, — словно эти улыбки поддерживают его силы. Я ошибался: он ко мне не ревнует (а я-то воображал!). Он почувствовал, что я неравнодушен к Валери и просто опасался отказа с ее стороны, который бы отравил атмосферу нашей экспедиции. Видя же, что Валери не занимает круговой обороны, он помягчел. И явно воображает себя в роли нашего крестного отца. Как, бишь, говаривали еще в лицее? Держать свечку, вспомнил. Азиз, факелоносец ты мой, готовь спички.

Этот парень потрясает меня. Такая простота, деликатность его молчания, доброжелательность в мой адрес, зрелость младенца, взращенного древними камнями, наблюдавшего течение веков, не поколебавших устои души. Именно он придаст книге объемность мифа. Все будет выстроено вокруг него как главного персонажа, от лица которого я, быть может, смогу когда-нибудь писать, как от моего собственного, когда усвою его взгляд на мир и проникну в тайники его воображения.

Странный он, Азиз. Склонный к провокации, чуждый религии, необразованный, не ведающий собственных традиций! Он протягивает мне руку, спасательную трость. Он провоцирует всякие случайности, которые сдобрят мою книгу. То, что со мной происходит, невероятно. Я видел в нем свою музу, а он оказался каким-то «дьяволом-хранителем», способным искушать и преобразовывать события и даже людей на своем пути, таким образом давая наполнение моей книге.

Представляю, во что вылилось бы наше путешествие в джипе этого Омара, которого я тогда где-то выловил. Даже одной главы не вышло бы. Спасибо тебе, Азиз («шокран» или более торжественно: «барака Алла фик». Буквально: «Да наделит тебя Аллах чудотворной силой».)

В семнадцать часов во время остановки в великолепном цирке Джаффара (стада верблюдов, вековые кедры, можжевельник, непреодолимая громада заснеженного джебель Айаши[1]), воспользовавшись отсутствием Азиза, отлучившегося по нужде в ближайшие заросли дрока, я спросил Валери об иргизской легенде. Она несколько снисходительно подтвердила существование преданий о «заповедной долине», где сохранились доисторические растения и животные, но в ее речи меня удивил оттенок какого-то осуждения, словно ей хотелось заранее подвести подкоп под мой оскорбительный скептицизм, если я к таковому склонен (не является ли здесь, в Атласе, скептицизм «левой рукой» разума?[2]).

Одним словом, у меня было такое чувство, словно я говорил об НЛО со специалистом из НАСА, который засыпал меня вырезками из досье: проверенные данные о скорости, показания радаров, материальные следы. Аналитическая точность перед лицом всего лишь допустимой гипотезы. (Nota bene: перенести в книгу мои наблюдения на коллоквиуме «Пограничные области науки» в Пюи-Сен-Венсане, куда меня послало Управление книжной и рукописной продукции сопровождать того испанского физика, который утверждал, что обнаружил на молекулярном уровне доказательства внеземного происхождения некоей цивилизации Умнитов. По Лупиаку то был просто заговор КГБ для дискредитации европейских ученых. Я всегда оставался противником его версии. Объяснить почему. «Нет» всякому последовательному опровержению мечты. Уважать то, что превосходит наше понимание.)

Так вот, Валери пичкала меня ссылками на данные палеонтологии: отпечатки ископаемых ящеров из Имин-Ифри (25 миллионов лет) и их громадные яйца, обнаруженные в неправдоподобном состоянии консервации. Места отправления неолитического культа в Тизин-Тиргиз, тысячи наскальных изображений из Тинсулина и с берегов Дра, исполненных в технике гравюры резцом (10 000 лет)... Если ее послушать, Марокко изобилует граничащими с чудом следами древней жизни, местами, где на протяжении веков ничего не менялось, тайнами, не поддающимися расшифровке. Что до мест, подобных Иргизу, их сотни в недоступных ущельях

---

[1] Гора Айаши.

[2] Литературная аллюзия: «Свет — всего лишь левая рука тьмы, А тьма — всего лишь правая рука света...» *Урсула Ле Гуин*. Левая рука тьмы (русск. перевод: Новосибирск, 1992.).

Высокого Атласа. А асфальтированная дорога, угрожающая равнине сероликих людей, — магистраль СТ1808, предназначенная для обслуживания горнолыжной спортивной базы около горы Вавизагт (3770 метров), да, того самого отвратительного шрама на лице природы, той стройки, что мы только что миновали.

Когда вернулся Азиз, она взяла его в свидетели. Он подтвердил ее слова. Она спросила, далеко ли мы от тех мест. Он встал в середине цирка, уперев руки в бока, и долго поворачивался в разные стороны, казалось, разыскивая в ослепительной белизне ледников самый удобный для преодоления перевал. Она быстро проговорила что-то по-арабски, он же ответил только долгим, очень серьезным покачиванием головы. Затем она посмотрела на меня. Она не захотела перевести, о чем его спрашивала.

Обильный ужин вечером в *тигремте*, крашеном охрой доме-крепости с окнами, обведенными белой краской, отгоняющей злых духов (*жнун*). Мятный чай, *харира* (суп неопределенного свойства), *таджина* (тушеное мясо) с черносливом, *кефта* (фрикадельки), гигантских размеров стручки жгучего перца, который я съел, приняв за сладкий, и два литра воды, призванной затушить пожар, несмотря на предостерегающие восклицания Валери, опасавшейся бактерий. А мне на них плевать, для меня теперь единственная нечистая вещь, которую надобно избегать, — моя левая рука. Тридцать два года минеральной воды «Эвиан» — стоп. Я жить хочу. Я выбросил мои пшеничные проростки.

Потом я отдалился от глинобитных хижин селения, чтобы справить малую нужду подальше от чужих глаз, и, потирая горящее горло, очутился среди коз и каменных дубов (проверить, те ли дубы). Там меня отыскала Валери. Мы сели на старые покрышки. Она взяла меня за руку. Пот, уже пропитавший мой пуловер, как по волшебству, высох. Она мне призналась, что Азиз никак не может найти вход в свою долину. Я успокоил ее, что время у нас еще есть. Что впервые в жизни мне так страшно хочется, чтобы время еще было. Она коснулась своими губами моих и подарила мне поцелуй, продлившийся добрых двадцать секунд. Потом она отпрянула, гордо вздернув подбородок, с непокорной прядкой на глазах, и спросила, лучше ли мне теперь. Я ответил, что лучше. Она прошептала, что ослабила действие перца и по сему случаю накидываться на нее бесполезно.

Я глядел, как она удаляется к хижинам. Запечатлевал в памяти силуэт ее фигурки, тонкой и отчаянно юной, живой, недоступной. Как предложить свою любовь фее, которая смеется над вами? Да и занималась ли она когда-нибудь любовью? В ней есть нечто неизлечимо девственное: резковатое свободолюбие, мечтательная непреклонность, безотчетная меланхоличность. Быть может, именно об этом она и пыталась мне сказать. Я еще никогда никого не лишал невинности. Агнес, Агнес... Как далеки Юканж и ты, там, в моей комнатке, где я читал тебе мою рукопись и, опьяненный собственными фразами и тобой, моей единственной читательницей, целовал тебя на кровати, ласкал тебя, а ты говорила «нет», ты повторяла: «Читай еще». И я читал.

Если нам придется, Валери, заниматься любовью и если для тебя это первый опыт, верь мне, я буду таким же девственным, как ты. Я вдруг почувствовал, что мне только пятнадцать. Однако должен заметить, что твой поцелуй ни в коей мере не прекратил жжения от перца.

Я счастлив. Так ли?

Посмотрим.

Первая ночь под открытым небом. Я ненароком порвал желтую палатку, желая обрезать слишком длинную веревку. Валери ставит зеленую и обосновывается там. И тотчас тушит свою газовую лампу.

В час ночи — ужасная буря, прямо-таки дантовской мощи. Азиз и я, промокшие до костей, укрываемся «в лендровере». Через десять минут неизвестно откуда обрушивается грязевой поток и уносит покинутую нами палатку. Мы бросаемся к той, где Валери, хлопаем по полотну, отдергиваем застежку «молнию». Она полусонным голосом обругивает нас и посылает куда подальше. В трех метрах от нее, спящей, бушует поток. Мы колеблемся, решая, не вытащить ли ее силой, а затем

по очереди дежурим, наблюдая за палаткой через лобовое стекло, до самого конца грозы.

Семь часов утра. Похолодало на пятнадцать градусов. Накинувшая пуловер Валери только что выбралась из палатки. Я зажигаю фары, чтобы она видела, куда ступает, и выхожу из машины, неся ей термос. Она бросает рассеянный взгляд в огромную выбоину, проделанную ночным потоком, и роняет фразу, которую я никогда не забуду: «Те, кто не любит жизнь, знают, когда им помирать. Я ничем не рисковала».

Она делает пипи за палаткой и возвращается в нее досыпать. Встает заря, небо, как и вчера, кристально ясное, с мерцающими звездами. Я закрываю термос и возвращаюсь в машину, где продолжаю писать, положив блокнот на руль. Азиз, привалившийся в своем спальнике к дверце, хмуро бормочет, что мне бы лучше потушить свет, а то сядет аккумулятор. Он вновь засыпает. Высоко в небе над нами кружит орел.

Перечитываю фразу, произнесенную Валери. Она станет гвоздем моей книги. Моей книги. Уже не знаю, что в ней будет. Мне наплевать на Иргиз, на сероликих людей, на Кэ-д'Орсэ, мою миссию, на водворение Азиза на его родину, поскольку он может позаботиться обо всем этом и сам. Валери, Валери, Валери. Ах, как...

Откладываю авторучку, чтобы докончить фразу в мечтах.

Воскресенье 29-го.

Ослепительное солнце, 20°С.

Не знаю, с чего начать. Моя жизнь перевернулась.

Вчера вечером я не вел записей. Не мог.

Чудесный, погибельный, несказанный...

Для чего служит прилагательное?

В субботу утром, без десяти восемь, подошла Валери и постучала в мою дверцу. Просыпаюсь, открываю. Она вытаскивает меня из «лендровера» и тянет к обрыву. Взгляду открывается пустыня в цвету. Палево-фиолетовые, желтые, голубые пятна, мерцая, проступают на растрескавшейся земле. Не сдержав восхищения, я сжимаю ее в объятиях, но в ответ слышу, что она, собственно, здесь ни при чем: это всего лишь явление природы. Редкое, но вполне естественное. Как любовь. В Атласе семена растений могут годы дожидаться благоприятного дождя, который позволит им прорасти, и тогда они взрывообразно распускаются и расцветают — все разом, под первыми лучами солнца.

Я кладу голову ей на плечо. Она рукой легонько притягивает меня к себе. Мгновение полноты существования, абсолюта, уверенности — фразы закруглю потом. Слова отказываются повиноваться. Лирики я опасаюсь не меньше банальности. Хотелось бы посылать ей письма и ждать ответа, но я в своей жизни потерял столько возможностей! И вот я хватаю ее за руку и бегом тяну к маленькому озерцу, около которого мы остановились на ночлег, чтобы вместе с ней броситься в воду, распугивая розовых фламинго, прижать ее к груди и рухнуть в сияющую рябь. Она кричит: «Нет, не здесь, осторожно!» И произносит какое-то имя, но оно ничего мне не говорит, что-то вроде Билли: может быть, это человек, которого она любила, или который здесь утонул, но какая разница?[1] Ничего, кроме ее тела, не существует во всплесках взбаламученной нами блестящей грязи. Мир принадлежит только нам — полное безлюдье, если не считать Азиза, который где-то готовит для нас кофе. Я опрокидываю ее в жидкую тину, сбрасываю с себя одежду, словно какой-нибудь красавец, она вздыхает и прямо на этом ложе, проваливающемся под нами, отдается мне.

Надо описать то, что произошло потом; но я все еще под впечатлением шока. Да, знаю, я был неловок, груб, но меня так переполняло желание, мне это так было необходимо, что она с каким-то фатализмом впустила меня в себя. Когда я обна-

[1] На самом деле она сказала «бильгарциоз». Кишечное заболевание, вызываемое червями-трематодами, переносчиками которых являются водяные моллюски, способные передавать их и человеку. Она мне после все объяснила. (*Прим.Жан-Пьера.*)

ружил, что получил удовольствие только сам, я тихо, с комом, подкатившимся к горлу, пробормотал: «Ашиб Алла», словно нищему, которому не смог подать. У нее хватило снисходительности улыбнуться. «Я люблю тебя». (Это я говорю). Отвечает: «Да нет». Вот увидишь, когда из этого выйдет книга.

Помогая тебе подняться, я спросил в сомнении (однако, если уже выглядишь смешным, можно себе позволить и наивность), первый ли я у тебя. Ты отозвалась надменно, но, возможно, только из целомудрия или гордости: «В воде — да!»

Мы отошли от озера, и фламинго за нашей спиной зашевелились, возвращаясь на прежнее место. Не оглянувшись, ты кинулась в свою палатку. Я пошел искать Азиза, который отошел к полупересохшей речке и развлекался, бросая гальку так, чтобы она прыгала по воде. Думаю, он нас видел. Он плакал. Встав около него так, чтобы солнце не жгло ему голову, я принес ему мои извинения. Он отвечал, что плачет не из-за нас, а из-за воды. Из-за любви в воде. Поскольку я напрасно старался понять, что он имеет в виду, он начал говорить о поляне подземного леса в жерле потухшего вулкана, где благодаря свету, проникавшему сверху, росли платаны и зонтичные пальмы. Маленькие лошади давно утраченной наверху породы паслись у горячего источника, в котором, напевая, купалась среди кувшинок Лила, его возлюбленная, дочь короля Иргиза, который никогда бы не выдал ее за простого жаворонка (sic!), вот почему он добровольно отправился в Марсель на поиски господина Жироди, и потому-то он теперь в отчаянии, так как возвращается с пустыми руками. Он добавил, что не говорил мне этого раньше, но теперь проход к долине закрыт для него потому, что его левая рука стала нечистой от взглядов других людей.

Пытаюсь набросать все по памяти, в общих чертах; это зрелище — молодой парень, насквозь пропитанный солнцем, оплакивающий свое фантастическое видение, — оставляет меня совершенно ледяным. Я вдруг начисто потерял интерес к его истории. Потому что начинается моя собственная. Он теперь может неделями водить нас вокруг своей горы — я влюблен и вполне располагаю временем.

Неужели всегда влюбленные так быстро становятся эгоистами? Я посмотрел на часы. Мне хотелось удержать в памяти, что в эту субботу утром, в девять сорок пять утра, я все простил Клементине.

А что я должен ей простить? То, что ей полюбилась «Лотарингия» — моя рукопись, которую я в один прекрасный день прочел ей в ресторанчике? То, что на обедах для студентов в доме ее матери меня просили на десерт почитать несколько страниц оттуда «для возбуждения аппетита»? Нас убила боязнь показаться смешными. По крайней мере, меня. Она-то, во всяком случае, не бедна. И с художником жить легче. Достаточно десяти секунд, чтобы все уразуметь: взглянешь на стенку, и готово — художник не так мешает удобно жить, как писатель. А потом, Лупиак действительно пишет красивые картины.

Перед завтраком романтическая прогулка в одиночестве, в мыслях о Ней, о Ней, совершенно новой, о Валери д'Армере де Вильнёв. Сладость моя, моя сирена. Я бродил вдоль русла. Боли в желудке. Думаю, что психосоматического свойства.

Азиз достал нам мулов, чтобы попытаться пройти по южному склону горы: по его уверениям, он припоминает, что проход находится там. Я позволяю ему делать все что угодно. Желудочное расстройство.

Валери занимается обычными делами, чертит маршруты по карте, манипулирует циркулем и компасом, чтобы восполнить недостаток знаний нашего сероликого человека. Как кажется, ее отнюдь не стесняют мои маленькие проблемы. «Я кое-что понимаю в подобных болезнях», — заметила она. Со своей стороны она предупредила меня: нежности, клятвы, разглагольствования о нашем будущем — все, что я горю желанием ей предложить, она отвергает сразу. Что до новых занятий любовью, она бы предложила мне сначала принять лекарства, которые она отыскала в моей походной аптечке. Меня несколько беспокоит, что они все попорчены. Она щупает мне лоб, сжимает запястье и, сосчитав пульс, отвечает: дескать, неизвестно что больше испорчено — они или я. Надеюсь, это шутка.

Ее диагноз — амебная инфекция. Вода, в которой мы познали друг друга? Нет, та, которой я запивал жгучий перец.

Предпочитаю последнее.

Азиз на своем муле возвращается под вечер. Он заявляет, что проход должен находиться на южном склоне. Видя, что я весь дрожу в своем спальнике, он спрашивает Валери, что у меня еще. Она отвечает ему по-арабски. Он отворачивается и вздыхает. Мне не переводят.

Понедельник
Пасмурно, 39,4°С.
Отказался спуститься вниз и обратиться к врачу в Табанте. У меня лихорадка, ну и черт с ней; она вот-вот прекратится, и мы пройдем перевал. Никогда больше я не поверну назад. Роман будет называться «Путь в один конец».
Желудок терзают приступы резкой боли, иногда у меня бывают странные помутнения сознания, отнюдь не неприятные. Они куда-то меня уносят. Я в уме своем *к чему-то приближаюсь*. Что-то важное, отступающее в туман под действием аспирина, но я еще вернусь и найду.
Слишком устал, чтобы записывать свои сны. Слова без всякого порядка, в надежде, что они напомнят об образах: Генрих IV — Ливан — рогалики — лилии — кекс.
Нога после укуса морского дракона снова начала пухнуть, и Азиз поддерживает меня, когда приходится встать и пройтись, чтобы сняться с лагеря. Продолжаем огибать горную цепь. Тропу он все еще не нашел.
Подождать ночи с Ней под пологом одной палатки. Вновь обрести Агнес, слова, которые я для нее извлекаю из своей тетрадки. Агнес замужем, дети, просьба быть крестным отцом. Отказ, почему? Все так плохо. Все эти потерянные, испорченные годы. Во имя чего? Стыд. Стыд за то, что я сотворил. Перрон Восточного вокзала. Нет. Пока не надо слов. Еще не время. Забыть.

Четверг?
Ветрено, солнечно. Жар спал. Остаюсь в палатке, пока они исследуют подходы.
Воскресная поездка в Бриер. Маленький домик с разными полустертыми декоративными обманками, которые папа подновлял во время отпуска вместе с бригадой заводских приятелей. Отпуск по очереди: стены общие, а внутренность по вкусу каждого; дом, где все менялось... Лето в Вогезах. Мой первый уик-энд с Агнес, первый раз она сказала «да». Наедине с ней. И папой. «Ты несовершеннолетний, Жан-Пьер, я поеду». Ночь он проспал в своей «симке», под нашими окнами. Ради мамы. Она возложила на него особую миссию, но он нам оставил ночь. Нашу ночь, во время которой мы ничего не сделали. Я тебя люблю, папа. Я никогда тебе не говорил, только писал и никогда не осмеливался заставить тебя это произнести. Та-ри-ри-и, та-ра-ра-а,та-ра-та-та! — в восемь часов утра, чтобы мы успели привести себя в приличный вид; а затем он принес нам рогалики. Клянусь, мне не было стыдно за тебя. В своей голубой рабочей робе, клетчатой кепке и с отяжелевшим лицом, испачканным известкой, ты уже два часа как возился, поправляя запор в двери погреба. «Как дела, голубки, вы, надеюсь, были благоразумны?» С этакой веселенькой беспечностью. Нет, в тот раз я за тебя не стыдился. Только за себя. И ненавидел Агнес, отказавшуюся отдать мне свое тело. Теперь она отвернулась от отца, поджав губки и уставясь в стену, обернув простыню вокруг груди, которая даже не была обнажена. Мой единственный уик-энд с девушкой. До Кле. Никогда больше у меня не было рогаликов по утрам с кусочками штукатурки. Тогда я на тебя так обиделся, папа. Обвинять тебя было так легко. А ты даже не знал, что существуешь в моей книжке. Что там — твоя жизнь. И для меня ты более нигде, кроме как на бумаге, не существуешь. Не желаю знать, как ты выпиваешь, стареешь, играешь на трубе и похрапываешь за столом. Жизнь, сожженная в доменной печи, к которой ты относился с таким почтением. Печь была твоей гордостью. Прости, папа. Прости за все, что было потом. Прости за вокзал. Мне плохо.

Вечер, числа не помню.

Жар возобновился. Валери ухаживает за мной. Написанное не перечитывал. Хочу освободиться, чтобы это отпустило меня. День моего стыда. Двойного стыда.

Я поступил на службу. Кэ-д'Орсэ. Телексная служба. Функционер. Дипломат. НАКОНЕЦ я мог хоть что-нибудь им доказать, я кем-то стал, а значит, я уехал не зря. Я послал им билеты на поезд. Собирался отпраздновать с ними. В «Охотничьем рожке», памятном для папы ресторанчике, единственном его воспоминании о Париже, о его ночи в столице, в 39-м, перед отправкой на фронт. Приехал поездом, уехал так же, затем четыре года плена и снова на поезде назад, вес — тридцать шесть кило. А теперь я их ждал на вокзале. Ради примирения. На сей раз это был поезд счастья. «Мой сын преуспел в жизни».

Пробки, столкновение, полицейский протокол — и я опоздал на полчаса. Когда я их обоих увидел, растолстевших, раскрасневшихся, напяливших свои воскресные костюмы: он — клетчатую куртку, она — меховое манто соседки, уже послужившее ей в день женитьбы моего брата, я не выдержал. Чемодан из желтого ская, сумочка, купленная на дешевой распродаже, с домашним пирогом внутри. *Ее* кексом. Я не мог сделать ни шага. Был на грани срыва, боялся их гнева... Невозможно подойти к ним. Попросить у них прощения... Чтобы простили за опоздание, за то, что еще живу и не даю о себе знать, что влюбился в парижанку. Они кричали друг на дружку, призывая в свидетели вокзального служителя, только пожимавшего плечами. Я не двигался с места. Старался не дышать. Глядел на свое отражение в витрине табачного киоска. Костюм-тройка, круглые очки. Это я? Этот тип из бюро, униформист из министерства, выпотрошенный мечтатель, персонаж Магритта? Я, писатель, влюбленный в нервалевском духе, певец Лотарингии, посвятивший рукопись Бернару Лавилье, тоже выходцу из семьи сталеваров, нашему герою, бунтарю, признанному воителю, чьи яростные призывы передавались на ушко, чтобы начальство не услышало? Чем же я стал? Вешалкой для собственного костюма.

Я не двинулся с места, не позвал, глядел, как, волоча чемодан, они перебирались на другую платформу, чтобы снова сесть в поезд и уехать назад. Папа орал и ругался. Мама утирала слезы. Пирог вывалился из сумки. Я не двигался. Двойной стыд. За то, чем они остались и чем стал я, не пожелавший на них походить.

Когда поезд на Мец, поблескивая красными огоньками, исчез вдали, я подобрал кекс. И сохранил его, так и не осмелившись съесть. Он до сих пор лежит на бульваре Малерб в моем шкафу. Если только Кле его не выбросила.

Рука слишком дрожит. Я все сказал. Я смогу их любить, только когда они умрут. А если мне выпадет первому? Тогда вечером я позвонил в Юканж. Очень расстроен, что не повстречались, нахожусь в Ливане с экстренной миссией, посылал к вам моего секретаря, который, по всей видимости, с вами разминулся, действительно, очень расстроен, что так получилось, сам приеду к Новому году. Хватит, Жан-Пьер. Твой отец все понимает: ты нас стыдишься. Незачем было все это ему устраивать. Оставь нас в покое, знаешь, так будет лучше; живи своей жизнью. Моей жизнью.

Сделайте так, чтобы меня прочли.

Вот уже три дня, как он больше не строчит в своем блокноте. Правая нога у него снова распухла там, где его укусил морской дракончик, и ему не удается зашнуровать ботинок. Ему частенько становится худо от аллергии и от пряных сладостей, которые он продолжает поглощать, знакомясь с местным колоритом. Его лицо — огромный солнечный ожог, и при всем том остается бледным. Он потерял килограммов пять. Но, может быть, это от любви.

Я завел привычку ночью спать в «лендровере», чтобы оставить им на двоих палатку. Валери не рассказывает мне, что между ними происходит, и я отворачиваюсь, когда лампа «молния» начинает рисовать их силуэты на ткани палатки. Впрочем, мы и так почти не говорим друг с другом. Просто смотрим друг на друга, крутим баранку, разбиваем лагерь. И я остаюсь наедине с багровыми восходами над каменной пустыней и оранжевыми восходами над снежными вершинами, лежу, уперев ноги в приборный щиток, в самом полном молчании, какое только

может быть, его два раза в день прерывает только дизель шикарного рейсового микроавтобуса, пылящего где-то внизу со скоростью сто километров в час, — это катаются по пустыне туристы класса «люкс».

Однажды утром на берегу водопада, бившего в черные скалы, я, как обычно, глядел на восход солнца, сравнивая его с предыдущим, когда увидел в зеркальце заднего обзора, что Валери вышла из палатки. Она подошла к воде, завернувшись в шаль, с ногами, голыми от нулевой отметки и ниже. Тут никакой бравады, просто полное равнодушие. Холод от камней производил на нее не большее впечатление, чем прикосновение мужчины. Она наклонилась попить, потом потянулась, взглянула на горы, пожала плечами и вернулась к палатке. Разглядев через лобовое стекло, что я не сплю, она сделала небольшой крюк. Открыла дверцу, и когда та заскрежетала, прижала палец к губам, словно урезонивая ее. Мне хотелось с ней заговорить, хотя бы просто поздороваться. Она со вздохом оглядела меня, немного склонив голову набок. Казалось, она спрашивает себя, что я тут делаю и зачем ей вздумалось согласиться на наше предложение, а кроме того — действительно ли наше присутствие так уж необходимо хотя бы для вот этого восхода солнца.

— Красивые тут краски, — произнес я, потому что мне стало очень больно от такого ее взгляда.

Она дорасстегнула мои штаны, у которых я на ночь расстегнул первую пуговицу, и потерлась своей щекой о мою с такой нежностью, какой я за ней никогда не замечал, словно хотела поднабраться у меня умиротворения перед тем, как лечь спать. А затем стала ласкать одними губами, долго, пока солнце совсем не вышло из-за гор и не высветило разноцветные круги на ветровом стекле. Похоже было на знак надежды перед концом света, на какое-то желание, еще не ведающее, что оно напрасно, на счастье, родившееся, чтобы сразу умереть. Она проглотила меня целиком, даже не посмотрев мне в глаза, а потом закрыла дверь и вернулась в палатку; может быть, так она набиралась сил, чтобы доигрывать комедию любви перед Жан-Пьером. Я был не слишком уверен, действительно ли хочу того, что выбрал, но возвращаться вспять было слишком поздно.

Каждое утро Валери составляла нам маршрут, отдалявший нас от цивилизации, — единственный способ достигнуть Иргиза. Чем выше мы поднимались, преодолевая перевалы и спускаясь в ущелья по десять раз в день, тем теснее становились границы нашего жилья и мы крепче жались друг к другу в машине, все трое — на переднем сиденье, закутанные в одеяла, поскольку обогрев перестал действовать с тех пор, как Жан-Пьер решил его отрегулировать. Открыв капот, с английским ключом в руках и отверткой в зубах, он утверждал, что еще лет в двенадцать у себя в Лотарингии умел разбирать карбюраторы. Потом начинал кашлять, и пока он выплевывал куски легких, мне приходилось искать отвертку, которую он ронял в мотор.

Он все чаще заговаривал с нами о Лотарингии, как если бы то, что он сжег мосты, соединявшие его с жизнью в Париже, открывало дорогу в детство, к самому началу пути. Огибая обрывы, пересекая русла рек, подскакивая на ухабах, мы слышали рев доменных печей, воздуходувок, заводские гудки, видели, как течет из ковша ручеек раскаленного чугуна, и ощущали, как закаляется людская дружба при тысяче пятистах градусах выше нуля. Возникал целый неведомый мир, начинавшийся за калиткой его садика. Маленький домик, стиснутый другими, в точности на него похожими, где все просыпались в одно время и торопились навстречу одинаковому будущему, та же школа, одна на всех безработица. И всякие праздные недоумки, терпеливо поджидающие, пока закроется завод, разъедутся люди и замрет жизнь, чтобы прийти в опустевший городок и обосноваться. Жан-Пьер твердил, что французское правительство обрекло Лотарингию на гибель, чтобы не дать умереть Руру. А я уже не знал, в какой мечте мы пустили корни, куда едем теперь: то ли к воображаемой долине, то ли к заводику, дымящему в далеком прошлом. Валери сидела за рулем, слушая все с полным безразличием, — наш проводник днем, любовница ночью, уверенная в своем маршруте, который не вел никуда.

А потом случилась авария. На высоте двух тысяч метров, среди ветра, зано-

сившего нас то песком, то снегом, мы три часа пытались починить мотор, но все разобранные части тотчас покрывались песком, а мы так и не могли понять, что стряслось. Жан-Пьер, видно, позабыл, что я разбираюсь в радиоприемниках, а не в моторах, Валери же возилась с радиопередатчиком и посылала сигналы бедствия в пустоту. Попробовали поставить палатку, но ее сорвало. Консервы были в целости, но консервный нож испарился. Судьба и впрямь ополчилась на нас: Жан-Пьер, в жару и бронхитном кашле, с раздувшейся от воспаления ногой, обнаружил «счастливые предвестия» того, что мы приближаемся к Иргизу. Он уже слышал грохот плавильни, а стихии разбушевались потому, что сероликие люди спустили их с цепи, чтобы подать нам знак. Мне показалось, что он сходит с ума, но все было гораздо хуже: он впал в детство. Валери он называл Агнес, она его не поправляла, и я понял, что она знала почему. Мы его уложили на заднее сиденье, накрыв всеми одеялами, какие у нас были. Когда его грезы превратились в настоящий сон, она мне сказала, что пора кончать: доигрались. Как только буря утихнет, мы спустимся к Бу-Гемесу, там дважды в сутки проходит рейсовый автобус. Я возразил, что мы не можем возвратиться, не найдя Иргиз. Она закричала, мол, я сдвинулся: Жан-Пьер болен, и ему необходима «санитарная репатриация». Я отвечал, что во Франции его никто не ждет, его жизнь решается здесь, и нам надо доиграть все до конца, показав ему Иргиз, чтобы он мог докончить книгу. Она более не произнесла ни слова. Я запахнулся в куртку и привалился к дверце, дожидаясь, пока снежная буря перейдет в настоящую ночь.

Утром прояснилось, а Валери исчезла. Я бродил вдоль известнякового уступа, позволяя комьям льда, ломавшимся у меня под ногами, падать вниз, в ущелье, откуда донесся рокот мотора, затем скрежет тормозов: наверное, автобус подобрал нашего гида и устремился дальше. Она дала нам то, чего мы от нее ждали; теперь она была для нас бесполезна. Так что все шло к лучшему.

Когда я обернулся, Жан-Пьер куда-то шел напрямик по глубокому снегу, и его распухшая нога, казалось, больше не мешала ему. Я догнал его. Его глаза блестели от лихорадки, и взгляд скользил мимо меня. Он ткнул вперед пальцем:

— Это там.

Он шел к какой-то расщелине и улыбался. В нескольких метрах от нее он споткнулся, упал и уже не смог подняться. Я помог ему. Он дрожал всем телом, но, как мне показалось, не от холода, а от счастья.

— А ведь сегодня воскресенье!

— Да.

— Работают, Азиз... Все семь дней в неделю! Восемь плавок в сутки... Самый чистый металл в мире... Такой чистый потому, что его обрабатывают с особой точностью по десятку разных параметров. Электроплавка — это же курам на смех... Посмотри. Никогда железный лом, плавленный в электропечи, не заменит наших домен. Пойдем.

Я обнял его за плечи и поддерживал до самого входа в его плавильню, где в самой глубине, под лучами света, лившегося через какой-то проем, я приметил платаны и зонтичные пальмы Иргиза с доисторическими лошадками, сгрудившимися у источника, где пела, купаясь, женщина.

— Ты ее слышишь, Жан-Пьер?

— Да.

Каждый видел свою женщину, но слушали мы одну и ту же песнь. Холод снега под ногами и ослепительное солнце над головой объединили нас у входа в расщелину.

— Красиво, — сказал я.

— Да. Я никогда не должен был отсюда уезжать.

— Конечно. Но ведь ты наконец вернулся.

Он прошептал «спасибо» и тихо соскользнул в снег с улыбкой, остановившейся на губах.

Я отнес его к машине. Вынул у него из кармана блокнот. Тот слегка намок, и я оставил его просушиться на капоте. Из его портфельчика я вытащил разные бумажки, начало романа, которое он записывал на моем досье, а также большую

черновую тетрадь с надписью «Лотарингия», где страниц сто были исписаны детским почерком. Все это я заткнул себе за пазуху, между тенниской и рубашкой. Потом камнем выставил донышко коробки с тунцом, съел все, что в ней было, выпив и масло, чтобы придать себе сил, взвалил на плечи маленькое тело, такое легкое, что его груз ощущало только мое сердце, и пошел вниз по тропе.

Я останавливался каждые десять минут, чтобы поговорить с ним, так как подозревал, что он все еще со мной, вокруг меня — своей душой или грезами, не знаю, как выразить... Но его присутствие я ощущал. Какую-то дружескую теплоту, которая толкала меня: иди вперед, ты прав, ты все делал правильно, продолжай; какая-то аллергия на жизнь постепенно оторвала меня от моего тела, как от почвы, чтобы вознести к прошлым мечтам. Продолжай, Азиз, иди до конца, заверши мою историю, а я буду тебя вести. Ты был прав: я был твоим приятелем-попутчиком.

Через несколько часов навстречу мне выскочил большой старый американский «универсал». Оттуда вывалилась Валери и завопила:

— Вот видишь!

Я не возражал. Дремавший в машине ее отец открыл глаза и вышел, чтобы нам помочь. Это была какая-то оплывшая, бесформенная гора в синем теплом комбинезоне, застегнутом доверху: складки морщинистого, как Атлас, лица подрагивали при каждом движении, в них угадывались горные ущелья под бровями-ледниками. Его руки дрожали от пьянства, голова выставлена вперед, и можно было подумать, что ноги ее догоняют. Хорошо поставленный голос поражал глубиной и мрачностью.

— Осторожнее, мои лилии!

Мы сгребли в один угол поддоны с цветами в кузове, превращенном в оранжерею на колесах, чтобы укрыть там затвердевшее тельце моего гуманитарного атташе под листвой чего-то, напоминавшего дикий виноград. Опуская заднюю дверцу, он оперся на мое плечо и произнес голосом видавшего виды человека.

— Я всем этим займусь. Тебя высажу в Табанте. Автобус на Варзазат отправляется между двумя и четырьмя. Тебя никто не видел, тела не найдут, пройдет несколько недель до какого бы то ни было расследования. Деньги у тебя есть?

Я ответил, что у меня осталось пятнадцать тысяч франков из средств нашей миссии, но своего атташе я не покину.

— Послушай, старина, моего совета: растворись в пейзаже и дай о себе забыть. Ты меня понял?

— Делай то, что советует папа, — прошептала Валери.

— Я хочу доставить его домой.

Они переглянулись. Вид у Валери был раздосадованный, но она не проявляла никакого удивления. С металлическим стуком кулак ее отца опустился на капот.

— Ты смываешься или нет?!

Этот вопль лишил его равновесия, он попытался удержаться, ухватившись за радиоантенну, по губам потекла струйка слюны. Со всеми предосторожностями антиквара Валери усадила его, подогнув ему ноги и предусмотрительно положив руку ему на затылок, чтобы он не ударился о край кузова. Он позволил ей привести его в надлежащий вид, тотчас успокоившись и широко улыбнувшись, так что глаза совершенно исчезли в складках кожи. Валери захлопнула дверцу и обернулась ко мне. Прежде чем я успел раскрыть рот, она выпалила очень резко:

— Потрясающий человек! Здесь он творил гениальные вещи — я запрещаю тебе его судить. Никогда не знаешь, чем станешь. И здесь не его вина.

Я сказал, что понимаю. Она подхватила меня под руку и отвела подальше от машины. Она плакала. Мне бы так хотелось, чтобы она говорила еще, а я бы ее слушал, а потом увез бы с нами во Францию, но я чувствовал, что это совершенно невозможно.

— Что мы наделали, Азиз. Что мы наделали...

Я прошептал, что она не сделала ничего плохого и не обязана мне помогать.

— И как же ты намерен выпутаться в одиночку, посреди этих гор?

Я позволил молчанию отвечать за меня.

— Ты хочешь отвезти его в Марсель?

— Нет. В Париж.

Она со мной согласилась. Ветер трепал ее прямые пряди, в очки набился песок, и они едва не падали с носа, а мне так хотелось, чтобы она пожалела Жан-Пьера. Или влюбилась в меня, что одно и то же. И я тихо произнес:

— Знаешь, он тебя любил.

— Знаю. Под другим именем, но какая разница.

— Агнес?

— Агнес.

— Он говорил тебе о Клементине?

— Вначале да. Немного. А потом совсем перестал.

— Тебе было с ним приятно?

— А это тебя не касается.

Ответ как ответ. Похоже на «да». Она спросила:

— Кто такая Агнес?

Я заметил, что это ее не касается, лишь бы не признаваться, что не знаю сам. Вдвоем мы сделались памятью Жан-Пьера, и все, что могли бы скрыть друг от друга, превращалось в способ еще немного продлить его жизнь, сделать ее полнее. Она осведомилась, был ли он католиком или кем-нибудь еще — чтобы помолиться за него. Я подумал вслух, что однажды мы, она и я, вновь найдем друг друга и займемся любовью, и это будет нашей молитвой. Она ничего не ответила, мы протянули друг другу руки и не разнимали их до самой машины.

— Может, отправим его через «Эроп ассистенс»? — предложил ее отец, наблюдавший за нами, опустив стекло. В руках он держал термос, из которого только что отпил, и теперь ему дышалось получше. На всякий случай я напомнил, что имею охранную грамоту короля.

— Давай-ка ее сюда.

Я отдал ему бумаги о моем выдворении в рамках гуманитарной акции. Он снова поднял стекло, чтобы их спокойно изучить. Валери поблагодарила меня. Она сказала, что ему необходимо иногда почувствовать себя нужным, изредка возвращаться в тот мир, из которого он ушел. Я не стал задавать лишних вопросов. Откуда люди приходят и кто они на самом деле — не моя забота, разве что им самим хочется о чем-нибудь этаком поговорить. Валери и ее отец — это совсем другая история, в которой мне нет места, где я ничем не могу помочь.

Когда он открыл дверцу, я заверил его, что очень благодарен за помощь. Он же приказал сесть в машину и заткнуться, добавив, чтобы все стало понятно: он никогда никому не позволит умыкнуть у него дочь. В некотором смысле все было именно так, и я не отозвался на грустный взгляд Валери, обернувшейся ко мне, чтобы понять, уразумел ли я, что́, собственно, мне было сказано. Поглядел бы кто на нас: за рулем она, рядом ее папаша, за окнами расплывчатые скалы, нечеткие от тряски по ухабам, а сзади я, пассажир в цветах, при каждом толчке придерживающий за ноги своего закоченевшего друга, — странная картинка жизни. Тут, пока мои пальцы немели, вцепившись в заледеневший носок, меня одолела совершенно сумасшедшая надежда: а вдруг бы Валери забеременела от Жан-Пьера, и тогда они оба, она и ее папаша, воспитывали бы сироту, рассказывая ему о потрясающем отце, обнаружившем долину сероликих людей. Валери перехватила мой взгляд в зеркальце и улыбнулась, не понимая чему, но видно было, что я внушаю ей доверие.

Приехав в Марракеш, мы направились в какое-то административное заведение, где доктор д'Армере заполнил свидетельство о смерти и множество бланков по-арабски. Пока выполнялись эти формальности, я наблюдал, с какой гордостью Валери глядела на все, что проделывал ее родитель, и сам был горд за него. Поступь прямая и решительная, подбородок — вперед... Он подошел ко мне, протягивая бумаги, и объявил:

— Инфаркт.

Я поблагодарил. Привычным жестом он отмел мои благодарственные слова

и другой рукой забрал у меня конверт с надписью «Французская Республика», где содержалась вся наша наличность. Затем спросил, явно что-то предлагая:

— Отправим диппочтой?

Я не понял, что он под этим разумел, но Валери за меня ответила, что это нам не пригодится. Разочарованно пожав плечами, он возвратился к тамошним клеркам и опять навел там шороху, а они при нем держались тихо и ходили по струночке. Наверняка раньше он был важной шишкой или слыл богачом. Часть денег, отпущенных для нашей миссии, пошла на оплату свинцового гроба и для того, чтобы дать кому следует. Потом мы уехали, уже без Жан-Пьера, которого доставят в аэропорт как официальный багаж соответствующие службы, о чем я получил должным образом заверенную бумагу, где именовался Азизом Камалем, особым эмиссаром похоронного ведомства при французском консульстве. Так, объяснил доктор, мне легче будет все уладить на таможне. Мое имя написали с ошибкой, однако я не думал, что это может чему-нибудь помешать.

На автостоянке доктор д'Армере, все еще бывший на взводе после стольких официальных бумажек, совершил странную вещь: он поднял заднюю дверцу своего «универсала» и вышвырнул все горшки с цветами на пыльный асфальт, где они разлетелись на куски в мешанине мятой зелени. Затем захлопнул багажник и бросил мне через плечо:

— Десять лет коту под хвост, да так оно и лучше.

Он притянул к себе дочь и крепко-крепко обнял, а она только слегка прижмурила веки, и я понял, что она мне благодарна.

Мы расстались с ней перед стойкой таможенного контроля. Отец ждал ее в машине. Мы подыскивали нужные слова, стоя там среди суетящейся толпы и держась за руки, чтобы отдалить последний миг или наверстать что-то, что упустили. Все не сказанное нами перелетало теперь из глаз в глаза, все недоразумения, сожаления, радости — вся суть разных важных пустяков. А потом, когда мне уже действительно надо было отправляться, она просто спросила:

— Твой Иргиз, это было красиво?

А я прошептал:

— Очень.

И наши жизни пошли по новому кругу, оттолкнувшись, может быть, от какой-то малости, пустого обещания, но мы были счастливы, что расставание не испорчено. Мы теперь знали, что убережем себя под защитой той последней секунды нашей близости, когда поняли друг друга, и нам стало хорошо.

Улетал я, весь раскиснув от слез, которые как нельзя более подходили к моей похоронной миссии.

В аэропорте Орли-Юг служащий бюро репатриации спросил меня, кого следует запросить на Кэ-д'Орсэ. Я ответил, что там предупреждены и нужный чиновник прибудет. Служащий удовлетворился моим ответом и указал автостоянку, предназначенную для этих целей. Я попрощался с ним и пошел в туалет, чтобы убить время ожидания. Когда я вышел, гроба не было. Я позвонил в справочную, и они дали мне телефон службы вызова. Там мне сказали, что грузовичок пришел с час назад. Ну, раз так, грузчикам пришлось наконец выплюнуть жвачку и пойти со мной грузить покойника. Я назвал адрес:

— Бульвар Малерб, сто семнадцать.

Потом я сел с ними в кабину, и мы тронулись молча, если не считать их слов соболезнования и моих — благодарности. Париж был хмур и скучен, к тому же дождлив, с пробками на улицах, а у меня перед глазами еще стояли Атласские горы, и я не мог судить, хорошо тут или нет. Ко всему прочему я исписывал, примостив блокнот на коленке, целые страницы объяснений, которые одну за другой тотчас рвал. И вспоминал Жан-Пьера, зачеркивавшего строчки в самолете. Ничего не поделаешь: видимо, Клементина вовсе не была той женщиной, писать которой — простое занятие. Не найдя нужных слов, я решил, что просто поговорю с ней.

Дом был старым, а лифт слишком мал, чтобы Жан-Пьер мог в нем поместиться. Грузчики потащили его по лестнице, я же отправился на разведку. Пятый этаж, левая дверь. Позвонил. Шикарный звоночек, двойные створки, толстый ковер, по бокам в маленьких нишах канделябры. На визитной карточке, просунутой в прорезь именной таблички на двери, можно было прочесть: «Клементина Морэ-Шней». Достаточно будет просунуть карточку чуть глубже вправо, и фамилия Жан-Пьера исчезнет вовсе.

Я подождал, и мне открыли. Мужчина. В купальном халате. С видом человека, которого побеспокоили. Вот этого я не предвидел. Я пробормотал, что являюсь приятелем господина Шнейдера. Он поглядел так, словно я был царапиной на капоте его машины, повернулся ко мне спиной и позвал: «Титин!» Появилась мадам Шнейдер в шелковом бежевом домашнем платьице, с кругами под глазами и натянутым выражением лица. Он встал рядом с ней — волосы ежиком, квадратная челюсть — и упер руки в бока. Его переносной телефон «Сонилазер» лежал у вешалки, на которой висел его же фирменный дождевик.

Она спросила:

— В чем дело?

Посмотрел я на эту парочку, и решение пришло за три секунды. Клементину я заверил, что произошло недоразумение. Вышел на лестничную площадку. На четвертом нашел грузчиков, велел им поворачивать, и они спустили Жан-Пьера вниз. Когда борт грузовичка подняли, я попросил у водителя карту Франции. К счастью, Юканж действительно существовал. На Востоке, название мелким шрифтом, недалеко от Тионвиля, набранного жирным. Запыхавшиеся, недовольные грузчики заявили, что их радиус действия ограничен пригородом Парижа. Тогда я вытащил конверт с грифом Французской Республики и рассчитался с ними. Потом велел выгрузиться в гараже Бино, где, судя по объявлению из газетки, что валялась на приборном щитке, продавался фургон марки «ситроен-С35» выпуска 1980 года, цена которого вполне отвечала сумме, что осталась от средств на мою миссию.

Окно выходит в садик, перед ним — яблоня, с которой ветер сдувает последние следы заводской сажи. В его комнате все оставлено «как было». На кровати покрывало с пятнами чернил, на полочке — ряд игрушечных машин, в книжном шкафчике — стопка чистых тетрадей для черновиков, а на школьном секретере из отлакированной сосны — фотография: Агнес в рамочке, брюнеточка, еще не вышедшая из школьного возраста, с таинственной улыбочкой, превратившаяся теперь, к несчастью, в тяжеловесную блондинку (я ее вчера видел), мать троих детей и жену безработного, как и все здешние женщины, с тех пор как завод закрыли.

Родители сначала встретили меня довольно прохладно, но потом, когда я рассказал свою историю, все образовалось. «Ситроен» я отогнал на стоянку у Конфорамы, чтобы на первых порах для пристрелки иметь свободные руки. Когда я постучал в застекленную дверь их кухоньки, примостившейся за маленьким квадратным флигельком под грязно-красной черепицей, задымленной трубами потухших доменных печей, мать гладила, а отец пил кофе за столом, перед раскрытой газетой, подперев кулаком щеку и уставясь в стену. Я их тотчас узнал. Чуть погрузневшие и погрустневшие, они почти не переменились с того дня, как Жан-Пьер оставил их на Восточном вокзале, на последней странице своего блокнота. Разве что красноты на лицах поприбавилось.

Я сообщил им, что явился по поручению их сына. Мамаша тотчас впала в истерику: «Боже мой, с Жераром что-то случилось!» Жерар — брат, одним словом тот, второй сын, еще живой, он как раз уехал за тридцать километров отсюда на работавшую покуда доменную печь. Как мог, я успокоил их: мол, прибыл от другого. От Жан-Пьера. В комнате воцарилось ледяное молчание. Мамаша открыла было рот, взглянула на отца... и вновь взялась за утюг. Папаша перевернул страницу газеты и стал читать.

Прошло какое-то время, и поскольку я еще стоял на пороге, он медленно объ-

— Жан-Пьера больше нет.

Конечно, это облегчало мою задачу: достаточно было бы подхватить его фразу. Но я не смог. Мне представился «ситроен» на стоянке у Конфорамы, а внутри — ожидавший Жан-Пьер. Чего ожидавший? Новой встречи? Ямы в земле? И вдруг цель моего путешествия показалась мне мелкой, мерзкой, совершенно идиотской. Чего я добиваюсь? Подарить им мертвеца вместо живого, но навсегда вычеркнутого из их жизни? Нет, блудный сын так не возвращается. Я ошибся легендой.

Единым духом я выпалил Шнейдерам, что Жан-Пьер стал пленником банды марокканцев из Иргиза, куда французское правительство поручило ему меня откомандировать. Мы попали в засаду, потом меня освободили как не представлявшего в качестве заложника никакого интереса, а моему гуманитарному атташе удалось переправить со мной свои бумаги, а также устное послание к его родителем. Вот его текст: «Простите за вокзал и за все, я люблю вас».

Кухня опустела, как после подземного толчка. Они бросились к окнам, к телефону, на их крики сбежались соседи, все семейство, приятели с завода, они оповестили мэрию, своего профсоюзного делегата, местную газетку. Я пустил в ход механизм, а сам оказался слегка на обочине. Что бы там ни было, весть о плене сына воскресила их секунд за десять. Они говорили, что подпишут петицию, соберут выкуп, обратятся к депутату, создадут комитет и от его имени отправятся к префекту Меца.

В сутолоке людей, заполонивших флигелек, требующих подробностей о похищении, я тихонько улизнул. В моих глазах эта история еще не имела ни формы, ни смысла: мне просто хотелось примирить Шнейдеров с их сыном, прежде чем дать ему умереть как герою, чтобы они сожалели о нем, как он того стоит. Я собирался минут через пятнадцать сообщить им об официальной версии, а потом принести все возможные извинения и предоставить гроб в фургоне. А потом, когда бы прошел первый шок, они бы оценили мою деликатность. Впрочем, пока изменялась только концовка: поскольку мобилизовано столько людей, мы, быть может, получим похороны регионального масштаба.

Раз двадцать я прошел из конца в конец стоянку у Конфорамы. Я рыскал, как пес, но мой «ситроен-С35» испарился. Минут через сорок я уразумел, что, наверное, в этом — перст судьбы, а потому прекратил поиски и расспросы ничего не видевших прохожих и пустил все на самотек. А про себя подумал, что моя оторопь — ничто по сравнению с тем сюрпризом, какой я приготовил вору. Воображаю, что он подумает, когда откроет заднюю дверцу, чтобы осмотреть добычу.

Долго еще я каждое утро штудировал хронику в «Репюбликен лоррэн». Ни следа фургона и его груза. Занятнее всего, что я вовсе не чувствовал вины. Напротив, сама действительность, если так можно выразиться, сделала правдоподобным мой вымысел.

Пешком я направился к маленькому городку с погасшими огнями и брел среди замкнутых на ключ флигельков, полуотклеенных и размытых дождем плакатов, оставшихся с прошлых митингов протеста, мимо домов без балконов с хлопавшими на ветру табличками «Вскоре освободится», «Продается», «Сдается внаем». Шаги эхом отдавались на пустых улочках. Я чувствовал себя одиноким в призрачном городе, который только и желал, что вынырнуть из забвения. Я исколесил пол-Франции (хотя и не в длину, а в ширину), и мною двигала мысль о высоком значении моей миссии. А потому я не имею права вот так исчезнуть. Притом исчезнуть — куда? Мне нужно было дойти в этой истории до конца.

Поскольку у меня осталось пять франков, я позвонил в Министерство иностранных дел. Подделав арабский акцент, я попросил секретариат Лупиака. А потом сообщил, что беру на себя похищение Жан-Пьера Шнейдера, будучи членом тайной группы действия против строительства шоссе СТ-1808: Франция должна вынудить Марокко остановить дорожные работы, угрожающие существованию Иргиза. В ином случае заложник будет уничтожен без предупреждения. Секретарь в панике попытался соединить меня с кем-нибудь, кто владеет ситуацией, но у меня кончились монетки.

Когда я возвратился во флигелек, они приняли меня как кинозвезду, еще бы: я вырвался из плена. Они так боялись, что я сбегу. «Вы же видите, я ничего не придумал!» — орал во всю глотку папаша, подпихивая ко мне новоприбывших. Я скромно опускал глаза. Но вот заговорили о том, что нужно вызвать жандармов, надо же им запротоколировать мои свидетельские показания. Пришлось объяснить, что я вернулся в страну, только чтобы оказать услугу их сыну, а у меня самого положение не вполне законное и мне нельзя показываться властям.

К счастью, задребезжал телефон. Звонил полномочный представитель Кэ-д'Орсэ, который спрашивал, получили ли родители Шнейдера, облеченного специальной миссией в Марокко, свежие известия о сыне или требование выкупа. Он сказал, что обоснованность предъявленных правительству требований проверяется, что марокканские власти уже предупреждены о существовании противозаконных формирований, однако пока что, на текущий момент, конечно, было бы неразумно принимать какие-то слухи всерьез и тем более волноваться: они сделают все возможное и невозможное.

Папаша положил трубку со слезами на глазах. Мать бросилась ему в объятия, он стал успокаивать ее, поклялся, что с Жан-Пьером хорошо обходятся, он скоро вернется, и они все отправятся в Париж. Она в слезах только качала головой. Обида на сына их мало-помалу подтачивала, а вот надежда мгновенно возвратила к жизни.

Когда позвонили жандармы, мамаша быстренько ухватила меня за руку и утащила в комнатку сына, чтобы я не отсвечивал. Я отдал ей его ученическую тетрадь и блокнот с путевыми заметками. Сказал, что там — все, достаточно лишь придать этому какую-никакую форму и отдать любому издателю. Таково пожелание Жан-Пьера. Теперь, когда он стал заложником, с фотографиями в «Пари-матч», он имеет все шансы быть напечатанным и прочитанным.

С полуоткрытым ртом, она глядела на сыновнее произведение, держа его в руках так осторожно, словно то был младенец. Со стыдом в голосе она выговорила фразу, услышать которую я не ожидал. Губы у нее дрожали, она тщетно пыталась сохранить улыбку, не желавшую держаться на побагровевшем лице. Она выдавила из себя:

— Он пишет слишком мелко.

Только не надо ничего говорить отцу, но дело в том, что ее бедные глаза уже ничего не разбирают. Не соглашусь ли я прочитать ей вслух? И прибавила, что до меня у Жан-Пьера никогда не было друзей, я могу здесь остаться на несколько дней, если у меня есть время. А ей будет так приятно слышать шаги в комнате ее сыночка.

Что ж, время у меня было.

Сперва я попытался просто сделать примечания на страничках самого Жан-Пьера, высказать свое мнение, что-то объяснить или предложить другую версию, когда был несогласен. Но после пятнадцатого замечания на полях одной страницы, когда мои замечания оказались длиннее самого текста, я решился написать маленькое предисловие, скажем, в качестве противовеса. Мне показалось очень важным изобразить и Жан-Пьера, увиденного моими глазами, самому описать нашу встречу, чтобы читатели могли представить все полнее.

Вот так и получилось, что я просиживаю по десять часов в день за его секретером, гляжу в окно, подыскивая слова в листве яблони. Рассказ мой я начал со страницы семь, чтобы придать себе смелости, как будто шесть первых — уже написаны. Действие начинается в Марселе. В его тапочках, которые мне малы, сжимая в пальцах ручку со следами его зубов, я рассказываю собственную жизнь, чтобы у его книги было предисловие.

Днем его мать приносит мне чай с куском кекса. Она говорит, что малыш очень его любил, но теперь пироги ей не так удаются, как раньше. Я протестую с набитым ртом. А потом она прибавляет, что не хотела бы меня беспокоить, наверное, ей лучше уйти. Но спиной я ощущаю ее взгляд: она воображает его на моем месте, сгорбившегося над тетрадкой, где вытеснено: «Золотарингия» («Чугун — золото Лотарингии» — гласит девиз на желтой обложке). Я стараюсь писать, как он, пить

его чай и любить все, что он любит.

Однажды утром, в четверг, пришла Агнес. Под тем предлогом, что ей нужно вернуть кастрюлю. Она поднялась ко мне, чтобы спросить (тайком, потупив глаза), есть ли в книге что-нибудь о ней. Но ее дети устроили шум на кухне, и звон разбитого стакана освободил меня от надобности отвечать. С отчаянным вздохом она бросилась вниз, на ходу скороговоркой пробормотав, что вернется, когда сможет.

Мне очень нравится то, как они все ждут, посматривая то на телефон, то на почтовый ящик, то на дверь моей комнаты. С Кэ-д'Орсэ больше не звонят, но предисловие подвигается. Оно даже рискует оказаться гораздо длиннее, чем предполагалось. Несмотря на все старания, мне не удается втиснуть в три страницы Лилу, цыган, Валлон-Флери и господина Жироди.

В конце концов тот роман от первого лица, который Жан-Пьер хотел написать от моего имени, похоже, все-таки рождается. И мне даже кажется, что автор все лучше чувствует себя в моей шкуре.

* * *

Проходят дни, похожие один на другой. Обеды хороши, и на столе передо мной ставят кольцо для салфетки Жан-Пьера, а я начинаю лучше понимать, какую жизнь он бы вел, если бы остался здесь. Отец отвез меня поглядеть на плавильню в Жёф. Именно там отливали ядра для солдат II года Республики, объяснял он, шагая по пустырю, заросшему кустарником, среди которого валялись ломаные формы для отливки. Завершая воспоминания об исчезнувшем заводе, где он начинал, он оглядел опустевший пейзаж, подмигнул мне и произнес:

— Жёф сожрала сталь, а скоро она и Юканж прикончит.

Тут он рассказал мне удивительную историю доменных печей, доведенных до ручки их собственными клиентами: когда-то руда, обработанная в них, становилась чугуном, который шел в сталелитейное производство; теперь же сами домны, превращенные в железный лом, бросают в электропечи для получения стали. Муайёвр, Обуэ-Омекур уже прошли через это, потом настанет черед Жёфа и Юканжа. Столетнее мастерство лучших доменщиков, продававших свой чугун везде, вплоть до Америки, не находит спроса, сами они сделались кандидатами на досрочную пенсию, безработицу, профессиональную перековку. Молодым, таким как Жерар, предложили работу в иных производствах, например кладовщиком куда-нибудь в Нормандию или контролером продукции у Сопике. Это у них называется «социальное планирование».

Жерар, бывший литейный мастер с завода «Золотарингия-Юканж», предпочел начать заново с простого наладчика на другом чугунолитейном заводе, получившем отсрочку. На все вопросы он отвечал: «А ты представляешь меня измеряющим толщину сардинок и число хрящей макрели?» Признаться, я тоже не представлял его за таким занятием. Он никогда не покидал своего департамента Мозель, не пытался справится с акцентом в отличие от бррата, хотя похож на него, только крупнее, топорнее и проще. Хорошо иметь брата.

По воскресеньям, когда они с женой приезжают сюда к завтраку, он учит меня играть в шахматы. В детстве им с Жан-Пьером приходилось держать рот на запоре, когда отец уходил в ночную смену, а потом отсыпался до захода солнца. Чтобы не шуметь, Жан-Пьер сочинял всякие истории, а Жерар играл сам с собой в шахматы. Он бросал жребий, чтобы узнать, за кого ему болеть, за белых или черных. Он то давал сам себе тумака, то почтительно кланялся себе же; при игре вдвоем, со мной, все куда проще: надо сказать, он всегда выигрывает.

Когда речь заходит о Жан-Пьере, он становится мечтателем. Завидует брату со дня его отъезда. Сам, будь у него талант, уехал бы куда-нибудь. Но он старший сын, его место подле отца. Он должен наследовать славное ремесло литейщика.

— Знаешь, стоит однажды втянуть носом запах лавы, увидеть, как она потекла, почувствовать огонь, который можно держать руками, и ты — его хозяин, когда заводской гудок отмеривает твои дни и зовет тебя к товарищам, ты никогда не сможешь притерпеться к чему-нибудь другому. Не получится, и все тут. Те-

перь тут, в Юканже, стало тихо, и всем от этого тошно. Конечно, в округе стало меньше грязи с тех пор, как трубы не коптят воздух, но они говорят, что копоть осела в наших сердцах.

— Напиши об этом в книге, — говорит его дружок Ги, муж Агнес, рыжий парень, которому, похоже, суждено кончить дни за кружкой пива, потому что он пренебрег социальным планированием: не захотел служить кладовщиком в Нормандии. И техником службы наружного наблюдения в Бресте тоже — и все из-за флигеля, который он только что наконец оплатил, а продать его теперь и не надеется из-за работы Агнес — она служит в мэрии, и еще потому, что давно договорился с тестем из Тионвиля, чтобы дети Агнес поработали учениками в его мясной лавке... — Напиши об этом, пожалуйста, в книге, Азиз. Пусть знают.

Я пишу.

Как-нибудь я приглашу Агнес, чтобы прочесть ей твои последние страницы. Она войдет в твою комнату, сядет на твою кровать и вновь узнает твой голос. Наверное, пожалеет, что сказала тебе «нет» в тот день, когда принесли рогалики с известкой. Может быть, ей одной я и открою истину. Расскажу, что ты нас покинул, сжимая ее в объятиях, с ее именем на устах, что смерть похожа на пустырь в Жёф, где призраки людей упрямо продолжают плавить чугун.

А однажды, если Агнес захочет, вы с ней займетесь любовью. Я буду за тебя.

НИНА КАССИАН

Стихи

Перевод с румынского и вступление ***КИРИЛЛА КОВАЛЬДЖИ***

Отважиться на исповедь...

Нина Кассиан — личность удивительная, обжигающая. Ярко одаренная, умница, полиглот, композитор, пианистка и, конечно, поэт. Прежде всего — поэт. Известна всей Румынии и не только ей...

А какая очаровательная (верней — очаровывающая!) женщина! Мать-природа внешними данными ее не очень-то одарила. Можно даже сказать — обделила. Нина Кассиан рассказывала мне, что лет до тринадцати-четырнадцати, привыкшая первенствовать среди девчонок и мальчишек, не догадывалась, что она среди них вроде гадкого утенка. Когда поняла это с недоумением и болью, вызывающе и дерзко решила: а я буду лучше всех ваших красавиц! И стала вести себя соответственно — легко, вдохновенно, блистательно, благо душевной красоты, ума и талантов было в ней хоть отбавляй.

И сама в себе высвободила прекрасного лебедя. Буквально через несколько минут общения с нею вы попадаете под ее обаяние, видите свет, озаряющий ее изнутри, и в этом свете она тепло и нежно преображается, глаз не отвести.

Она победительница. Преклоняюсь перед ее волей, мужеством, характером, но все-таки не могу не сказать, что она глубоко страдающий человек, ранимый, болезненно чуткий — не только из-за драматизма личной судьбы, а по сути самого лирического дарования, когда трещина мира, говоря словами Гейне, проходит через сердце поэта. Однако беззащитной и раненой предстает она лишь перед алтарем искусства, а на людях все та же — гордая, разящая. Победительница.

Я знаю Нину Кассиан около тридцати лет, познакомился с ней в середине шестидесятых на пушкинском празднике поэзии, вместе побывали в Новгороде, Пскове, в Михайловском. Меня поразила ее эрудиция, высокая культура, аристократизм духа. Хотя она в ту пору была (как и я) в плену иллюзий: казалось, что близок к осуществлению «социализм с человеческим лицом».

Потом я неоднократно встречался с ней в Бухаресте, мы долго и откровенно говорили о наших несбывшихся упованиях — я, правда, еще упирался, сохраняя оптимизм, а она, полностью разочаровавшись в Чаушеску, не видела впереди ничего хорошего:

— Я на несколько лет старше вас, я ждать уже не могу.

И вскоре после смерти мужа уехала в США, осталась там. Теперь до меня доходят только ее стихотворения...

Нина Кассиан мало переводилась в нашей стране — ряд разрозненных публикаций, участие в коллективных сборниках и антологиях. А она поэт, выделяющийся своей резкой и рискованной эмоциональностью, открытым и откровенным темпераментом — и это-то в пору, когда поэзия чурается страстности, лиризма, когда она уходит то в интеллектуальный герметизм некой сверхпоэзии, то, напротив, в саркастическую — вплоть до абсурда — антипоэзию. Но при всей своей прямоте лирика Нины Кассиан воплощается вполне в современных формах. И очень индивидуальных.

Широк диапазон ее творчества. Я надеюсь, со временем удастся полней познакомить нашего читателя с разными гранями ее поэзии. Для этой подборки выбраны страницы сугубо женской исповеди — можно сказать, интимной. Полагаю, это теперь большая редкость. Поэты нынче прячут свою уязвимость за броней творческой искушенности. Но Нине Кассиан и мастерства не занимать. Что бы она ни делала, она всегда остается художником.

Посвящение

И если плоть разочарована
(растерзана по сути, разворована),
пребудет дух, пребудет хмель зеленый
плода, каким была я.

Прочти мои стихи и захмелей
от духа во плоти.

Утренняя разминка

Просыпаюсь и говорю: я пропала!
Это первая мысль на заре сырой.
Хорошо же я начинаю день
с убийственной мысли такой.

Господи, пощади и помилуй!
— это во-вторых сорвалось,
а потом я, вскочив с постели,
опять принимаюсь за дело,
словно бы ничего не стряслось...

Бар

В этом баре пустом полутьма
и песенный голос тоски,
между нами такая даль,
и пара кровавых пчел
вперелет — из стакана в стакан,
между нами такая даль,
и летающий нож
наугад все живое разит,
между нами такая даль...

Кровь

А я отлично помню эту боль!
Душа моя, застигнутая врасплох,
билась птицей с надрезанным горлом.
Все было кровью забрызгано: улица, стол
и твои простодушные руки.
Мои волосы разбредались, бродили
чудовищем среди стаканов,
вокруг них обвиваясь, как вокруг остановленных вдохов,
и плясали со свистом, как смерч,
и к ногам твоим падали, как после казни.
А я отлично помню, что я улыбнулась,
как-то дико, чтоб быть на себя похожей,
и что вскрикнула всего только раз —
потом, когда кругом никого уже не было,

© Nina Cassian
© Eugene Mihaescu

и свет был погашен, и стерта была
кровь со стола.

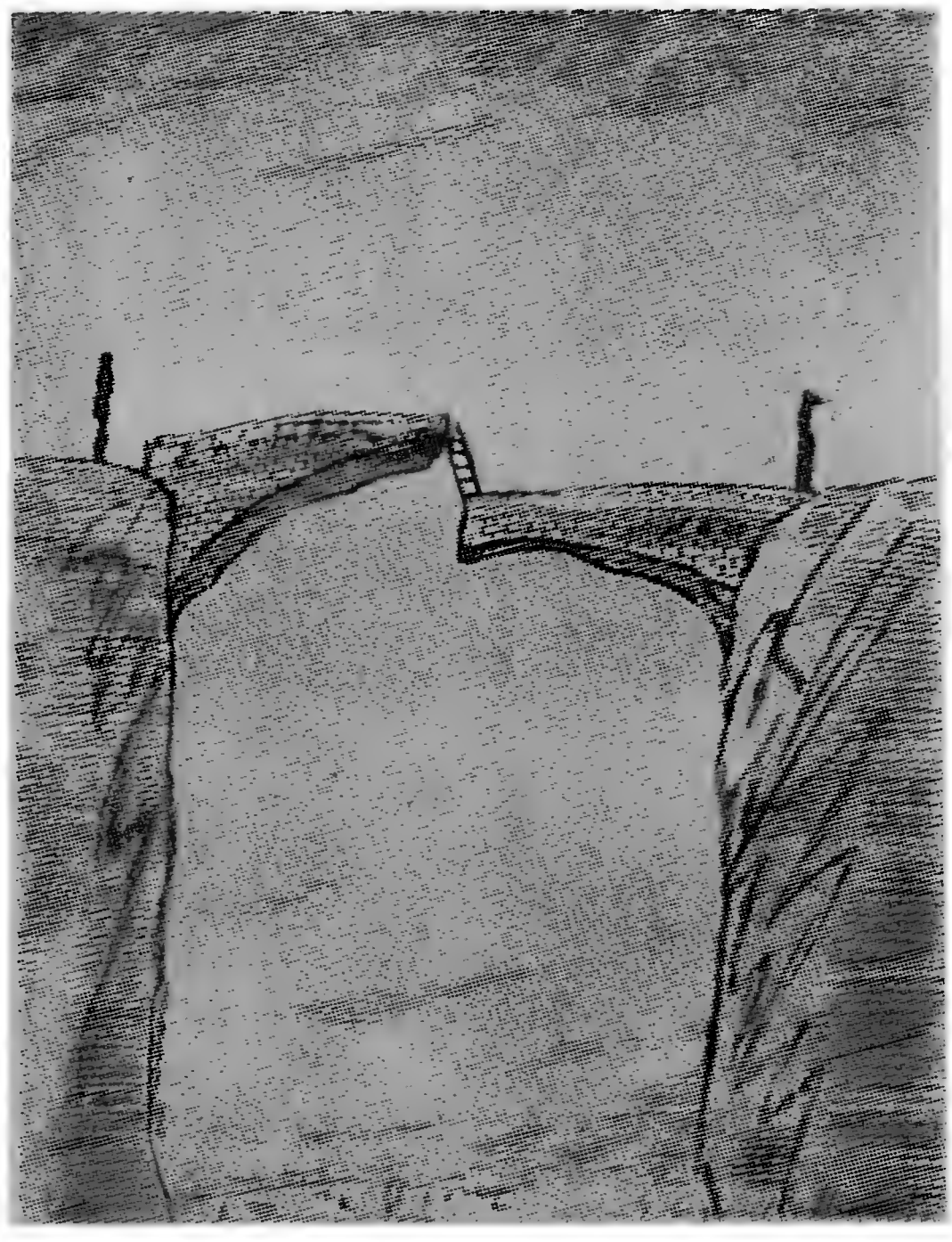
Очарование одиночества

Снег на лбу, как холодная лампа,
снег мои наполняет карманы,
не могу я пошевелиться
и стою, светясь в темноте.

У мышей все крупнее глаза,
волки обходят меня стороной, как опасную статую.
Все, которые прежде любили,
не решаются выйти из дома...

О тигр

Незачем тебе делать коронный прыжок.
Достаточно уставиться желтыми взорами.
Куда б ни пошла я, что бы ни делала,
глаза твои желтые рядом останутся,
буду пить их в стаканах, кусать их в плодах,
находить на книжных обложках,
на луне, на левом бедре,
во сне субботней ночью и далее.
От стольких желтых глаз я надену
солнечные очки, на голову натяну



покрывало черное моря —
можешь не двигаться. Вполне достаточно
смотреть на меня, желтоглазый.

***

И когда наступает конец лета,
наступает как будто конец света.
Опустошенье вокруг и страх.
День убывает
до потери достоинства.
На наши тела опускаются
влажные плиты сукна:
уныние верхней одежды.
Нам потом, дрожа, спотыкаться
среди сугробов улицы Зимней,
на перекрестке Судьбы...

Стоит ли жить еще
с идеей весны —
опасной, как все утопии?

Хлеб и вино

Говорила, что будет праздник...
А жаль.
Итак, я надела напрасно
с блестками платье и шаль.

Ждать не имело смысла.
Рассвет зарозовел...
Вино в кувшине прокисло,
хлеб на столе зачерствел.

И когда уже над землей
день, поднимаясь, рос,
вынула я постаревшей рукой
цветок из волос.

Свирепствуя

Под ногами дорожка из мертвых бабочек,
мертвых и мягких
(им не свойственно коченеть).
Я совершенно здорова.
У себя я вынула печень,
удалила легкие,
уничтожила сердце —
ничего уже не болит.

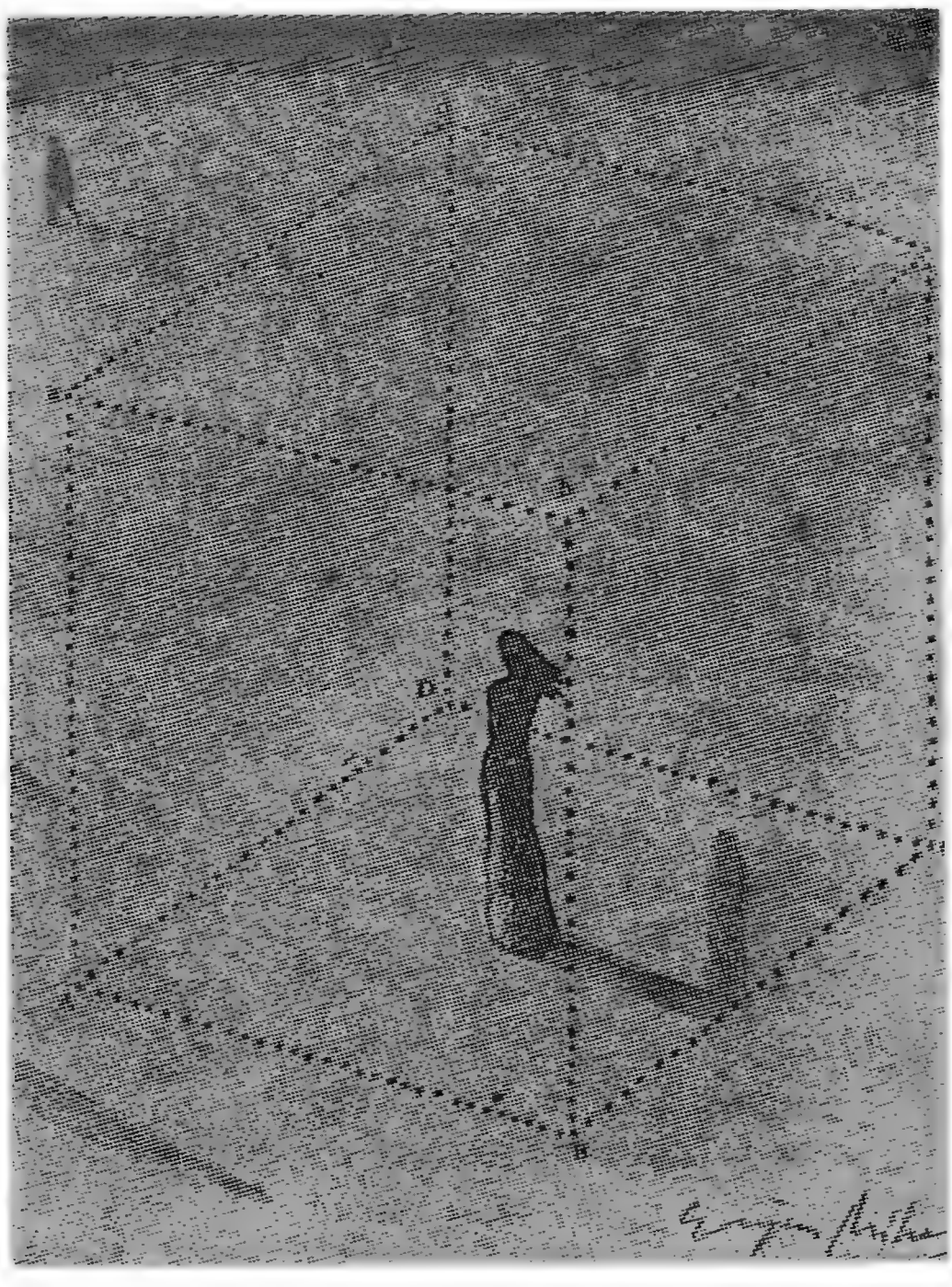
Превратиться в призрак —
это выход,
который вам холодно рекомендую.

Вдова

Ей мороз изуродовал пальцы.
Зной ей высушил руки.
Теперь непогода добралась до мозга,
уподобив его грозовому облаку.
Она не носит черной накидки,
ходит голой
без шерсти, без перьев,
как ящерица.
Она уродлива.
Пес берет след ее одиночества
и отбегает, скуля.
Она раздражающе
пахнет
отсутствием.

Ночь за ночью

Привидение,
призрак-дикарь
ложится рядом со мной.
Кем он был? Человеком? Конем?
Может, деревом, бурей поверженным.
Он неуемный, как полоумный,
то подушкой мне накрывает лицо,
то раскрывает меня
и выбрасывает из постели
ночь за ночью.



Милое привидение,
милый призрак,
скорее убей меня,
чтобы нас было двое.

На столе фотография

Лепестки цветка ложатся
вокруг тебя.
Тебе не вырваться
из круга этих желтых
ведьмовских лоскутков.

Но ты — вокруг меня.
Мне не вырваться
из твоего окружения.
Ты, как стая, меня затравил.

Высшая мера

Я улыбку твою содрала ногтями,
ластиком стерла глаза — без раздумий.
В пустом яйцевидном овале теперь могу
нарисовать резню в Эрзеруме
или некий простейший цветок,
или аккуратненько вывинтить — пожалуйста,
сняла и поставила в уголок.

Отныне ты начинаешься с галстука.

Во сне засуха

Вода все дороже,
пора научиться
пить из болота
и плавать в пыли седой.

Птицы улетели осенью
и не вернулись
весной.

Все дороже синяя ткань,
пора научиться
облачаться в черное.

Дорожает и рыбий скелет.
Цены ему нет.

Возле урны

— Нельзя любить Пепел, — сказал он. —
Нет у него глаз, чтобы видеть тебя,
нету губ, чтоб тебя целовать.
Не пить из одного стакана с тобой
пеплу,

не плавать рядом с тобой
праху.

— А я люблю, — я сказала.

Весьма простое стихотворение

Морские морщины на лбу моем высыхают.
Над песками пары расставанья витают.

Последний ягненок с трудом вырывает последнюю травку.
Жар свой теряя, лето и кровь идут на поправку.

Рана вчерашняя, рана глубокая, даже казалось — сквозная
вся затянулась к утру. Ох, плоть у меня еще молодая.

Но не проходят — трещина мира, рана столетья —
парные строки вот эти.
Всю жизнь?
После смерти?

От редакции

Эта публикация стала возможна благодаря Бренде Уолкер, основателю и директору лондонского издательства «Форест букс».

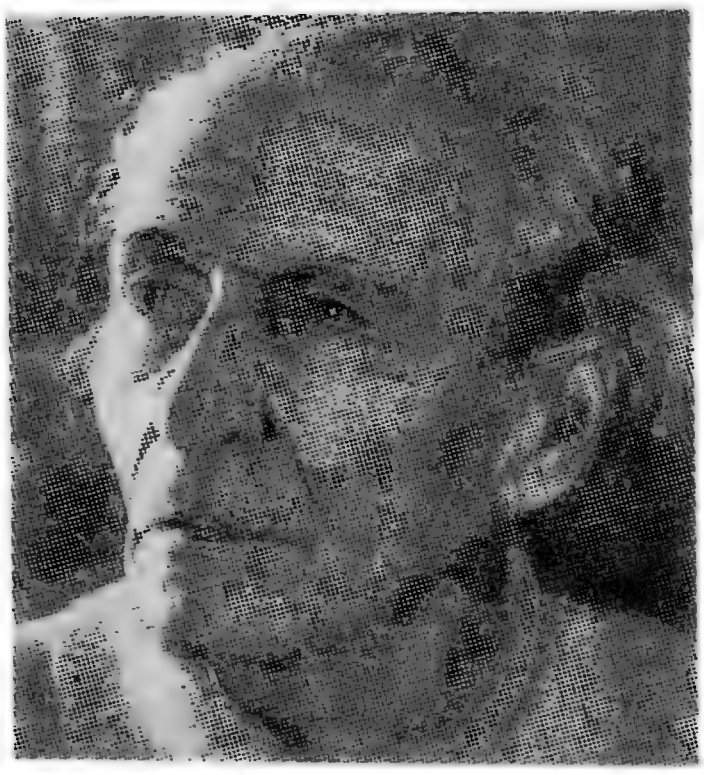
Небольшое издательство, возникшее весной 1984 г., задалось благородною целью — развивать, говоря официальным языком, культурные связи между народами, другими словами — стимулировать тот круговорот интеллектуального и эмоционального воздействия между нациями, который обогащает и обновляет литературу каждой из них. Особое внимание издатели «Форест букс» обращают на малые нации и этнические группы, чья литература недостаточно известна в мире. Многие книги этого издательства выходят на двух языках — английском и языке оригинала, давая читателям идеальную возможность изучать язык и литературу другой страны. Большинство авторов «Форест букс» — поэты: может быть, потому, что и сама Бренда Уолкер пишет и переводит стихи. В каталоге, выпущенном издательством, есть известные и менее известные имена: В.Алейсандре, Е.Багряна, В.Шимборская, Н.Стэнеску, М.Сореску, Д.Максимович, Х.Х.Падрон, очень много антологий — современной албанской, финской, македонской, голландской, французской, немецкой, тайваньской, бенгальской, лужицкосербской, чувашской (подготовил Г.Айги) лирики. Есть тематические сборники — «Любовные сонеты Возрождения», «Париж, воспетый Ш.Бодлером, Ж. де Нервалем и П.Верленом» (двуязычное издание). А антология «Молчащие голоса» вобрала в себя стихи четырнадцати румынских поэтесс, обреченных на молчание в эпоху Чаушеску; книга вышла в 1986 г. и была переиздана в 1989 г., когда начались революционные события в Румынии. Один из ее составителей и переводчиков — Б.Уолкер.

Фирменный знак издательства «Форест букс» — дерево на фоне земного шара, символизирующий, очевидно, самобытность, почвенность и в то же время планетарность художественной литературы.

«Культура — это то, что должно произрастать, — говорил в одном из своих выступлений поэт и мыслитель Т.С.Элиот, — нельзя построить дерево, его можно посадить и ухаживать за ним и ждать, пока оно войдет в свою пору...» Содействовать тому, «что должно произрастать» и «входить в свою пору», что не может быть замкнуто ни государственными, ни национальными границами, и стало главной задачей издателей «Форест букс».

Любезно откликнувшись на нашу просьбу, Бренда Уолкер прислала нам книги и рукописи стихов Нины Кассиан, «поэта неистового и нежного, утонченного и бескомпромиссного», как писал о ней один из английских критиков, поэта, о котором помнят и в редакции нашего журнала.

Эту подборку иллюстрируют рисунки Эуджена Михаэску, взятые из книги стихов Н.Кассиан «И вы считаете, что вы живы?» («Форест букс», 1988. Переводы Андреа Делетант и Бренды Уолкер).



ТИБОР ДЕРИ

Перевод с венгерского Е.МАЛЫХИНОЙ

Предлагаем вниманию нашего читателя новеллу известного венгерского прозаика, поэта, драматурга Тибора Дери, давно ставшую национальной классикой, и фрагменты тюремной переписки писателя, которая лишь несколько лет назад — благодаря будапештскому издательству «ТЕКА» — сделалась достоянием широкой публики. Трудно сказать, какой из этих материалов оставляет более сильное впечатление — реальная жизнь, увиденная сквозь магический кристалл искусства, или реальные, подлинные письма, документы любви, документы эпохи?
Фрагменты тюремной переписки сопровождает статья друга Т.Дери и его издателя Пола Реза.

Две женщины

Новелла

1. Allegro

Утром, прежде чем позвонить в домик свекрови, Луца, миновав палисадник, остановилась перед дверью, вынула из ридикюля крошечное круглое зеркальце и проверила, не потекла ли от слез черная тушь с ресниц. Зеркальце сверкнуло на солнце, бросив ослепительный зайчик на засиявшие в ответ рыжие волосы. Прищурясь, с самозабвенной сосредоточенностью охотничьей собаки, ищущей след, она всмотрелась в свое лицо; на всякий случай чуть-чуть попудрилась, двумя легкими быстрыми движениями подкрасила губы: даже перед Ирен, старой домоправительницей, ей не хотелось предстать с заплаканной физиономией. Из открытого окна кухни пахнуло гренками с маслом, и от этого на душе стало немного спокойнее. Несколько минут она постояла перед дверью на кухню — «концентрировалась»; затем привычным движением упрямо вздернула плечи. До сих пор — вот уже почти год — ей удавалось благополучно справляться с этими ежеутренними свиданиями.

Слева от входа, возле трех каменных ступенек, уже расцвел большой куст спиреи; словно в половодье, он струил свои сверкающие белые волны на узкий газон. За оградой на шоссе беседовали две женщины, подальше, в сотне шагов от них, неподвижно стояли в пыли четыре гуся.

— Старая барыня нынче с левой ноги встала, — сообщила Ирен.

Луца чмокнула румяную круглую физиономию домоправительницы.

— Встала? — воскликнула Луца смеясь. — Явился Христос и сотворил чудо?

Румяная домоправительница рассмеялась. Ее старую хозяйку, девяностошестилетнюю свекровь Луцы, семь лет назад острый неврит уложил в постель; с тех пор она все реже вставала с кровати, причем не ранее шести часов вечера, и совершала свою ежедневную прогулку по комнате, сначала по пятьдесят раз, затем, в

соответствии с убывающими силами сокращая ежедневный урок, по десять — пятнадцать раз туда-обратно. Последний год получалось не более десяти, но меньше пока не бывало.

— С самого вечера все ворчит, что не получила еще новую салфетку на свою утку. Изволили принести соленые палочки?

— Тонну целую, — ответила молодая женщина. — И денег вам на хозяйство принесла, Иренке.

— Целую тонну?

Луца засмеялась; смеялась она заразительно, нельзя было не посмеяться вместе с ней.

— А как же! — сказала она. — Пятьсот пока что... Хватит?

— На этот месяц и не нужно столько-то, — сказала домоправительница.

Молодая женщина открыла белый, похожий скорее на мешок, ридикюль и сунула в него руку. Порядка там не было; несколько скомканных купюр, которые она получила утром в комиссионном за свой старый палантин из лисьего меха, лежали на самом дне под печеньем, салфеткой, завернутой в шелковую бумагу, пудреницей, губной помадой, кошельком и зеркальцем, вместе с несколькими заложными квитанциями и извещением от судебного исполнителя, которое принесли ей утром.

— Одна, две, три, четыре, пять, — считала она, и ее тонкое подвижное лицо, гармоничные черты которого никогда не оставались в покое, теперь на какую-то секунду, пока она считала деньги, стало необычно серьезным. — Не беда, если и передам, потом сочтемся. Не надо жаться, моя старушка, — добавила она и опять засмеялась. — Других неприятностей нет?

— Нет. Себя-то не обделили?

— У меня-то денег навалом, — сказала молодая женщина.

В чистую белую кухоньку, которая так и сверкала под прямыми лучами солнца, еще и отражавшимися покрытой белым лаком кухонной мебелью, плеснула удушающе сладким своим ароматом акация, что росла под окном, и на мгновение вытеснила запах только что поджаренных хрустких ломтиков хлеба.

— Почтальона еще не было? — спросила молодая женщина.

— Еще нет.

— Заглядывайте иногда в почтовый ящик, Иренке, сегодня придет письмо из Америки, — сказала молодая женщина. — Хотелось бы, чтобы она прочитала его, пока я здесь.

— Ну вот, опять звонит! — сказала домоправительница: три-четыре нетерпеливых звонка прозвучали один за другим. — После завтрака это уж, по крайней мере, десятый раз, право слово. Просто руку со звонка не снимает, будто зудит у нее.

— Останьтесь, я войду, — сказала Луца.

Стоя на пороге (лежавшая на кровати глуховатая старая женщина не заметила, как дверь отворилась), Луца некоторое время смотрела на тонувшее в больших подушках удлиненное белое лицо в черном бархатном чепце, подвязанном под подбородком лентою; на костлявом лице под закрытыми глазами выдавался большой и прямой желтоватый нос, как бы загодя наводя на мысль о посмертной маске. Под легким желтым одеялом тело каждой своей клеточкой хранило полную неподвижность; грудная клетка не подымалась и не опускалась. Молодой женщине опять пришлось «сконцентрироваться»: на глаза уже наворачивались слезы. Она стояла в дверях, хрупкая и мускулистая, голова на красивой длинной шее откинута, словно ее оттягивал назад тяжелый бронзово-рыжий узел волос, ноздри трепетали, маленький круглый живот напрягся от волнения. «Глупая курица!» — сказала она себе сердито, чтобы снова собраться с силами. Солнце падало сзади, освещая огромную кровать и терявшееся в пухлых подушках исхудалое белое лицо, которое уже лишь черный бархатный чепчик отделял от небытия. Черты молодой женщины исказились, она досадливо притопнула ногой.

Та, что лежала в постели, открыла глаза и посмотрела на дверь.

— Целую руки, мама, — воскликнула Луца вновь зазвеневшим веселым и ясным голосом.

— Я звоню-звоню, Ирен, — чуть хрипловато пожаловалась старая женщина, наморщив лоб и глядя на дверь. — Гренки все еще не готовы?

— Это я, мама, — крикнула Луца. — Сейчас будут готовы.

Старая женщина подозрительно смотрела в сторону двери.

— Кто это? — спросила она.

Уже больше семидесяти лет она жила в Венгрии, однако ее голосовые связки так и не забыли немецкие интонации родной Вены. Она бегло говорила по-венгерски, но все же немецкие обороты или какое-нибудь искаженное и плохо услышанное в первые годы здешней жизни слово, которое упрямая память никак от себя не отпускала, то и дело проскакивали в ее речи, всякий раз вызывая неудержимый, нескончаемый взрыв смеха у ее невестки. В эти последние, проведенные в постели годы она и читала охотнее по-немецки, чем по-венгерски, — почти исключительно обожаемых с девичества Гёте и Шиллера, иногда (немного скучая) какой-нибудь том Томаса Манна или, из любезности к приютившей ее стране, немецкие статьи Дёрдя Лукача о Гёте, сопровождая чтение восклицательными знаками и пометками на полях, начертанными по-мужски крупными готическими буквами; свои записи — нацарапанные характерным для лежачих больных искаженным и уже очень неровным почерком (то были по большей части цитаты из прочитанных книг, которые занимали иной раз по нескольку страниц) — она делала также на родном языке в школьной, с твердой обложкой, тетради в клеточку, вперемежку с хозяйственными расчетами. Книги, восемь-десять томов, а также тетради, пачку сладкого печенья или соленых палочек и пакетик шоколадных конфет — из которого каждый день брала по одной — она раскладывала на широкой своей кровати вдоль стены, в строго установленном порядке, чтобы все было под рукой и не приходилось еще и из-за этого звонком вызывать Ирен. Радио стояло на кровати в ногах, настроенное на станцию «Кошут»; с помощью длинного провода — на котором еще сын ее приладил выключатель — она могла сама включать его когда ей заблагорассудится, и вызывать домоправительницу приходилось лишь в том случае, если, согласно заранее помеченной чернилами программе, выбранная ею передача шла по радиостанции «Петёфи» и нужно было настраивать приемник. Но за последние несколько месяцев такое случалось все реже; старая женщина большую часть дня лежала на кровати неподвижно, с закрытыми глазами, и нельзя было понять, дремлет она, или перемалывает давние воспоминания во все еще ясной голове, или грезит о коротком своем будущем; оживлялась она только тогда, когда Ирен угощала ее ложечкой картофельного — запретного —паприкаша либо лапши с капустой из своего обеда и еще во время утренних посещений невестки.

— Это вы? — спросила она брюзгливо. — Соленые палочки принесли?

— Конечно принесла, — громко крикнула молодая женщина, раздвигая горловину ридикюля и осторожно вынимая из него маленький сверток в шелковой бумаге. — А еще что я принесла маме?

— Да уж конечно цветы, — с недовольным видом проговорила старая женщина, однако лицо ее тут же разгладилось, а глаза, все еще прекрасные черные глаза, жадно вспыхнули при виде букетика анютиных глазок. — Вы никогда не научишься экономить?

Луца подошла к кровати вплотную и, скосив глаза так, что видны были уже только белки, подняла указательный палец и долго грозила им старой женщине. Грозила до тех пор, пока она не рассмеялась.

— Ну ладно, — сказала старая женщина, — я потому говорю каждый день одно и то же, что вы делаешь каждый день одно и то же. Не надо каждый день приносить цветы. Пожалуйста, завтра купить мне одеколон!

— Но что еще принесла я маме? — воскликнула Луца, сунув руку в ридикюль.

Она долго в нем рылась, нарочно тянула время и при этом с интересом следила за лицом свекрови, на котором вдруг явственно проступила старческая беззащитность: простодушное, с самозабвенно открытым ртом выражение детского любопытства. Из темного провала рта выглядывал единственный сохранившийся зуб.

— Ну, давайте же сюда! — немного спустя проговорила старая женщина, потеряв терпение. — Или уже потеряла?

Увидев высвобожденную из шелковой бумаги вышитую белую салфетку, старая женщина покраснела от радости. Она была требовательна, но по-детски благодарна за малейшую услугу.

— Ладно уж, — сказала она. — Наклонись-ка да поцелуй меня! — Приподняв голову и вытянув бескровные губы, она обхватила костлявой рукой красивую белую шею молодой женщины, притянула к себе и, громко чмокнув, поцеловала ее в лоб. — Чудесная салфет! — объявила она. — Но откуда у вас есть так много денег?

— Я их зарабатываю, мама, — сказала молодая женщина. — Вы же знаете, я известная шлюха.

Старая женщина некоторое время смотрела на нее широко раскрытыми непонимающими глазами, потом вдруг захихикала и погрозила ей пальцем.

— Шлюха? — повторила она. — Ах, прекратите! Вот я сказать тебя Яношу, когда он вернется, получишь от него пару крепких щечин! — Она повернула голову в черном чепце к ночному столику и посмотрела на стоявшее на нижней полке фарфоровое судно. — Набросьте на это салфет! — распорядилась она. — Чудесно! И очень вовремя, потому что днем придет профессор Хетени, а Ирен сразу разволнуется и, как в прошлый раз, опять забудет опростать судно, вот и извольте!

— Господину профессору не впервой видеть такое, — сказала Ирен, внезапно появившись на пороге. — А потом, с чего вы взяли, будто он явится именно сегодня днем?

Старая женщина, наморщив лоб, оглянулась на дверь.

— Вечно подслушивать! — с укором прошептала она невестке, но поскольку тугоухость не позволяла ей соразмерить громкость речи, сдавленный шепот прозвучал так, словно она заорала на стоявшую в другом конце комнаты домоправительницу во весь голос.

— Что вы, мама, она не подслушивает! — быстро вмешалась молодая женщина. — Она вам гренки с маслом принесла!

— Я... чтобы я подслушивала!..

Луца заговорщически подмигнула старой домоправительнице.

— Нет, чтобы я подслушивала!..

Через открытое окно в комнату ворвался неистовый гогот гусей.

— Чтобы я подслушивала...

Луца громко рассмеялась.

— Ох, Иренке, успокойтесь вы, — ласково сказала она. — Эдак распалитесь, еще удар хватит... Давайте-ка сюда гренки!

— Потому придет нынче днем господин профессор, — сердито сказала в сторону двери старая женщина, лежавшая в постели, — потому что он давно уже здесь не был, по крайней мере месяц не был, а он обещал, что каждый месяц один раз...

— Потому придет сегодня господин профессор, — поддразнивая, объявила Луца, — что мама влюблена в него и каждый день ждет, что он явится и будет с нею беседовать о Гёте — потому-то она и не хочет, чтобы господин профессор видел полное судно. И я ее вполне понимаю. Да и вы тоже, правда, Иренке?

— Что вы там говорите? — покраснев, спросила старая женщина. — О чем вы говорите? — Когда хотела, она мгновенно становилась глухой. — Почему это вечно вам надо шептаться, так что собственного голоса не слышать!

Луца весело засмеялась, за окном опять загоготали гуси.

— Ну так про что вы там говорить?

Профессор Хетени потому так давно не посещал этот домик с маленьким палисадником, что четыре месяца назад умер, но от старой женщины, которая уже не очень-то могла следить за бегом земного времени, это тщательно скрывалось.

— И не отрицайте, мама, что вы влюблены в господина профессора, — сказала Луца, — иначе для кого же вы заучивали бы наизусть все эти цитаты из Гёте?

Тем временем старая женщина, вставив в рот челюсти, медленно жевала гренки.

— Dumme Gans, — сказала она. — Для кого?.. Для кого?.. Для себя. Я и гренки ем для себя.

Молодая женщина села в стоявшее возле кровати низкое кресло, обтянутое желтым шелком, заложила ногу за ногу.

— А скажите, мама, господин профессор в самом деле такой остроумный, когда говорит по-немецки?

Старая женщина не ответила; с презрительным видом она продолжала разжевывать гренки.

— Может, и остроумный, когда говорит по-немецки, — не унималась Луца. — А впрочем, когда и по-венгерски болтает, все равно он милый. Если бы только не был такой некрасивый!

Старая женщина все еще не замечала, что ее разыгрывают.

— Не всем же быть такими красивыми, как вы, — сказала она, и ее лоб залила легкая краска.

— А я красивая, мама? — спросила Луца.

Старая женщина перестала жевать и натренированными девяностошестилетним жизненным опытом всезнающими женскими глазами испытующе вгляделась в лицо своей невестки, которая сейчас каждой сладострастной клеточкой тела купалась в льющемся из окна солнечном свете и запахе акации.

— Если бы только вы была такой умной, — недовольно проговорила она немного спустя.

— Такой умной — как кто?

Протезы старой женщины опять заработали, она не ответила.

— Такой умной, как господин профессор?

— Dumme Gans, — сказала старая женщина.

Луца, довольная, рассмеялась.

— Чуть не забыла, господин профессор звонил ведь вчера, — сказала она. — Он на один день только заскочил из Сегеда и не мог навестить вас, сказал, что целует маме ручки. И что она до ста лет доживет, так что не горюйте, мама, вы с ним еще много раз повидаетесь.

Старая женщина продолжала жевать, но подозрительно покосилась на невестку.

— Он и мне говорил, что я до ста лет доживу, — пробормотала она немного погодя. — Он сегодня сказать вам по телефону то же самое?

Молодая женщина закрыла глаза, откинула голову на залитую солнцем спинку кресла.

— Или вы из меня валяет дурака? — спросила старая женщина.

Луца, улыбаясь с закрытыми глазами, кивнула.

— То есть как? Вы меня сейчас обманываешь? — не веря своим ушам, спросила свекровь.

— Конечно, — сказала Луца.

Старая женщина смотрела на нее своими большими наивными глазами; сейчас она и вправду не знала, что ей думать о предсказании профессора. Но, коль скоро невестка смеялась, она, хотя и обиделась, в конце концов засмеялась с ней вместе, сперва тихонько, непонимающе — в такие минуты ее костлявое строгое лицо становилось почти простоватым от неуверенности, — но потом все свободнее, искреннее, великодушно примирившись с тем, что смеется-то над собой; крошечная заноза, притаившаяся внутри, кольнет, может быть, лишь несколько часов спустя, а то и вовсе на другой только день возникнет в памяти.

— Это вы сейчас сделать мне обман, правда? — повторила она весело.

Молодая женщина вскочила, склонилась над кроватью и свежими своими губами пылко расцеловала дрожащее среди подушек бесплотное лицо.

— Какой же это обман, мама! — воскликнула она. — Ведь мы с вами на днях только высчитывали, кто еще будет жив к вашему столетнему юбилею, кого позвать можно и какое платье я надену. Помните, мы решили, что это будет красное шелковое платье, то, что с большим вырезом?

— Ну хорошо, — сказала старая женщина, успокоившись. — А разве мы не белое шелковое выбрали, с вырезом?

— Где оно теперь! — сказала себе под нос молодая женщина.

— Что вы сказали?

— Ничего, мама.

— Хорошо, — сказала старая женщина, — подайте мне тогда содовой! А господин профессор действительно сказать вам по телефон, что я буду жить сто лет?

Луца стала поправлять сбившиеся подушки, а старая женщина предостерегающе охала, напоминая о своем семилетнем уже неврите; снова вошла Ирен и, бросив ревнивый взгляд на быстрые ловкие руки молодой женщины, вынесла на маленьком подносе пустую тарелку и стакан.

— Не мешают вам, мама, эти книги? — спросила Луца, расправляя одеяло. — Ведь не сразу же вы все их читаете!

— Одну читаю, а над другими думаю, — строго ответила старая женщина. — Уж пожалуйста, вы до них не касайтесь! По немецкому урок выучили?

Тщетно подождав ответа, она повернула узкую голову к молодой женщине и устремила на нее неодобрительный взгляд. Это был такой долгий, такой отключенный и ушедший в никуда взгляд, что можно было подумать, будто она вовсе запамятовала, зачем смотрит и почему; глаза светились бессмысленно, как звезды в космическом просторе. Но вдруг она снова вернулась к здешней действительности.

— Что будет сказать Янош, — произнесла она ворчливо, — когда вернется, а вы все еще не знаешь немецкий?

— Янош... Янош... — пробормотала Луца. — Пусть порадуется, если я до тех пор и венгерский-то не забуду.

Старая женщина опять на нее взглянула.

— Что вы сказали?

— Надоел мне Янош, — сказала Луца тихо, но этого старая женщина не услышала. — Надоел мне Янош, — повторила Луца громче, чтобы та расслышала наверняка. — И как это так получается, мама: стоит заговорить о Яноше, и вы непременно услышите, как бы тихо ни говорили? Мне надоел ваш сын, мама.

— Вы опять меня разыгрываете? — спросила старая женщина, и ее губы искривила улыбка.

— Конечно, — ответила Луца.

Старая женщина на это ничего не сказала. Но ее взгляд, устремленный невестке в лицо, был так серьезен и чист, что Луца не выдержала его; она вскинула голову и улыбнулась старой женщине. Та с готовностью улыбнулась ей в ответ.

— Мама, расскажите мне, пожалуйста, — громко попросила Луца, — про ту историю, когда вы в Шаваньюкут ездили.

Старая женщина задумалась.

— В Шаваньюкут?

— Ну да, — сказала Луца. — Когда вы всей семьей ночевали в одной комнате.

— И что же?

— Да вы ведь знаете, — сказала Луца, — это когда вы все в одной комнате спали и второй ваш сын подсматривал за вами.

— Мой бедный Дюри? Вы его уже не знали.

— Он самый, мама, — сказала Луца, — Дюри. Когда вы стали вечером раздеваться и приказали детям, чтобы они отвернулись к стене.

— Ах, — сказала старая женщина, — я тебе про это уже рассказывала.

Луца ей улыбнулась.

— Но я уже плохо помню. Когда это было?

— Ах, очень давно, — сказала старая женщина. — Лет пятьдесят тому назад, наверное.

— Даже больше, — сказала Луца. — Сейчас вам, мама, сколько лет?

— Девяносто шесть, — проговорила старая женщина гордо.

— Вот видите! — воскликнула Луца. — Вы же были тогда совсем молодой

женщиной, когда в Шаваньюкут ездили, и вам дали на ночь одну только комнату. Это уж по меньшей мере лет шестьдесят назад было.

— Шестьдесят? — повторила старая женщина задумчиво. — Значит, мне тогда тридцать шесть было?

— Приблизительно, — сказала Луца. — Ну расскажите же, как там это получилось с подсматриванием?

— А получилось так... — начала было старая женщина. Но вдруг замолчала и неуверенно поглядела на невестку. — Я же вам про это рассказывала.

— Ну и что же, а если я плохо помню, — сказала Луца. — Помню только, что был вечер, дети уже были в постели, а мама собиралась раздеться. Должно быть, мама, вы были красавицей в молодости.

— Да, — сказала старая женщина просто. — Я была очень красивая. Вы ведь знаете, тогда вошли в моду большие шляпы, их надо было привязать широкой черной лентой, шелковой или бархатной, под... как это говорится... под нижняя челюсть, и мой муж подарить мне очень широкая черная муаровая лента, и когда я завязывала ее под... челюсть, то все молодые люди на улице оборачивались на меня смотреть.

— Еще бы! — сказала Луца. — Не только молодые люди, но и господа постарше. Господин профессор Хетени тоже обернулся бы маме вслед, если бы он вас знал тогда.

Старая женщина стеснительно улыбнулась.

— Будет вам, — сказала она, и лицо ее внезапно стало строгим, — господина профессора тогда, должно быть, еще и на свете не было.

— Ну конечно, — сказала Луца. — Так как же было дальше?

— Что?

— Да с подглядыванием.

Старая женщина пощупала худыми пальцами свой черный чепец.

— А знаете, — проговорила она задумчиво, — что этот чепец сделан из та широкая черная лента, которую мне давал тогда муж?

— Но ведь чепчик-то бархатный, мама, — со смехом вскричала Луца, — а вам подарена была шелковая муаровая лента.

— Все равно, — сказала старая женщина, покраснев. — Может, она была бархатная. Ну, про что вы хотите знать?

— Про то, мама, — сказала Луца, — как вы тогда раздевались там, в Шаваньюкуте.

— Нам всем пришлось ложиться спать в одной комнате, — заговорила старая женщина, и ее голос сел немного, как будто надломился, придавленный чудовищной усталостью от путешествия в пространстве длиною в шестьдесят лет. — Так случилось, что нам всем пришлось спать в одной комнате, и дети были уже в постели, и я хотела себя раздеть. Вы знаете, женщины тогда еще носили корсет, большой длинный корсет, вот отсюда досюда, и затянуть его надо было мой муж, а я не хотела, чтобы дети видеть это. Ах, — прервала она себя внезапно, — я тебе это уже рассказывала.

— Но если я не помню, мама! — воскликнула Луца. — Знаю, что вы сказали тогда детям, чтобы они отвернулись к стене.

Старая женщина рассеянно кивнула.

— Сказала.

— А когда вы начали раздеваться, то на всякий случай обернулись, убедиться хотели, отвернулись ли дети.

— Да, — сказала старая женщина. — Я стояла там в нижней юбке...

— А вот и нет, совсем не в нижней юбке, — воскликнула Луца с подергивавшимися от сдавленного смеха губами, — а в панталонах, в длинных, до лодыжек, панталонах, обшитых кружевом...

Старая женщина рассмеялась тоже.

— Да, в панталонах.

— И когда мама обернулась, она увидела, что Янош честно лежит лицом к стене, а младший сын...

Старая женщина опять рассмеялась.

— Дюри подсматривал...

— Да-да, подсматривал, — сказала Луца. — Лежал на животе и одним глазом косился на маму.

— У него были длинные золотистые волосы, — проговорила старая женщина размягченно, — очень красивые вьющиеся локоны, и он из-за них подсматривал...

— А потом?

— Что потом?

— Дальше-то что было?

Старая женщина не ответила.

— Пожалуйста, расскажите дальше, — попросила Луца, — потому что я уже плохо помню. Вы завесили полотенцем решетку детской кроватки...

— Конечно, завесила, — сказала старая женщина отрешенно.

Луца громко расхохоталась.

— И увидели в зеркале, что Дюри потихоньку отодвигает полотенце и все время выглядывает из-за него.

— Да, выглядывает, — сказала старая женщина и, чтобы посмеяться всласть, вынула протез изо рта и опустила его в стакан с водой, стоявший на ночном столике. — Выглядывает и смеется.

— А Янош...

Наконец-то воспоминания расшевелили старую женщину.

— А Янош, — сказала она тихо, — все лежал, отвернувшись к стене, и даже не шевельнулся, бедняжка.

— Даже маленьким мальчиком он был такой порядочный, правда, мама? — сказала Луца, с любопытством поглядывая на свекровь.

— Да, — произнесла та очень медленно и твердо, — он очень порядочный человек.

Она закрыла глаза, в доме наступила тишина. С улицы в залитую солнцем комнату ворвался низкий автомобильный гудок. Старая женщина опять открыла глаза, посмотрела на невестку.

— Dumme Gans, — громко и четко проговорила она, — думаете, я не вижу, что ты помнить лучше, чем я? Да, он и тогда был такой порядочный человек, вы это хотели услышать?

— Черта с два! — сказала Луца тихо, но этого старая женщина не услышала.

Она следила глазами за осой, которая вилась вокруг стоявших на ночном столике анютиных глазок; вытянув шею, отвернув голову, старая женщина смотрела на нее, потом — позабыв о невралгических болях — приподнялась на локте, надела на нос очки, и ее рот от волнения приоткрылся.

— Вы любит Янош? — немного спустя спросила она хрипло. И тут же опять устало опустилась на подушки, сняла очки.

— Черта с два! — сказала Луца.

Старая женщина возмущенно нахмурила лоб.

— Ладно, вы сейчас не шути, — сказала она хрипло, — потому что я говорить серьезно. Если любите Янош, то скажите ему, когда он вернется из Америки, что не надо быть такой своевольник.

— Почему, мама? — спросила Луца с любопытством.

Старая женщина молчала. Она смотрела прямо перед собой, ее рот опять приоткрылся от волнения, обращенного в себя.

— Неважно, — сказала она. — Вы ему только сказать это!

— Но почему, мама? — опять спросила Луца.

И опять старая женщина не ответила. Приподняла голову, скосив глаза, так что зрачки совсем ушли кверху, пыталась поймать взглядом гудевшую над анютиными глазками крупную осу, некоторое время на нее смотрела, потом снова уронила голову на бледно-лиловую думку.

— Однажды я наблюдала такая оса, — проговорила она осевшим голосом, — это было очень-очень давно. Она так же кружилась-гудела вокруг такие же желтые анютины глазки, потом села на один цветок, но, оттого что была слишком

тяжелая, цветок сразу отвернуть головку и наклониться низко, до самой земли. И знаете, если бы он не наклонился, у него, может быть, этот... ну, как его говорят... стебель сломался бы.

— Я это должна рассказать Яношу? — спросила Луца.

— Да, — сказала старая женщина.

— Раньше надо было, — пробормотала Луца.

— Что вы говорите?

— Я ничего не сказала, мама, — ответила Луца.

— И не надо, — сказала старая женщина. — Вы только ему скажите.

— Почему вы сами ему не скажете, мама?

Старая женщина посмотрела на невестку, устало махнула рукой.

— Он еще очень долго не придет домой, — сказала она, неподвижно глядя перед собой.

К счастью, в комнату вошла Ирен; ее славная круглая физиономия, гладкая и румяная — словно надевшая праздничный наряд, — сияла, седые волосы сверкали под лучами солнца. Старая женщина сразу же увидела в руке у нее письмо. Она села в постели, открыла рот, но не могла произнести ни слова.

— Вам письмо пришло, — объявила Ирен, незаметно моргнув Луце.

Старая женщина сделала глубокий вдох.

— От Яноша?

— Почем же мне знать? — сказала Ирен, подходя к кровати. — Я ведь его не читала.

Однако на этот раз старую женщину нельзя было обмануть безразличным тоном; словно землетрясением всколыхнуло и в мгновение ока преобразило все ее существо, глаза широко открылись, провалы на длинном костлявом лице наполнились плотью, на нем появилась краска, грудь вздымалась и опускалась под легкой кремовой ночной кофточкой. Ужасное волнение давило грудь, выталкивая наружу самое душу ее; кожный покров, радужка глаз, даже обесцвеченные ногти и уже сильно поредевшие седые волосы — все было словно наэлектризовано. Она вытянула обе дрожавшие руки, одною схватила письмо, другой обвила шею старой домоправительницы, притянула к себе ее голову, поцеловала. Она так утомилась, что прошло несколько минут, прежде чем она решилась разорвать конверт и развернуть напечатанное на машинке письмо.

— Подайте мне лупу, Ирен, — проговорила старая женщина, задыхаясь.

Она надела очки и, держа лупу за черенок дрожащей рукой, стала читать про себя, иногда останавливаясь, словно выдохшись, потом, глубоко переведя дух, снова принимаясь за длинное, на четырех страницах, письмо, которое затем, целую неделю, будет вынимать по нескольку раз на дню и от первой буквы до последней вновь и вновь перебирать в ненасытной своей памяти.

«...постараюсь на этот раз воздать сторицей за мое прошлое коротенькое письмецо, хотя, сказать по правде, сейчас у меня еще меньше времени, потому что... И вот она, великая новость!.. я навожу последний лоск, готовлю мой фильм к выпуску, через месяц закончу и — тотчас домой. Я хотел сообщить об этом прежде всего, чтобы хоть одной доброй вестью вознаградить дорогую мою маму за долгое ожидание. Премьера состоится ровно через месяц, считая с нынешнего дня, в самом большом кинотеатре Нью-Йорка, вмещающем одновременно тридцать тысяч человек, — его как раз сейчас строят недалеко от города, на вершине высокой, в две тысячи метров, горы, и к премьере должны закончить, потому что открыть его хотят моим фильмом; с его крыши будет видна вся Америка, до самых Кордильер и Анд, не говоря об Атлантическом океане, который здесь точь-в-точь такой же голубой, как Адриатическое море в Аббазии, где мы однажды, мама, с вами отдыхали. При кинотеатре, разумеется, будет свой аэродром, потому что сюда будут прилетать богатые люди со всей Америки на собственных самолетах, из города же — то есть из расположенного у подножия горы Нью-Йорка — зрителей будут доставлять вертолеты, за один доллар с человека. К премьере приурочили большой праздник, но об этом я расскажу позже, сперва же хочу вас, мама, успокоить: несмотря на то, что у меня много работы, я абсолютно здоров и пре-

бываю в отличном настроении от того, что теперь скоро буду дома и, хотя работаю я по десять-двенадцать часов, все-таки ежедневно один час отдаю спорту, занимаюсь боксом, летаю на самолете, гуляю и плаваю. Разумеется, вы сейчас спросите, мама, где я плаваю. В своем личном бассейне, в парке. Это особая история.

Вы, мама, знаете, что прежде я жил в «Уолдорф-Астории», самом большом отеле Нью-Йорка, в двадцатикомнатных апартаментах, на сотом этаже, откуда видна половина Америки. Но мне приходится держать такое количество обслуги — одних секретарей шесть человек и около дюжины машинисток, — что нам было там тесновато, хотя даже в гостиных понаставили везде кровати, а в одной из гостиных даже двухъярусные, как в туристических лагерях в Швейцарии, которые вы, мама, видели во время свадебного путешествия! С другой стороны, репортеры, поналетевшие сюда со всех концов света, так мне докучали, что мы решили переехать и держать наше местопребывание в тайне. В тысяче километров от Нью-Йорка мы арендовали замок XVI века, каждый камень которого доставлен из Франции, и тут его выстроили снова, естественно, с самыми современными удобствами, парком на ста хольдах, несколькими бассейнами, площадкой для гольфа, аэродромом, с самыми лучшими кондиционерами в доме, так что теперь мы здесь прекрасно разместились, ведь в замке комнат столько, что даже мой слуга негр и мой парикмахер получили по апартаменту каждый, а у конюха даже отдельный маленький коттедж неподалеку от конюшен; да, я и забыл написать вам, мама, что перед завтраком я каждый день по часу езжу верхом; есть у меня любимая белая кобылка по прозванию Darling, на ней я и выезжаю и в эти часы даже секретарей своих оставляю дома, сопровождают меня только шесть служащих тайной полиции, нанятых кинокомпанией для обеспечения моей безопасности, они следуют за мною верхом на расстоянии ста шагов. Если у нас есть дела в Нью-Йорке, мы на нашем выкрашенном в красно-бело-зеленые цвета реактивном самолете через час уже там, а к обеду снова дома, — вы же понимаете, мама, что я и здесь не отказываюсь от моей послеобеденной сиесты, чтобы сохранить бодрость для вечерней работы. *Мой адрес засекречен, так что сообщить его не могу, вы, мама, просто отдайте письмо Луце, а она перешлет его в «Уолдорф-Асторию», по прежнему адресу.*

Мне, право же, неловко за все эти, а также и другие оказываемые мне поразительные знаки внимания, и я пишу вам об этом только потому, что знаю: вам это доставит радость и тем самым я немножко смягчу, может быть, огорчения, какие причиняет вам наша разлука. Разумеется, всему этому скоро конец, и я опять буду дома. К сожалению, пока не могу прислать вам, мама, по-настоящему красивый подарок, потому что гонорар я получу только после завершения работы над фильмом и к тому же дома пришлось бы платить слишком большую таможенную пошлину, так что удовольствуйтесь покуда теми несколькими пустячками, которые я посылаю вам через Луцу. Но я уже присмотрел для вас, мама, большой светло-серый «люкс-форд», я сам привезу его домой, и еще проигрыватель с тысячью пластинок, и суперрадио, по которому можно слушать даже Северный полюс. (Правда, там не исполняют Бетховена.) Для Ирен и ее семьи я куплю неподалеку от вас пяти- шестикомнатный дом, а вот что привезу Луце, пока не скажу. Есть здесь в парке ласковый коричневый мишка, вдвое больше Ирен, мы с ним очень понравились друг другу, может быть, мне его продадут, вот не знаю только, где мы будем держать его дома. Он похож на того медведя, которого мы с вами видели, мама, в Вене, когда мне было десять лет и вы водили меня в шёнбруннский зоопарк, помните? А вечером в тот день мы смотрели «Прекрасную Елену» Оффенбаха, и вы, мама, до сих пор рассказываете, как во время представления я просто вопил от восторга и так громко смеялся, что все на меня оборачивались.

Но я должен еще поведать вам о празднике, который приурочен к премьере. Пока не слишком о нем распространяйтесь, потому что это до некоторой степени дипломатическая тайна. Вероятно, излишне даже упоминать о том, что все радиокомпании Америки будут вести передачи непосредственно с места действия, телевидение, само собой, тоже, так что фильм увидят по меньшей мере пятьдесят миллионов. Ожидают сто, а может, и двести журналистов, радиокомпании присыла-

ют своих самых популярных дикторов, среди них всемирно известного мистера Смита, будут, конечно же, ведущие журналисты европейских газет и радиокомпаний. Но в Пеште все эти передачи услышать, конечно, не удастся.

На премьеру приглашены в мою честь весьма знатные особы. Моей маме, конечно, известно, что я упоминаю об этом не из хвастовства, а просто затем, чтобы вас порадовать. Мадам Рузвельт, вдова бывшего президента, взяла праздник под свое покровительство и послала собственноручное приглашение своей лучшей подруге, голландской королеве Вильме, и она уже его приняла. Прибудет и президент Французской Республики со всем семейством, а также представитель английской королевы, ее сын герцог Уэльский, которого вы, мама, без сомнения, помните, однажды он посетил и Будапешт и был в восторге от абрикосовой палинки. Приедет также советский министр иностранных дел, Венгрию будет представлять министр культуры, ожидают немецкого канцлера, короля Греции, а сейчас раздумывают о том — тут вступают в силу дипломатические соображения, — приглашать ли Франко, испанского диктатора. Прибудет также махараджа из Джапурты со всем своим двором и любимым белым слоном, которого, разумеется, поднять на гору самолетом нельзя, поэтому у ее подножия, на равнине для него выстроили специальное помещение из белого мрамора, тоже с кондиционерами, и отдельный коттедж для персонала, обслуживающего слона. Седло на нем из чистого золота, богато инкрустированное белым жемчугом и драгоценными камнями...»

Дочитав письмо, старая женщина от перенесенного волнения немедленно уснула. Теперь можно было спокойно разговаривать — ее уши, если она не видела движения губ, уже не оповещали ее ни о каком бы то ни было шуме, ни о разговоре, даже если это происходило в непосредственной от нее близости. Она спала тихо, не было слышно даже дыхания, на изможденном ее лице застыло выражение счастья. Она была вполне в здравом уме, а иногда даже бывала способна заподозрить подвох, насколько можно этого ожидать от столь простодушного создания, но когда речь шла о ее сыне, о его уме, таланте, силе, мужестве, тут она могла поверить всему: она считала его гением и доверяла каждому его слову.

— Опять не заметила, что письмо опущено в Пеште, — посмеиваясь, сказала Ирен.

Луца вскочила с места, отбежала к окну и, став за изголовьем кровати — чтобы спящая не видела ее даже во сне, — показала свекрови язык.

— И что же вы там понаписали?

— Много всего... очень забористо, — сказала Луца.

— Нынче она говорить о нем не станет, — сказала домоправительница, — но завтра уже в шесть утра меня вызвонит.

— Чтобы и вы порадовались, — сказала Луца.

Женщины помолчали. Все выше поднимавшееся солнце постепенно уходило из комнаты, белое лицо старой женщины уже совсем погрузилось в тень, только длинное зеркало большого трехстворчатого шкафа, стоявшего в дальнем конце комнаты, отражало лившийся в него свет, который грани шлифованного стекла разбивали на семь цветов радуги, набрасывая трепещущую цветную паутину на белую стену. Над букетиком желтых анютиных глазок усыпляюще гудели осы.

— Долго вы так не выдержите, — сказала домоправительница, бросив на молодую женщину сочувственный взгляд.

— Еще чего! — сказала Луца.

— Но не десять же лет!

— Один год он уже отсидел, — сказала Луца. — Осталось только девять.

Домоправительница кивнула.

— Старой барыне до этого не дожить.

— Да, — сказала Луца. — Но пока она жива, пусть у нее будет все.

— Господин профессор Хетени обещал ей, что она доживет до ста лет, — сказала старая домоправительница. — Еще четыре года.

— Может быть, — сказала Луца. — Подите-ка сюда, Иренке, посмотрите, какое у нее лицо хорошее отсюда, сзади.

Старая женщина спала так покойно, счастливо, что Луца решила не дожидаться ее пробуждения. Но едва она направилась к двери, лежавшая в постели женщина за ее спиной открыла глаза.

— Куда это вы собрались? — спросила она.

Луца обернулась, засмеялась.

— Сбежать собралась, мама.

Старая женщина не ответила и надолго задержала взгляд на крепкой стройной фигуре невестки. Она даже приподняла немного голову, ласково улыбнулась.

— Как красивы ваши рыжие волосы в луч солнца! — сказала она. — Как у английской принцессы.

Луца вспыхнула.

— Ну и ну! — сказала она. — Они правда красивые, мама?

— Правда, — сказала старая женщина. Она несколько раз покивала головой, затем согнутым указательным пальцем поманила невестку к себе. — Извольте поцеловать меня! — потребовала она. — Да не в лоб! И я тоже хотеть поцеловать тебя. Вы очень красивая.

— Вот тебе и на! — сказала Луца.

— У меня есть вопрос, — сказала старая женщина. — Зачем в Америке нужна около Яноша тайная полиция?

Луца проглотила ком в горле, ее ресницы затрепетали.

— В Америке, мама, всех известных людей охраняет тайная полиция.

— Ну хорошо, — сказала старая женщина, успокоившись. И вдруг издала тоненький старческий смешок. — Вам медведь нужен? — спросила она, прикрыв рукою беззубый рот. — Большой медведь, вдвое больше Ирен? Mein Gott, что за идея! Только ему могло такая идея прийти в голову! — Старая женщина смеялась от души, почти до слез. — А теперь ступайте! — проговорила она неожиданно с нетерпением. — Про письмо расскажу вам завтра.

Но не успела Луца дойти до двери, как она снова позвала ее.

— Ну вот вам, пожалуйста, — нервно сказала она, — вы же забыли выщипать мне подбородок, а ведь сегодня днем придет господин профессор Хетени. Достаньте пинцет из ящичка! И еще выньте новую блузку, потому что Ирен не захочет мне дать ее. А теперь помогите — я ее сразу и надену. Вот посмотрите, — сказала она, гордо поглядывая на свою оголенную руку, — видите, какая гладкая, ни одной морщинки, только вот здесь, у локтя, когда сгибаю.

— Здесь и у молодых есть морщинки, мама, — сказала Луца.

Старая женщина внимательно на нее поглядела.

2. Maestoso

На этот раз Луца позже обычного позвонила в дом свекрови. Напротив калитки в согретой солнцем пыли гоготали четыре гуся; четыре женщины уже разошлись по домам стряпать обед.

Седая плотная домоправительница открыла дверь. Она не тотчас впустила гостью; заступив ей дорогу, стала на пороге и маленькими своими глазками, высверленными на ее румяной как яблоко физиономии, испытующе — словно готовясь к замедленной съемке — долго всматривалась в лицо молодой женщины.

— Ну что, так и не впустите? — сказала Луца со смехом.

— Что-то худое стряслось? — спросила домоправительница, по-прежнему стоя в дверях.

— Чушь... — сказала Луца. — Чему быть худому? Так и не впустите?

Старая домоправительница не сдвинулась с места.

— Чему быть худому? — сказала Луца. — Все в порядке.

— Тогда почему вы нынче без цветов? — спросила домоправительница.

Луца засмеялась.

— Все-то вы замечаете... Некогда было. Да впустите же меня наконец! Разве не видите, что я и так опоздала?

— Вам некогда было? — спросила домоправительница.

В маленькую белую кухню, ярко сиявшую под прямыми лучами солнца, отражаемыми еще и покрытой белым лаком кухонной мебелью, вливался удушливо сладкий аромат обрамлявших газон кустов жасмина. Молодая женщина, поведя прямым маленьким носом, усердно принюхалась.

— Что-то запаха гренок с маслом не чую, — сказала она. — Уже съела?

— Давно.

— Разве так поздно?

— Скоро полдень, — сказала домоправительница.

— Иренке, выкрадите из вазочки вчерашние цветы, — сказала молодая женщина, — и принесите сюда! Я не успела купить их сегодня.

— У вас нет денег? — спросила домоправительница.

Молодая женщина не ответила.

— Вытащите из вазочки вчерашние цветы, — сказала она, — и дайте листик шелковой бумаги. Вчера я какие цветы принесла?

Домоправительница покачала головой.

— Ничего не выйдет, она чего другого не заметит, но уж цветы у нее не вы-крадешь. Вчера белые гвоздики были.

— Тащите их сюда, — сказала Луца, — я их помадой раскрашу.

Домоправительница засмеялась.

— Налить рюмку палинки?

— Налейте!

Ирен подошла к буфету, потянув на себя, открыла дверцу. В центральной его части на нижней полке, покрытой белоснежной кружевной салфеткой, вырезанной из бумаги, сверкнули уставленные стопками друг подле друга глубокие, большие мелкие и десертные тарелки — эта стопка была немного пониже остальных; затем следовали уложенные одно на другое самые разные по величине и форме блюда — для жаркого, салата, соусов, выпечки, — а в самом углу стояла большая, в форме вазы, супница; и на каждом предмете сервиза ярко сияла на солнце узенькая золотая полоска.

— Вчера она опять десертную тарелочку разбила, — сказала домоправительница, доставая с верхней полки из-за стаканов, чашек и блюдец граненую ликерную рюмку; аккуратно наклонив бутылку с палинкой, она медленно налила ее доверху. — Уже четырех не хватает в сервизе... Ох, что это с вами? — воскликнула она, когда, обернувшись с полной рюмкой в руке, увидела, что Луца плачет, уронив голову на стол. — Так я и знала...

Молодая женщина раздраженно подняла залитое слезами лицо.

— Что вы знали?.. Ну говорите же, что вы знали?

Старая домоправительница молча смотрела на нее.

— Ну и реву, и что здесь удивительного, — всхлипывая, сказала Луца, — когда тут бьют-колотят мое наследство? Вот уже четырех десертных тарелок не хватает. Или она сервиз вам завещала?

— Мне, — сказала домоправительница быстро, решительно. — И серебро тоже. Что с вами?

— Ничего.

— У вас нет денег?

— Я на прошлой неделе семьдесят четыре форинта заработала раскраской нейлона, — сказала Луца. Она достала из своего белого мешочка-ридикюля носовой платок, пудреницу, губную помаду, зеркальце, высыпала все это перед собою на стол. Зеркало немного запорошилось пудрой, она протерла его носовым платком, поднесла к лицу, затем с отчаянной, самозабвенной серьезностью, как человек, вступивший в битву за жизнь, стала пристально изучать каждую черточку своего лица: поворачивала зеркальце то так, то эдак, кончиком указательного пальца провела по матово светившимся векам, затем втянула губы и раз-другой облизнула их — верхнюю губу нижней, совсем как жующая жвачку корова. Лизнув палец, пригладила брови. Сотворение мира — где нет уже ни смерти, ни тлена — свершилось. Она еще раз повернула зеркальце и искоса бросила быстрый взгляд

на тяжелый бронзовый узел волос: то был уже седьмой день творения. — И поработать-то пришлось всего только два дня да две ночи, — сказала она, и ее голос в последний раз дрогнул от усталости, накопившейся от сотворения мира.

Домоправительница подтянула поближе к ней табуретку с облупившейся краской и села.

— Я могу дать вам взаймы, — сказала она, — вчера муж принес зарплату.

— Идите вы... — сказала Луца. — В прошлый раз парикмахер опять восемьсот форинтов предлагал за мои волосы... вполне хватило бы за два месяца квартиру оплатить.

— Ничего нового? — спросила домоправительница, помолчав.

— Ничего. Что моя свекровь?

— Я тут заглядывала к ней, она спала.

Глаза молодой женщины опять наполнились слезами. Она уже не в силах была бунтовать против себя самой, до такой степени вымоталась.

— Что с вами? — спросила домоправительница.

— Ничего, — сказала Луца. — Нервы не в порядке. Не допрашивайте.

— Гости прибыли?

Молодая женщина засмеялась, задержавшаяся в уголке глаза слезинка скатилась вниз.

— Скоро я и про это забуду.

— Тогда что же?

— Опять судебный исполнитель был, — сказала молодая женщина. — В девять явился, терзал до одиннадцати.

— Да все ведь уже описано, — сказала домоправительница.

— Еще не все.

— Как это?

— А так, что не все описано, — сказала Луца.

Старая домоправительница сцепила на животе руки и молча глядела перед собой. На улице перед домом испуганно гоготали гуси.

— Только он выкатился, — сказала Луца, — заявилось семейство дворника, все трое, он сам, жена и девочка, обступили меня и стали «Реквием» Верди петь, чтобы меня утешить.

— Что-что?

— Ничего, — сказала Луца. — Шучу я.

Домоправительница встала, но тут же села опять.

— Однажды в Майше, в монастыре у святых сестер, — я была тогда еще маленькая — у меня завелись вши, — проговорила молодая женщина, наморщив лоб, — и мать-настоятельница приказала меня остричь наголо... целый год прошел, пока волосы отросли немножко. Весь тот год я чувствовала себя примерно так же, как сейчас.

Домоправительница молчала.

— Поглядите-ка, — сказала Луца, — мне вдруг вспомнилось, что настоятельница тоже была из Вены... И еще мне было обидно, что с Лиллой Буйовски она всегда по-немецки говорила, а я не понимала их.

— И она приказала состричь ваши прекрасные рыжие волосы? — спросила домоправительница.

— Потому и приказала остричь, что они были рыжие, — сказала молодая женщина. — А на другой день моя мама пришла в монастырь с хлыстом в руке, едва уговорили ее, чтобы она не отхлестала мать-настоятельницу.

— Я думала, что судебный исполнитель уже все у вас описал, — сказала домоправительница немного спустя.

— Он не все описал, — сказала молодая женщина упрямо.

— И что же оставил?

Молодая женщина, сделав нетерпеливый жест, ударилась локтем о стол.

— Пусть не приходит нежданный гость!.. Пусть не приходит нежданный гость!.. — испуганно проговорила она заклинание и, схватившись рукой за локоть, «вытащила» из него нежданного гостя, а затем, разжав ладонь, рассыпала его в

воздухе. — С меня на сегодня достаточно. Мою мебель они еще не описали.

— Ну конечно, — сказала Ирен.

Молодая женщина нервно дернула головой.

— Почему конечно? Потому только, что у меня сохранились все старые счета и заказ на перевозку — вот я и смогла доказать, что мебель моя, а не Яноша. У Яноша и на одну комнату мебели не было, даже кровати порядочной, когда он на мне женился.

Домоправительница кивнула.

— Знаю.

— А теперь министерство опять прислало господина Кулинку, — сказала Луца со слезами на глазах, — чтобы он все описал, а я могу потом отсудить обратно то, что мое. Он так и плевался нулями: десять тысяч, пять тысяч, восемь тысяч, и еще десять тысяч, и еще четыре тысячи... напрасно я умоляла его, твердила, так или иначе мне присудят вернуть все, ну, чтобы он поменьше назначал цену, иначе мне не уплатить госпошлину. Он смотрел на меня печально, головой качал, только что не заплакал, жалел так, а потом как заорет: шкаф необарочного стиля — двадцать тысяч!

— Двадцать тысяч! — повторила домоправительница, качая головой.

— Чего вы ужасаетесь! — сказала Луца. — Он столько и стоит, я бы столько и получила, если бы продала его. Но я не продам, лучше сдохну. Пусть Янош увидит все таким, каким оставил.

Домоправительница не поднимала на нее глаз.

— Чего вы ревете? — раздраженно сказала молодая женщина. — Чего ревете! Прямо как господин Кулинка. Личного обыска не будет, сказал он со слезами на глазах, но в каждый шкаф заглянем... Иренке, дайте ту пустую коробку из-под французского мыла, которую мы припрятали.

— Мыло ей принесли? — спросила домоправительница, направляясь к буфету.

— И еще... пустую картонную коробочку из-под чехословацких конфет, ту, красивую, красную, — сказала молодая женщина, выуживая тем временем из своего ридикюля голубое с красным мыло и пакетик шоколадных конфет.

— Та, что в прошлый раз принесли, еще и не тронута.

— Пусть будет! — сказала молодая женщина. И сверкнула зубами в кривой усмешке. — Родной сыночек Янош прислал ей из Америки, — проговорила она насмешливо, высыпала из пакетика конфеты на стол и стала осторожно, одну за другой, укладывать в красивую красную чехословацкую коробку — хватило как раз на два ряда. Она снова рассмеялась.

— Что такое? — спросила Ирен.

— Ничего, — сказала Луца. — Я над собой смеюсь.

Раздалось три-четыре быстро следовавших один за другим звонка. Домоправительница посмотрела на молодую женщину.

— Войдете? — спросила она.

— Сейчас, дайте с духом собраться, — сказала Луца.

— Может, прилегли бы у меня в комнате на четверть часа?

— Зачем? — сказала Луца. — После обеда так и так лягу и не встану до утра. Сейчас у меня опять нет работы.

— Отчего вы в кино никогда не сходите? — спросила домоправительница немного погодя.

— Зачем? — сказала Луца. — Я и над собой смеюсь предостаточно.

Опять раздался звонок. С тех пор как старая женщина, с месяц тому назад совершая свою предвечернюю прогулку по комнате, упала — у нее закружилась голова — и сломала щиколотку, она стала еще более раздражительной и капризной, чем прежде; иногда она два-три раза подряд вызывала звонком Ирен, но бывало и так, что за весь день ни разу не дотрагивалась до звонка; с загипсованной ногой, с закрытыми глазами она неподвижно лежала в постели, не читала, не включала радио, и понять, что она не спала, можно было лишь по тому, что она сразу открывала глаза, почувствовав, что кто-то находится в комнате. Ее глаза были

затуманены в такие минуты не беспамятством сна, но усталостью от куда более дальнего путешествия, которая лишала живого света желтоватую кожу ее лица и выпускала из уголка рта влагу оставшихся без контроля слюнных желез. И голос она подавала в такие минуты не сразу, как поступают обычно задремавшие старики — которые из самозащиты, словно захваченные врасплох животные, отрицают, что заснули, и торопливым хриплым откликом стремятся показать свою готовность к защите, — нет, она молча устремляла долгий испытующий взгляд в оказавшееся перед нею лицо, пытаясь установить, из какого несуществующего чуждого мира оно возникло. Иногда она даже отмахивалась от него, словно отклоняла докучный визит. С тех пор как была сломана нога, она уже не вставала на привычную предвечернюю прогулку и, хотя болей у нее не было — она даже не знала о переломе, ей сказали, что это вывих, — выпавший из дневного расписания пятнадцатиминутный моцион перевернул весь распорядок дня и раскачал ее совсем сузившуюся, но все же устойчивую картину мира. Вместо умершего профессора Хетени пришлось вывести на сцену нового врача — профессор якобы пребывал в командировке в Советском Союзе, — и это тоже нанесло серьезный удар по ее пошатнувшейся вере в жизнь; и хотя доктор Иллеш, новый врач, сразу ей полюбился, ибо по каким-то неведомым нервным каналам, непонятно по какой причине он вызывал у нее образ сына Яноша, этот чужой человек, вторгшийся в ее жизнь, все-таки потревожил установившийся за долгие годы порядок. Доктор Иллеш, разумеется, тоже говорил по-немецки и хорошо знал немецких классиков — другого врача они и не решились бы привести к ней, — к тому же у него был красивый тенор, иногда он выступал в концертах, а ведь даже сам профессор Хетени петь не умел вовсе! Было вполне естественно, что доктор Иллеш, следуя примеру господина профессора, безоговорочно разделил со старой женщиной восхищение ее сыном.

— Это вы, Ирен? — донесся из комнаты голос старой женщины.

Луца вскочила, на цыпочках подбежала к двери — подслушать. Она всегда двигалась грациозно, даже когда никто ее не видел; ее лицо в полной гармонии с телом тоже играло, она строила гримаски, вскидывала подвижные брови, морщила лоб, смеялась, улыбалась себе, словно кому-то другому, кто на нее смотрит, наблюдает, слушает и восхищается ею. Кстати говоря, слух у нее был такой острый, что она преспокойно могла бы оставаться на кухне — и оттуда услышала бы каждое слово.

— Это вы, Ирен?

— Кому ж еще быть? — сказала домоправительница. — Вы звонить изволили.

— Подойти поближе, Иренке, я не видит ваше лицо, — сказала старая женщина подозрительно. — Я звонила?

— Даже два раза.

— Я не помнить, — сказала старая женщина. — Вы не знаете, что мне было надо?

— Я еще и это знать должна, — проворчала домоправительница. — Вы хотели спросить, который час.

— Хорошо, — сказала старая женщина. — Тогда говорит, который час?

— Вот-вот полдень будет.

— Полдень? — повторила старая женщина задумчиво. — Больше я ничего не хотела?

— Еще вы хотели спросить, что я буду есть на обед.

— Что будете есть?

— Остатки вчерашней говядины с картошкой и томатным соусом.

— Фуй, — сказала старая женщина. — Мне это не надо. Лапши с капустой не будет?

Ирен покачала головой.

— Жаль, — сказала старая женщина разочарованно. — Мне ее господин профессор Хетени запретил строго-настрого, но я все же всегда ем одна ложка. Теперь я уже знать, что хотела. Вы мне сказать, который час?

— Я уж сказала — полдень, — терпеливо повторила домоправительница.

— Это я знать... я знаю, что полдень, — сказала старая женщина. — Но тогда почему все еще не пришла молодая барыня?

Это и хотела услышать Луца. Значит, она все-таки нужна старой женщине — если не ради чего другого, то хотя бы ради того, чтобы рассказывать ей о своем сыне. Она опять метнулась на кухню, подхватила свой ридикюль, еще раз быстро оглядела себя в небольшом зеркале, висевшем на стене, и поспешила назад, в комнату.

— Целую руки, мама, — крикнула она громко.

— Это вы есть? — спросила старая женщина недовольным тоном. — Почему так поздно пришла? Ирен говорит, уже полдень.

— Я написала длинное письмо Яношу, мама, — сказала молодая женщина, — и отвезла на аэродром, чтобы оно сегодня же и отправилось.

— Ja, — сказала старая женщина.

— А что я принесла маме? — пропела Луца.

— Цветы, наверное, — сказала старая женщина. — Вы никогда не научилась экономить? Какие цветы?

— Белая гвоздика.

Старая женщина повернула голову к ночному столику, но вчерашней белой гвоздики там не увидела. Она опять повернулась к Луце и с сомнением посмотрела на вазу у нее в руке.

— Я их сразу поставила к вчерашним, они от долгого путешествия уже привяли немного. А еще что я принесла маме? — поспешно добавила Луца, используя отвлекающий боевой маневр.

Но старая женщина не перевела взгляд на ридикюль, она все еще смотрела на белые гвоздики.

— А что я еще принесла маме? — повторила Луца громче.

Старая женщина равнодушно взглянула на подарки.

— Ну хорошо, — проговорила она устало. — Французское мыло? От Яноша? Очень приятно запахнет. Вы отдать это Ирен, она пусть спрячет. И конфеты тоже. А Яношу напишите, больше сейчас пусть не посылать, потому что сейчас есть довольно.

— Пускай себе посылает на здоровье, — сказала Луца. — Этого слишком много не бывает. Отчего же ему не посылать?

— Пусть экономит, — сказала старая женщина устало. — Он тоже не умеет экономить. Что с тобой будет, деточка, если не научишься экономить, ни вы, ни он? Вы тоже когда-нибудь состареешься.

— Никогда, мама, — сказала Луца, смеясь. — Пока существуют на свете помада и румяна.

Старая женщина закрыла глаза.

— Я думала, что давно уж за полдень, — сказала она жалобно, — и вы уже ушла домой. А еще только полдень, и мне сейчас придется есть этот жалкий обед.

Внезапно она приподнялась на локте и, позабыв о своих невралгических болях, наклонилась над краем кровати и устремила тускло-черные лучи своих глаз на невестку.

— Подойдите поближе, деточка, — сказала она.

— Да, мама.

— Еще ближе! — сказала старая женщина. — Еще ближе! Скажите мне, деточка, правду: когда он приедет домой?

— Кто? — спросила Луца испуганно.

Впервые за год старая женщина позволила своим подозрениям вырваться наружу и даже сама решилась себе в них признаться. И прежде бывало, что она вдруг теряла терпение и бранила сына — почему он покинул ее так надолго, — но еще ни разу она не усомнилась в ее словах, в том, что он вернется домой через месяц или через три месяца, когда же месячный или трехмесячный срок истекал (за чем уследить с ее нарушенным чувством времени она все равно не могла), а сын так и не появлялся, тогда она с материнской своей доверчивостью, своей немыслимой, ни огнем, ни водой не искоренимой готовностью верить, без каких-либо сомне-

ний принимала то, что у сына дела, и почти мгновенно примирялась с новым сроком. Сейчас она взбунтовалась впервые.

— Извольте сказать мне правду! — проговорила она негромко, но твердо. Надев очки и еще ближе придвинувшись к лицу невестки, она смотрела ей прямо в зрачки своими требовательными темными глазами. — Когда он приедет домой?

— В прошлом письме он сообщал, что через три месяца работу завершит окончательно, — сказала Луца, — и с тех пор один месяц уже прошел.

Старая женщина вдруг откинулась на подушки и тоненько, по-старчески заплакала. Из ее широко раскрытых глаз ровными струйками текли слезы, постепенно заливая все ее узкое костистое лицо, нимало не исказившееся от их прикосновения; слезы стекали по подбородку и заливались за ленту ее черного бархатного чепчика. Луца знала старую женщину уже несколько лет, но никогда не видела ее плачущей, даже в пятьдесят шестом, когда пушечные снаряды едва не снесли крышу над их головами и две женщины сидели в сотрясавшейся от взрывов комнате совершенно одни, потому что Ирен была со своим мужем в Андялфельде, на другом конце города, на фабрике, и боялась вернуться домой, о Яноше же они целую неделю не слышали ничего. Старая женщина, уже тогда почти беспомощная, лежала в постели, но ее суровое лицо даже не дрогнуло ни разу при бомбежке — правда, она и в то время уже была несколько туга на ухо, — и целыми днями рассказывала невестке бесконечные истории из своих девических лет, но главным образом о Яноше, а потом и Луцу заставляла рассказывать о ее деревенском детстве и о ее семье.

— Нельзя плакать, мама! — сказала молодая женщина, у которой на мгновение перехватило дух от страха. — Два месяца не так уж и много.

— До тех пор я не доживу, — едва шевельнулись губы старой женщины меж двух стекавших из глаз струек. — До тех пор я не доживу, — повторила она, глядя перед собой.

— Ой, ну что это вы говорите, мама! — в полный голос крикнула Луца. — Господин профессор Хетени сказал, что вы до ста лет проживете.

— Что вы говорите? — спросила старая женщина.

— Господин профессор Хетени сказал, что...

Старая женщина повернула к Луце заплаканное лицо. Она не произнесла ни слова, только некоторое время смотрела на нее наивным, но всезнающим упорным взглядом, затем приподняла руку и махнула ею.

— А до того еще четыре года! — прокричала Луца.

Старая женщина отвернулась и устремила взгляд в потолок.

— Ах, оставьте! — сказала она. — Может быть, и господина профессора Хетени уже нет на свете.

На минуту в комнате стало совсем тихо, только из подушек доносились негромкие всхлипы.

— Ну хорошо, мама, — сказала Луца с внезапной решимостью. — Я напишу Яношу, чтобы он возвращался.

— Что вы говорите? — спросила старая женщина несколько секунд спустя.

— Я напишу Яношу, чтобы он возвращался домой немедленно, — еще громче повторила Луца.

— Когда?

— Сегодня же.

Старая женщина повернула к невестке лицо.

— Я спрашивать не про это, — сказала она. — Вы хочешь, чтобы он когда вернулся домой — когда?

— Немедленно! — крикнула Луца. — Вы правы, мама, довольно ему бродяжничать по Америке, мне тоже это уже надоело.

У старой женщины сразу высохли слезы, она глубоко вздохнула.

— Немедленно? Чтобы вернулся немедленно? — повторила она с сомнением, словно не веря собственным ушам.

— Я напишу ему, — кричала Луца, совсем наклонясь над кроватью, — что если он до сих пор не сумел закончить свой паршивый фильм, тогда пусть все бросит к чертям и возвращается домой. Вы, мама, совершенно правы, да и я больше

ждать не желаю.

— Чтобы бросил свой фильм? — повторила старая женщина.

— Можете быть спокойны, мама, — кричала Луца, — если я напишу ему, чтобы он возвращался, а не то я разведусь с ним, он примчится сломя голову.

Старая женщина непонимающе смотрела на невестку.

— Вы от него разведетесь?

— И разведусь! — сказала Луца. — Ну скажите, мама, можно ли так надолго оставлять женщину одну? Да любая другая на моем месте давно уже ему изменила бы, только я... За кого он меня принимает, полоумный этот?

— Чтобы он фильм свой бросил? — повторила старая женщина дрожащими губами. — Перед премьерой?

— А пошла она... премьера эта! — сказала Луца. — Пусть он хоть жаркое из нее делает, из премьеры своей! Не нужны мне его доллары! Пусть немедленно мчится домой, пока я его с носом не оставила!

Старая женщина приподнялась на локте.

— Как вы сказали? Оставите Янош с носом?

— Да гори они, его доллары, синим пламенем! Знаю, он ни филлера не получит, если не закончит фильм, и тогда, значит, он напрасно работал бог знает сколько, но мне все равно, не хочу я больше быть одна.

Старая женщина теперь уже сидела на кровати.

— Если Янош приедет сейчас, он не получит ни один доллар? — спросила она.

— Да, не получит! — бушевала Луца, уголком глаза с любопытством наблюдая за свекровью. — И пусть не получит, мне не нужны его деньги. Конечно, мама, вы правы, сегодня же дам ему телеграмму, пусть возвращается немедленно.

Старая женщина молчала.

— Dumme Gans, — вдруг сказала она, и ее лоб покраснел от гнева. — И тогда, значит, он зря делал вся работа?

— Зря делал! — сказала Луца. — Пусть не только о работе думает! У него жена есть и обожаемая мама!

— Dumme Gans, — повторила старая женщина, покраснев еще больше. — Для мужчины работа есть первое дело. Вы не может ему душа мотать, чтобы Янош не делать свой фильм. Вы разве не знает, что этот фильм и голландская королева смотреть желает?

Луца затрясла головой.

— И пусть, мне дела нет, я сегодня же пошлю ему телеграмму. Вы совершенно правы.

— Нет права! — сердито взвизгнула старая женщина. — Вы очень глупая. Оттого что я поскулить немножко, вам не есть причина рвать на себе волос. И не вздумайте писать ему!

— Я и не собираюсь писать, я телеграмму пошлю, — сказала Луца. — Кто важнее — мама или голландская королева?

— Я это запрещать, чтобы вы посылала телеграмму, — сказала старая женщина. Ее рассерженное лицо, которое еще больше вытянулось и как бы похудело от необычного волнения, отчего крупный прямой нос еще сильнее выдался вперед на костистом черепе, было грозно обращено на невестку. Но уже в следующее мгновение произошла почти невероятная метаморфоза: оно смягчилось, подобрело и с необоримым очарованием накопленной за девять десятилетий мудрости заулыбалось невестке.

— Вы меня слушать, деточка, — сказала старая женщина. — Я понимать, что тебе больно, я понимать, ты есть ревнива к Янош. Но я знать мой сын, так что ты не беспокойся. Мой сын такой, как я, он верный тому, кого любит. Конечно, он может один или два раз обмануть тебя в Америка, обмануть в Европа тоже, потому что и я один раз обманула моего мужа, но потом мой сын каждой женщине будет сказать: убирайся! Не надо посылать ему телеграмму. Мой сын и жить будет, и умрет с вами.

К счастью, раздался звонок. Доктор Иллеш, новый врач, заглянул к старой женщине специально для назидательной пятнадцатиминутной беседы. В этих слу-

чаях старая женщина, по какой-то необъяснимой ассоциативной связи, на минуту-другую видела в докторе своего сына, она так же много с ним бранилась и чем больше пререкалась, тем больше к нему привязывалась. Ее измученное, изборожденное слезами лицо и сейчас мгновенно просияло, как только она увидела его у своей постели. Он был врач, это уже само по себе вызывало уважение — старая женщина с рационализмом, присущим девятнадцатому веку, суеверно преклонялась перед наукой, — но и помимо этого широкоплечий, шести футов росту молодой доктор с его понимающей улыбкой возбуждал своим мужественным обликом ее все еще чувствительное женское сердце, его залысины напоминали Яноша, а классическое образование — хотя тут он вряд ли мог бы потягаться с господином профессором Хетени — воскрешало в ее воображении кавалеров ее собственной молодости. Они заплескивали друг друга цитатами, как плещут водою в лицо друг дружке озорные ребятишки, купающиеся в реке.

С одним только не могла примириться старая женщина — с тем, что доктор Иллеш пел иногда не только в концертах, но и в церкви Белвароша во время воскресной мессы, или на празднике Тела Христова, или на Пасху в церкви на площади Кристины.

— Ну что, господин главный врач, опять пели в церкви? — насмешливо спросила она, устало вглядываясь в склонившееся над ней ласковое лицо. — А вы знаете, что я уже девяносто лет не была в церкви?

— Неужели? Ни разу? — проговорил доктор. — Даже на собственной свадьбе?

— Ни разу, — сказала старая женщина. — Заходить только картины смотреть, когда мой муж повез меня во Франция, в свадебное путешествие. Но я не понимаю картины хорошо, поэтому я лучше ходила по церкви, смотрела молящихся в темноте и думала: oh, les pauvres![1]

Старая домоправительница, стоявшая в дверях, незаметно перекрестилась за спиной у доктора..

— Мне было десять или двенадцать лет, — сказала старая женщина, — и я получила от моя мама новое платье, потому что на другой день мы хотели сделать прогулку в Wiener Wald. Вечером я долго молилась Богу, чтобы сделалась хорошая погода, и мы сделали бы прогулку, и мне можно было надеть новое платье. А на другой день шел дождь. И я тогда очень рассердилась на Бога.

— И с тех пор все сердитесь, мама? — спросила Луца.

Старая женщина на подушках медленно перевела взгляд на невестку.

— Я сказала, деточка, что очень тогда рассердилась. И когда мама потом захотела меня повести утром в церковь, я ей говорить: нет.

— И не пошли?

— Моя мама была умная, — сказала старая женщина. — Она подождала до следующее воскресенье, когда была хорошая погода и можно было нам делать прогулку в моем новом платье и я была очень счастливая. Тогда она спросила: «Стина, а теперь ты пойдешь в церковь?»

Доктор рассмеялся, ласково похлопал по костлявой руке старой женщины, которую все время держал в своей ладони.

— Но Стина тоже была умница, правда?

Старая женщина улыбнулась.

— Меня спросила моя мама: «Теперь ты пойдешь в церковь, Стина?» А я опять ответила: «Нет».

На несколько секунд в комнате воцарилась тишина. В открытое окно солнце теперь уже сзади осветило кровать старой женщины, блеснуло на ее черном бархатном чепце, легло белым пятном на упрямое, одна кожа да кости лицо.

— Я сказала моей маме, — продолжала старая женщина с одышкой, — я сказала ей: нет. Я сказала: ни у кого в целый мир я не прошу мне помогать, ни у кого, кому нельзя доверять. Я хочу жить своя голова, на своих ногах.

— Что ж, это удалось, — тихо проговорила Луца.

— Что вы говорила? — спросила старая женщина.

---

[1] Ах, бедняжки! (*франц.*)

— Я сказала, мама, — крикнула громко Луца, — что вам это удалось.

Старая женщина покачала головой.

— Я не знать, — проговорила она хрипло, — я не знать, удалось или нет. С тех пор как я стала такая старая, с тех пор я есть одинокая и беспомощная. Но когда я умру, пусть тогда только сын мой держит моя рука! — Она опять посмотрела на свою невестку. — Тогда вы тоже не нужна, — выговорила она медленно, устремив в лицо молодой женщины долгий испытующий взгляд. — Даже зверь хочет быть один, когда умирать. Если моему сыну не можно быть со мной и держать мою руку, тогда я хочу быть одна.

Внезапно на нее обрушилась усталость; она закрыла глаза. Волнения дня явно ее утомили, она высвободила руку из руки доктора, спрятала ее под одеяло, в пока еще надежное тепло собственного тела, и хотя не отвернулась к стене из вежливости по отношению к своим гостям, но притворилась глухой — а возможно, ей это временно и удалось усилием воли — и больше ни на один вопрос не ответила. Но когда Луца вместе с доктором на цыпочках хотела выскользнуть из комнаты, она приподняла голову с лиловой своей думочки и подозвала невестку.

— Луца, — сказала она громко, отчетливо, — вы пока останешься у меня.

Молодая женщина вздрогнула: свекровь редко называла ее по имени.

— Ну конечно, мама, — сказала она, — я только хотела проводить господина главного врача.

— Спасибо, — сказала старая женщина. — Но потом вы вернуться?

— Конечно, я вернусь, мама, — сказала молодая женщина. — Мы же сегодня совсем мало побыли вместе.

Несмотря на усталость, старая женщина еще долго не отпускала от себя невестку. Оставила ее и обедать, разделила с ней свой обед, до которого сама едва дотронулась, Ирен тоже предложила Луце немного своего тушеного мяса с томатным соусом. Во время обеда старая женщина не спускала глаз с невестки: она ела с таким аппетитом, таким физическим наслаждением, пища так быстро претворялась у нее в жизненную энергию, радость, шутливость, что у всех, кто бы ни сидел с нею за одним столом, начинал лучше выделяться желудочный сок и каждый словно бы насыщался с нею вместе.

— Вкусно? — спросила старая женщина, следя взглядом за движениями жующих красных губ невестки.

— Высший сорт, — сказала Луца.

— И томатный соус тоже?

— Очень вкусный, — сказала Луца. — А если бы еще я его любила!

— Вы его не любите?

— Ненавижу как смертный грех, — сказала Луца.

После кофе, приготовленного специально для гостьи, молодая женщина по желанию свекрови должна была распустить волосы — они доходили ей до пояса — и причесаться перед большим зеркалом в серебряной оправе, стоявшим на туалетном столике напротив кровати. Солнечный диск теперь целиком стоял в окне, заливая своими лучами комнату, зеркало, мерно подымавшуюся и опускавшуюся обнаженную руку с большой белой гребенкой из слоновой кости, поблескивал на красивых бронзово-рыжих волосах молодой женщины, высекая невидимые электрические искры из концов их, схваченных в горсть; в воздухе длинными серпантинными лентами плыл запах здоровых волос. Лежавшая на кровати старая женщина некоторое время жадно созерцала гибкую, стройную шею, вздрагивавшие под солнцем белые плечи, на мгновение ее старые глаза словно оживились... но потом она вдруг как бы пресытилась, утомилась и отослала невестку домой.

— Спасибо, а теперь ступай дома! — сказала она, едва Луца заколола последнюю шпильку в тяжелый узел волос, подрагивавший у нее на затылке.

На другой день молодая женщина явилась к свекрови на час раньше обычного. Она позвонила и тотчас же стала громко стучать в дверь.

— Ирен! — закричала она еще за дверью. — Ирен! Я письмо получила, письмо, письмо...

Она бросилась на шею отворившей дверь домоправительнице, громко сме-

ясь, закружила ее по тесной маленькой прихожей. Даже во время этого короткого танца у нее от волнения зубы явственно выбивали дробь.

— От вашего мужа? — спросила Ирен.

— Он жив, — выдохнула она, — теперь уже точно: он жив! Через неделю после этого воскресенья разрешили свидание! Это не письмо, а напечатанное на машинке уведомление, что на следующей неделе я могу прийти на свидание. Если разрешили свидание, значит, он здоров.

Домоправительница не ответила, но молодую женщину так переполняло счастье, что она не обратила на это внимания.

— Ну, если и не здоров, — сказала она, — то во всяком случае жив.

— Старой барыне очень худо, — сказала домоправительница, помолчав.

Молодая женщина опустилась на кухонную табуретку. Только сейчас она заметила на круглом как яблоко лице след бледной длани бессонной ночи, покрасневшие от когтей рассвета веки.

— Что случилось?

— Ночью я проснулась, — сказала домоправительница, — вы ведь знаете, какой у меня легкий сон... слышу: в комнате разговор какой-то. Я вошла к ней, смотрю, а она сама с собой разговаривает, но гораздо громче, чем говорит обычно, кричит даже — с сыном бранится. Как только рассвело, муж мой пошел господину доктору позвонить, потому что лицо у нее уже огнем горело.

— Воспаление легких?

С тех пор как началось воспаление легких, старая женщина еще три дня была в сознании, но, как истинный поэт-лирик, все это время вслушивалась только в себя. Правда, из вежливости и самолюбия она старалась скрыть, что ее ничто в мире больше не интересует — то была приносимая ее стоической гордостью последняя дань уважения живущим, — но старания эти большого успеха не имели: она плохо скрывала свое безразличие, и окружающие быстро разгадали эти последние ухищрения жизни. Сперва воспаление поразило ее правое легкое, его удалось притушить, но оно тут же перекинулось на левое и в конце концов захватило оба. Пока старая женщина оставалась в сознании, иногда — думая, что рядом никого нет, — она вела долгие речи сама с собой, касавшиеся главным образом маленьких постыдностей ее беспомощного положения (особенно она стыдилась того, что к ней дважды в день приходила сестра — поскольку сразу же, как началась пневмония, отказал мочевой пузырь — и ставила катетер); потом, когда сознание покинуло ее, она вообще не произнесла больше ни слова. Луца хотела нанять к ней сиделку на целый день, но старая домоправительница воспротивилась.

— Еще чего, чтобы я и ее обслуживала, — сказала она. — И потом, кто знает, что она там вытащит из шкафов, пока будет одна в комнате.

Против длительного пребывания возле нее чужого человека возражала, кстати, и сама свекровь, пока еще могла или считала необходимым говорить. На третий день под вечер, когда пришел доктор, она в последний раз произнесла несколько слов.

Вошедших доктора и невестку она встретила с открытыми глазами, но на их приветствие не ответила и, когда они сели возле ее кровати, продолжала смотреть на дверь, словно ждала кого-то еще, кто придет непременно. И потом, когда она уже впала в беспамятство, голова ее оставалась в том же положении; если под нею поправляли подушки и укладывали этот узкий череп на маленькую думочку, в следующее же мгновение она опять поворачивала голову вправо, даже вывернув немного шею, и, открытыми ли оставались ее глаза или были закрыты, всем своим слепым телом смотрела на дверь. В последние дни и правую свою руку, которую обычно держала, как правило, под теплым одеялом, теперь, без всякой видимой причины, она подымала на уровень плеча и, сильно вывернув в запястье, словно поврежденную, подкладывала ладонь под подбородок; если же Луца пыталась бережно устроить ее в прежнем положении и укладывала под одеяло, упрямая даже в бессознательном состоянии старая женщина уже в следующую же минуту вытаскивала ее из-под одеяла и опять подгибала под подбородком. Вообще же она лежала так тихо и недвижимо, как лежит сухой лист в освещенной солнцем канавке; дыхания было не видно и не слышно, вытянутые ноги лежали вплотную друг к

другу, загипсованная ступня рядом с голой желтой ступней. За все время своей немоты она ни разу не пожаловалась, не охнула, не вздохнула и только изредка едва слышно стонала очень тихим и странно жалобным, как бы не из взрослой жизни, голоском, когда ее поворачивали на бок, чтобы доктор, который навещал ее теперь дважды в день, мог прослушать ее легкие, или когда посыпали тальком бесчисленные ранки-пролежни на ее спине, или меняли под тяжелой нижней частью тела пеленку, положенную на резиновую прокладку. Уколы она терпела без звука, игла проникала уже лишь в поверхностный слой умирающей плоти.

Но и в тот последний день, когда ее сознание сохраняло еще ясность, она не отвечала ни на обращенные к ней вопросы доктора, ни на ласковые заботы Луцы и, неотрывно глядя на дверь своими пока еще видящими глазами, упрямо молчала, крепко сжав губы.

— Возможно, я еще продержу ее два-три дня, — сказал доктор молодой женщине, закончив осмотр. — Есть какая-нибудь надежда, что...

— Никакой, — сказала Луца.

— Чего вы желаете? — спросил доктор, глядя в окно на узкий садовый газон и дальше, на пыльную улицу.

— Как лучше для нее.

— Ей все равно.

— Как лучше для нее, — сказала Луца.

— Чувствовать она уже ничего не чувствует, — сказал доктор. — Предположительно через несколько часов она потеряет сознание. С помощью кофеина, строфантина я смогу, вероятно, поддерживать ее сердце еще день-другой. Вы полагаете, нет никакой надежды, что...

— Нет, — сказала Луца.

— Чего хотите вы?

— Как лучше для нее, — сказала Луца.

После укола молодая женщина проводила доктора в прихожую. Не успели они выйти из комнаты, как раздался звонок. Впервые с тех пор, как у нее обнаружилось воспаление легких, старая женщина опять воспользовалась звонком.

— Мама, родная мамочка! — прошептала Луца, склонившись над кроватью.

Старая женщина продолжала смотреть на дверь, но ее пальцы с силой ухватились за руку невестки.

— Я тебе еще не рассказать, деточка, — проговорила она странно невнятным голосом, — последнее письмо моего сына. Вы знаете, что он должен получить премию Кошута?

— Мне он еще не писал об этом, мама, — сказала Луца.

Старая женщина кивнула, неотступно глядя на дверь.

— Он будет получить ее! — сказала она. — А теперь ступайте и пришлите мне господина доктора!

Вошел доктор, наклонился над кроватью.

— Вы знаете, господин певец, — сказала старая женщина, по-прежнему не спуская глаз с двери, но насмешливо скривив губы, — вы знаете, господин певец, что мой сын будет получить премию Кошута?

— Грандиозно! — сказал доктор. — Грандиозно!

Старая женщина опять кивнула.

— Получит, — сказала она. — Пока это еще секрет. Но вы скажет Луце, моей невестке, чтобы она была гордая моим сыном.

— Грандиозно! — сказал доктор.

— А теперь вы ступайте петь! — сказала старая женщина.

Когда доктор ушел, Луца села у Ирен на кухне. У нее так дрожали губы, что довольно долго она не могла произнести ни слова. Старая домоправительница налила рюмку палинки, поставила перед нею на стол, оставила и бутылку. Луца положила на стеклянный кружок — основание рюмки — дрожащий указательный палец.

— Что я скажу ему, когда увижу в следующее воскресенье? — проговорила она.

«Дорогая мама, завтра я отплываю в Нью-Йорк»

Фрагменты тюремной переписки Т. Дери

Тибор Дери и «Две женщины»

Тибор Дери, арестованный 20 апреля 1957 года, был одним из самых известных писателей Венгрии. Он создал целый ряд превосходных произведений: монументальный роман «Незаконченная фраза» о тридцатых годах в Венгрии; цикл коротких сюрреалистических рассказов «Игры в преисподней» об осаде Будапешта в 1944—1945 гг.; повесть «Ники» и новеллы пятидесятых годов — первые в венгерской литературе произведения, описывавшие сокрушительное воздействие диктатуры на частную жизнь человека. Однако более широкие круги узнали имя Дери только тогда, когда он, коммунист, присоединился к волнениям интеллигенции летом 1956 года и поддержал студентов и рабочих во время революции в октябре. После второго русского вторжения он, от имени писателей, призвал страну ко всеобщей забастовке. Арест шестидесятитрехлетнего писателя пробудил в Венгрии гнев и возмущение. Из-за рубежа тоже требовали его освобождения, но венгерское правительство не отвечало ни на письма, ни на телеграммы протеста, поступавшие от писателей, в том числе от Т.С. Элиота, Роже Мартен дю Гара и Камю, от Международного ПЕН-клуба и других организаций. Осенью 1957 года состоялся так называемый «процесс писателей», и 13 ноября Тибор Дери как главный обвиняемый был приговорен к девяти годам тюремного заключения за «тайный сговор с целью опрокинуть законный порядок». Слушания проходили in camera, так что я не мог присутствовать при оглашении приговора, хотя был другом Дери (если тридцатипятилетняя разница в возрасте допускает дружбу) и его издателем. Я узнал о вердикте в тот же день от его жены, и первой моей мыслью было, что он ни за что не переживет этот срок и я никогда больше его не увижу.

Чины венгерской политической полиции, руководимые «советниками» из советской секретной службы, разрешили Дери, за неделю до слушаний, написать письмо его девяносточетырехлетней матери (урожденной Эрнестине Розенберг, родом из Вены). Они в самом деле позволили ему писать ей по-немецки, так как на языке своего сына-писателя она говорила с ошибками и сильным немецким акцентом. В последние годы она читала исключительно и постоянно «Фауста» и стихи Гейне, разумеется по-немецки, и охотно цитировала их на память.

Больше того, власти даже позволили Дери — боясь, что письма из тюрьмы станут причиной ее смерти, — написать, будто он находится в провинции, где сочиняет сценарий, а позднее — что в связи со съемками своего фильма ему необходимо побывать в Чехословакии, Генуе, Париже, Лондоне и, наконец, в Америке. Почему они оказались столь милосердны в этом случае — загадка; подавляя революцию, они уничтожили сотни людей (в том числе и множество не столь известных ее участников), тысячи бросили в тюрьмы и еще больше отправили в только что созданные лагеря смерти. Возможно, они намеревались таким образом шантажировать писателя, принудить его к покаянию и публичному отречению — впрочем, проникнуть в ход их мыслей невозможно. После своего освобождения Дери говорил мне, что между двумя жестокими допросами и позднее, из тюремных камер Будапешта, Марианостры и Ваца, он писал эти письма даже с азартом, поддерживая тем в себе силу духа, разукрашивая их всяческими шутливыми завитушками, расцвечивая дадаистскими выкрутасами своих юношеских стихов, описывая, какое блестящее общество окружает его в Лондоне, Нью-Йорке и Флориде, как сыплются на него деньги, какими фразами он обменивался с принцем Уэльским и королевой Вильгельминой Голландской, как его фильм выдвинули на Нобелевскую премию. Он предоставил полную свободу своему воображению, своей склонности к абсурду, трансформируя черный юмор истинного своего положения в гротесковое повествование. «Когда я писал, то забывал о том, что на двери нет ручки. И не раз смеялся от души».

В эту пору его мать уже не поднималась с постели. Не читая газет, не слушая радио, она не делала никаких усилий для того, чтобы поддерживать связь с внешним миром. Она страстно ждала его писем (он писал ей по-немецки), читала их сама или просила, чтобы ей прочитали; она не обращала внимания на то, что на конвертах нет английских или американских марок, так как их приносила ей жена Дери Эржебет (Бёбе), говорившая, что они пришли с оказией. Эржебет — она была актрисой — представляла всю ситуацию более реалистичной, рассказывая о вымышленных телефонных разговорах и газетных статьях. Однажды она попросила меня пойти к Эрнестине с ней вместе, представив меня как человека, только что приехавшего из Нью-Йорка, где я встречался якобы с Тибули — так престарелая женщина называла своего сына. Когда я подошел к концу моего длинного отчета, старая дама, лежавшая в постели в кружевном ночном чепчике, спросила, играли ли мы с ее сыном в карты.

— Конечно.

— Во что вы играли?

— В покер, разумеется.

— Кто выиграл?

Я не удержался и ответил без малейшего колебания:

— Я.

— О Боже, надеюсь, Тибули не проиграл все эти свои доллары.

©The Hungarian Quarterly, Copyright 1993, by MTI

Боже мой, подумал я, если бы я когда-нибудь мог пересказать этот разговор Тибору.

Эрнестина, в свою очередь, тоже писала Тибору, однажды она спросила, не слишком ли это дорого — привезти из Нью-Йорка часы и вечное перо. Несколько недель спустя я должен был опять навестить Мами с ворохом самых необыкновенных рассказов, но 5 июня 1958 года в возрасте девяноста пяти лет мать Дери скончалась. Некоторое время Эржебет скрывала это от Дери и написала ему правду лишь в ноябре.

На ее похоронах нас было немного, человек пятьдесят. Я стоял на краю могилы между художником Аурелом Бернатом и Дёрдем Лукачем, философом. Три фотографа обращали на себя внимание, щелкая затворами. Несколько дней спустя я попросил Эржебет дать мне какую-нибудь фотографию похорон. Она удивленно ответила, что фотографов не приглашала. Остается предположить, что тайная полиция желала знать — притом документально, — кто явился на кладбище, чтобы проводить в иной мир мать заключенного.

Эржебет Мария Куншаги, актриса на выходных ролях в будапештских театральных программах, выросшая в деревне, стала третьей женой Дери в 1955 году. Когда ее муж отбывал наказание в тюрьме, сцена была для нее закрыта, иной же работы она найти не могла. И все-таки — раскрашивая от случая к случаю шелковые галстуки и продавая их своим знакомым — она умудрялась каким-то образом содержать себя и свою больную свекровь, сохранить квартиру Дери и передавать ему при каждой возможности продуктовые посылки. Она неустанно бомбардировала власти, самого Кадара, даже Хрущева просьбами о милосердии, об особом обращении, особых льготах для ее мужа, измышляла целый заговор ради того, чтобы ее ничего не подозревавшая свекровь оставалась спокойна. После освобождения Дери она вновь была ему образцовой женой, а он уже через четыре года стал официально признанным, даже почитаемым и орденоносным «великим старцем», публикуемым на родине и за границей и опять «выездным». В последние годы своей жизни он нуждался в Эржебет все больше.

4 апреля 1960 года, после трехлетнего заключения, Дери был освобожден по амнистии. На следующий же день я навестил его. Я был потрясен тем, как он исхудал, как запали его глаза, но почувствовал облегчение, когда часом позже, за чаем, он сказал мне: «Неприятная все же штука — тюрьма. У меня же клаустрофобия». Он не утратил своего юмора висельника, подумал я, значит, все в порядке. Вскоре он начал работать, хотя произведения, написанные им в тюрьме и после освобождения, были опубликованы лишь четырьмя годами позже, когда политическая атмосфера несколько остыла. Его книги были переведены на множество языков, прежде всего роман «Господин А.Г. в стране Икс», его автобиография «Приговора нет», роман «Отлучающий» о житии Святого Амвросия и рассказы. Немецкий критик, комментируя «Ники», заметил, что вновь подтвердились слова Оскара Уайльда: не искусство подражает жизни, а жизнь искусству. В этой повести рассказывается о том, как Ники, собака главного действующего лица, инженера, погибает от тоски по томящемуся в тюрьме хозяину. Когда посадили Дери, его собственный Ники, жесткошерстный фокстерьер, умер несколько месяцев спустя.

Быть может, самым большим успехом как на родине, так и за границей пользовался рассказ Дери «Две женщины», реалистически-гротесковая история, основанная на вышеизложенных событиях; две женщины Дери — героини этого рассказа. Он лег в основу фильма режиссера Кароя Макка «Любовь», в котором снимались выдающиеся актеры: Лили Дарваш (вдова драматурга Ференца Молнара, долгие годы игравшая в Америке, но вернувшаяся на родину ради этой роли), Мари Теречик, Иван Дарваш. Цензоры наложили на фильм запрет — «спрятали в ящик», как говорят венгры, почти на два года; наконец он был разрешен и с большим успехом шел на родине и за границей.

Тибор Дери умер 18 августа 1977 года в возрасте восьмидесяти трех лет, а два года спустя за ним последовала и жена, которая была значительно моложе его. Писатель и две его женщины делят между собой участок земли на Фаркашретском кладбище в Будапеште.

ПОЛ РЕЗ

25 апреля 1957

Дорогая Мама — пишу в страшной спешке: уезжаю в горы Матры, буду писать сценарий, только что получил заказ. Оттуда, вероятно, поеду в Чехословакию. Ужасно тороплюсь — не могу забежать проведать Тебя, иначе опоздаю на поезд. Береги себя, дорогая Мама. Я рад, что есть работа.

Тысяча поцелуев.

Тибор

Привет от меня Ирен и Пиште[1].

3 мая 1957

Моя единственная, моя дорогая, любимая Бёбе[2], — сейчас хочу сказать тебе только одно: я люблю тебя, я очень счастлив с тобой и не желал бы провести без

[1] Ирен, Пишта — домоправительница матери Дери и ее муж. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

[2] Бёбе — уменьшительное от Эржебет.

тебя ни единого мгновения оставшейся мне жизни. Поэтому прошу тебя как можно лучше заботиться о себе, потому что твоя любовь, твоя безмятежность и бодрость мне необходимы как воздух. Я хотел бы, чтобы ты жила так, как если бы я был дома: занимайся садом, принимай солнечные ванны, гуляй с собакой и тому подобное и не падай духом. Я хотел бы, чтобы Лили жила вместе с тобой (прошу тебя взять ее) и прошу также Лали остаться. Обо мне не тревожься: мои дела идут неплохо, следствие ведется честно; мое здоровье, желудок в порядке, я на легкой диете, беспокоит только артрит в суставах. Конечно, ничто не заменит свободу. Но нервы у меня в порядке, так что не волнуйся! Мама все еще ничего не знает? Если ты не можешь больше держать это в тайне (решать тебе), попроси Дюри и Гертруду[1] зайти к ней вместе с тобой (Дюри тоже!), и, может быть, ты ей скажешь, что я нахожусь под домашним арестом в каком-нибудь особняке в провинции. Теперь о практических вещах: пижаму, лимоны не присылай (я получаю яблоки). Передай расческу, серую рубашку, теплое нижнее белье, полотенце, трусы и немного сигарет. Пали Рез должен заплатить тебе за мой перевод Хемингуэя. В издательстве «Европа» И[штван] Ваш может отыскать пять переводов, которые я для них сделал. Я благодарю судьбу (и тебя) за то, что мы встретились, моя дорогая. Я тебя очень люблю.

Тибор

4 мая 1957

У нас все хорошо. Мама тоже покойна и чувствует себя неплохо; она верит тому, что ты написал. Пожалуйста, пиши ей часто. Посылаю тебе нейлоновую рубашку и штаны, ты сможешь постирать их сам, если не случится отослать домой. Прошу тебя, береги свое здоровье. Я очень люблю тебя и постоянно о тебе думаю.

Бёбе

14 мая 1957

Дорогая Мама, — не знаю, когда Ты получишь это письмо, так как здесь, в горах, нет почтовой конторы и письма обычно переправляют вниз с оказией, но это не всегда надежно.

Здесь наверху чудесно — за исключением двух-трех дней с грозами. Я работаю целыми днями, вернее, брожу по лесу с карандашом и бумагой и сразу записываю все, что приходит в голову. Живу я у лесника в прекрасной комнате, обставленной в тирольском стиле. Мои окна выходят на поляну. Жена лесника мне готовит — кстати, она превосходная повариха. Мне не хватает только Тебя. Береги себя, Мама! Боюсь, что мне пора кончать — машина, которая должна захватить это письмо, отправляется. Тысяча поцелуев.

Тибор

Передай от меня приветы Крижакам.

24 мая 1957

Дорогая Мама, — поскольку я обо всем рассказал Тебе подробно в последнем письме (страниц десять, кажется), мне остается добавить немного. Со съемками здесь в горах мы скоро закончим и отправимся, вероятно, на неделю в Геную, откуда начнется наше путешествие по Средиземному морю, где мы проведем необходимые съемки на морском побережье. Я безумно счастлив. Ты знаешь, как я люблю море, и я никогда еще не совершал такого долгого морского путешествия (это займет у нас недели две или три). Только вообрази: Средиземное море летом! И все это — с величайшим комфортом, на первоклассном лайнере! Закончим мы наше плавание в Марселе или Барселоне, откуда направимся в Париж. На прошлой неделе погода опять была очень хорошая, как и мое настроение. Печалит меня только, что я так давно не видел Тебя и Марию[2] (не говоря уж о Ники) — но мы возместим все это сторицей, Мама! Береги себя и Марию тоже и ни в чем себе

[1] Дюри и Гертруда — Дёрдь Лукач, философ, и его жена.
[2] Мария — второе имя жены Дери (Эржебет Мария).

не отказывай. Мои самые теплые приветствия Ирен и Пиште, а Тебе тысяча, тысяча поцелуев от Твоего преданного сына

Тибора

31 мая 1957

Моя дорогая Бёбе, любовь моя, — первое и главное: я люблю тебя. Буквально нет ни часа, когда бы я не помнил о тебе, и это вовсе не потому, что мне здесь хуже, чем дома! Никогда бы я не подумал, что это стареющее сердце окажется способно так сильно любить и что ты сможешь так заполнить его. Тебе выпала нелегкая жизнь рядом со мной, дорогая моя бедняжка, но если любовь и верность могут возместить это, то в конечном счете твой удел, может быть, окажется не так уж плох. Только постарайся выдержать эти тяжелые времена и выдержать их, сохранив здоровье, чтобы ни дух твой, ни нервы не понесли урона. Больше всего меня терзает мысль о твоих финансовых трудностях. Удалось ли тебе получить что-нибудь за мои переводы? Срочно дай мне знать! Я предпочел бы, чтобы ты продала мои золотые часы, все что угодно, чем провела одну бессонную ночь. Все это мы потом возместим! Очень прошу Марию[1] остаться с тобой, даже если сейчас у тебя нет на это средств; она может рассчитывать на мою благодарность. Напиши мне, как ты живешь, есть ли люди, которые добры к тебе, в чем у тебя проблемы? Но пиши честно, ничего не приукрашивай! Я верю каждому твоему слову. Обо мне беспокоиться не нужно: я хочу еще долго жить с тобою, моя любовь. У меня все в порядке, и тело и душа; желудок в лучшем состоянии, чем дома; я только однажды принял лекарство. Я гуляю, делаю гимнастику, сплю по восемь часов в сутки и много читаю. С нами здесь действительно хорошо обращаются; раз в неделю у нас баня, раз в неделю меняют белье, здоровая легкая диета. Не тревожься обо мне, больше думай о себе! Сбереги себя для меня! Я вкладываю три письма (пронумерованные) для Мамы. Давай ей по одному в неделю, если ты еще в состоянии поддерживать ложь. Попроси перевести их для тебя, прежде чем отдашь их ей. Это безумное решение, но только такого рода вещи могут успокоить ее. Если это не сработает, пусть вмешаются Гертруда и Дюри, как я говорил. Твоя мама еще не приехала? Дорогая Бёбе, у меня к тебе единственная просьба: не теряй терпения и веры и не падай духом. Выплачешься хорошенько потом, в моих объятиях. Не тревожься, мы еще долго будем счастливы вместе. Обнимаю тебя со всей страстью моего сердца.

Тибор

P.S. Передай привет от меня всем моим друзьям. Я особенно хотел бы, чтобы Дюла[2] помогал тебе во всем. Сегодня отправлю грязное белье в стирку. Можешь ли ты спать? Спи на моей кровати. Моя маленькая Бёбе! (После третьего письма можешь сказать Маме, что получаешь телеграммы.)

1 июня 1957

(Эржебет Дери — капитану Вирагу)

Товарищ капитан Вираг, — я только что узнала, что заключенным не разрешается спать лицом к стене. У моего мужа больное правое плечо. Оно было оперировано и потому меньше, чем левое, и постоянно болит, так что спать на левом боку он не может. Было бы хорошо, если бы он получил кровать, которая стояла бы правой стороной к стене.

Пожалуйста, простите за беспокойство!

С благодарностью,

Э. Дери

2 июня 1957

Дорогая Мама, — погода опять нарушила наши планы. Солнца нет, нет и съемок, так что поездку снова пришлось отложить на неделю. Но со вчерашнего

---

[1] Мария — *здесь:* родственница Эржебет, помогавшая ей по дому.

[2] Дюла Ийеш, поэт.

дня все опять великолепно и, в сущности, еще великолепнее, так как я получил наконец кое-какую почту из дома, в том числе Твое милое письмо. Это просто невероятно, какой у Тебя безукоризненный стиль, мне все еще есть чему у Тебя поучиться. Если я и обладаю кое-каким талантом, то он у меня от Тебя, Мама! Словом, похоже на то, что мы выезжаем в следующее воскресенье, как я и говорил. Сначала в Геную, а оттуда дальше на теплоходе... Все хорошо, надеюсь, у Тебя тоже. Мария поцелует Тебя и крепко обнимет от моего имени. А Ты ответишь ей тем же вместо меня. С искренней любовью вспоминаю Ирен и Пишту. Позволь им заботиться о Тебе!

Тысяча, тысяча поцелуев.

Твой Тибор

12 июня 1957

Любимая Мама, — всего лишь коротенькая записка, чтобы дать знать о себе. Марии написал подробно, хотя ничего существенного, она Тебе все расскажет. Это просто прощальный привет с суши, из Генуи. Через час корабль отчаливает, и я не знаю, когда смогу в следующий раз отправить письмо, и кто знает, когда мы прибудем на место. Погода изумительная. Вчера купался в море, Ты только вообрази, на теплоходе имеется плавательный бассейн с морской водой, а также теннисный корт!

Целую Твои руки, Мама! Я пошлю Марии одну-две телеграммы с дороги и сообщу мой почтовый адрес. Ты в порядке? Мои приветы Ирен и Пиште. Тысяча поцелуев от Твоего рыскающего по всему свету сына.

Тибули

12 июля 1957

Дорогая Мама, — нет никакой возможности рассказать Тебе в письме о моем средиземноморском путешествии. Не столько из-за недостатка времени и места, сколько, главным образом, потому, что я хочу видеть собственными глазами Твое лицо, когда Ты будешь слушать обо всех забавных и прекрасных событиях, мною пережитых — к сожалению, среди чужих людей, а не среди тех, кто дорог моему сердцу. Впрочем, мы успели так много наработать за это время, что у меня почти не случалось днем свободной минутки, чтобы немного помечтать в одиночестве. Вкратце могу сказать только одно: погода была все время самая распрекрасная, кроме одного-единственного дождливого дня с легким штормом, который я пережил без какого-либо урона желудку, словно старый морской волк, и наконец, как и предполагалось, мы пришвартовались в Марселе с ощущением, что наша работа выполнена хорошо. Заснятые кадры просто прекрасны, лучше нельзя и пожелать. Представь себе, мы делали остановку и на Майорке, где я провел однажды целый год, и хотя у нас было там всего несколько часов, я все же успел взглянуть на маленький старый домик, где некогда жил.

Завтра рано утром мы выезжаем в Париж, где остановимся, вероятно, на десять-двенадцать дней. Но при такой работе трудно что-либо сказать с уверенностью. Еще не знаю, съездим ли оттуда в Лондон. Но, несмотря на красоты этого путешествия и радость от самой работы, я жажду вернуться домой и надеюсь, что в конце месяца вновь Тебя увижу. До тех пор (и после того тоже) будь здорова, спокойна и ласкова! Целую Ирен и Пишту. А Тебе — тысячи и тысячи поцелуев и объятий от Твоего нежно любящего сына

Тибули

18 июля 1957

Дорогая Мама, — сейчас я на неделю в Париже, в городе, где однажды прожил три года. С тех пор прошло более тридцати лет, половина жизни, и думается об этом не без толики печали. Конечно, Париж сильно изменился, хотя старый Латинский квартал, где я жил, во многом остался прежним. А так как я точно помню все адреса, где квартировал во время трех своих приездов, то можно бы и не упоминать о том, что местом прогулок я выбрал те самые улицы, которые пробуждают старые воспоминания.

Впрочем, времени у меня немного, так как мы работаем и по вечерам. Все

еще неясно, поедем мы отсюда в Лондон или нет. Я дам Тебе знать, если это будет необходимо, но в любом случае надеюсь в конце месяца быть дома. У меня тяжело на сердце, дорогая Мама, когда я думаю, как Ты переносишь такую долгую разлуку, и действительно нет ни одного дня, даже в самый разгар работы, когда бы я не думал о Тебе и не обнимал Тебя, по крайней мере, мысленно. Что до меня, то я совершенно здоров, прекрасно себя чувствую и отлично переношу удушающую жару. Я встретил нескольких французских писателей, с которыми мы однажды вечером хорошо покутили. Итак, до свидания, Мама, будь сильной и храброй, какой Ты была всю свою жизнь.

Тысяча, тысяча поцелуев от Твоего
Тибора

31 июля 1957

(Эржебет Дери — Яношу Кадару, Ференцу Мюниху и Гезе Сенашши[1]*)*

Я, нижеподписавшаяся Эржебет Дери, обращаюсь к вам с почтительной просьбой дать приказ об освобождении моего мужа Тибора Дери. Основания для этой просьбы следующие:

I. Моему мужу 63 года; он был арестован 20 апреля 1957 года, и с тех пор я в постоянной тревоге, так как мне известно, что уже более сорока лет у него имеются жалобы на желудок, а самая главная цель и смысл моей жизни — следить за его здоровьем. Я увидела моего мужа только 10 июля 1957 года и поняла, что мои тревоги не беспочвенны. Муж сказал, что обращаются с ним хорошо, но самый факт, что его лишили свободы, нанес его здоровью серьезный ущерб. Позвольте мне описать, каким я его увидела: 1. Мой муж потерял не менее десяти килограммов, он весит сейчас, должно быть, не больше 60 кг! 2. Он истерически разрыдался, увидев меня. 3. У него вновь открылся геморрой, излеченный оперативным путем много лет назад, и он с трудом ходит. Но возможно, ходьба затруднена для него из-за костного туберкулеза, которым он страдал в детстве! Я думаю, вполне вероятно, что из-за пребывания в тюрьме болезнь могла возвратиться! 4. У меня создалось впечатление, что его сила воли и самоощущение упали до критической точки. 5. Помимо перечисленных жалоб на его физическое состояние, я имела возможность видеть признаки нервного истощения, и я чрезвычайно встревожена тем, что, если он еще надолго останется в тюрьме, это может привести к катастрофе. Все мною здесь описанное вовсе не преувеличенные тревоги женщины, беспокоящейся за своего мужа, но факты, которые легко могут быть проверены медицинским обследованием.

II. Мой муж, с разрешения тех, кому поручено вести следствие, написал своей очень больной матери, которой 95 лет, что он «приедет из-за границы» в конце месяца и собирается «лично рассказать ей об этом путешествии». Если мой муж не сдержит своего обещания, Мама этого не переживет.

III. Я не знаю, какое преступление совершил мой муж, но знаю, что его сорокалетнее членство в коммунистической партии — достаточное доказательство, что он не враг. И если он совершил какую-то ошибку, он легко может исправить ее своей работой, но для этого ему нужно дать шанс.

IV. Помимо собственной семьи, мой муж поддерживал также свою мать. У меня в настоящее время никаких средств к жизни нет. Сбережения, которыми я могла распоряжаться, исчерпаны — мне пришлось купить топливо, так что существовать без заработка мужа мы не можем.

V. Важно только одно: чтобы мой муж был дома и мог работать. Ради этого я с радостью согласилась бы жить под домашним арестом!

До настоящего момента я не беспокоила следствие ни письмами, ни прошениями, я надеюсь и верю, что мое искреннее и честное письмо будет вам передано и что вы удовлетворите мою просьбу.

С благодарностью,
ваша *Э.Дери*

---

[1] Янош Кадар — глава Венгерской республики; Ференц Мюних — министр внутренних дел; Геза Сенашши — генеральный прокурор.

9 августа 1957

Моя дражайшая Мама, — какое невероятное невезенье! Когда я писал в последний раз, наша работа была уже почти завершена, вот почему я считал себя вправе обещать, что к концу месяца буду дома. Однако этому помешали два обстоятельства. Одно из них заключается в том, что с тех пор стоит прескверная погода, а в результате мы уже две недели не снимаем вовсе и каждый день разочарованно таращимся на серое небо. Но еще более неудачно то, что все жизненно необходимые, отснятые вдоль берегов Италии пленки из-за плохой упаковки пострадали от сырого воздуха, и теперь нам придется ехать обратно и снимать все заново. После множества удовольствий, сопутствовавших нам до сих пор, теперь происходят вот такие досадные вещи. Но, конечно, я ужасно везучий — у меня нет никакого права жаловаться, живем мы в великолепных условиях, только я сейчас так тоскую по дому, так хочу увидеть Тебя и быть с Тобой, что почти не замечаю фантастических здешних удобств. Стоит мне представить себе Тебя, лежащую в постели, увидеть Твою улыбку, когда я вхожу в комнату, и Твою радость оттого, что я приехал, и меня тут же начинают терзать угрызения совести за то, что я не дарил Тебе щедрее это счастье, ведь оно — счастье и для меня тоже. За время своего долгого отсутствия я вновь осознал, как много Ты значишь для меня и какая неоценимая удача — иметь такую мать. Какое это редкое и безмерное сокровище для сына и как трудно отплатить за него, отдать этот долг. Я хотел бы, чтобы Ты получила хотя бы слабое представление о том, как сильно я Тебя люблю.

Но довольно об этом, не то я стану сентиментальным. Мое единственное большое желание — постоянно видеть Тебя. Что же до того, когда это случится, в настоящий момент я не имею ни малейшего представления. Боюсь, что не могу назвать Тебе дату.

Любящий Тебя *Тибор*

Мои самые теплые приветы Ирен и Пиште, надеюсь, они берегут себя и Тебя.

27 августа 1957

(Эржебет Дери — в Генеральную прокуратуру)

В политический департамент Генеральной прокуратуры, товарищу доктору Берешу, лично, Будапешт.

Во время ареста моего мужа были конфискованы три сберегательные книжки. В ответ на мое прошение от 26 июня 1957 года мне возвратили сберегательную книжку № 5922, на которой значилась сумма 11 930 форинтов, и сберегательную книжку № 5035 с суммой 2 961 форинт, всего — 14 891 форинт.

Свое хозяйство я веду очень экономно, на 2 000 форинтов в месяц, но я должна также давать ежемесячно 2 000 форинтов матери моего мужа, которой девяносто пять лет и которая до сих пор не знает, что ее сын арестован. К тому же мне пришлось приобрести топливо на зиму, и я уплатила за 35 центнеров кокса и дров. Сейчас я дошла до такого положения, что еще смогу выплатить моей свекрови 2 000 форинтов за сентябрь, но для собственного хозяйства денег у меня больше нет. Моя свекровь часто болеет, и я должна была вызывать к ней ее постоянного врача, потому что я не хотела, чтобы она узнала о наших изменившихся обстоятельствах.

Я артистка без ангажемента, но из-за того, что мой муж арестован, ни один театр или киностудия работы мне не дают, даже в эпизодических спектаклях. Поскольку заработка у меня нет, иных доходов тоже, а деньги все разошлись, я вынуждена еще раз обратиться с просьбой.

Будьте так любезны предоставить мне сберегательную книжку № 2951, на которой значится сумма в 27 124 форинта, или разрешить мне снять оттуда часть или половину означенной суммы. Для этого мне также необходимо получить книжку на руки.

С глубоким уважением,
Э.Дери

6 сентября 1957

Дорогая моя Мама, — это путешествие никогда, должно быть, не кончится. Здесь, в Париже, я подписал договор с крупной франко-американской компанией на киносценарий. Они берутся оплачивать все мои расходы во время работы, и, если она окажется успешной и из этого здесь сделают фильм, я заработаю для нас достаточно денег, чтобы жить безбедно до конца наших дней. Я еще не знаю, сколько это займет времени, но думаю, рискнуть стоит — я имею в виду риск затратить время, особенно потому, что жить я буду в самых лучших условиях, в местах, которые я люблю, которые будут напоминать мне и юность мою, и мои старые книги.

Я встретил здесь много новых интересных людей с возвышенным образом мыслей. Беседы с ними наталкивают меня на совершенно новые идеи и темы для работы. Если я доведу до конца свой фильм, у меня будет множество планов на ближайшее будущее, и я надеюсь написать интересные и хорошие вещи, которые принесут славу мадам Карой Дери и ее сыну. Здоровье мое так хорошо, как только можно ожидать, я действительно не чувствую, что мне вот-вот стукнет 63. Единственное, что меня мучит, это тоска по Тебе, и по моей жене, и по дому, само собой. Но, в конце концов, ничто не длится вечно, и эта экскурсия в один прекрасный день окончится, так что, пожалуйста, не сердись и, как всегда прощала меня в прошлом, прости и теперь своего непутевого сына!

Я Тебя целую и обнимаю тысячу, тысячу раз.

Твой *Тибор*

Самые сердечные приветы Ирен и Пиште.

6 сентября 1957

Милая Мама, — ну вот, никогда я не думал, что увижу и Америку тоже. Все-таки это для меня огромное, огромное удовольствие. Хотя, с другой стороны, я с радостью оказался бы сейчас дома, а этот новый вояж отодвигает мое возвращение домой.

Выяснилось, что кинокомпания, для которой я пишу сценарий, — нью-йоркская компания — настаивает на том, чтобы я обсудил все лично с их администраторами, директорами и так далее. Я закончил сценарий неделю назад, и за это время они прислали мне три каблограммы, торопя с приездом. Игнорировать их я не могу, если не хочу, чтобы вся работа пошла насмарку, — да и как бы я объяснил свой отказ? А это означает, что послезавтра я отплываю в Нью-Йорк из Марселя. Для меня это такая же неожиданность, как и для Тебя, Мама. Путешествие займет 12 дней на британском люкс-лайнере, и все мои расходы, естественно, берет на себя компания.

Я все еще не могу опомниться после столь неожиданного оборота событий. Что касается самой работы, то я чрезвычайно доволен и уверен в успехе, не говоря уж о том, как много я приобрету, увидев такую огромную часть мира и приобретя новый опыт. Иными словами, у меня собирается много материала для дальнейшей работы. Но какая же бесконечная будет радость — снова увидеть Тебя дома! Ведь мысленно я всегда наполовину с Тобой. Последнее время я стал вести дневник, куда заношу в телеграфном стиле наиболее важные мысли и впечатления. Занятие мне несвойственное — ведь я никогда прежде не вел дневника. Поезд на Марсель отправляется через час, так что надо кончать письмо. Дорогая Мама, не теряй терпения. Поверь, для меня разлука тяжела так же, как и для Тебя, хотя я очень занят, занят по горло, и предаваться размышлениям мне некогда. Но уже недолго, и скоро мы увидимся вновь.

Твой неизменно любящий сын

Тибор

7 сентября 1957

Дорогой мой! Моя любовь! Мое все! — теперь, когда я снова тебя увидела, я чувствую, что в конце концов жить стоит, потому что на свете есть ты, ты любишь меня и я тебя обожаю. Я живу только для тебя! Я счастлива — ты сказал, что лю-

бишь меня! Люби меня, дорогой мой, потому что ты мне ужасно нужен! Не смейся, но я отчаянно влюблена в тебя! И мне не стыдно писать это! Мой дорогой, я люблю тебя! С Божьей помощью ты вернешься домой, и тогда я хочу повторять это целыми днями! И хочу слышать это же день за днем! Не тревожься, я возьму себя в руки, я поправлюсь! На следующие несколько недель нам понадобятся все душевные и физические силы, какие у нас имеются. Пожалуйста, ешь! Я умоляю тебя — ешь! Мне так жаль, что я расплакалась, но я не ожидала тебя увидеть и очень расстроилась. Мне стыдно за себя, но вот, честно, почему я ревела. О, как я люблю тебя, Tyubityejka!

Мама в порядке, и со здоровьем и вообще.

Ники сегодня немного лучше. Я верю в чудеса и в мою борьбу за него! Я буду бороться за его жизнь зубами, ногтями и сердцем. Ты еще будешь гулять с ним по-прежнему, так хочет Бог! Что касается адвоката, то вчера я говорила с Дюлой, сегодня поговорю с Кадаром, а завтра с дядей Дюри и Яношем Беером[1]. Как мне дать тебе знать, кого они рекомендуют?

Я вовсе не хандрю, мой любимый. Я верю, что мы долго-долго будем жить вместе очень счастливо. Никогда больше — готовься к этому — я не отпущу тебя! (Если бы мы уже сейчас ссорились из-за этого!) Как бы ты ни протестовал, я решилась!

У нас здесь все в порядке. Мария, Лайош и Пали со мной. Моя мама приехала сегодня утром, она и Лаци шлют тебе свою любовь. Было бы хорошо, если бы ты мог написать Маме. Я страстно хочу жить с тобой, любимый! Я люблю тебя! Я тоскую по тебе! Как я хочу целовать тебя...

Бёбе

19 сентября 1957

Моя дорогая маленькая Бёбе, любовь моя, — я могу написать лишь коротенькую записку — перечень вещей, которые мне нужны. Но прежде всего я хочу сказать, что после нашей последней встречи — как ни печальна она была — я люблю тебя больше, чем когда-либо. Ты так крепко приросла к моему сердцу... крепче, чем я мог себе это представить, дорогая любовь моя!

Можешь ли ты послать мне следующие книги: два тома рассказов Жигмонда Морица из нового пятитомного собрания сочинений, а также его «Шандора Рожу». Стихи Аттилы Йожефа (в синем кожаном переплете). Еще — «Записки охотника» Тургенева и «Поэзию и правду» Гёте. Кроме того, две или три пары толстых носков и, если бы тебе удалось у кого-нибудь взять на время, теплый пуловер с высоким воротом — но это не срочно. И не могла бы ты также раздобыть где-нибудь шахматы и переслать их вместе с книгами. И непременно напиши мне письмо и сообщи, разрешено ли тебе воспользоваться сбережениями или частью их. Я люблю даже эту бумагу, моя дорогая, моя маленькая, любовь моя, потому что ты будешь держать ее в руках.

Я чувствую себя хорошо, *не простудился*. Следи за собой, моя любимая.

Тибор

21 сентября 1957

Дорогой мой, — вчера я передала все, что ты просил. Пуловер ты можешь надевать и задом наперед, тогда горло будет закрыто! Ничего более ценного не нашлось, хотя я обыскала весь Будапешт. Пуловер добротный и теплый, носки тоже. Я отдам кому-нибудь связать для тебя свитер с высоким воротом, зима длинная. Я говорила с д-ром Заланом[2]. Он сказал, что ты беспокоишься за Маму. Не надо. С Мамой все хорошо во всех смыслах. Она думает, что ты будешь в отъезде только три месяца. Иногда она очень ласкова со мной, иногда совсем наоборот! Я с нею терпелива и стараюсь предоставить ей все, что она хочет. Верь мне, Мама покойна и здорова.

---

[1] Дюла — Дюла Ийеш, поэт; Кадар — Миклош Кадар, правовед; дядя Дюри — Дёрдь Лукач; Янош Беер — правовед, влиятельный человек.

[2] Д-р Залан — Корнел Залан, адвокат Дери.

Ники умер девятого в 6 часов вечера. Он заснул у меня на руках. Болей у него не было. Утром Кубински хотел сделать ему укол, усыпить, но я не позволила, все еще надеялась. Теперь, оглядываясь назад, думаю, что для моей совести так было лучше. Мы похоронили Ники в саду, чудесной лунной ночью — было полнолуние. Выкопали могилку. Я тоскую по нему невыносимо. *Попозже* непременно заведу щенка, но не теперь. Я просила д-ра Залана не говорить тебе, но сейчас чувствую, будет лучше, если ты узнаешь. О себе не могу написать ничего нового. Боюсь, что в настоящее время работы мне не найти, да и позднее вряд ли удастся. Как это утомительно! Шанс заработать на щенках еще менее реален! Пока-то их вырастишь... Сберегательную книжку мне не выдали! Я даже ответа не получила из Генеральной прокуратуры на мою просьбу! *Но, пожалуйста, верь мне, с деньгами у нас никаких проблем нет!* Мы живем экономно, немного денег мне подбрасывает и моя мама, так что *все в порядке!* Надеюсь, когда-нибудь мне вернут эту сберегательную книжку.

Важно только одно: *чтобы ты со всем этим примирился, чтобы твое здоровье и нервы были в порядке!*

Дорогой мой, я знаю, что мы будем жить вместе и будем счастливы! Я моложе, чем ты, а ты сильный. Давай сохраним себя друг для друга. *Я жду тебя!* Если нужно, я буду ждать тебя всю жизнь. Я люблю тебя — люблю всем сердцем. Для всех нас грядут тяжелые времена. Пока я могу держать Маму в равновесии, я чувствую, что свой долг выполняю. Ее очень взбадривают твои письма, одно я ей отдала, другое пока придерживаю. Я ведь не знаю, когда ты ей напишешь еще...

Мой любимый! Все, что происходит теперь с нами, похоже на дурной сон! Даже сейчас не могу поверить, что это взаправду! Я хочу проснуться!!! Я хочу видеть тебя! Любимый мой! Любимый! Я люблю тебя! Ты мерзнешь? Подошел ли пуловер? Получил ли ты лекарства? Я знаю, у тебя много забот, но, пожалуйста, думай иногда о твоей Бёбе! Господи, помоги Tubetyejke вернуться домой к его

Бёбе!!!

30 сентября 1957

Дорогая Мама, — я прибыл в Нью-Йорк позавчера, позади у меня чудесное и покойное путешествие по синему морю, под голубыми небесами.

В первый же вечер, прежде чем лечь спать, сразу отправил Тебе открытку с видом на нью-йоркский порт из моего отеля — как первый мой привет, но боюсь, Ты ее не получишь, потому что я, кажется, забыл наклеить марку. Дело в том, что мне ужасно хотелось спать — скорее всего, вероятно, из-за свежего морского воздуха, в результате я заснул и мирно проспал целых десять часов кряду.

Кроме описания путешествия, рассказать больше нечего, ничего определенного касательно фильма не знаю. Я посетил кинокомпанию сегодня и вчера. Вчера побывал у них в офисе, сегодня — на студиях. Последние находятся довольно далеко от города. Я познакомился с колоссальным количеством людей, которых, конечно же, не узнаю в лицо, потому что у всех у них такой характерно американский вид. Первые серьезные переговоры с продюсерами, директорами и т.д. состоятся у меня только послезавтра. Тем временем человек, занятый исключительно моими делами, сообщил мне, что мой сценарий вызвал всеобщее одобрение и они определенно хотят снимать фильм по нему, но мне придется несколько переработать его, чтобы он более отвечал американским вкусам. Я, собственно, и не возражаю, если от меня не потребуют кардинальных изменений. Кстати, здешние люди чрезвычайно милы и любезны со мной. У меня уже столько приглашений, что я мог бы занять все свои вечера, по крайней мере на следующие шесть месяцев. Между прочим, реальный Нью-Йорк превзошел мои самые смелые ожидания. Не думаю, что я хотел бы жить здесь, но впечатление чудесное, и я счастлив, что, в конце концов, имел возможность увидеть этот город. Если бы не фильм, такого случая мне бы не представилось.

Моя драгоценная Мама, чем больше прекрасных вещей я вижу, тем больше тоскую по Тебе. Единственное мое утешение в том, что Ты в хороших руках. Но я прошу также позаботиться о моей жене, которая становится мне просто невероят-

но близкой. Как чудесно будет увидеть всех вас снова! Каждый день я мысленно целую Твои руки и Твое дорогое старое лицо.

Твой Тибор

30 октября 1957

Дорогая Мама, — кажется, я уже заканчиваю сценарий, после чего у меня будут беседы с кинокомпанией, которые, надеюсь, окажутся не слишком долгими. Я должен буду выслушать их пожелания и, если это для меня приемлемо, согласиться с их рекомендациями. Думаю, что мне не придется вносить серьезные изменения или переписывать какую-то часть. Моим первоначальным наброском они были очень довольны, и я надеюсь, что сюжет или скорее решение его окажется им по вкусу.

О себе ничего особенного сказать не могу. Мое здоровье, настроение и все прочее в хорошей форме. Погода прекрасная, что — как Тебе известно — хорошо сказывается на моем общем самочувствии. Здесь стоит теплая солнечная осень, почти лето, люди одеты по-летнему.

Как Ты, дорогая моя Мама? Боже мой, как было бы замечательно, если бы вы все были здесь! Но я надеюсь, что нам уже недолго ждать встречи. Из-за таможенных и валютных правил ничего не могу послать Тебе, но, надеюсь, в деньгах Ты не испытываешь нужды. И Мария тоже. В следующий раз, Мама, я напишу Тебе длинное письмо — хорошо бы о том, когда возвращаюсь. Береги себя: Ты очень нужна мне!

Твой непутевый сын
Тибор

29 ноября 1957

(Эржебет Дери — в Политический комитет Венгерской социалистической рабочей партии)

Уважаемые господа, — Верховный суд народного трибунала приговорил моего мужа, писателя Тибора Дери, к девяти годам тюрьмы.

Во время следствия и процесса я имела возможность несколько раз беседовать с моим мужем. Поэтому у меня есть основания сказать, что он страдает целым рядом серьезных заболеваний (эмфизема, различные нарушения нервной системы, церебральный склероз, жалобы на сердце, желудок, кишечник). Его здоровье не улучшилось, несмотря на заботливый медицинский уход. Напротив, оно решительно ухудшилось.

Поэтому я боюсь, что мой муж находится на грани полного психического и физического истощения, и не только — существует серьезная угроза самой его жизни. Это, я убеждена, не может быть целью правосудия, но это означало бы потерю для культуры.

Поэтому я прошу вас, уважаемые члены Политического комитета, употребить ваше влияние на соответствующие организации, чтобы отложить исполнение приговора и дать ему возможность пройти курс лечения, обеспечить который в тюрьме невозможно.

С уважением
Э.Дери

1 января 1958

Дорогая Мама[1], — прежде всего прошу: береги себя, потому что, если я не буду знать, что Ты здорова и с Тобой все благополучно, я просто не смогу работать в этом странном мире. Ты для меня важнее всего на свете, так что, пожалуйста, делай все, что в Твоих силах, чтобы быть здоровой.

У меня много хороших новостей для Тебя. Американские писатели встретили меня очень тепло, словно я какая-нибудь знаменитость. Стейнбек несколько дней

[1] Это письмо от имени Дери написала Эржебет Дери. Его перевел на немецкий язык философ Ференц Фехер.

возил повсюду на своей машине, он показал мне все, что стоило посмотреть. Ты не можешь себе представить, как интересны, оказывается, типичные американские города. Так много света и цвета и яркой — для нас, европейцев, слишком яркой — рекламы. Ведь мы остаемся европейцами до последнего вздоха. Эти мысли родились отчасти из-за следующего эпизода. Несколько дней я провел с Хемингуэем. Он ужасно богат, даже по американским меркам. Состояние составил себе своими произведениями. Со мною он был очень приветлив, и я наслаждался его обществом, но была там одна вещь, к которой я никак не мог привыкнуть. Слуги у него — черные. Меня стесняла мысль, что я, белый, играю роль «белого господина», в то время как они, черные, мне прислуживают. Уверен, что Ты это поймешь, дорогая Мама.

Работа мне очень нравится, и все идет гладко. Киношники поразительно любезны. Они отобрали для меня самых лучших актеров. И техническое обеспечение первоклассное. Продюсер сулит грандиозный успех во всем мире. Я работаю с огромной энергией. Мне не хватает только вас, мои дорогие. Тебя и Бёбе. Но я надеюсь, что к концу весны или самое позднее летом я буду дома.

Фильм обещает также и финансовый успех. Аванс мне уже выплатили. Покупаю вам всяческие подарки. Для Тебя, например, купил прелестное вечное перо. Остальное должно быть сюрпризом! Только сейчас я понял, насколько легче писать на машинке. В магазине тут же добавили недостающие венгерские буквы.

Дорогая Мама, еще раз прошу Тебя очень беречься. Я говорил с Бёбе по телефону и просил всячески помогать Тебе. Я решительно не могу ни работать, ни даже жить, пока не знаю, что у Тебя есть все, в чем Ты нуждаешься, и что Ты здорова. В надежде на скорую встречу шлю Тебе тысячу поцелуев.

Твой неизменно любящий сын
Тибор

3 февраля 1958

(Телеграмма Дери его матери)

Думаю о Тебе с огромной любовью поздравляю с днем рождения желаю доброго здоровья и долгих счастливых лет вместе. Напиши мне, пожалуйста!

Твой *Тибор*

25 февраля 1958

Дорогая Мама, — спасибо за милое, умное и остроумное письмо. Перечитывая его снова и снова, я все время чувствую Тебя рядом, дорогая Мама, и не могу не осознавать постоянно, что если у меня и есть какой-то талант, то он у меня от Тебя, любимая моя Мама. Я по-прежнему поражаюсь Твоему действительно прекрасному литературному слогу. Я так рад услышать, что Ты чувствуешь себя хорошо. Я всегда спрашиваю об этом Марию по телефону и кладу трубку с облегчением, если она заверяет меня, что Ты в порядке.

Расскажу Тебе немного о моей работе и о том, как я здесь живу. Мой фильм продвигается вперед великолепно — он мог бы двигаться и быстрее благодаря прогрессу в здешней технологии, но боюсь, в киностудии, даже тут, царит порядочный бюрократизм, способный все затормозить. Дома фильм был бы сделан быстрее, там люди вкладывают в работу сердце. Несмотря на это, я доволен, потому что фильм получается удачный и уже имеет большую рекламу. Я должен только следить, чтобы все шло гладко, так что у меня уйма свободного времени, и я его прекрасно использую. Четыре недели провел во Флориде, где написал, на мой взгляд, лучшую пьесу из всех, когда-либо мною написанных. Она называется «Женщина из Вены»[1]. Я могу продать ее прямо здесь, но надеюсь, что настоящий успех ждет ее дома. Она о венском восстании 1934 года. Флорида была просто великолепна. Печально только то, что со мной нет вас двоих, дорогая Мама. Я купил Тебе прелестный ночной чепчик из белого бархата. У меня уже накопилось множество всяческих сюрпризов для Тебя, Марии и, конечно, для Ирен и Пишты. (Пиште я купил толстый свитер. Не проговорись, это сюрприз!) Наверное, тебя интересуют

[1] В окончательном варианте пьеса получила название «Вена, 1934».

мои финансовые перспективы. Если мои подсчеты верны, не думаю, чтобы нам еще довелось испытывать какие-либо затруднения, сколько бы мы ни жили. Конечно, в настоящий момент курс обмена доллара-форинта не слишком благоприятен, но к тому времени, как я вернусь, положение, судя по всему, изменится.

Со здоровьем у меня все очень хорошо. У них здесь принято все готовить на растительном масле, и мне это, кажется, очень подходит. А здешние лакомства! Я прибавил шесть кило, так что теперь уж Мария не будет больше считать меня привлекательным мужчиной. Я просто толстый! Жду не дождусь премьеры фильма и сразу же еду прямо домой, самое позднее летом!

Прошу Тебя, дорогая Мама, пожалуйста, береги себя и Марию — я так люблю вас обеих! Ты, как мне сказали, чувствуешь себя хорошо, и я так хочу, чтобы Ты была бодра и здорова, когда я Тебя увижу. Тысяча поцелуев от Твоего сына, который любит Тебя больше всего на свете.

Тибор

12 апреля 1958

Дорогая Мама, — это мое третье письмо — Мария сказала по телефону, что предыдущих Ты не получила, и я посылаю это экспресс-почтой, с регистрацией. Прежде всего хочу рассказать обо всем, что со мной происходит. Возможно, я буду иногда повторяться, потому что не всегда помню, о чем уже писал раньше. Моя работа постепенно подходит к концу, и вот уже почти шесть месяцев, как я нахожусь далеко от моей страны, моего дома и от Тебя, моя дорогая единственная Мама. Фильм превосходен, американские журналы полны моим именем, о нем, по словам Вили, отозвались доброжелательно и в европейских газетах. Из Европы сюда приезжали несколько журналистов, им показали фильм, когда он был готов еще только наполовину. Они меня совершенно осчастливили, сообщив, что фильм выдвинут на Нобелевскую премию. (Об этом я уже писал в двух предыдущих пропавших письмах.)

Короче говоря, успех огромный! Ты можешь гордиться своим сыном, Мама, как и он очень гордится Тобой!

Но я все-таки немного опечален, так как Мария пожаловалась, что Ты теряешь терпение.

Всей своей жизнью Ты доказала, что Ты самая умная и самая образованная женщина на свете. Умоляю Тебя, не разрешай себе падать духом! Возможно, я просто неправильно понял Марию — я едва слышал ее голос, — в таком случае забудь о моей тревоге, но, по крайней мере, Ты узнаешь, какого высокого мнения я о Тебе, совершенно независимо от моей горячей сыновней любви. Я Тебя люблю, я уважаю Тебя, моя дорогая единственная Мама! Пьеса, которую я пишу о Тебе, почти закончена. Она станет памятником Тебе для грядущих поколений.

Мама! надеюсь, Мария помогает Тебе материально в том же размере, как это делал я. Я не могу посылать деньги отсюда, но знаю, что Мария работает и зарабатывает вполне неплохо. Когда я вернусь домой несколько месяцев спустя, я хочу отплатить тысячекратно вам обеим — Марии, лучшей жене во всем мире, и Тебе, моя дорогая единственная Мама.

Тысяча поцелуев.

Тибор

Я чувствую себя превосходно! Твои письма получил, не беспокойся, Ирен и Пишту ждет замечательный и дорогой подарок!

3 ноября 1958

Дорогой Тибор, Мама умерла во сне в 7.15, в четверг утром. Она совсем не мучилась. За девять дней до этого она была в прекрасной форме, это был вторник, но на следующий день поднялась температура, она очень мало говорила со мной и с доктором, который определил пневмонию. На боли она не жаловалась, была усталая и сонливая. Начиная со среды спала постоянно. За восемь дней пневмония дала три вспышки. Доктор Феллнер приходил по три раза в день. Мамино сердце все больше слабело и в четверг утром остановилось навсегда. Она была в

тот момент без сознания и не мучилась.

Дорогой мой, я ничем не могу тебя утешить, кроме того, что Мама не знала, что она больна, она не мучилась и получала весь уход и заботу, какие только мы могли ей предоставить. Мы не переставали надеяться, мы были возле нее днем и ночью, доктор, Ирен, Пишта, Рози, сиделка и я, по очереди и все вместе. Тибор, любимый, я ужасно огорчена, что должна причинить тебе такую огромную боль, может быть, лучше было бы не писать тебе. О Боже, я не смею не писать! Только ты мог бы дать мне совет. Тибор! Мама ничего не знала о тебе, она гордилась тобой до последней минуты. Она ни в чем не нуждалась. Я не знаю, что мне следовало бы написать. Я хочу держать твои руки, плакать вместе с тобой. Похороны в субботу в 2 часа дня на Фаркашретском кладбище.

Я не знаю, что писать. Может быть, мне следовало солгать тебе, я не знаю. Могу сказать только, что мы делали все, моя совесть чиста, твоя боль мучит меня. И еще я знаю — Мама гордилась тобой, пожалуйста, верь мне. Она имела все, в чем нуждалась, она не мучилась. Умоляю, пойми, ей было 96 лет, и до последней минуты она была гордой и счастливой матерью. Я знаю, ты потерял самое дорогое, что может потерять человек, но я прошу тебя, не поддавайся горю. У тебя есть долг и по отношению ко мне тоже. Я не могу жить без тебя, со мной все будет кончено, если с тобою что-то случится. Знаю, это шантаж, но сколько бы я ни жила, я хочу жить с тобой.

Я с тобою во всем, твоя всегда любящая
жена.

P.S. Мы увидимся с тобой через несколько дней, мой самый дорогой на свете. Не плачь. И я тоже не плачу! (Я так люблю тебя!)

8 марта 1959

Моя дорогая, моя любимая Бёбе, — сегодня воскресенье, идет дождь, теплый весенний дождь, и я думаю о том, где ты можешь быть в эту минуту. Что ты делаешь (сейчас около часу дня) и что собираешься делать сегодня? Думаешь выйти? Кого-то решила навестить? Или кто-нибудь заглянет к тебе? Или ты будешь одна? В твоем последнем письме я отметил фразу: «Я очень одинока!..» Как долго все это будет продолжаться? Как долго? Сейчас весна, март, и тюрьма вдвое, вдесятеро тяжелее. Вчера в открытое окно влетела муха. Голуби целыми днями уже воркуют снаружи — хотя почему это отвратительное карканье называют воркованием, не знаю! Видел я и черного дрозда, он скакал под моим окном. Если бы не больница, я вряд ли вынес бы тюрьму. Здесь же, насколько возможно, нервы мои привели в порядок — окно! окно! — и я успокоился. Но весь в тревоге, что меня переведут отсюда. Если мне придется опять вернуться в камеру и снова начнется клаустрофобия — я обречен, я просто погибну. Не говоря уж о том, что не смогу работать, то есть потеряю единственное, чем могу занять себя.

Моя повесть продвигается неровно, примерно половину пути я одолел. Большая толстая тетрадь, которую ты мне прислала, наполовину уже исписана. Сегодня я закончил главу, десятую. Кстати, я и для себя устроил весну: больше не надеваю толстый зимний свитер — хотя ни разу не покатался в нем на лыжах, — ношу твой синий спортивный костюм, который люблю за то, что он твой. Каждую ночь я кладу его под голову. Материала для чтения у меня хватит недели на две, а то и на три, в сущности, у меня есть все необходимое. Рулет с орехом, который ты опять мне прислала, выше всяких похвал, передай это Марии. Судя по ореховому рулету, он был рождественский, с середины декабря, но, в отличие от иных лет, меня пока от него не тошнит. Колбасу больше не посылай, сейчас она будет портиться, так как за один раз я могу позволить себе съесть совсем немножко. То, что ты прислала последний раз — от твоей мамы? Как она? А Лаци? Мотоцикл? Ему сейчас лучше? Когда они в последний раз навещали тебя? Скажи Аурелу[1], что я только что прочитал его книгу и своей бодростью и мудростью она помогла мне пережить несколько очень тяжких часов. Видишься ли ты с ними? А что Дюри и Гертруда, Дюла и Флора? Моя любимая, тебе, верно, приходится много времени проводить в одиночестве, а я не

[1] Аурел — Аурел Бернат, художник.

могу броситься тебе на помощь. Не могу представить, как проходит твой день, внешний мир стал для меня таким пустым и неведомым, что я никак не могу поместить тебя в нем. Я почти не в состоянии больше задавать вопросы, до такой степени забыл за эти два года, чем занимаются люди, когда они свободны. Бываешь ли ты все еще у Ирен? День рождения моей матери был для меня тяжелым днем. Почему ты не водишь Луцу гулять? Она станет большой взрослой собакой и не будет любить меня. Гуляй с нею, это и для тебя хорошо, дорогая, особенно сейчас, когда пришла весна и у тебя, по твоим словам, работы немного. Поверишь ли, я забыл названия чуть ли не всех соседних улиц. Я провел в тюрьме больше времени, чем у нас дома, в нашей квартире на улице Кречани. Я читаю сейчас «Тюремный дневник» Казинци[1]. Это и для него было нелегко — но он все-таки был гораздо моложе. Закончились ли визиты к дантисту? Здорова ли ты? Скоро наступит сезон гриппа. постарайся не подхватить его!.. Единственное преимущество тюрьмы — хотя я с удовольствием от него отказался бы — состоит в том, что она защищает меня от двух обязательных гриппов ежегодно, правда заменяя его другими хворями.

Бёбе, любимая, я так сильно люблю тебя! Как ты со мной, так же, если не больше, хотел бы и я жить с тобой долго-долго. Слышать твой голос, твой веселый смех, видеть забавные твои гримаски, наблюдать твою легкую поступь и с нетерпением ожидать, когда ты закончишь переодевание. Доведется ли мне когда-нибудь снова ждать тебя? И я люблю твои письма и, если доживу и опять буду с тобой, непременно потребую, чтобы по крайней мере раз в неделю ты писала мне письма из своей спальни в мою комнату. Моя любимая! Ответь на это письмо не откладывая. Мне пришлось долго ждать в прошлый раз. Передай от меня приветы всем. Целую тебя.

Твой *Тибор*

27 марта 1959

(Я хотел бы что-нибудь Тургенева, если ты сможешь его раздобыть.)

Нежная любовь моя, вот уже март подходит к концу, и все еще никаких признаков изменения в моей судьбе, наоборот! Я не знаю, что будет со мной! Ты подала прошение о помиловании пять месяцев назад. Если ты не получила отказа — а ты ведь не получила его, правда? — может быть, тебе удалось бы проследить за ним в суде или в министерстве юстиции? Физически я чувствую себя хорошо и даже работаю — что еще могу я делать? Ты могла бы попросить о дополнительном свидании. Я обращался с такой просьбой, но мне отказали, а тебе, может быть, разрешат. В следующий раз я отошлю немного белья для стирки и книги. Хотелось бы чего-то нового (хорошие романы и журналы). Боюсь, мой шариковый паркер скоро прикажет долго жить! Две другие ручки никуда уже не годятся. Я тебя люблю, моя единственная, я тебя люблю!

Тибор

Береги себя! (Спасибо за посылки.)

30 сентября 1959

(Управление тюрем — г-же Тибор Дери)

Тема: просьба о передаче пакета с пищевыми продуктами и книгами.

По поводу Вашей просьбы настоящим сообщаю, что разрешить передачу Вашему мужу пакета с пищевыми продуктами не могу, так как считаю просьбу необоснованной, имея в виду пересылаемые продукты. Напоминаю, что Ваш муж получил полагающуюся ему раз в полгода передачу в соответствии с правилами.

Вам разрешено переслать Вашему мужу 10 литературных произведений. Будьте любезны переправить книги начальнику Государственной тюрьмы в Ваце.

---

[1] Ференц Казинци (1759—1831) — поэт, прозаик; за принадлежность к кружку «венгерских якобинцев» был брошен в тюрьму, где провел шесть с половиной лет.

31 октября 1959

Моя дорогая, нежно любимая! Прекрасная моя любовь, Бёбе! Нынче суббота, еще день, но последнее время рано темнеет, и я пишу при электрическом свете. Этим утром я поработал немного над повестью, а потом прогулялся по саду под сияющим осенним солнцем (я так благодарен погоде, ежедневно пою ей гимны). После завтрака, согласно указаниям доктора, отдыхал немного, потом читал. И все время — утром, в полдень, вечером — я думаю о доме. Новые фотографии очень помогают памяти, а также воображению. Эта маленькая китайская лампа, которую ты получила от своей мамы, очаровательна, еще у тебя появилась новая кофеварка, верно? А радиоприемник, кажется, стоит теперь в другом месте? Моя комната получила подсвечник. Это Мамин? Как высоко прыгает Луца! А фикус Гертруды грандиозен! Как бы хорошо увидеть все это наконец, пожить среди этого и рядом с тобой. У меня теперь вообще нет никаких других желаний, но боюсь, непохоже, чтобы обстоятельства сулили скорое их исполнение. Я пессимист в том, что касается ситуации в зарубежной политике. По-прежнему нет конца холодной войне против нас, и, разумеется, нельзя не чувствовать отголосков ее в нашей внутриполитической ситуации. Напрасно я убеждаю себя сохранять терпение и веру, эта жизнь все больше и больше пришибает меня. Хотя жаловаться не могу. При данных обстоятельствах обращение со мною хорошее, и у меня практически нет проблем со здоровьем, если не считать сердца, которое снова дает о себе знать, хотя до сих пор довольно долго уже не мешало мне жить. К счастью, лечат меня здесь превосходно. Но какой в этом прок? В тюрьме человек старится в три раза быстрее. Мне пришлось мириться в жизни со множеством вещей; ныне мое тело в руках закона... Теперь о другом... Как ты, моя любимая? Не хочу сейчас задавать тебе вопросы, потому что мне интересно все, что знаешь ты, и я хотел бы знать все о тебе, так что рассказывай. Пиши обо всем — о чем ты думаешь (и не думаешь), мне интересно все. Пришли мне список названий тех книг, бесплатные экземпляры которых — как ты сказала во время свидания — прислали издатели. У тебя должны были сохраниться их письма. Есть ли у тебя дома экземпляр моей пьесы — ведь мой утерян? У меня достаточно тетрадей еще месяца на два, потому что мое писание движется ужасно медленно, но если мне понадобятся еще, присылай тетради большого размера в твердой обложке, лучше две потоньше. Ты забыла послать мне «Дневник Анны Франк», и английский учебник я не получил. Прошение о помиловании я, как уже говорил, отослал в середине июля, и отсюда оно было отправлено. Может быть, тебе придется это выяснить, я ответа не получил. Когда ты в следующий раз принесешь книги — у меня сейчас много времени! — я отдам тебе пачку прочитанных. Думаю, вчера ты была на могиле Мамы, если я хорошо тебя знаю, Бёбе. Как твоя мама? Передай ей, что я ее люблю. Я благодарен ей за ее дочь. А что твой бедный брат? Не буду перечислять всех наших друзей и знакомых, но я люблю всех, кто любит тебя. Как же долго еще я не увижу тебя! Должно быть, ты по горло сыта одиночеством? Наступает долгий темный период года, которого я всегда так боялся, но ты не должна падать духом, моя дорогая, и, когда выпадет снег, я буду думать о тебе, любовь моя, о том, как наслаждаешься ты долгими прогулками с Луцей. Кстати, в рождественской посылке — если разрешат трехкилограммовую — сыра не посылай, только сухую салями и что-нибудь сладкое. Я был очень доволен книгой по биологии, она превосходна. Не забывай, что ты должна писать гораздо больше, чем я; когда пишешь от руки, в строке может поместиться хоть сто букв. Если сможешь сделать еще сколько-нибудь фотографий, пришли их! Деньги я получил. Как я тоскую по тебе, любовь моя, моя маленькая женушка, по нашей совместной жизни, по свободе! И как тяжело расставаться с тобой даже в письме!

Тибор

3 декабря 1959

Дорогой товарищ Хрущев, выслушайте, пожалуйста, сердечную мольбу одной венгерской жены!

Моему мужу Тибору Дери 66 лет, и он очень болен. Он был приговорен к долгому тюремному заключению за его деятельность в 1956 году. Я не знаю, насколько серьезны ошибки, которые он совершил, но знаю, что, в течение 40 лет

оставаясь членом партии, он всю свою жизнь посвятил служению коммунизму, и я могу Вам гарантировать, что, когда он вернется домой — даю Вам в том мое слово, — он всю оставшуюся жизнь будет трудом своим служить делу коммунизма. Пословица говорит: человеку свойственно ошибаться. Что же, боюсь, что он очень сильно ошибся!

Товарищ Хрущев, если это в Вашей власти, замолвите слово перед товарищем Кадаром. Убедите его поверить в чистоту помыслов моего мужа и в его величайшее доверие к товарищу Кадару, чтобы он позволил ему доказать это своей жизнью и своей работой! Умоляю Вас, товарищ Хрущев, помочь моему мужу, чтобы он не умер в тюрьме как враг, дайте ему возможность исправить свои ошибки!

Я желаю Вам и Вашей семье доброго здоровья и долгих лет жизни.

Искренне Ваша
Эржебет Дери, жена Тибора Дери

2 января 1960

Моя любимая, еще одно Рождество и один Новый год прошел без тебя! Скоро в моей жизни не останется ничего, кроме потерь, чудовищной суммы потерь. Как бы я ни старался ужать себя, получается, что надо ужаться еще больше — даже мечтам моим теперь нет во мне места. Я иссыхаю, я испытываю одну лишь боль, я лишен абсолютно всего. Не будь тебя, я бы и этого уже не чувствовал— и притом давно. Я держусь за тебя всеми оставшимися во мне силами, чтобы быть в состоянии жить. Если бы только я мог быть уверен — хотя никакой определенности не существует, — что однажды я все-таки смогу еще стать тебе нужным. До сих пор ты одна несла на себе всю мою ношу, бедняжка моя, я смотрю на тебя из отдаления, и мое сердце может только болеть за тебя. Но ты меня не утешай! Я любил бы тебя, даже если бы мне не было за что быть благодарным. Как раз сейчас я отчаянно тревожился о тебе: 18-го прошлого месяца я послал тебе список книг, которые хотел бы получить, а ты ничего не прислала мне и доныне, хотя прошло уже две недели. Ты больна? Или другие какие-нибудь неприятности? *Прошу тебя снова и снова, не скрывай от меня ничего!* Твои проблемы — в чем бы они ни заключались — привязывают меня к тебе намного сильнее, чем просто твой образ, за который я пытаюсь держаться — иначе мне пришлось бы подозревать утаивание и ложь. Ты можешь совершить против меня что угодно, я все равно не видел бы в этом оскорбление, ошибку или что-то, сознательно направленное против меня, — лишь бы ты была честна со мною во всем, как в большом, так и в малом. Я говорю — в большом, но не пойми меня неправильно, я не думаю, что ты хочешь меня оставить.

Ответь мне на это письмо сразу же — хотя мне и незачем просить тебя об этом — и, если можешь, принеси его сама. Может быть, так я получу его быстрее. И, пожалуйста, принеси мне также книги, если ты их уже не принесла, и прибавь к ним еще, если сможешь достать, «Чудеса звездного мира» Джинса (издательство «Данте»). Раз уж мы заговорили на эту тему, список книг ты составила неправильно, дорогая. Книги, которые ты упоминаешь в последнем письме, отсутствуют или указаны под другим названием и т.д. Мне хотелось бы получить полный список, так что не можешь ли ты переписать его вместе с ответом на письмо (неважно, если оно получится на несколько строчек длиннее): 1) отдельный список с заглавиями и подзаголовками тех книг, которые имеются у тебя дома. Иными словами, которые тебе не нужно добывать или тратить на них деньги. 2) список книг, о которых тебе известно, что они опубликованы, но мы еще не получили их на дом. Напиши, кто издатель каждой из них, сколько томов и сколько страниц в каждом томе, потому что не имеет смысла присылать сюда тонкие книжки. И еще — какой указан тираж и которое по счету издание. Мне жаль беспокоить тебя этим, любимая, но, в сущности, если я и интересуюсь чем-то, то только ради тебя. Так обстоят дела и с этим, и с моей работой здесь. Я не могу также забыть, что во время последнего нашего свидания ты плакала, и это причина, по которой я сейчас так настоятельно прошу тебя быть со мной откровенной — ведь ты так и не захотела сказать мне, в чем дело. С тех пор как у меня нет собственной моей жизни, мне все больше и больше необходимо участвовать в твоей, в твоих радостях и твоих печалях, в твоих желаниях. Вот почему я во всех моих письмах постоянно умоляю тебя писать мне о себе все. О

себе же мне писать нечего. Все сужается вокруг меня. Но здоровье не становится хуже. Я продолжаю работать над повестью, и это держит меня над водой. Написал приблизительно 400 печатных страниц, и еще будет от 40 до 50. А потом? Передачу я получил, фотографии и очешник. Раздобыл несколько тетрадей. Я все еще нахожусь в больнице. Где ты провела Рождество? И канун Нового года? Бёбе, дорогая моя, не падай духом, пользуйся каждой возможностью быть счастливой, на что дает тебе право твоя красота и молодость и что совместимо с тем фактом, что я люблю тебя. И не думай, что я пребываю в чрезмерно угнетенном состоянии духа. Постепенно я приобретаю иммунитет относительно своей судьбы, я горю слабым огоньком и не слишком слежу за тем, что со мной происходит. Вчера и позавчера светило солнце, и это было хорошо. Еще одно: обо мне не тревожься, я все еще хочу сохранить себя. Напиши мне длинное письмо. Я так люблю тебя.

Тибор

1 марта 1960

Дорогая Бёбе, любимая, — не всегда человек любит с одинаковой силой. Прошлой ночью, когда я думал о тебе, меня охватил такой приступ нежности, такая любовь и такая жалость, что я только что не плакал. И я ничего не могу сделать для тебя, ни от чего не могу тебя защитить! Вот это в тюрьме ужасно, эта крайняя беспомощность, не только относительно собственной моей судьбы, но и судеб других, а это еще мучительнее. Уже несколько недель я невыносимо беспокоюсь о тебе: может, ты подцепила грипп? И если так, лучше ли тебе сейчас? Есть ли — или были — осложнения или последствия? И за все это время у меня не было случая узнать новости! Скажи мне правду! Моя маленькая, дорогая, любовь моя, береги себя для меня! У меня на этот раз обошлось без гриппа, несколько дней болели голова и уши, вот и все. Иное дело, когда ты пошла на тот экзамен. Кто экзаменовал тебя и где? И еще, раз уж мы заговорили о болезнях, не было ли каких осложнений у Луци после менингита? И получила ли ты «икка-шкоду»? А Лайи действительно собрался жениться? Дошли ли книги, которые я послал отсюда? Я получил восемь книг, посланных тобой в конце января, и твой список книг ровно через месяц после твоего визита. На другой день мне сказали, что пришло еще шесть книг, затем — что они так и не пришли, но что я должен составить новый список. Я это сделал, но был ли он послан или нет, не знаю. Ты не приготовила свой список книг, как я просил, а это наталкивает меня на мысль о том, что книг ты не получила, чего я опять же не могу понять, потому что Пали принес четыре из тех, что в списке. Если сможешь, заполни пробелы между строчками твоего письма следующим образом: 1) издательство и какой город; 2) сколько страниц или сколько томов; 3) какое издание; 4) количество напечатанных экземпляров и цена — иными словами, так, как это делается в каталогах. Скоро для нас наступят чудесные солнечные дни. Надеялся получить несколько фото. Ты спросила в прошлый раз, что тебе снять. Несколько снимков библиотеки и моих книг, например, с близкого расстояния. Для этого тебе нужно, конечно, получить четкие, резкие снимки, с тем чтобы можно было прочитать названия. А как было с кормушками для птиц этой зимой? Сейчас так жарко, что мои воробьи пренебрегают мною. Как ты знаешь, я послал прошение отсюда в Президентский совет 16 июля 1959 года, то есть семь месяцев назад, но до сих пор не имею в ответ ни строчки. О, как я хотел бы тебя увидеть! Повесть я закончил, но хороша она или нет, не знаю. Я могу убить несколько недель на корректуру и правку, но потом? Начать новую работу нет сил. Да и читать практически нечего. И, наконец, должен ли я вновь повторить мою неизменную просьбу?.. О том, чтобы ты подробно писала мне о себе — как ты проводишь свои дни, кого видела на этой неделе и на прошлой и т.д. Была ли в кино или в кафе? Даже самые мелочи — от кого получала письма, кто тебя приглашал заглянуть к себе и когда — ну и так далее. Передай Марии мои приветы, она должна заботиться о тебе. Она не заболела? А Лили? Я люблю всех твоих друзей, дядю Дюри, Дюлу, Аурела и Крижаков, если они хороши с тобой. Я рад твоему оптимизму, потому что он тебе помогает, но сейчас не могу разделить его с тобой. У меня было слишком много разочарований. Сколько же можно за себя сражаться! (И ты со мною, моя бедняжка!) Я устал. Физически еще кое-как дер-

жусь, однако мои нервы издерганы вконец. Но обещаю, я буду дорожить каждым днем, если получу еще шанс. Береги себя. Я так люблю тебя. Как бы хорошо было еще пожить рядом с тобой, если это возможно, прежде чем я превращусь совсем в развалину. Я люблю тебя.

Тибор

P.S. Если ты не получила еще мой новый список, пришли, во всяком случае, Ирвина Шоу.

1 апреля 1960 года

(Из Государственной тюрьмы в Ваце — г-же Тибор Дери)

Паспорт № ...

Справка об освобождении

Выдана Тибору Дери, содержавшемуся в заключении с мая 1958 года по приговору Верховного Суда № Hb.11. 0010/57 за руководство заговором и осужденному на девять лет тюремного заключения. Поскольку решением Президентского Совета ВНР за № 7-3/11/1960 Тибору Дери засчитывается трехлетний срок строгого тюремного заключения во время предварительного и судебного следствия, я освобождаю его из-под стражи сегодня. Вышеназванный Тибор Дери направляется по адресу: Будапешт II, ул.Кречани 10. По прибытии он обязан явиться в районное отделение полиции.

Личные данные: родился 18 октября 1894 в Будапеште, профессия — писатель, семейное положение — женат, жена — Мария Куншаги. При освобождении ему выдано ... форинтов ... филлеров.

Вац, 1 апреля 1960

Начальник тюрьмы...

Ограничение в правах — запрет на общественную деятельность в течение шести лет.

Несколько штрихов к портрету Тибора Дери

Когда я познакомилась с Тибором Дери, вся эта история — реальная основа новеллы «Две женщины» — была уже позади.

В 1966 году Грузия пышно праздновала 800-летие со дня рождения Шота Руставели. Приглашены были гости со всего света, писатели разных национальностей, поколений и направлений. Гостиницы «Иберия» и «Сакартвело» буквально ломились от советских и зарубежных знаменитостей.

Вместе с Ю.П.Гусевым, ныне доктором филологии, мы были переводчиками при весьма представительной делегации венгерских писателей, приехавших по большей части с женами. Среди них был и Тибор Дери. Впервые я увидела его под сапогами Сталина — это не метафора, а совершенно конкретная картина, которая так и отпечаталась в памяти навсегда: в просторнейшем холле гостиницы «Сакартвело», где разместили венгров, прямо напротив входа был огромный, во весь рост, портрет вождя народов (он по-прежнему возвышался незыблемо, несмотря на все перемены); собственно от парадной двери, в которую я вошла, видны были лишь высокие сапоги — а под этими сапогами, запрокинув тонкое, рельефное лицо, стоял сухощавый, немного сутулый старик и смотрел вверх. Мудрость, ирония, самоирония, отрешенность — чего только не выражало это лицо, большие темные глаза. Это был Тибор Дери. А рядом с ним стояла сверкающая здоровьем, белыми зубами, рыжими волосами молодая победная женщина, его жена Бёбе.

Когда на следующее утро нас повезли в дальний, многочасовой путь на предполагаемую родину Шота, я — по удачному стечению обстоятельств и неодолимой внутренней потребности, которая, наверное, и есть нередкая причина «стечения обстоятельств», — села в автобусе рядом с ними.

Мне был невероятно интересен Тибор Дери. Я много его читала, была потрясена повестью «Ники» и с тоской понимала, что ни повесть эту, ни трилогию «Неоконченная фраза», ни такую новеллу, как «Две женщины», или роман-эпопею «Ответ», грубо разруганный венгерской ортодоксально-марксистской критикой, может быть, и вовсе не доведется прочитать русскому читателю. («Ответ» издан по-русски в 1974 году; «Ники» — после неудачной попытки напечатать повесть в начале восьмидесятых, что едва не окончилась увольнением храбро сражавшейся за нее С.Тонконоговой, редактора издательства «Художественная литература», — впервые напечатана журналом «Новый мир» в 1985 году; «Две женщины» приходят к нам только сейчас: сперва их не пускала к читателю все та же политика, а в новую нашу эру — тупая конъюнктура книжного рынка, пожалуй, у нас счастливо сложилась судьба лишь повести «Милый бо-пэр!...» — она была напечатана в «Иностранной литературе» в 1979 г., всего через два года после выхода в Венгрии, а затем многократно переиздавалась.)

В тот памятный день всех просили позавтракать пораньше — на десять назначен выезд. К двенадцати и в самом деле все утряслось, и мы под палящим солнцем наконец-то двинулись в путь. Кортеж растянулся, я думаю, на целый километр, одних «икарусов» было уж никак не меньше пятидесяти, а впереди и позади — нескончаемая вереница черных-пречерных машин. Впрочем, совсем уже далеко, в самом хвосте, который можно было увидеть только на горном серпантине, по залитой солнцем дороге плелись — именно плелись — еще и легковушки более скромных цветов и марок. Впереди, сзади и сбоку, по встречной полосе, шли милицейские машины. Зрелище было поистине ошеломляющее. Сидевшая у окна Бёбе бурно радовалась всему — и полуденному солнцу, и красоте гор, решительно всему, и это так шло ей!.. Но другой мой сосед смотрел иначе: он молчал и буквально вбирал в себя мир глазами, заинтересованно и очень печально. Я старалась переводить воодушевленный рассказ гида о прекрасной Грузии, ее бурной истории. Дери, по-моему, слушал и не слушал — он *смотрел*.

Медлительный из-за громоздкости своей караван взбирался по серпантину в горы, виток за витком. В какой-то момент горы расступились, и весь автобус — кроме венгров там были англичане, шведы — ахнул от несказанной красоты: горы показывали себя во всем своем величии, глазу открылось множество вершин одновременно, чуть ли не на каждой из них высились средневековые крепости, башни, а между ними тоненькой бесконечной струйкой вилось белое от солнца шоссе.

Вдруг сосед мой привстал, его лицо выражало растерянность.

И я вдруг тоже увидела то, что увидел он. Многокилометровый, уходящий чуть ли не в небо серпантин дороги был абсолютно пуст. Ни одной машины, телеги, хотя бы велосипедиста или пешехода. Но мы же видели, выезжая из города, множество машин! Они стояли на обочине, пропуская нас на великий праздник. Только теперь стало понятно, что стояли не только там, на окраине города, —*стояла вся дорога, стояла уже несколько часов на всем ее протяжении (а ведь мы еще и опоздали!)*.

«Остановите автобус, я выйду!» — громко, резко сказал Дери. Я встала и — не знала, что делать. Но тут в мою руку судорожно вцепилась рука Бёбе, ледяная рука в этой жаре. Я помню побелевшее лицо Бёбе, ее огромные, устремленные на мужа глаза и шепот: «Ты этого не сделаешь!» Он посмотрел на нее, молча, серьезно, и — сел. Поникший и бесконечно усталый, сразу ко всему потерявший интерес. Он уже не мог любоваться красотой мира, не хотел смотреть на дорогу, обрамленную на много километров покорно ожидавшими*его* проезда людьми, вышедшими из автобусов, из машин, сошедшими с телег — последние были в черных крестьянских одеждах, своих мелких горских лошадок они заботливо поставили в тень редких придорожных деревьев... От всего этого действительно сжималось сердце. Но сердце Тибора Дери сжалось слишком сильно.

Переночевав в Багдади, мы приехали в заветную долину, прятавшуюся среди крутых, изрезанных пещерами гор, где укрывались в старину грузины от нашествий. Одну часть долины запрудили бесчисленные автобусы и легковые машины, но другая, не меньшая ее часть была сплошь заставлена длиннейшими рядами сколоченных из досок столов и скамеек под яркими навесами от солнца. Столы, понятное дело, ломились. Над долиной плыли фантастические ароматы. К этому времени Дери словно бы немного оттаял: к нему то и дело подходили, приветствуя, давние знакомые — писатели из Франции, Германии, и скандинавы подходили, и итальянцы (до войны он ведь много скитался по Европе, он и во времена Хорти был persona non grata, и в тюрьме отсидел, даже дважды — последний раз уже во время войны, за перевод «коммунистической» книги Андре Жида о России); сердечно привечали его хозяева — особенно Григол Абашидзе и несомненно чувствовавший себя тоже хозяином этого литературного пиршества Евгений Евтушенко. Час, другой пролетели незаметно. Но вдруг Дери стало плохо, резко изменилось выражение лица. Я беспомощно озиралась в поисках упорхнувшей Бёбе, но Дери не без иронии сказал: «Пожалуй, лучше врача». (Разумеется, машин «скорой помощи» там было целое стадо.) С диагнозом «предынфарктное состояние» Дери уложили в санитарную машину, я села с ним рядом, так как Бёбе сидеть спиной к движению не могла — у нее кружилась голова. Мне было страшно — жизнь еще не ставила меня в такую ситуацию, но разрядил ее сам больной: всю дорогу до Багдади он то одышливо подшучивал над собой, то (вероятно, давая себе передышку) просил меня рассказывать, что я делаю в жизни и по какой такой причине говорю по-венгерски.

После этих проведенных в Грузии дней мы подружились, встречались практически ежегодно, благодаря издательским и писательским командировкам, я с увлечением стала переводить его книги...

И вот передо мной эти письма из тюрьмы — потрясающий документ Любви. К Матери. К Жене. К Свободе. Даже не знаю, что на первом месте. И письма Бёбе (с виду такой легкомысленной, почти бездумной, но в трудное время сумевшей стать мужу опорой), ее прошения к власть имущим, отчаянные и щемящие в своей детской наивности... Меня особенно поразило ее письмо, сочиненное от имени мужа, поразило не безудержностью фантазии актрисы, а одной деталью, красноречиво свидетельствующей о том, как истинно понимала и ценила она самое существо личности Тибора Дери — его обостренное чувство справедливости и органическое неприятие подавления человека человеком. Я имею в виду «сцену у Хемингуэя» с его черными слугами. Дери действительно никогда не хотел быть в чьих бы то ни было глазах «белым господином»! Унижение человека, дискриминация расовая, социальная, какая угодно, были для Дери невыносимы с юных лет, это привело его, отпрыска состоятельных родителей, в девятнадцатом году к коммунистам, это же оттолкнуло от них в пятьдесят шестом... И это же вызвало у писателя, так недавно вернувшегося к полноправной гражданской жизни, тот взрыв бессильного негодования, которому я была свидетелем на грузинском шоссе.

Е.МАЛЫХИНА

УИЛЬЯМ ГОЛДИНГ

Пирамида

РОМАН

Перевод с английского Е.СУРИЦ

От переводчика

«Пирамида» как-то не становится в ряд с уже знакомыми русскому читателю романами-притчами Голдинга, посвященными глобальным и вечным вопросам. Это нечто совсем иное — роман воспитания, причем не в постмодернистском, а в добротно-старинном понимании жанра; история первой любви; гротескные, лирические сцены провинциальной жизни. И пирамида — геометрический образ английского захолустья, четко и незыблемо разобщенного снобизмом. Но все же и здесь, как ни странно, отчетливо проступают черты так называемого «раннего Голдинга»: искусно веские, привычно тяжелые, утопленные слова нелегко свыкаются с легкостью; грустная серьезность то и дело теснит разыгравшийся не на своем поле юмор; и за первым, явным сооружением сквозит другое, крупней — пирамида, основанием стоящая в детстве и вершиной тянущаяся сквозь финальные такты органа в ту же страну, что и «Шпиль». И кажется, будто это из-за недавней смерти писателя, как от резонатора, в давней книжке 1967 года живей звучит высокая, напряженная нота.

Моему сыну Дэвиду

Живя среди людей, усердствуй в любви,
Ибо любовь — начало и конец сердца.

Из поучений Пта-хотепа

I

Было самое настоящее лето, но дождь зарядил с утра и все лил и лил. Погодка была вот именно что такая, когда хороший хозяин собаку не выгонит. То и дело вихрь обрушивался на деревья, и они стонали и с мольбой заламывали ветки, хоть, кажется, достаточно укоренились на нашей почве, чтобы избавиться от такой наивности. Стемнело рано — правда, день весь был тусклый, процесс потемнения шел медленно, незаметно. Зато когда тьма окончательно сгустилась, она плотно обложила фонари, и дождь все падал сквозь нее, падал. Я играл на пианино, пока у меня не распухла голова, дико и бездарно выстукивая до-минорный этюд Шопена, который, когда играл его Моисеивич[1], выражал, кажется, всю глубину и силу моей собственной любви, мое собственное безнадежное безумство. Но Имоджен была обручена — и всему конец.

И я лежал с пересохшим ртом и терпел. Меня выводил из себя только грохот воды, то и дело, как гравием, ударявший в стекла. Восемнадцать лет — самая удачная для страданий пора. Есть необходимые силы, и никаких защитных приспособлений. На церковной башне пробило полночь, и еще до двенадцатого удара погасили на Площади три газовых фонаря. Имоджен у меня в голове проезжала мимо

---

[1] Бенно Моисеивич (1890—1963) — английский пианист, родом из России. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

по дюнам в его зеленой открытой «лагонде», и длинные рыжие волосы реяли за бледным лицом — она была всего на пять лет меня старше. Что-то мне надо было сделать. Я опоздал. Я смотрел на невидимый потолок, и она проезжала мимо. И его я видел, такого самоуверенного, старого, такого могущественного — владельца «Стилборнского вестника», — непроницаемого. Я слушал его комариный голос, и тут его поразила молния. Сверкнула, ударила — вместо него остался только дымок. Каким-то образом Имоджен в результате молнии потеряла сознание. Я нес ее на руках.

Я подскочил на постели, уставясь на окно и стискивая одеяло у подбородка. Такой громкий, такой резкий был этот звук. Окно чуть не треснуло от стука, кто-то будто палил из духового ружья. В моем уме смутно мелькнула сломанная ветка, сорванная черепица — но нет, не то, вот снова раздался стук! Я вынырнул из постели, весь в мурашках от непонятности происходящего, метнулся к окну и глянул на Площадь. Возле самого моего лица снова стукнуло, я пригнулся, посмотрел прямо перед собой. Сразу за решеткой, отделявшей нас от булыжной мостовой Площади, мерцало белое лицо. Я приспустил раму, и ветер сразу охлестнул меня ситцевой занавеской.

— Оливер! Оливер!

От дикой надежды у меня покатилось сердце. Но нет, это не голос Имоджен.

— Что случилось?

— Тише ты!

Лицо пригнулось к нашей калитке и, оставя ее позади, вплыло по кирпичной тропке, остановилось у меня под окном.

— Кто тут?

— Это я. Эви. Эви Бабакумб. Что ли не видишь?

— Какого...

— Тише ты, еще разбудишь кого. Спускайся осторожно. Одевайся. Ох, ну поскорей! Я...

— Минуточку.

Я нырнул обратно в комнату, стал нашаривать свою одежку. Я довольно часто видел Эви, притом годами. Но никогда с нею не разговаривал. Я видел, как она скользит по другую сторону Площади своей неповторимой походкой — тело неподвижно, только ножки переступают ниже колен. Я знал, что она работает рядом, в приемной у доктора Юэна, что у нее сияющая черная грива до плеч и фигура, преображающая белое с синим ситцевое платьице, знал, что она дочь городского глашатая и живет в одной из развалюх Бакалейного тупика. Но, конечно, мы с ней ни разу не разговаривали. И знакомы не были. Само собой.

Я на цыпочках спустился по лестнице, в темноте избегая третьей ступеньки, под звуки нежного храпа из родительской спальни. Снял с гвоздя плащ, с предосторожностями, как взломщик возле сейфа, поднял цепочку, щеколду, отпер ключом входную дверь. Эви дышала в нее с другой стороны.

— Сто лет копался!

Она как-то странно пропела это и скрипнула зубами. Сейчас, совсем рядом, я разглядел, что она накинула на голову шарф и обеими руками придерживает ворот плаща.

— Спешил изо всех сил. Чего тебе?

— Бобби Юэн с машиной в лесу. Не может ее сдвинуть.

Какие бы зыбкие допущения и надежды ни роились в моем мозгу, они тотчас лопнули. Бобби Юэн был сын доктора Юэна. Мы были соседи, и я его не любил. Я завидовал его частной школе, предстоящему поступлению в Крануэлл[1] и главное — его красненькому мопеду.

— А мне какое дело? Почему он, например, Генри Уильямса не попросит?

— О Господи.

Она немного ссутулилась, качнулась ко мне. Может, из-за туч поднялась луна. А может, поднялись сами тучи. Так или иначе, все вдруг обтянуло светом, рассеянным, смутным, будто исходившим отовсюду сразу или присущим самой природе

---

[1] Летное училище близ города Линкольна.

воздуха. При этом свете я мог подробней ее разглядеть. Лицо очень белое, рот и глаза — черными сливами, и по ним размазаны черные пряди. Ее обливала и стекала с нее ручьями вода. Она шмыгнула носом, вцепилась в мои плечи, ткнулась лбом мне в грудь.

— И еще у меня, это, каблук отлетел. Папка прям...

Дернула головой, одолевая чиханье, зажала ладошками рот. Молча содрогнулась. Пукнула.

— Извиняюсь.

Сливы глянули на меня поверх ладошек. Она смущенно хихикнула.

— Послушай, Эви. Что я, по-твоему, должен сделать?

— Помоги ему машину из пруда вытащить.

— Из пруда!

— Ты знаешь это где — лесом-лесом и на горку. Ох, ну Олли! И чтоб никому. Прям жуть, что будет...

— Пусть сам со своим отцом разбирается. Недоумок малолетний!

Роберт был на три месяца старше меня, Эви — на три месяца младше.

— Как ты не соображаешь, Олли! Это не отца его машина!

— А, ну, значит, так ему и надо.

— Ох, Олли, а я на тебя понадеялась...

Она шагнула ко мне, подошла вплоть. Вжала в меня груди. И так, будто она включила его своей волей, я почуял запах, от которого у меня зашлось дыхание. Плащ мокро свисал с нее, и под ним мало что было надето.

— Мне в двенадцать дома быть, кровь из носа.

— Уже первый час.

— Знаю. Если папка узнает...

При всем холоде и сырости ночи сердце мое забухало — бух, бух, бух. Руки обвились вокруг нее. Она ровно дрожала.

— Ладно уж.

Она стиснула мои плечи.

— Ох, ну Олли, ты мировой человек!

Нижняя из трех слив приподнялась, и я ощутил холодный клевок. Она меня отпихнула.

— Скорей. Ты лучше на велосипеде ехай.

— У меня фонарика нет. Я лучше бегом. И — Эви...

— Чего?

— Может, мы с тобой... Ну, может, мы...

Она, кажется, вздумала прихорашиваться — подняла руку, чтоб смахнуть с лица свисавшие пряди.

— Ну, это мы потом разберемся, да?

И — исчезла, ковыляя через Площадь и придумывая увертки.

Я удостоверился, что смогу попасть в дом, тихонько закрыл калитку и ушел на цыпочках. Отойдя на безопасное расстояние, я припустил трусцой, мимо ратуши, по Главной улице, к Старому мосту. Ветер, пожалуй, поутих, но дождь лил по-прежнему ливмя и, когда я пробегал мимо гаража Генри Уильямса, уже ручьями натекал мне за ворот. Как ни противно мне было помогать Роберту Юэну, я был счастлив. Моему умственному взору Эви предносилась не мокрой курицей — лицо, сведенное к трем сливам на белом пятне, — но в летнем платьице, и она переступала ножками, которые, хоть кое-кто счел бы их чуть коротковатыми для совершенства, тем не менее были в порядке, очень даже подходящие ножки. Для чего — подходящие? В случае Эви это было понятно само собой. Она была наша местная достопримечательность, и каждый представитель сильного пола во всей округе на себе это ощущал. Возможно, правда, вечная разомкнутость и вывороченность этих губ объяснялись не столько постоянно возбужденной чувственностью, сколько устройством носика, при всей своей задиристой наглости плохо оборудованного для скромных дыхательных целей. Она шла — бедра неподвижны, только ножки переступали ниже колен — в темном облачном колыхании гривы, женственная, чистенькая в своей прогулочной униформе — ситцевое платье, белые носочки, сандалии. Мне покуда не посчастливилось подробно ее разглядывать при дневном све-

те, но беглый взгляд меня ознакомил с ее ресницами. Пробираясь сквозь дождь и тьму в сторону Старого моста, я вдруг вспомнил кисточки — не тонко заостренные орудия мастера, но кисточки детства, так жадно теребившие краски, что во все стороны жестко торчали путаные волоски. Я вспомнил эти воровски отмеченные ресницы, эти кисточки, так мило дрожавшие вокруг ее глаз, и припустил быстрей. Я и не заметил, как добежал до Старого моста. В Эви не было ничего от сакральной прелести Имоджен. Исключительно мирская.

Крутой подъем к лесу заставил меня, однако, перейти на шаг и опомниться. В конце концов, существует ведь Бобби Юэн — со своим мопедом, престижной школой и фанаберией. Существует и сержант Бабакумб. Вспомнив о сержанте, я с разгону остановился. Если он узнает, что я целовался с его дочкой — ну, то есть она меня целовала — после полуночи, он свернет мне шею. Или пожелает поговорить с моими родителями. Неизвестно, что хуже. Сержант Бабакумб, блюститель ратуши, тюремный попечитель, церковный служка, городской глашатай и прочая, прочая, каких еще только должностей не резервировала для него наша вымороченная история, — пусть сержант Бабакумб и смешон в наряде городского глашатая позапрошлого века, но при мысли о том, что он ее отец, мне представилась могучая грудь, мясистые кулаки и апоплексическая физиономия с воинственно выпученными глазами. Я вздрогнул, задавшись древним как мир вопросом. Зачем у таких отцов родятся такие дочери?

Потом — будто она стояла рядом — я втянул ноздрями пахучее веяние, и сержант обратился в нуль. Я затрусил в гору, мокрые брючины облепляли голени, с волос капало в глаза. Правда, ветер унялся, унялся дождь. И перед тем как нырнуть в межкомельную глубь, я отметил наверху прочисть во тьме, которую силился прободать месяц. Церковные часы в долине пробили час.

Стало еще светлей, когда я вышел на прогалину подле Оковалочного пруда. Я различил очертания малолитражки, стоявшей у дальнего от дороги берега и обведенной водой. Роберт Юэн вышел из тьмы под деревом, стал на дороге, поджидая меня.

— Олли?

Подойдя ближе, я увидел и услышал, что он дрожит пострашней, чем Эви, но честно старается этого не замечать. Костистый, тощий, на семь сантиметров меня выше, он обладал копной рыжих волос и профилем герцога Веллингтона. Он стягивал на себе плащ. Ниже торчали белые голые коленки, еще ниже — голени, все в черных разводах и под разводами — мятые носки. Одна нога была без ботинка.

— Я. Господи. И как тебя угораздило?

— Что так долго? Ладно, раз уж ты наконец явился, давай действовать.

— Где твой ботинок? И брюки?

— Утонули, детка, — Роберт избрал беспечную интонацию, но его подвели вдруг застучавшие зубы. — Канули без следа.

— Я знаю эту машину! Это Пружинкина! Машина мисс Долиш.

Роберт обратил к ней герцогский профиль.

— Не важно. Лучше решим, что делать.

— Ну да, а почему?..

Роберт шагнул ближе, склонил ко мне лицо.

— А вот это не твое дело. Но если уж хочешь знать, я подбрасывал нашего юного друга Бабакумб на танцы в Бамстед. Не мог же я везти ее на мопеде в такую погоду, верно? Вот я и занял экипаж Пружинки на часок-другой. Что, собственно, она могла бы иметь против, верно? Только ты, разумеется, не должен ей ничего сообщать.

Я понял, что сын доктора Юэна не мог повезти на танцы в машине своего отца дочь сержанта Бабакумба. Мне не пришлось долго думать. Это было естественно.

— Ясно.

— Ты удовлетворен?

Он стоял на дороге, ежась и приплясывая, пока я снимал ботинки и носки. Вода была жутко холодная, зато мелко. Роберт не догадался, конечно, что из пруда есть два пути, и выталкивал машину задом на горку, хотя, тратя вдвое меньше энергии, мог бы толкать ее вперед. Мы ее вытащили на дорогу, я сидел на подножке и обу-

вался, Роберт бился над зажиганием и сражался с заводной ручкой.

Когда я уже завязывал шнурки, он сдался и встал, нарисовавшись герцогским профилем между мною и месяцем.

— Безнадежно, Оливер. Придется тебе ее толкать.

— Мне? Еще чего? А почему ты сам не можешь толкать эту дрянь?

— Пораскинь мозгами, детка. Кто-то должен сидеть за рулем. Ты что — умеешь править? И вдобавок ты тяжелей меня.

— Интересное кино!

Тем не менее это была правда. Роберт был на семь сантиметров меня выше, а уж держался так, будто на все тридцать, на целую голову, но он был вдвое тоньше. Меня вдруг прорвало.

— Господи! Уж помалкивал бы! Загнал эту говенную телегу в этот говенный пруд!

Я вскочил в совершенном бешенстве.

— Спокойно, — сказал Роберт. — Поясняю. Я не правил.

— Так какого лешего...

— Ты намерен провести здесь остаток ночи? Собственно, нас занесло с дороги под это дерево ради легкой разминки. Да, кстати, вспомнил... Минуточку...

Он обежал пруд, взбежал к тому дереву на взгорке, вернулся, что-то неся в обеих руках.

— Настил.

— Это еще зачем?

Он открыл дверцу двухместной Пружинкиной малолитражки и стал запихивать настил. При этом он бросал мне через плечо, как офицер, вдохновляющий своих людей на безопасную, но сложную операцию:

— Маловато в этих марках места. Наша крошка сидела спереди, и я вытащил настил, чтоб стоять на земле. Схватываешь? Только дело, увы, сорвалось, верней, эта старая колымага. Очевидно, я задел задницей ручной тормоз. Итак, ухнем, юный Олли!

Действительно, навалясь на машину спиной и уперевшись обеими ногами, я, конечно, смог ее двинуть в гору. Она стронулась, я повернулся и стал ее толкать, под углом сорок пять градусов, вверх. Это было не так уж трудно. Но вдруг, без всяких прелюдий, машина стала, саданув меня багажником.

— Тьфу ты!

— Ножной тормоз несколько резковат, — сказал Роберт. — Погоди минуточку, Олли. Я чудовищно продрог. Что греха таить. Раз уж мы стали, я гляну, нет ли у старухи в багажнике пледа.

— Нет уж, рули давай! Если она опять станет, я иду домой!

Над дверцей показался его профиль — Роберт вылезал из машины.

— Я погибаю!

— И погибай!

Это был открытый мятеж. Не говоря ни слова, Роберт влез обратно, зубы у него стучали, плечи, даже руки тряслись. Мы снова стронулись с места.

Я ворчал.

— Говенная телега. Кретин говенный. Говенный ножной тормоз. И какого черта ты не нажал на него тогда, под своим этим деревом?

Тут уж Роберт вышел из терпения, он даже взвыл.

— А ты не пробовал бегать с горки задом со спущенными портками?

— Ну, тогда девка говенная. Она почему нажать не могла?

— Как, интересно, если ноги у нее были на ветровом стекле?

Я понял. Я продолжал толкать, крякая и ругаясь.

— Давай-давай, Олли! Так-то оно лучше. Мы почти наверху. И все же она дивная девочка, наша юная Бабакумб, надо отдать ей должное.

— Почему это?

— Она пыталась править.

Вдруг вес машины убавился. Я услышал, как Роберт потянул за ручной тормоз, и она остановилась.

— Какого лешего...

— Все. Влезай.

Мы были на верху горы, дорога сбегала из лесу вниз, к Стилборну. Я различал: церковную башню, сумятицу домов, деревья темными призраками. Я влез к Роберту, уселся рядом. Я ворчал, он дрожал.

— Господи, как еще я ее по Главной улице пропру!

— Этого от тебя и не требуется, — Роберт задрал к небу герцогский профиль, — кстати, там нас копы засечь могут. Дунули!

Сто двадцать секунд спустя я вынужден был признать, что то ли в своей этой школе, то ли в семье, то ли даже из «Однокашников» и «Записок мальчика» Роберт поднабрался кой-каких качеств, не вполне, на мой взгляд, заслуживающих презрения. С выключенными фарами и мотором мы перемахнули горб Старого моста, как горнолыжники. Пронеслись по Главной улице, через бетонированную площадку гаража Уильямса, нырнули вправо между двумя сараями, влево, на открытый участок, где Роберт вечером обрел машину, — все исключительно на силе земного притяжения. И только тут остановились таким рывком, что меня кинуло носом на Пружинкино ветровое стекло. Очухавшись, я почувствовал к Роберту невольное уважение. Но мы так друг на друга злились, что прощание не могло не быть натянутым и ледяным. Молча, надутые, мы на цыпочках обходили Площадь. Роберт остановился у нашей калитки, повернулся ко мне и холодно шепнул с высоты своих лишних тридцати сантиметров:

— Ну вот. Спасибо за поддержку.

Я шепнул:

— Не стоит. На здоровье.

Мы расстались, озабоченные каждый тем, как бесшумно войти. На церковных часах пробило три.

Солнце вползло мне на лицо и разбудило меня. И сразу я вспомнил — машина, Роберт, три сливы, одна поднимается, пахучее дуновение. Юный оптимизм мне подсказывал: ничего не кончилось. Все только началось.

И что еще ожидало меня впереди! Из окна нашей ванной просматривался не только наш двор, но и двор Юэнов. Возможно, очень даже вероятно, я увижу Роберта за его тренировкой и смогу над ним поиздеваться. Я, осклабясь, кинулся в ванную. И действительно. Глянув в окно, я сразу увидел, как он трусит по тропке в шортах и майке и свирепо лупит воздух боксерскими перчатками. Дотрусил до конюшни, где пристроил подвесную грушу, ловко ее саданул.

— Рраз!

Заплясал от нее, потом вокруг, потом снова к ней.

— Рраз!

Груша не отвечала, только слегка вздрагивала под каждым ударом. Он все дальше отплясывал, выбивая из груши ответ, потом двинулся прочь по тропке элегантной тренированной трусцой — коленки вверх, перчатки вверх, подбородок книзу. Вот повернул обратно, показывая плотные поножи из липкого пластыря на голенях. Вернулся к груше. Я открыл окно и, бодро орудуя помазком, громко расхохотался. Роберт вздрогнул, потом сделал новый свирепый выпад с ближней дистанции.

— Тренируем дух и тело?

На сей раз Роберт не вздрогнул. Сделал нырок, ударил. И опять. Я скреб щеку новой бритвой и хрипло орал:

— Мы во флот пошли-и-и, чтоб увидеть ми-и-р...

Роберт оставил в покое грушу. Я весело озирал бровку горы, на севере от Стилборна, пролитый по склону кроличий садок, заросли на вершине и пел дальше:

— Мы увидали пру-уд!

На нижней границе моего непосредственного поля зрения я увидел взгляд Роберта. Таким Взглядом держат в границах империю, усмиряют, по крайней мере. Вооруженные таким Взглядом, ну и плеткой впридачу, белые легко расправлялись с дубинками и копьями. Он гордо прошествовал в дом, глядя прямо перед собой, задрав герцогский профиль. Я хохотал — громко, дико, надсадно.

Мама нежно мне пеняла за завтраком:

— Оливер, детка, конечно, ты сдал все экзамены и скоро поедешь в Оксфорд,

и видит Бог, как я рада, что ты доволен, — но ты ужасно шумел в ванной! Что соседи подумают?

Я ответил невнятно:

— Младший Юэн. Смеялся над ним.

— Только не с набитым ртом, детка!

— Прошу прощенья.

— Бобби Юэн. Как жаль, что вы... Правда, он так долго отсутствовал из-за своей школы...

Этот телеграфный стиль не нуждался для меня в расшифровке. Мама сожалела о социальных различиях между нами и Юэнами. И еще она думала о несовместимости характеров, осложнявшей это различие и усугублявшей его. Детьми, так сказать, в пору социальной невинности, мы играли вместе. И я знал кое-что про эти игры, о чем ни моя мама, ни миссис Юэн не догадывались. Мы тогда едва вышли из пеленок.

— Ты мой раб.

— Ничего не раб.

— Нет, раб. Мой папа доктор, а твой у него аптекарь.

Вот почему я столкнул его с забора на огуречный парник Юэнов, и еще столько грохоту было, когда он упал. Естественно, после этого наши пути разошлись, а из-за школ, мопедов и нежных родителей наше общение сводилось к тому, что мы снайперски друг в друга стреляли из своих духовых ружей, правда, аккуратно норовя промахнуться. И вот я поцеловал Эви Бабакумб — ну, в общем-то, и Роберт выставил себя передо мной идиотом.

— Оливер, детка. Пожалуйста, не свисти с набитым ртом!

После завтрака я как можно непринужденней заглянул в аптеку, где папа — по старинке — скатывал пилюли. Стоя в дверях коридора, соединявшего наш флигель с аптекой, я впервые сообразил, насколько он больше похож на настоящего доктора, чем важный доктор Юэн или хлипкий доктор Джонс, младший компаньон. Подобные визиты не были у нас приняты, папа только хмуро глянул из-под насупленных бровей и промолчал. Прислонясь к косяку, я измышлял предлог, чтобы пройти в приемную, где сейчас, несомненно, работала Эви. Возможно, папа согласится с тем, думал я, что я нуждаюсь в тщательном осмотре: у меня, и правда, что-то странное творилось с сердцем. Но я не успел еще выдавить из себя первое слово, а уж Эви — снабженная, очевидно, антенной, как моя мама, — показалась в конце коридора. В своем сине-белом ситцевом платьице, только в чинных чулочках под носками — за конторкой в приемной с голыми ногами она, разумеется, сидеть не могла. Приложив палец к губам, она отчаянно трясла головой. Лицо у нее изменилось. Левый глаз запух, и кисточки с левой стороны не трепыхались, застыли по струнке. Правая сторона была зато подвижна вдвойне. Мне, правда, некогда было детально ее разглядывать, поскольку она явно что-то хотела мне сообщить. Палец на губах, качание головой — это я мог понять. Никому никогда ничего! Тут все ясно, могла бы и не просить. Но эти вращения рук у горла, будто ей грозит удушение, этот указательный палец, свирепо тычущий куда-то в сторону Площади — это зачем? И голова кивает, и разлетается грива...

Эви застыла. Вслушалась. Исчезла в приемной. Беззвучно закрылась дверь. Папа все скатывал свои пилюли. Я непринужденно побрел по коридору обратно в наш флигель и уселся за пианино. Я играл и думал. Меня всегда выручало это прикрытие. Зачем ей понадобилась Площадь? Кто собирается ее душить? Самая вероятная кандидатура был сержант Бабакумб, но едва ли он стал бы это делать в приемной у доктора. Или она вызывала меня на Площадь, чтоб потом что-то мне сообщить — ну, скажем, на Главной улице? Ей еще торчать и торчать в приемной. Но она, наверно, как-нибудь вывернется. Все восхитительней прояснялось одно — Эви Бабакумб назначала мне свидание. Не Роберту. Мне!

Я прошагал на Площадь и — руки в карманах — стоял и разглядывал небо. Оно сверкало услужливой синевой. Я ждал, что вот-вот она явится, и я пойду за нею в какой-то подходящий тайник, но минуты тянулись, потом уже еле ползли, а она не являлась. Явился, наоборот, сержант Бабакумб. Вышагнул из-под колонн ратуши, вытянулся по стойке «смирно», кинул взглядом вдоль Площади, на цер-

ковь. С медным колокольцем в руке, в одежде городского глашатая — башмаки на пряжках, белые бумажные чулки, синий сюртук, плоёный бумажный воротник, красные бриджи, красный жилет и синяя треуголка. Встряхнул колокольцем, грозно оглядел церковную башню. И завопил:

— Эй! Эй! Утеря. На Бакалейной улице, между часовней и Бакалейным тупиком. Крест золотой на цепочке. Выбиты буквы Э. и Б. И надпись Амыр винзит оминыр[1]. Харантировается вознахраждение.

Снова тряхнул колокольцем, взметнул треуголку к небу и верноподданно рявкнул:

— Хосподи, короля храни!

Надел свою шляпу, повернул направо и прошагал предписанным семидесятисантиметровым шагом на угол Мельничной, чтобы все повторить сначала. Э.Б.! Эви Бабакумб! Я понял все. Крестик должен быть найден и возвращен в глубочайшей тайне. Ни звука о лесах и прудах. О танцульке в Бамстеде, возможно, тоже ни звука. Я точно знал, что мне делать.

С моим талантом к долгим, глубоким расчетам, который впоследствии столь пригодился отечеству, я проанализировал ситуацию. Эви нужен ее золотой крестик. Мне нужна Эви. Возвращение на то место, где она оказалась столь доступной для Роберта, сулило решение проблемы нам обоим. Она, скрытница, могла тихой сапой отправиться туда сама. Мой тонкий замысел строился на том, чтобы оказаться там с нею одновременно. Я знал расписание доктора Юэна, как свои пять пальцев. Знал, что Эви всегда может приврать, что задержалась якобы навести порядок, проверить картотеку. Вправе, между прочим, даже сослаться на чей-то тяжелый случай для прикрытия собственного. Ведь если кто-то, гуляя по лесу, ненароком наткнется на посверкивающий между сучьями крестик и преподнесет его сержанту Бабакумбу, она схлопочет такой фонарь, перед которым померкнут все звезды. Ей даже, если слухи не высосаны из пальца, грозит сержантский армейский ремень с пряжкой и в медных наклепках. При мысли об этом ремне и открывавшейся возможности спасти от него Эви, меня, как я ни был натянут и возбужден, кольнуло благородное сочувствие.

Я прошел коридором к своему велику. Скатился по Главной улице и проехал по Старому мосту со всей осторожностью, потому что сержант Бабакумб теперь уже там оглашал свой текст. Я затолкал велик на горку, потом скатил к пруду.

Все было то же, да не то. Вода была тихая. Лес тоже тихий, только гудел и жужжал под солнцем. Зеленая рябь, сверканье стрекоз подергивали воду, кружила, выплясывала мошкара. Я втащил велик по изволоку от пруда и привалил к гигантскому дубовому комлю. Осмотрел все кругом, потом обшарил взглядом ведущий к пруду след. Крестика я не обнаружил, только грязный ботинок. Я запустил этим ботинком в чистую траву перед цветущим кустом и стоял, глядя на темную воду. Делать было нечего. Оставался метод научного поиска, как, например, разделив на участки пустыню, ищут разбитый самолет. Крестик, наверное — скорее всего, — в пруду. Но сперва логичнее было поискать в более доступных местах.

Я вернулся к дубу и проверил сантиметр за сантиметром вокруг следа. Покончив с одним участком, я его обкладывал прутиками. Скоро я выложил ими всю площадь между дубом и кромкой воды. Крестика не обнаружилось. Делать было нечего. Я разулся и ступил в воду. При каждом движении я взбаламучивал грязь, выжидал, пока она снова осядет, но и тогда не мог поручиться, что ясно вижу дно. Наконец я стал слепо шарить руками. И все равно я втыкал прутики, чтоб они торчали из воды. Мне удалось обнаружить лишь пару глубоко зарывшихся в дно скрученных брюк.

Я прошлепал на берег, печально уселся под дубом и стал ждать, когда у меня высохнут ноги. Я вернулся к своим расчетам, но не тут-то было. Будто грохот ракеты взлетел на холм со стороны Стилборна, понесся сквозь лес. Вот мопед достиг пруда, затормозил, потом задним ходом проурчал по траве к моему дубу. Закашлялся и стал за стволом.

— Ну прыг-прыг, крошка!

---

[1] Искаженное: Amor vincit omnia — любовь побеждает все (*лат.*).

Эви, истинная дочь солдата, мобилизовала все силы.

— О! — сказал Роберт. — О! Кого мы видим! Кого мы наблюдаем!

Эви следом за ним обежала дуб.

— Ну! Олли! Нашел?

— Нет. Увы!

Эви всплеснула руками. Заломила их.

— О Господи! Господи!

Кроме ситцевого платьица на ней, кажется, ничего не было, если не считать носочков и сандалий. Возможно, она боялась порвать чулки на заднем сиденье мопеда. Или вообще не любила чулок. Когда мне удалось отлепить взгляд от остальных ее статей, я увидел, что опухоль вокруг левого глаза расползлась по щеке вниз. Другой глаз, яркий, серый, широко распахнулся посреди застывших кисточек — широко распахнулся и был полон тревоги.

— Ну, как личико, Эви?

— Теперь-то уж ладно. Совсем не болит. Я в дверь, понимаешь, врезалась. Жуть как больно было. Господи! Нам же прям кровь из носа надо этот крестик найти. А вдруг кто-то уже нашел! Да папка же тогда...

Роберт положил руку ей на плечо. И сказал мягко, но решительно:

— Без паники, крошка. Просто надо поискать.

— Я уже искал.

— Поищем еще.

— Ты думаешь, эти прутики зачем? Я искал научным методом. Теперь только если пруд выкачивать. Твои брюки, кстати, сушатся там на кусте.

— Спасибо, — выдавил Роберт. Посмотрел на куст. — О Боже! Олли, Олли! Мог бы хоть слегка счистить грязь!

— Еще не хватало!

— Олли! Бобби! Мальчишки!

— Уж я старался для тебя изо всех сил.

— Кто-то его, получается, стибрил, — сказал Роберт. — Ха! Научный метод. Каждый сантиметр облазил и не нашел. Что ж, поверим тебе на слово, деточка!

— Интересно, на что это ты намекаешь?

— Научный метод, — улыбка все не сходила с герцогского профиля. — Да чем умничать...

Роскошное оскорбление пришло мне в голову.

— Я карманы его вывернул, Эви. Крестика там не оказалось. Может, он в пиджак его сунул. Ты спроси.

— Олли! Бобби! Мне через полчаса на прием!

Роберт уже не смеялся. Стал сразу очень тихий, очень спокойный. Потрепал ее по плечу.

— Ну-ну, успокойся, моя радость.

Я сардонически расхохотался.

— Как шейка после вчерашнего — не ноет?

— У меня? Здрасте! С чего это?

Одна сторона ее лица подхихикнула и сразу стала опять серьезной. Роберт медленно прошел к кусту, повесил пиджак рядом с брюками. Вытащил из-за ворота шелковый шейный платок, сунул в пиджак. И, так же медленно, вернулся обратно.

— Не пройдешься ли ты за это дерево, юная Бабакумб?

— Ты чего? Что удумал?

— Я намерен преподать этому юному кретину урок, в котором он остро нуждается.

Повернулся ко мне, возвышаясь надо мною на добрых тридцать сантиметров, выгнул шею.

— А ну давай. Туда.

И зашел за куст. Я вопросительно глянул на Эви. Она устремила глаза ему вслед, стискивая руками шею, разинув рот. Я стал босиком пробираться по желудям и сучьям. За кустом была поляна, открытая полоса безупречного дерна между двумя стенами высоких зеленых папоротников. Роберт ждал, со зловещей услуж-

ливостью раздвигая для меня руками волчцы. Потом оглядел меня с расстояния нескольких метров, стиснув челюсти, вяло расставил ноги. Что-то он мне смутно напоминал — картинку из книжки, возможно. Он обратился ко мне, будто тоже припомнил книжку:

— Какая сторона для тебя предпочтительней?

Мы в нашей гимназии дрались, конечно, по-своему. Боксерские перчатки, груши и прочее нам были не по карману. Кроме того, я был староста и посвятил себя химии. Я был выше этих глупостей.

— Я не боксирую.

— Ничего. Научу. Может, извинишься?

— Вот уж этого ты не дождешься.

Роберт выпятил левое плечо, поднял кулаки, уткнул в них подбородок и стал приплясывать ко мне. Я тоже поднял кулаки, левый кулак вперед, хотя у меня было то, что Роберт научно бы обозначил как левая стойка. Блистательная октавная техника моей левой руки на клавишах всегда впечатляла, пока не обнаружилась жалкая немощность правой. Но Роберт был не пианино. Он во всю длину выбросил свою костлявую левую руку, и лес взорвался сплошной белой вспышкой. Я в ответ мазнул кулаком, но Роберт успел отскочить на три метра, тряс рыжей копной и пританцовывал, готовясь к новому наскоку. Я снова сделал выпад сквозь красные круги, расходившиеся и сплывавшиеся перед моим правым глазом, но Роберт уже опять куда-то делся. Вот он замахнулся правой, и мое левое ухо — да нет, весь лес — пронзил густой, тягучий звон. Руки еще ладно, но весь я скорей неуклюжий. И пока Роберт, недосягаемо танцуя, увертывался от моей правой стойки или как она там называется, мое раздражение перешло в злость, потом в ярость. Сами удары — из моего правого глаза опять сыпались искры — только раззадоривали меня — тык-тык-бах-бах! — задыхался и обливался потом я из-за этой его неуязвимости. Я отринул всякие поползновения ему подражать и, сквозь красные круги, снова ощутив его рядом, в своей октавной технике — фортиссимо, сфорцандо! — взял и врезал ему под дых. Прелестно! Он горячо на меня дохнул, обдал слюной. И повис на мне, бессильно стуча в меня длинными лапами, задыхаясь, безуспешно ловя воздух. Один его ботинок нестерпимо врезался в мою голую ногу. Я взвыл, дернулся и заехал ему коленкой прямо между ног. С неимоверной быстротой он скорчился, разинул рот и зажал кулаки в паху. Я размахнулся левой и снизу угодил ему по носу. Он отпрянул в папоротники на краю поляны и скрылся.

Красные круги понемногу таяли, стихал густой звон. Я стоял босиком на поляне, весь мокрый от пота. Я так сжал зубы, что стало больно челюстям. Сквозь шквал в моей голове снаружи в нее проникали только слабые стоны укрытого папоротниками Роберта. Вариации на тему «О-о-о». Первая начиналась с тоненькой долгой ноты и кончалась надломным подъемом голоса, будто он сам себе задавал стыдливый вопрос. Вторая была тоже долгая, очень нежная, будто ответ уже найден. А потом пошло что-то просто несусветное. У меня у самого сердце выпрыгивало из груди, хотелось бежать, обуться, а потом вернуться и на него наброситься.

— Олли! Бобби! Вы где?

Эви где-то металась в папоротниках. Все еще сжимая кулаки, я надсаживаясь заорал:

— Тут мы! Где еще?

Она на секунду вынырнула:

— Где он? Ты чего ему сделал? Бобби!

И снова исчезла. Голова и плечи Роберта показались из папоротников. Одна рука зажимала лицо каплющим красным платком. Другая была невидна — наверно, все еще зажата в паху. Но и тут, сквозь окровавленный платок, он пытался пустить в ход свою элегантную небрежность.

— Еввундовое поввездение. В бойницу. Пвофу пвофенья.

И стал продираться прочь. Эви еще не появилась.

— Бобби-и! Ты где?

Она выгребла на поляну, побежала, мелькая сандалиями и носками. По ту сторону папоротников мопед буркнул и загрохотал — декрещендо — прочь. Эви застыла.

— Здрасте! Как же я-то теперь? Все ты! Ему завтра в Крануэлл. Мы бы в последний раз...

— В последний раз — что?

Она повернулась ко мне. Глаза у нее горели. Дышала она так же часто, как я. Она возмущенно хмыкнула.

— Все мальчишки — прям гады!

— Н-да, я ему немного подпортил вывеску.

— Рубашка у тебя — ну ой. Прилипла вся.

— Кадет Юэн, Безносое Чудо. Так его в цирке будут показывать.

Снова на меня пахну́ло ею, сквозь едкий запах моего собственного пота. Я схватил ее за руку, притянул к себе. Зубы у меня разжались, но сердце бухало, как бешеное.

— Эви...

Лес поплыл.

— Я... хочешь, я для тебя пруд выкачаю?

Кисточки дрогнули. Вытаращился один глаз. Губы округлялись все шире, пока я к ним склонялся.

— Ты послушай!

Я потянул ее к себе; но она была сильнее Роберта и меня отпихнула. И в ужасе дернулась. Я услышал с долины звон церковных часов.

— Третий раз на неделе опаздываю!

Она бросилась в папоротники, я сунулся было за нею, но напоролся голой ногой на чертополох, заплясал и взвыл.

— Эви! Подожди!

— Дак прием уже!

Я разгреб самые очевидные колючки и пробрался сквозь них туда, откуда пришли мы с Робертом. Его брюки и пиджак по-прежнему висели на кусте, рядом валялся ботинок. Я закатал собственные брюки, впопыхах натянул носки, надел ботинки. Эви уже на пятьдесят метров ушла по дороге, когда я был готов рвануть ей вдогонку. Шла шагом, потом припускала бегом, колыхая гривой, потом снова шла. Максимум, решил я, что можно извлечь из нынешнего свидания, — это договориться о новой встрече, и я припустил побыстрей и эффектно затормозил перед нею.

— Вот правильно! Ой, не смотри!

Она подобрала юбку чуть не до пояса. На ней были белые трусики с белыми кружавчиками. Она села верхом на багажник моего велика, и багажник тяжко вздохнул.

— Ты лапка. Нет, правда! Скорей!

Всем своим весом я налег на одну педаль и кое-как столкнул велик с места. Мы завихляли по дороге.

— Я жуть как опаздываю.

Я напряг все оставшиеся силы, меня снова прошиб пот. Мы развили неплохую скорость.

— Оливер, а ведь он и пиджак оставил, не только эти... Чего миссис Юэн скажет, прям не знаю! Вот мы доедем, и, может, ты?..

— Что — я?

— Ну а кто ж ему принесет?

Я испустил нечто вроде рычанья, поднял руку, чтоб отвести волосы, вытереть слепивший глаза пот, и чуть не свалился с велосипеда.

— Осторожно!

Вдруг все облило светом, и, хоть я не отрывал глаз от текшей под переднее колесо дороги, я понял, что мы выехали из лесу и теперь на вершине холма. Я откинулся назад и положился на закон всемирного тяготения. Церковные часы прошли еще четверть часа.

— Не чересчур гонишь-то?

Я нажал на оба тормоза. Секунду мы буксовали, потом снова понеслись. Я жал на тормоза изо всех сил, но это не помогало. Сзади раздался визг, и горб Старого моста полетел на нас со скоростью ста километров в час. Когда мы достигли его, у меня за спиной дико грохнул багажник, хлопнула шина, взвыла Эви. Велик с раз-

гону запнулся, и тяжестью Эви меня чуть не перебросило через руль. Она слезла с багажника и минуту постояла, охлопывая себя обеими руками пониже спины.

— Ой, платье порвала. Нет. Ничего.

— Погоди минуточку.

— Нет, мне бежать надо.

— А что, если нам...

— Может. Не знаю. Спасибо все равно, что подбросил.

Она метнулась через мост и скрылась. Я осмотрел свой велик. Багажник и брызговик смялись, сплющились, налипли на колесо. Шина лопнула. Я ругался и возился с изуродованными частями. Наконец мне удалось их расцепить, отодрав брызговик от рваной резины. Я пустил велик по мосту вскачь. Эви продвигалась по Главной улице тем же манером, как шла от пруда, — то и дело меняя шаг на побежку. Вдруг она припустила бегом, уже не сбавляя скорости, но было поздно. Маленькая птицевидная миссис Бабакумб в своей серой шляпке и со своей кошелкой, уже ее засекла. Перебежала через дорогу и вцепилась ей в локоть. И они пошли по улице рядом, и миссис Бабакумб что-то бубнила у Эви над ухом. С низким злорадством я думал, что на сей раз Эви придется как следует пораскинуть мозгами, чтоб выкрутиться. Я прогремел дальше по улице и свернул к бетонной площадке гаража, чтоб поискать Генри. Но когда я его увидел, я, продолжая толкать велик, решил ретироваться, тактично описав дугу. Генри стоял в белой спецовке, руки в боки, и озирал малолитражку мисс Долиш.

— Мастер Оливер...

— А, привет, Генри. Я подумал, ты занят. Не хотел мешать.

Генри нагнулся и осмотрел мое заднее колесо. Я посмотрел — мимо него — на малолитражку, и ноги мои примерзли к бетону. Она как будто года два мокла в болоте.

— Мама родная, — сказал Генри. — Эко вы его шмякнули. Друга подвозили? Н-да. Теперь хоть выбрасывай.

Я услышал у себя за спиной легкий свист. Капитан Уилмот к нам подъезжал на своей электрической инвалидной коляске.

— Привет, Генри. Готов мой аккумулятор?

— С часок еще обождать, капитан, — сказал Генри. — Вот, посмотрите-ка.

И вернулся к малолитражке.

— Погоди, — сказал капитан Уилмот. — Сперва вылезти надо. А ты не уходи, Оливер. Хочу про команду порасспросить.

И стал маневрировать в своем плетеном кресле, покрякивая и скрипя зубами.

— Примкнуть штыки!

Капитан Уилмот был инвалид войны, за что и получил соответственную пенсию, экипаж и секретарскую службу в госпитале, которая, по собственному его выражению, вознаграждалась гонораром. Снаряд, который его накрыл, в придачу наполнил его организм металлическими осколками в самых нераскапываемых местах. Злые языки из Бакалейного тупика, где он жил напротив сержанта Бабакумба, намекали, что он скрипит и трещит больше, чем его коляска. Из-за этого снаряда он оглох на одно ухо. Из него торчала вата. Он вечно пускал слюни и потел.

— Мне надо идти. Я...

— О Господи. Оставайся и не рыпайся.

Он злился. Это потому, что он вылезал из своей коляски. Когда вылезал или влезал, он всегда злился. Если вы смотрели на его лицо, пока он его не приаккуратит, вы могли иногда напороться взглядом прямо на звериную свирепость, будто его единственный двигатель — ненависть. Но он любил молодых и вообще юность, потому, может быть, что у него вырвали его собственную, прежде чем он успел ею попользоваться; юный канцелярист, в котором нуждалось отечество. Он безвозмездно обслуживал нас на миниатюрном стрельбище нашей гимназии. После бесконечных маневров усаживался рядом, когда мы лежали против мишеней, подавал советы и ободрял.

— Не дергайся, парень! У тебя мушка, как бадья в колодце, ходуном ходит. Жми — вот так!

И далее ты чувствовал, как тебе долго жмут и мнут ягодицы.

— Ну вот, что скажете, капитан?

Капитан Уилмот подковылял на двух своих палках и пристально осмотрел машину.

— По виду судя — с плотины сверзилась.

Нет, ноги мои не примерзли к бетону. Они в него провалились.

— Это у них называется — покататься, — сказал Генри. — Хулиганье. Я бы им показал — покататься.

Открыл дверцу и заглянул.

— Вот! Полюбуйтесь!

Попятился и повернулся. В руке у него был золотой крестик на цепочке.

— Ну? Чего-чего, а крестика мисс Долиш сроду не нашивала, ни в коем разе!

Капитан Уилмот наклонился к руке Генри.

— Ты уверен, Генри? Где-то я его видел...

Генри поднял крестик к самым глазам.

— И. Хэ.Сэ[1]. И на другой стороне тоже чего-то есть. «Э.Б. Амор винсит омниа». Это еще чего?

Капитан Уилмот повернулся ко мне.

— Поди сюда, Оливер. Ты у нас грамотей.

Внутри я весь похолодел от страха, снаружи весь горел от стыда.

— По-моему, это значит — любовь побеждает все.

— Э.Б. — сказал Генри. — Эви Бабакумб!

Он поднял грустный карий взор на мое лицо и не опускал.

— То-то я говорю — где-то видел, — сказал капитан Уилмот. — Рядом живет. Ходит ко мне уроки брать, понимаете? Письма, карточки, ну всякое такое. Она его под низ надевает, вот сюда.

— Она раньше тут работала, — сказал Генри, все еще не сводя глаз с моего лица. — Пока к доктору не перешла. Тогда, значит, и потеряла.

— Вообще-то, — сказал капитан Уилмот, — она его не всегда под низом носит, когда бусы не надевает, он у нее снаружи висит, вот тут. Ну я пошел.

И поковылял к своей коляске, больше не поминая ни команду, ни аккумулятор. Он нам улыбался, и улыбка стала зверской, когда он усаживался. Сложил обе палки, развернул коляску и засвистел прочь.

Генри все смотрел мне в лицо. Меня, поднимаясь от пяток, неудержимо захлестывала краска. Вот прилила к плечам, ударила в руки, так что они взбухли на руле. Залила мне лицо, голову, даже волосы у меня горели.

— Н-да, — сказал наконец Генри. — Эви Бабакумб.

Двое перемазанных в бензине рабочих, возившихся с мотором грузовика, уставились на нас с улыбками, только что не такими зверскими, как у капитана. Будто у него глаза на затылке, Генри к ним обернулся.

— Я вам деньги за что плачу? Чтоб вы весь день рты разиня стояли? Мне эти вентиля к полшестому нужны!

Я вякнул:

— Можешь ей сам передать. Или, хочешь, я...

Генри повернулся ко мне. Я отлепил от руля одну руку, протянул. Он раскачивал крестик, как маятник, и внимательно меня разглядывал.

— Вы ведь машину не водите, мастер Оливер?

— Нет. Нет. Не вожу.

Генри кивнул и уронил крестик в мою ладонь.

— С приветом от фирмы.

Отвернулся и опять сунул голову в машину. Ноги мои вновь обрели способность двигаться. Я повел прочь свой увечный велосипед, зажав в руке крестик. Когда я подходил к нашему флигелю, в голове стучало только: ух, пронесло.

Отведя велосипед, я прошел коридором в аптеку, где папа щурился у окна над микроскопом.

---

[1] J.H.S. — Jesus Hominum Salvator — Иисус Спаситель человечества (*лат.*).

— Генри, — сказал я, небрежно раскачивая крестик. — Генри Уильямс. Мисс Бабакумб забыла эту вещицу, когда работала у него в гараже. — Я подбросил и ловко поймал крестик. — Попросил, чтоб я ей отдал, — сказал я. — Ведь она сейчас в приемной, нет? Я только зайду...

Я прошел коротеньким коридорчиком и открыл дверь. Эви сидела за конторкой, пытаясь рассмотреть правым глазом свой левый в круглом зеркальце. И увидела вместо него меня.

— Олли! Ну зачем ты...

— Здрасте. Я думал, ты обрадуешься.

Изо всех сил изображая небрежность Роберта, я бросил крестик на конторку. Эви в него вцепилась с ликующим воплем:

— Мой крестик!

Она положила зеркальце и стала прилаживать на шее цепочку. Лицо ее стало торжественным. Она нагнула голову, причитала, как-то странно поводила одной рукой вокруг своих грудей. В нашей местной взвеси англиканства, протестантства и чистого безверия я никогда не видывал ничего подобного. Она глянула на меня и вдруг рассиялась с открытым ртом, подмигивая одним глазом.

— Ну, Олли, ты даешь!

— Как это?

Она отпихнула стул, потом снова села, глянула на меня, тиская края конторки. Она меня разглядывала, будто в первый раз в жизни видит.

— Эви... когда же мы с тобой...

— Ишь, шустрый какой, а?

Сомнений быть не могло. Эви Бабакумб, красотка Эви, спелая ягодка, смотрела на меня с одобрением, даже с восторгом!

Из глубин докторского дома хлынул голос:

— Мисс Бабакумб!

Она вскочила, откинула гриву, прошла в дверь кабинета. На пороге огляну-лась. Хихикнула.

— Он же у тебя всю дорогу был!

Я понес оскорбление с собой в аптеку. Папа все еще склонялся над микроскопом, поддевая слайд испытанными крупными пальцами. Я беспрепятственно вышел и прошел во флигель, соображая, что мне теперь делать. Если сержант Бабакумб добьется ее показаний с помощью физического воздействия или как-то еще, он может и не разделить восторга дочери по поводу моей воображаемой роли. Дело не терпело отлагательства. Надо было ее увидеть, прежде чем она пойдет домой; но я не находил предлога, чтобы пройти в приемную. Зато из окна моей комнаты вкось просматривалось все до самой Площади и видны ступеньки соседнего дома Юэнов. Как только она выйдет, я снова спущусь и пройду в наш двор. Если мама будет на кухне, можно очень просто объяснить свои передвижения («Пойду на велик взглянуть»). Во дворе я наберу скорость, перемахну через забор на Бакалейную, задами пробегу мимо Юэнов, священника и еще три двора до поворота на Бакалейный тупик, а там пройду назад между двором священника и церковью. Таким образом я выйду на Площадь с другой стороны и случайно наткнусь на Эви. Итак, я занял свою позицию и затаился за ситцевой занавеской. Ждать предстояло долго, но что мне еще оставалось? И вот, когда она уже должна была с минуты на минуту явиться, я услышал тяжкий державный шаг, приближавшийся к моему окну с другого направления. Сержант Бабакумб надвигался со стороны ратуши. Он не придерживался обычного своего маршрута — мимо адвокатской конторы Уэртуисля, Уэртуисля и Уэртуисля, эркера мисс Долиш и прочее. Он направлялся курсом, который неизбежно вел его прямо к нашей калитке. Нет, не из-за своих действий в течение последних двадцати четырех часов я пришел в ужас. Но из-за своих намерений. Ибо на лице сержанта под трехцветной треуголкой отображался такой пышущий, такой родительский гнев, что у меня захватило дух. Мясистые кулаки низко раскачивались при каждом шаге, металлические подковы выбивали искры из мостовой. И тут, будто она тоже подглядывала из окна, — Эви выпорхнула из двери Юэнов. Она была в белой шелковой, завязанной под подбородком и хлопа-

ющей кончиками косынке. И, конечно, в чулках. Она смеялась, улыбалась, обнимала себя за плечи, выворачивала икры и чуть вихляла задом. Подпорхнула к сержанту Бабакумбу, вплоть, посылая улыбку ему в лицо, почти вертикально вверх.

— Папка! Смотри! Я его, оказывается, в женском туалете посеяла! Надо же, вот дура-то!

Он шел напролом. Она сошла у него с дороги, повернула и затрусила рядом. Она не поспевала за его размашистым шагом, то и дело припуская вскачь, и весело хохотала. Поравнявшись с ним, она нашаривала его руку, она льнула к нему боком, склоняла голову и вся тянулась вверх, овевая косынкой его плечо. Он ушагивал вперед, она снова припускала вскачь, снова нашаривала его руку. Наконец ухватила. Рука перестала раскачиваться. Не замедляя шага, сержант Бабакумб переместил пальцы от ее ладони к запястью. И теперь она уже не припускала вскачь, а ровно трусила рядом мелкой побежкой. Ей ничего другого не оставалось.

Я спустился, вышел во двор и стал кружить по нашему газону, сунув руки в карманы брюк. Между моей тягой к складным прелестям Эви и ужасом перед ее кровожадным родителем роился сонм других, менее насущных соображений. Генри мог где-нибудь проболтаться; хотя я почему-то необъяснимо и незыблемо верил в Генри. Капитан Уилмот мог проболтаться. Роберт — а теперь, когда улеглось мое бешенство, я беспокоился за него, — может быть, всерьез покалечен. Собственное мое левое ухо до сих пор горело, и правый глаз, хоть не такой жуткий, как у Эви, все-таки здорово заплыл. И немного слезился. И еще была Имоджен. Я с разгона запнулся на траве, уставясь на запоздалую пчелу, увлекшуюся колоском шпорника. Я изумленно сообразил, что часами не вспоминал про Имоджен. Она вернулась в мои мысли, вызвав привычное сжатие сердца, но на сей раз я сам не мог объяснить своих чувств. Она как-то даже подхлестывала мою погоню за Эви. Тут было отчего прийти в отчаяние. Как-то такое получалось — я даже тогда понимал всю свою глупость, — что раз она выходит замуж, я обязан тягаться с нею и с ним. Я снова принялся кружить по газону. На душе у меня было гадко.

Наутро, когда брился, я увидел, как Роберт выбежал в сад, чтоб последний раз перед Кромуэллом сразиться со своей грушей. Мне стало не по себе. Наша драка была типичная драка между мальчиком его сорта и мальчиком моего сорта из подростковой литературы. Он был стройный и собранный. Я — дюжий раззява. Одним словом, жлоб. И я победил. Причем именно так, как положено побеждать жлобу — единственным позволенным жлобу способом — жульническим. Заехал ему коленкой по яйцам. И бесполезно было себя уговаривать, что это вышло случайно. Я же знал, что, когда он жалко согнулся надвое, я почувствовал черную злобу, гнусную радость и, конечно, намеренно съездил ему по носу кулаком. На душе у меня стало совсем уже гадко. Он там, внизу, гибко и стройно выплясывал вокруг безответной груши. А на носу был пластырь и на коленке. А я коварный, расчетливый, произношение у меня не то, и машину я водить не умею. Увидев, что он закончил свои упражнения и собрался бежать в дом, я сунул в окно недобритую физиономию и помахал бритвой.

— Привет, Роберт! Отчаливаешь? Счастливо тебе!

Роберт меня отшил. Задрал свой профиль герцога Веллингтона и понес вместе с пластырем в дом. Я не смеялся. Я был раздавлен, был изничтожен.

Нелегко оказалось, как я ни изворачивался, как ни ловчил, повстречать и нашего общего друга, юную Бабакумб. Она была на крючке. Заточена, обложена, прикована. Каждый день сержант Бабакумб доставлял ее на работу и стоял, глядя, как она исчезает за дверью, и далее шел расставлять стулья в ратуше или укладывать их спать кверху ножками. Или вынимать мелочь из автоматов общественных уборных. Или поднимать государственный флаг. Или трясти медным колокольцем, возвещая карточное состязание в Рабочем клубе или праздник на церковном дворе. Забирала ее миссис Бабакумб. Миссис Бабакумб всегда излучала приветливость и радушие, неукротимые, хоть и редко встречавшие отклик. Она была маленькая, как воробушек, чистенькая, как Эви, только уже усохшая. Она двигалась быстро, задрав подбородок, то и дело кланяясь встречным, улыбаясь, вертя головой, метя своим любезным поклоном через Главную улицу в кого-то, совершенно вне ее социальной сферы. Естественно, этих ее поклонов не замечали, их даже не

обсуждали. Потому что никто не мог с уверенностью сказать, то ли миссис Бабакумб спятила и сочла, что имеет на них право, то ли она заявилась из некой баснословной страны, где городской глашатай и начальник полиции дружат домами. Первое более вероятно. Вы могли, между прочим, увидеть, как она, воробушком почирикав у продовольственного прилавка, мило потом улыбалась (легонько склонив голову) леди Гамильтон-Смит, по всей видимости не подозревавшей о ее существовании. Она была, можно сказать, единственная у нас католичка, миссис Бабакумб — если не считать Эви, — и это, принимая во внимание прочие странности, делало ее особенно неудобоваримой. Поскольку со сбродом из Бакалейного тупика она не желала якшаться, а остальные с ней сами не разговаривали, было неясно, зачем ей эти кивки и улыбки. Правда, после эпизода с крестиком на несколько дней они прекратились. Сержант Бабакумб доставлял Эви как посылку, а маленькая миссис Бабакумб ее забирала, сморщенная и мрачная.

Через неделю Эви зашла в аптеку, жалуясь на головную боль, и папа чем-то такое ее попользовал. В тот же вечер, когда миссис Бабакумб пришла к ступеням дома Юэнов, обе дамы удалились, щебеча и смеясь, как две подружки. Перемена существенная и — дальше больше. Эви спустили с крючка, с нее сняли епитимью. Еще через несколько дней, около девяти, Эви наблюдалась одна по ту сторону Площади. В летнем ситцевом платьице, без чулок, в белых носках и сандалиях. Она плыла, запыхавшись, вывернув губы, околдовывая улыбкой вечерний воздух, блистая гривой, ярко сияя теперь уж обоими глазами, переступая ножками ниже колен. Все возвратилось на круги своя. И, таинственно, как светляк, она излучала сияние и соблазн, почти зримые, как лучи света. Когда она поравнялась с эркером мисс Долиш против нашего флигеля, шажки замедлились, как бы сошли на нет. И мне вовсе не почудилось, что с такого расстояния я углядел сумасшедшую дрожь черных кисточек и блеск стрельнувшего в мою сторону глаза. Как по команде хозяина, я бросился вниз и шмыгнул за дверь.

Эви проплыла мимо ратуши по Главной улице. Народу почти не было, только девица в кассе кино и полицейский. Соблюдая табу, я следовал за нею на расстоянии пятидесяти метров. Это было нелегко, потому что она, обладая, по-видимому, меньшей социальной чуткостью, плелась черепашьим шагом. Мне пришлось изучать витрину шорника, табачника и менее убедительные обольщения галантереи для сохранения должной дистанции. Она дошла до Старого моста и остановилась. В борьбе между зовом приличий и зовом соблазна победа была предрешена. К тому же и солнце село, близилась ночь, под аркой моста уже хозяйничала темнота. Над мостом густели сумерки. Эви расположилась наверху, налегши грудью на каменный парапет. Она устремила взор в ту сторону, где спряталось солнце. Я к ней поднялся. Мы удивились при виде друг друга.

— Как твой глаз, Эви?

— Порядок. Полный порядок. А у тебя?

О собственных ранах я и забыл. Я нажал пальцем на правое глазное яблоко.

— Вроде ничего.

— Бобби не пишет?

Я сперва просто опешил.

— Нет. С чего бы?

Эви некоторое время молчала. Откинула голову назад и искоса мне улыбнулась.

— У тебя навалом свободного времени, да, Олли?

— Ну, в школу ходить не надо.

Трудно было оторвать от нее взгляд, потому что не только она излучала свой собственный свет, от нее шел запах лугов и того хорошенького чего-то в кружавчиках, и девичий смех октавой выше мужского. Тем не менее мне удалось отвести глаза, и тут же по всей Главной улице задрожали, выдираясь из тьмы, фонари. Мы не были невидимками.

— Пройдемся?

— Куда это?

— На гору можно.

— Папка мне не велит в лес ходить. Когда темно.

Пара брюк, глубоко зарывшихся в грязь, мелькнула в моем мозгу и потом устроилась на ветке сушиться.

— Но ведь...

Это было невозможно, непереносимо. Она была сама уверенность, вежливость, спокойствие. Осадок заката мерцал в одном глазу, газовые фонари в другом. Я сделал шаг, второй, потом остановился, оглянулся.

— Ладно, Эви, пошли, можно ведь и по берегу.

Она тряхнула головой, грива взметнулась, опала.

— Не-а. Папка не велит.

Я сообразил сразу, долго не пришлось додумываться. Эта дорога вела через поля к Хоттону, где были конюшни. Сержанту Бабакумбу виделись, наверно, конюхи, похотливо затаившиеся под каждым кустом; и он, очень возможно, не ошибался.

— Ну, тогда... Давай в другую сторону, к Пилликоку.

Эви сомкнула рот, снова тряхнула головой, улыбнулась таинственно.

— Но почему?

Никакого ответа; только взгляд, улыбка, качание головой. И при каждом встряхивании волос этот ароматный посул. Я в смятении гадал, какова на сей раз причина географического ограничения. Заметнее прочего в той стороне была модная закрытая школа, очень и очень сама по себе, хоть всего ничего от нас. Может, сержант Бабакумб и насчет нее имел свои соображения? «Гляди, дочка, всыплю тебе, если с кем из этих фрайеров накрою, знаю я их, козлов, как облупленных!» Так или иначе, местность вокруг нас сомкнулась. На юге — эротические леса, на западе — эти конюшни, на востоке — этот колледж, а на севере — лысая неподступность откоса. И так мы стояли, парочкой, открытые взглядам, на гребне Старого моста.

Словно осчастливленная этим запретом Эви замурлыкала, покачивая в такт головой.

— Тир-лир-лям-па-пам! Тир-лир-лям-па-пам!

Кровь мне кинулась в голову. Я что-то буркнул, сам не знаю что. Захотелось схватить дубинку, топор. Эви смотрела на меня с удивлением.

— Тебе они чего — не нравятся?

— Кто?

— Ну эти, по радио? Савойские сиротки. Я их всю дорогу слушаю.

Я уже весь трясся от злости.

— Ненавижу! Ненавижу! Пошлость, дешевка...

Мы оба молчали, пока ярость моя не улеглась, оставя по себе мелкую дрожь. Когда Эви наконец заговорила, голос был холодный, надменный.

— Ах, ну, значит, я извиняюсь!

Было ясно, что меня повело не туда. Но пока я раздумывал, что делать дальше, Эви осияла меня улыбкой.

— Вот ты вчера играл, Олли, ой, мне так понравилось. Ну, на пианино.

— Шопен. Этюд до минор, опус двадцать пятый, номер двенадцатый.

— У тебя и громко получается!

— Ну, не знаю...

Я призадумался. Когда я разучивал пассажи «Аппассионаты» шестнадцатыми или октавы в левой руке из ля-бемоль-мажорного полонеза, папа, если он оставил дверь аптеки открытой, иногда тихонько ее прикрывал. Папа сам был очень музыкален и не мог себе позволить рассеиваться, когда работа требовала от него особенной сосредоточенности.

— Я и не знал, что ты проходила мимо нашего дома, Эви!

— Я в приемной сидела, чудик!

Я немного удивился. Как-никак, дверь приемной, коридор, дверь в аптеку, еще коридор и еще дверь отделяли приемную от наших желтеющих клавиш. Очевидно, у меня, и правда, выходило громко.

— Это я так. Для себя.

— Я с утреннего приема шла — ты играл. В вечер иду — опять играешь! Видно, жуть как музыку любишь. Долго играешь, Олли?

— Люблю. Целый день.

— Хорошо-то как! И для меня поиграешь, да? Доктору Юэну тоже нравится.

— Правда?

— Вчера пришел в приемную, как миссис Минайвер ушла, и говорит, что опять он играет.

— Больше ничего не сказал?

— Вроде ничего. Только хорошо, говорит, что ты скоро в Оксфорд уедешь.

Я был глубоко тронут. Я и не знал, что доктор Юэн тоже музыкален. Я разучивал этот этюд Шопена, потому что его разбитые аккорды, нотный шквал в точности выражали и содержали собственную мою страсть к Имоджен, безнадежную, сушащую рот; но технические трудности были ужасны и меня изводили. Я объяснил:

— Там есть нота — соль чистое — мне надо на лету в него попасть вот этим пальцем, видишь...

Я поднес правый указательный палец к ее лицу, и она ухватила его обеими руками, дернула.

— Ой! Не надо! Больно же!

Эви громко хохотала, дергала и дергала мой палец. Лед вдруг тронулся, низвергнулся водопадом. С криками, хихиканьем мы боролись в газовом мерцании сумерек. Странным, непонятным для меня образом из дичи я превратился в ловца. Эви вырывалась.

— Нет, нет, Олли! Не надо...

Она была притиснута к моей груди. И уже не боролась.

— Пусти. Увидят.

Я схватил ее за руку и поволок с моста вниз, туда, где наполовину выступал в воду пирс. Скрылись газовые фонари. Она уже не смеялась, меня снова затрясло. Свет исходил теперь только от Эви, три сливы чернели совсем рядом, но их уже не занавешивали мокрые волосы и дождевые струи, и был настойчив этот сводящий с ума ее запах. Я вжимался в нее, все во мне напряглось, все горело. Я наполучал вдоволь поцелуев. Больше даже, чем мне бы надо. Кроме них я не получил ничего.

Ударили церковные часы. Из девушки, чьих сил едва хватало, чтобы защититься от атаки, если та не подкреплена нежной и кроткой мольбой, Эви разом преобразилась в силачку, рожденную рубить дрова и таскать уголь. У меня еще кружилась голова, я был не готов к такому обороту и, отброшенный обеими ее руками, отлетел на берег.

— Вот! И мамка говорила...

Она вскарабкалась на дорогу. Я вскарабкался за ней, разбрасывая комья грязи. Я догнал ее на мосту.

— Эви... Давай сюда придем завтра вечером. Или, может, пойдем погуляем и вообще, да?

Она продолжала свое продвижение в газовом свете.

— Что я — запрещу тебе меня встречать? Мы живем в свободной стране.

— Значит, завтра.

— Дело хозяйское.

Она двигалась по Главной улице. Слегка оправясь, я вспомнил о ближних, о том, что мы входим в сферу их тонких влияний. Ближе к середине улицы, над лавкой — снимал комнату, что ли — жил один мой учитель. У ратуши начиналась область, просматриваемая моими родителями. За ратушей была наша Площадь, где они, вполне возможно, высматривали меня из окна. Я сбавил шаг. Скорость Эви замедлилась. Положение тупиковое. Мне остался единственный способ не быть застуканным в ее обществе.

— Ладно, — сказал я и остановился. — Ладно. До завтра.

Эви глянула через плечо.

— А ты не домой?

— Кто? Я? Я вот погулять хотел.

Эви улыбнулась своей косвенной улыбкой.

— Ну, тогда пока.

Я живо пошел к мосту, наверх, потом пригнулся, оглянулся под удобным углом. Платьице и носочки взошли по улице и скрылись между ратушей и эркером мисс Долиш. Я пошел домой обходным путем и вошел на Площадь с северо-запа-

да. Но в нашем флигеле было темно, родители легли. Я решил немного поиграть перед сном и вернулся к своему этюду. Он теперь содержал не только Имоджен, но и Эви — любовный крах по всем статьям.

Мама сунула голову в дверь, нежно мне улыбнулась.

— Олли, детка. Ужа-асно поздно.

На другой день правый указательный палец у меня болел, как зашибленный. Хочешь не хочешь, пришлось до завтра отложить музыку и пойти гулять. Я гулял долго, пообедал бутербродами и вернулся к вечеру. Времени до моей охоты на Эви оставалось немного, и я его употребил на то, чтобы выставить в самом выгодном свете свои скромные исходные данные. Я не мог соответствовать профилю Роберта, лишним семи сантиметрам роста и мопеду. Но я мог удалить всякий намек на щетину с уже выбритых утром щек и посоперничать с ароматом Эви посредством брильянтина. Я не пытался себя обманывать относительно своей внешности, но я слышал, что девушкам на нашу внешность плевать. Мне очень хотелось бы на это надеяться, потому что, осмотрев в зеркале свое лицо, я пришел к печальному выводу, что оно не из тех, в какие лично я бы влюбился. В нем абсолютно не было тонкости. Я попробовал победно улыбнуться и в результате перекосился от омерзения.

— Сколько сегодня молочка, мэм? Спасибочки, мэм, да, мэм, нет, мэм, спасибочки, мэм, здрасте, мэм.

Я сам себе показал язык.

— Ето йя-а-а!

Сомнений не было. Мне оставалось быть хитрым, уклончивым, дипломатичным — одним словом, умным. Иначе я мог завоевать девушку только с помощью дубинки. Эви — девушка, да еще какая! Как она меня яростно отшвырнула на три метра, как ловко отстраняла мои жадные лапанья, как нежно, робко отводила мои руки. Сомнительно даже, что и дубинка бы помогла. Но, с другой стороны, канувшая на дно пара брюк не допускала разночтений.

Эви была доступна.

— Ето йя-а-а!

Она прошла по южной стороне Площади, на сей раз не глянув на наш дом, и, наученный горьким опытом, я решил немного повременить. Она уже сидела на парапетном камне моста, когда я к ней поднялся. Я не знал, с чего начать, не выработал никакой блестящей стратегии. Думал было изобразить интерес к птицам в надежде, что она согласится вместе со мной наблюдать, как наши меньшие братья клюют червячков или что там еще они делают. Но я не умел отличить сову от жаворонка и не знал, как про них говорить. Собирать полевые цветы, разыскивать следы древних развалин, выкапывать редкие минералы? Нет! Я ничего не мог придумать. И если она, как стяг, поднимет родительский запрет, мне придется толочься на мосту или на невозможном пути от него к Бакалейному тупику. Тем не менее, мелко приплясывая, я прошелся перед ней и встал, держа за оба конца поперек живота свою трость.

— Привет, Эви!

Эви склонила голову к плечу и улыбнулась.

— Долго ты.

— Занят был.

— Занят? Ты!

Подтекст меня оскорбил.

— Я в себя прихожу. Я очень много работал.

— Пианино — это работа, по-твоему?

— Нет, конечно.

Она ничего не сказала, только все улыбалась. Я туманно гадал о том, что такое пианино; но пока я гадал, Эви начала мурлыкать. Ноты охлестнули меня, как всегда охлестывали ноты, я стал рыться в памяти.

— Дауленд![1]

---

[1] Джон Дауленд (1563—1626) — английский композитор, автор многих произведений для хора и голоса с оркестром.

Эви громко расхохоталась, еще похорошела и рассиялась вся. Она пела:

Мою овечку
веди на речку,
потом на луг, потом на луг,
потом на луг!

— Да у тебя же отличный голос! Тебе бы...
— Ходила на уроки, ходила.
— К мисс Долиш? К Пружинке?
— Ла-ла-ла-ла-ла-ла!
И мы вместе хохотали в газовом свете, вспоминая нашу мрачную училку и нудные уроки.
— Ла-ла-ла-ла-ла-ла!
— Пела бы ты почаще!
— И не Дауленда, а другого кого, да, мистер Умник?
— Тебе бы дальше учиться, Эви.
— А я чего? Я ничего. Вот играл бы кто для меня...
— У тебя нет пианино?

Она тряхнула головой. Я посмотрел мимо этой головы, на реку, но вместо реки в глазах щелкнула моментальная фотография Бакалейного тупика. Дом сержанта Бабакумба стоял против дома капитана Уилмота — оба на порядок приличней прочих. За ними, неуклонно становясь все приземистей и невзрачней, все грязнея, ветшая, дома сбегали к развалинам мельницы. На дороге дрались и валялись в грязи ребятишки. Мальчики одевались в униформу Бедного Мальчика: отцовские подрубленные штаны, отцовская отставная рубашка. Все почти босиком. Я вдруг сообразил, что́ именно газеты называют трущобами. Если пианино нет у мистера Бабакумба, его, конечно, нет там ни у кого.

— А капитан Уилмот? Как он?

Снова она тряхнула головой.

— У него граммофон и радио. Раньше, когда я еще маленькая была, звал, бывало, послушать.

— Очень мило.

— Лимонаду стакан, булочка. Музыка все классическая. У него и машинка пишущая есть.

Мы помолчали.

— Так что я не стала дальше петь учиться, — наконец сказала Эви. — А на машинке учиться так и так надо...

Я понял. Печально кивнул. В самом деле, досадно.

— Ты сегодня не играл, да, Олли?

Я засмеялся и поднял свой пострадавший палец. Она схватила его белыми пальчиками, стала осматривать. И все повторилось с точностью репринта — смешки, хохот, превращение из дичи в ловца, рывок с моста вниз, в темноту, полупораженье лицом к лицу, да, нет, не надо, да, нельзя, поцелуи, борьба, запах, три сливы, мерцание кожи, трясучка...

— Я тебе не нравлюсь?
— Ну почему... нет, Олли, не надо...
— Ох, ну Эви, Эви...
— Не надо — это нехорошо!

Я без нее знал и был совершенно согласен, что это нехорошо; знал и то, что для меняя лично быть хорошим сейчас — не главная цель.

— Пусти, Олли, а ну пусти!

Снова меня отбросили на три метра. На сей раз я одной ногой угодил в реку. А когда выкарабкался, Эви смотрела в небо.

— Ты слушай!

Что-то глухо урчало меж звездами. Она взбежала на мост, застыла. Красный огонек сорвавшейся красной звездой всплывал на оглоблю Большой Медведицы.

— Прямо над нами сейчас полетит.
— Королевский воздушный флот.

Рядом с красным огоньком прорезался зеленый.

— Вдруг это Бобби?

— Бобби?

Эви смотрела вверх, открыв рот, все больше запрокидывая голову. Самолет проступил темной тенью между огнями.

— Он сказал, что сразу прилечу, как смогу. Сказал, над Стилборном буду фигуры показывать. Сказал, если место найдется, сяду и тебя возьму.

— Жди!

— Ой, смотри. Он сюда... Нет...

Она поворачивалась на пятках, когда самолет пролетал мимо, и постепенно опускала голову, пока темная тень не канула в лесу.

— Так его сразу и отпустили. Он всего-то там неделю...

Она топнула ногой.

— Хорошо вам, мальчишкам!

— Я тоже научусь летать, когда буду в Оксфорде. Наверно. В общем-то я собирался.

Она рывком повернулась ко мне.

— Ой как летать охота! Прям больше всего! И танцевать! Ну и петь! И ездить везде. Все-все делать охота!

Я ухмыльнулся при мысли о том, как Эви делает все-все. Потом вспомнил ту пару брюк и ту единственную вещь, которую мне хотелось, чтоб Эви делала — или мне позволила делать, — и перестал ухмыляться.

— Пошли вниз.

Она тряхнула головой.

— Не-а. Домой пойду.

И снова она заскользила туда, к фонарной луке. Я поплелся за нею, в душе кляня Королевский воздушный флот и, в частности, последнего его новобранца. С каждым фонарем я все острей ощущал воздействие среды и замедлял шаг. Эви тоже его замедляла.

— Ну ладно, пока. До завтра, Эви.

Она пошла дальше, бросив мне улыбку через плечо. Оглянулась, подняла левую руку, помахала расслабленной пятерней. Я сосредоточенно изучал черты Дугласа Фербенкса перед кино. Когда она скрылась на Площади, я тоже пошел домой, держась по другую сторону ратуши и не выходя из ее тени, пока не убедился, что на Площади все спокойно.

Когда я вошел, мама чинила мои трусы. Сверкнула на меня очками, когда я садился, снова склонила седеющую голову над работой.

— Бобби приехал, знаешь?

— Бобби Юэн?

— На выходные.

— Господи — не на самолете?

Мама рассмеялась, поправила блеснувшим наперстком очки.

— Нет, конечно. Миссис Юэн ездила на машине в Барчестер его поезд встречать.

Папа выбивал трубку о каминную решетку.

— Наверно, первым классом. Офицерам положено.

— Какой он офицер, папа! Кадет какой-то.

— А... Ну... Тогда не знаю.

Я встал, заметив, как мама глянула на меня и отвела взгляд. Метнулся в ванную, осмотрел рот, но следов помады не обнаружил. Я стоял перед зеркалом и укреплялся в прежней оценке своего лица. Мало того, что не тонкое. Тоскливое и злое. Я старался представить себе, как в точности выглядит голая девушка — как выглядит Эви. Определенной картины не вырисовывалось, но я предполагал, что она выглядит очень ничего. Вдруг я спохватился, что в том же виде силюсь представить себе Имоджен Грантли. И ужаснулся, что — пусть невольно — поставил их на одну доску. Мне вообще не полагалось обо всем этом думать, об этом мечтать. В мои восемнадцать лет. Крикет, футбол, музыка, прогулки, химия — вот что мне полагалось. Имоджен выигрывала в несказанном, нежном соревновании. Я прижался к зеркалу лбом, закрыл глаза и так долго-долго стоял. Ни о чем не думая.

Растворившись в чувствах.

Тем не менее с утра я уже снова отчаянно ломал себе голову. Я с дикой бравурностью терзал клавиатуру, твердо решившись затащить Эви куда-нибудь, где можно будет осуществить мое порочное намерение. Ну да, порочное. Да, я порочный. Я поклялся, что буду непреклонен, и мне полегчало. После чая я пошел в лес и обрыскал опушку в поисках укромного местечка для покоя и услад. Мест таких нашлось предостаточно. И от каждого у меня чуть подскакивала температура, так что в конце концов я задыхался и весь вспотел. Я снова вышел на дорогу, чтоб спуститься с горки и поджидать ее на мосту, и тут услышал грохот. Пронесся велингтоновский профиль. Мелькнула сидящая сзади раскорякой Эви, белые кружавчики, всхлестнувшие на ветру, блеск глаз, восторженно разинутый рот. Все исчезло, лес сомкнулся за ними.

Погодя я спустился с горки, перешел Старый мост, вышел на Главную улицу. Пришел домой. Мама подняла глаза от латаемых отцовских подштанников.

— Что-то сегодня ты рано, Олли?

Я кивнул и сел за пианино. Скоро мама тихонько вышла, затворив за собой дверь. Я играл для пустой комнаты, пустой приемной, пустой Площади и пустого города. Я снова зашиб себе палец.

Утром, войдя в ванную, я сразу выглянул в окно, ища глазами Роберта, чтобы отшить его самым подчеркнутым образом, когда он меня заприметит. Но его не было. В полной неподвижности повисла груша, мопед стоял на своем месте в углу. Он был весь белый от мела, и даже на таком расстоянии я видел глубокие вмятины на металле. И погнутый руль. Сердце у меня зашлось. Но я немного огорчился. Не из-за Роберта. Из-за себя. Мне самому стала противна моя радость при виде покалеченного мопеда. Я даже вслух проговорил, чтоб вернуть себя на приличные человеческие позиции:

— Бедный Роберт! Надеюсь, он не пострадал...

Потом я вспомнил трепет белых кружавчиков, голую коленку и совершенно запутался в собственных чувствах. Поскорей побрился и сбежал вниз. Завтрак ждал меня на столе, хотя папа уже ушел в аптеку. Услышав мои шаги, мама вошла меня покормить.

— Видала мопед Роберта?

Мама поставила на стол горячую тарелку и вытирала руки чайным полотенцем.

— Слыхала. Я не сомневалась, что рано или поздно этим кончится. Надо бы запретить молодым людям гонять по дорогам на мотоциклах.

— Он не расшибся?

— Конечно, расшибся. А ты думал?

— Что-то серьезное?

— Пока неизвестно. В больницу увезли.

Я подлил себе острого соуса.

— Больше никто не пострадал?

Мама молчала. Мне в таких случаях всегда делалось не по себе. Она на пять метров под землей видела, моя мама. Я в смятении себя уговаривал, что под мостом ведь темно. И почему бы мне, собственно, случайно не встретиться на мосту с Эви, не остановиться с ней поболтать. В конце концов, она почти в нашем доме работает.

— Больше никто не пострадал, а, мама?

— И не только бы мотоциклы я запретила...

Она убирала остатки папиного завтрака.

— Больше никто! А жаль!

Я исподлобья разглядывал маму, когда она уходила на кухню. Мама, безусловно, сегодня встала с левой ноги. Это с ней случалось нечасто, но уж когда случалось, лучше было не подвергать себя риску. Более точных сведений сегодня из нее все равно не вытянуть, какую дипломатию в ход ни пускай. Папу тоже не имело смысла расспрашивать. Верней, почему не спросить, но он наверняка уже все перезабыл. Так что оставалась сама Эви. И вот после завтрака я прошел в аптеку,

где папа работал и молчал, как всегда. В приемной резво стрекотала машинка. Значит, правда, с Эви все в порядке. Не настолько расшиблась, чтобы работу пропускать, достаточно здорова, чтоб явиться. Вдруг меня охлестнула радость. Чего не смог сделать с Робертом мой кулак, то он сам с собой сделал, без всякой моей помощи.

— Пап, может, тебе чем-то помочь?

Папа рывком повернул ко мне свою тяжелую голову. За толстыми стеклами метнулось изумление. Он дернул себя за седой ус, быстро тряхнул головой, снова отвернулся. Интуиция мне подсказывала, что сегодня у мамы скверное настроение с самого утра. Сев за наше пианино, я старался одновременно не повредить больной палец, не разозлить маму и напомнить о своем существовании Эви. Я побрел в город, видел, как миссис Бабакумб клюнула сержанта Бабакумба возле ратуши, переждал, чтоб она ушла. Когда я в свою очередь поравнялся с сержантом, он поднял взгляд от выбиваемого коврика и мне кивнул. Сомнений быть не могло. Никогда раньше не бывало такого, а тут он кивнул. Я слегка дернул головой, что могло истолковываться и как ответный приветственный жест, и как отмахивание от мухи, и прошел мимо. Я долго стоял в изумлении у букинистического прилавка, изучая его содержимое. Я не знал, что и думать. Я читал названия, какие еще можно было разобрать на потрепанных корешках, какую-то книжку вытащил и полистал. Я ее не видел. Я видел вместо нее поразительный кивок сержанта Бабакумба — будто я ему брат-солдат или собутыльник. Я положил книгу на прилавок, прошел мимо «Лучшей чайной», где шесть кумушек ели печенье, пили кофе и сплетничали, мимо Дугласа Фербенкса перед бывшей товарной биржей и тут остановился, оглядывая с хвоста Главной улицы Старый мост. Можно было успокоиться. С Главной улицы, как ни вглядывайся, нельзя углядеть никого — никакую парочку — у пирса за Старым мостом. Слава тебе, Господи.

На другой стороне Главной улицы показалась миссис Бабакумб с кошелкой, набитой свертками. В своем дежурном сером костюме, в своей серой шляпке. Гигантская фальшивая жемчужина свисала с левого уха. Шла блеклая, улыбчивая, расточая безответные, безадресные кивки. Вот увидела меня. Не замедлила шага. Но склонила голову набок, сверкнула вставной челюстью. Этот кивок, этот оскал она несла добрых пять метров, пока ее не заслонил верзила у фонаря.

Меня вдруг как ошпарило. Я понял в ужасе, чем чревата моя похоть. Я понял и кое-что еще. Ни у сержанта Бабакумба, ни у его супруги не могло быть вспышек маминой дьявольской проницательности. Это все штучки самой Эви. Она меня использовала в качестве громоотвода. С механичностью и проворством, никогда еще мне не дававшимися на пианино, я пробежал в уме всю гамму людских возможностей. Эви в жизни не заполучить Роберта насовсем. Ей его не зацапать. Она не станет и пробовать. Не то напоролась бы на гранитную стену. Но раз ей нравится его мопед и она за свои вылазки платит — ведь платит! — ей нужны оправданья, почему опоздала, почему поздно пришла, почему... В моем случае стена из того же гранита, что и у Юэнов, но она не такая высокая. Отнюдь не такая. Даже не такая высокая, например, как стена, отделяющая самое Эви от ошивающихся возле ратуши безработных голодранцев. Для Эви я громоотвод. Для ее родителей — завидный жених. Ох, как небось эти белые пальчики, этот воркующий голосок усмиряли воинственного сержанта, умасливали, убеждали, что у нас дело идет к помолвке. Я откинул волосы с глаз и тяжко вздохнул. Кроме посягательств ее родителей, меня еще терзали догадки, как именно использовала меня Эви. Может, это я задерживаю ее после двенадцати? Может, это я увел машину Пружинки? Так-так, что еще? Чего она еще понавывязывала, рукодельница? Я не сомневался, что в случае надобности она соврет — недорого возьмет. Я и сам могу соврать в случае надобности. И тут уж она нагородит такого! Мне представилось кошмарное видение: сержант Бабакумб у наших дверей тискает треуголку и выпытывает у папы, каковы мои намерения. Я-то знал, каковы мои намерения, и Эви знала. Для семейной жизни они были слишком просты. Я пошел домой, обогнув ратушу с другой стороны, и стал очень тихо играть на пианино.

Относительно Роберта в тот вечер ходили самые разноречивые слухи. Одно

было точно — он долго пробудет в больнице. Я загодя пошел на мост, рассчитав, что, если меня там будут видеть почаще, никто не заметит моих свиданий с Эви, во всяком случае не станет о них трепаться. Снова уже темнело, когда она появилась на улице. И подошла ко мне с жалкой тенью своей улыбки.

— Совсем не расшиблась?

Улыбка просветлела, но чуть покосилась.

— Ты про чего это, Олли? Я не пойму.

— Про вчерашнее.

— Да я там...

— Я тебя видел, Эви. На мопеде.

Она вдруг дернулась, втянула голову в плечи.

— Что с тобой?

— Не знаю, озябла, наверно. Олли...

— Ну?

Она кинула взглядом вдоль улицы.

— Ты ведь не скажешь, правда?

— Зачем я буду говорить?

Она улыбнулась нежно. Глубоко вздохнула.

— Спасибо.

Я саркастически расхохотался.

— Как же! Ты ведь была со мной на мосту, да? Мы беседовали о музыке, о чем же еще! И потом гуляли по бережку, рыбок в банку ловили. Ты случайно своей матери полную банку рыбок не показывала, нет?

— Я сказала только...

— Ты сказала, что я возил тебя в Бамстед. Сказала, что я увел Пружинкину машину! Я тебя знаю! — Я смотрел ей в лицо, стараясь побольней уязвить. Это хоть было в моей власти. — Интересно, что еще ты сказала? Сколько нагородила вранья! Вытащила меня из постели среди ночи — такой милый мальчик этот Оливер, жаль, у него нет мопеда!

— Все совсем не так, Олли. Мне было надо — надо! Как ты не поймешь!

— Очень даже пойму! Да ты просто... — Я оглядывал реку, дорогу, мутную темень леса на горе. Ни с того ни с сего мне вспомнилась мелодия из радиопередачи, и я пропел, проревел:

— Ты как твои Савойские сиротки!

Эви разразилась хихиканьем, от которого меня мороз пробрал по коже, и я смолк.

— Ой, ну ты даешь, Олли! Смешной!

Она хихикала, она хохотала, давилась. Она перегнулась над парапетом, цеплялась за меня обеими руками, выгнув шею. Я чувствовал, как она дрожит.

— Смешной! Смешной!

— Хватит, Эви. Господи! Да замолчишь ты или нет!

Наконец она умолкла. Подтянулась, села торчком на парапет. Ароматно качнула гривой. Вынула что-то белое из-под браслетика под янтарь на левой руке, обмахнула лицо там и сям, сунула белый лоскутик обратно. Я против воли растрогался. И замаскировал этот свой недостаток мужественности, стараясь говорить как можно грубей:

— А ты ловко отделалась! И как это тебя совсем не помяло?

— Какая разница... А, да ладно, — не было меня с ним.

— Так какого же...

— Я его подбила. На слабо взяла. Он говорит: «Эта штука со мной аж на дерево залазиет». Я и подбила... Я и сама хотела... Там яма меловая...

— Где это?

— Я и сама хотела, вот те крест. А он: «Нет уж, юная Бабакумб, только без тебя. Прыгай», — говорит. Его прям прихлопнуло мопедом.

Что-то урчало под Большой Медведицей. Я поднял глаза, увидел красный наплывающий огонек. Ежедневные, значит, полеты какие-то, какие-то у них там ученья. Эви не поднимала глаз. Она разглядывала свои сандалии. Когда она заговорила, голос, странно хриплый, шел как из бочки, шел из самых глубин Бакалейного тупика.

— Может, он теперь калекой будет.

Самолет проурчал прочь, медленно падал, тонул за деревьями. Эви откашлялась.

— На всю, может, жисть.

Потом мы оба молчали, Эви — разглядывая дорогу между моими ногами, я — переваривая новость, соответственно своей природе. Конечно, я был должным образом потрясен. Но, с другой стороны, я чуть-чуть радовался по-стилборновски незадаче ближнего.

Она выпрямилась на парапете, улыбнулась мне.

— Ты сегодня не играл, да, Олли?

— Почему, играл. Только тихо.

Я поднял к ней свой больной палец в знак доказательства и в качестве приглашенья. Но она только глянула и сразу отвела глаза. Каким-то непостижимым образом она пресекла свое излучение. Так обрывок фильма прокручивают назад: пламя втягивается, восстанавливает обугленную бумагу и потом исчезает, не оставя по себе ничего, кроме скуки. Даже газовый свет в ее правом глазу потускнел и почти не дрожал. Я сразу это почувствовал, но оптимистически постарался отринуть.

— Ладно, Эви! Пошли вниз.

Она качнула головой.

— Идем, юная Бабакумб!

Вспыхнул газовый фонарь.

— Не зови меня так!

Она вскочила на ноги.

— А Роберту можно.

— Ему все можно!

— Спокойно, спокойно!

Она хотела что-то сказать, передумала. Вывернула шею и стала отряхивать со своего зада мнимую пыль. Я вспыхнул, как газовый фонарь.

— Тогда, интересно, зачем ты на мост пришла?

Она перестала отряхиваться и смотрела на меня, вытаращив глаза, разинув рот.

— Зачем? А куда мне было идти-то?

Обтерла ладони одну о другую, бегло улыбнулась, отвернулась, пошла в сторону улицы.

— Эви...

Она не ответила, она шла дальше. В конце моста, там, где начиналась улица, глянула через левое плечо, подняла руку, помахала расслабленной пятерней. Я стоял, держал тросточку поперек живота и смотрел. Снова шла она своей походкой — местная достопримечательность, — не шевеля ничем, кроме голеней, по незримой черте, ежедневно патрулируемой сержантом Бабакумбом или его супругой. Шла от фонаря к фонарю, и с новой моей порочной тугой, я так и видел, как головы нищих мужских подобий у каждой пивной поворачиваются ей вслед с немой, обреченной жадностью. Пройдет метров пять, и только тогда несется вдогонку едкий, похотливый смешок. Нет, мне бы самому такого не вынести. А ей хоть бы хны. Я пробирался домой окольным путем, чтоб не идти сквозь этот строй.

На другое утро за мрачным бритьем меня вдруг осенила мысль, от которой замерла на щеке бритва. Там, в конюшне Юэнов, стоял мопед Роберта. Я быстро глянул и увидел, что его и не думали чинить. Я поскорей добрился и бросился вниз, к завтраку, уговаривая себя действовать осмотрительно и дипломатично. Потихоньку-полегоньку в нужном направлении повернуть разговор.

Я так спешил, что застал маму с папой еще за едой. Мама перестала есть и пошла за моим завтраком на кухню. Мне повезло.

— Мопед Роберта все в конюшне стоит, я смотрю.

— О?

— Да. Стоит.

Папа исподлобья глянул на меня сквозь толстые стекла.

— Самое подходящее место.

Я кивнул и подхватил мяч.

— Под дождичком не вымокнет.

— Ха-ха!

Мама вернулась и поставила мою тарелку на стол с некоторым грохотом, всегда предвещавшим дальнейшие сообщения.

— Не надейся, что тебе удастся кататься на этом мопеде, Оливер, или его купить!

У меня отвисла челюсть. Мама села.

— Помимо прочего, — сказал папа, — это нам не по карману.

— Да у меня...

— Они тебе пригодятся, — сказала мама. — Все до последнего.

— Если Роберт...

— Мне бы очень хотелось, чтоб ты прожевал еду, прежде чем говорить, — сказала мама. Она сглотнула. — И ведь он ему самому еще понадобится. Если отец, конечно, разрешит ему гонять, в чем я сомневаюсь. Юэн не такой идиот.

— Как он ему понадобится, если он калека?

— Калека! — вскрикнула мама. — Кто это тебе сказал?

— Множественные ушибы, — сказал папа, — и несколько ребер сломаны. Ничего, оправится.

— Я думал... я мопед видел, он же весь покореженный...

— Через недельку-другую, — сказал папа. — Нет, с юным Юэном все в порядке. Будет ему, олуху, хороший урок.

— Чего только не увидишь каждую неделю в этом «Стилборнском вестнике». А потом, чаще всего, опровергают. А-а! Кстати, вспомнила, папочка, Имоджен Грантли венчается в Барчестерском соборе.

— Будет большая помпа, — сказал папа, отодвигая тарелку — Когда?

— Двадцать седьмого июля. Всего несколько недель остается. Но если у людей есть деньги...

— Чушь, — сказал папа. — Позерство.

— Вспомни, папочка, ее двоюродный дедушка был настоятель. И женился на урожденной Тоттерфилд. Да-а, интересно вот, кто будут подружки невесты?

— Определенно не я, — сказал папа. Сверкнул стеклами и встал. — Мне надо работать.

— Оливер, детка, скушай второе яичко!

— Выбрось ты из головы этот мопед, старина. Доживешь до моих лет — сам поймешь.

— Скушай.

— Оставь ты меня в покое!

— Не смей так разговаривать с матерью!

— Оставь меня в покое! Оставь меня в покое! Я... Не хочу я его!

Папа сел и пристально посмотрел на меня.

— Все время у него эти перепады настроения, — сказала мама и посмотрела на него. Он ответил ей взглядом. Она со значеньем кивнула. — Я вообще не уверена, что это была хорошая идея.

Паутина родительской нежной заботы плелась над столом.

— Четкий распорядок, — сказал папа. — Вот что ему снова требуется.

— Ох, даже не знаю. У него всегда были эти перепады. Я такая же была.

— Четкий, спокойный распорядок. Ему бы лучше вернуться в школу на эти три недели или сколько там еще осталось.

— Не хочу! Я вам не школьник!

— Покажи-ка нам язык, старина.

— Господи, да что же это такое!

— Не смей так разговаривать с отцом!

— Я уехать хочу.

— Оливер!

— Да, хочу. Куда глаза глядят!

— Хорошо, — сказала мама ласково. — Ты же едешь в Оксфорд, правда? Всего через несколько недель...

— Буря в стакане воды, — хмуро сказал папа. — Немного прочистить мозги, вот что мальчику требуется...

— У него всегда были эти перепады. Даже у грудного.

Папа снова встал и побрел в аптеку. Дверь прихлопнула его бормотанье:

— Сейчас я ему принесу...

Я тоже встал. У меня тряслись ноги.

— Куда же ты, детка?

Я изо всех сил хлопнул дверью столовой. Я стоял, все еще трясясь, глядя на наше обшарпанное пианино, дряхлеющий рядом диск стула. Я со всего размаха стукнул левым кулаком по сияющей ореховой панели между двумя медными подсвечниками, и она треснула пополам.

— Оливер!

Я сражался с цепочкой, замками, задвижками входной двери.

— Оливер! Вернись! Мне надо с тобой поговорить! Только из-за того, что мы не можем купить тебе этот...

Я хлопнул входной дверью, услышал мгновенный отклик с церковной башни. Распахнул калитку и стоял на булыжниках возле газонной ограды. И увидел, как миссис Бабакумб мимо забора мисс Долиш проносит свою склоненную улыбку — ко мне.

Чуть-чуть пришел в себя я уже только на парапете Старого моста. В горле у меня мучительно пересохло, левая рука выглядела боксерской перчаткой.

Я бесцельно таскался по городу. Я видел, очень издали, как Эви вышла после приема из дома Юэнов и шмыгнула в сторону Бакалейного тупика. И про себя усмехнулся. Но вот она пошла обратно, мимо дома священника, исчезла в проходе на Бакалейную у нас на задах. Все еще усмехаясь про себя, я сделал крюк, чтоб ее накрыть, но Бакалейная была пуста. Я ее обрыскивал без всякой надежды. Просто, чтоб чем-то себя занять.

Власть условностей сильна даже в такой дыре, как Стилборн, и в последний раз я бывал на этой окраине, когда меня еще возили в детской колясочке. На пустыре, под откосом стояла деревянная лачуга. Я с любопытством ее разглядывал, потому что еще не видывал ничего подобного. Это была католическая церковь, и объявленье снаружи гласило, что месса совершается при всякой возможности. Несмотря на свою ярость, я улыбнулся. Католическая церковь до сих пор мне встречалась только на книжных страницах. Увидеть ее, так сказать, вживе было все равно, что вдруг наткнуться на улице на динозавра. Я расхохотался. Из лачуги вышла Эви. Она держала в руке пыльную тряпку и принялась ее с силой вытряхивать.

— Привет, Эви!

Она оглянулась, увидела меня, задохнулась.

— Некогда мне.

Я язвительно расхохотался.

— Можно и подождать. Делать-то нечего.

— А ну, уходи, Олли! А то...

— Что — а то?

— Ничего.

И ушла внутрь. Я стоял, разглядывал объявление, резную фигуру у двери и усмехался. Усмешка прилипла к моему лицу.

Минут через двадцать Эви опять вышла, отряхивая руками подол. Она повязала голову своей шелковой косынкой. Пресловутый знакомый крестик болтался поверх ситцевого платьица. Не обращая на меня внимания, она заперла за собой дверь и направилась в сторону Бакалейного тупика, будто я куст какой-нибудь, что ли.

— Мессу служила, да, Эви?

Она усмехнулась, не сбавляя шага.

— Тебе не понять.

— Тогда пошли погуляем.

— Нет.

— Ха! Мопеда у нас, естественно, нет!

— Я помогаю ему, как могу.

— Не можешь ты ему помочь! Ты кто? Сиделка?

Эви ничего не сказала, только загадочно усмехнулась. И сунула крестик под платье. Проследив его исчезновение, я вдруг набрался абсолютной, твердой решимости.

— Да тебе и не надо ему помогать. Он в порядке. Только ушибы и сломано несколько ребер.

Эви остановилась, повернулась, посмотрела на меня. Я тоже остановился.

— Да ты что, Олли? Поправляется, значит, он?

Я горестно думал, как все несправедливо. Роберт теперь герой, его обожают, а он палец о палец не ударил для этого. Эви смотрела на меня, сквозь меня, с небесно блаженным лицом.

Все с той же своей решимостью я сказал:

— Ты бы лучше мне помогла.

Я глянул на заросшую кустами тропу, вихлявшую вверх по откосу. Повернулся к Эви, кивнул со значением.

— Да. Ему хорошо. Мне — нет.

— И он не будет...

— Мне — нет.

Эви двинулась в сторону дома. Я схватил ее запястье, как тогда сержант Бабакумб, дернул книзу, она пошатнулась, потом выпрямилась и посмотрела на меня.

— Мне — нет. Ты думаешь, ты можешь делать что хочешь, да? — Я повернул к началу подъема, волоча за собой Эви.

— Олли! Ты чего?

Я все ее волок. Кусты и низкие деревца сомкнулись вокруг. Я проволок ее по крутизне, не оглядываясь.

— Крошка Олли тебе уже не младенец. Крошка Олли теперь главный. И если крошка Бобби вылечится и начнет выступать, Олли свернет ему шею.

— Олли, пусти!

— А заодно и крошке Эви.

Она возмущенно хмыкнула и вцепилась свободной рукой в мои распухшие костяшки. Я дернулся, высвободился. Тропа суживалась, нас все тесней зажимали деревья. Эви расслабила и бессильно свесила руку в моей руке. И уже не упиралась, покорно плелась за мной. Я громко расхохотался.

— Давно бы так!

— Олли! Слушай! Сейчас я объясню!

Я ответил изысканно:

— Никаких объяснений не требуется, моя радость.

— Нет, я что хочу сказать, все не так, ты, это, послушай...

— Так, приехали.

Я оглядывал группку деревьев, почти не слушая продолжавшую говорить Эви. Выступ откоса скрывал нас от города. И под деревьями была густая трава, вся усеянная цветами. Я выдернул Эви из-за своей спины, и теперь мы стояли лицом к лицу.

— Да ты не слушаешь!

Я обнял ее и сжал все с той же странной решимостью. Глаза у нее закрылись, откинулась голова. Я нагнулся и ее поцеловал. Мгновенье она сопротивлялась, но только мгновенье. Возмущенно хихикнула, отстранила губы, попыталась вывернуться. К моему удивлению, сила, годная для тасканья угля и рубки дров, на сей раз явно ей изменила.

— Пусти, Олли! Мне мамке помогать надо!

Я снова ее схватил, прижал к дереву. Я вжимал в дерево это женское, тугое и не знал, что делать дальше. Наконец, в первобытном наитии, я вынул свой напряженный, пылающий корень зла и положил на него непротивящуюся руку Эви. Глаза у нее раскрылись, она глянула вниз. Рот перекосился и вместо улыбки выдавил гримаску, понимающую, жадную, презрительную — все сразу. Голос стал хриплым, задышливым бормотаньем. Грудь ходила ходуном.

— И все это мне?

Да, заверил я ее, тоже хрипло и задышливо, и лес качнулся и вместе с сердцем

подпрыгнул, да, да, тебе. Ноги у нее подкосились, она заскользила по моей груди, животу вниз. И сквозь все это безумие я услышал шепот:

— Ну, чего, тогда уж давай.

Деревья вернулись на место, когда вернулось на место мое сердце. Я лежал навзничь и видел сквозь дымку ресниц, не в фокусе, шелестящие кроны. Каждый удар сердца их встряхивал, как ветер рушит отраженье в воде. Я чувствовал только покой. Покой в крови, в нервах, в костях, в голове, в глубоком дыханье, в угомонявшемся сердце. Добрый покой, и он все ширился. И листья были добрые, и доброе, синее небо за ними. И добрая подо мной лежала земля, мягкая, как постель, с доброй тьмой по всей непроглядной глуби. Я повернул голову и увидел: белый носок, коричневую сандалию. Другая — на метр в стороне. Я перекатился на живот, оперся на локоть и стал, сантиметр за сантиметром, в глубоком покое осматривать эти ноги. Безвольно раскинутые, белые, нежные, в венах нежнейшей голубизны. Всползши на бедра, мой взгляд обшарил их с обеих сторон и перешел туда, к почти безволосому телу, где свидетельства моего рискованного онанизма были разбросаны вокруг розовых лепестков. Вобрав бессильные ладони, белые руки, он двинулся дальше, к дрожи пульса над сердцем; убедился, что она дышит быстрее, чем я, и мелко подрагивают при всей своей твердости розовые наконечники двух полусфер.

Во мне взбухал, наливался восторг. Я улыбался, оглядывая ситцевое платьице, сморщенное, скомканное складкой от подмышки к подмышке. Я задрал подбородок и расхохотался ей в лицо. Ее голова была чуть приподнята кочкой и в глубокой прорези среди дрожания кисточек текуче поблескивали глаза. Губы еще больше вывороти́лись и часто́-часто дышали, будто старательно выталкивая из тела жар. Я сел, она быстро глянула на меня, очень изглубока, тут же отдернула взгляд.

Пробормотала:

— Ну вот, видать, и все.

Темные волосы рассыпались по примятым, поломанным колокольчикам. Я быстро нагнулся, поцеловал розовый наконечник, который поближе, и она вся вздрогнула с ног до головы. Я поцеловал другой, рассмеялся, сел, отвел волосы с глаз. Ощутив при этом некоторое затруднение, я поднял левую руку. Костяшки пальцев, оказывается, превратились бог знает во что, взбухшее, жуткое. Я попробовал пошевелить пальцами, и боль прострелила руку до самого плеча.

— Господи. С чего это она? Раньше не болела.

Эви подняла голову и оглядела себя.

— Ну, ты вроде получил, чего хотел?

— На. Возьми мой платок.

— Спасибочки.

Я по-хозяйски сунулся к ее груди, но она смахнула мою руку.

— Отстань!

Вскочила, одернула платье, оно обвисло гармошкой.

— Ой, ну складочки. Жуть! На кого я похожа!

Топча темные листья, она подобрала косынку, трусики.

— У тебя листики в волосах. И прутик.

— Глянь лучше, складки какие!

Складки, действительно, были довольно изобличающие. У меня мелькнула мысль, что Эви уже, безусловно, сталкивалась с этой деликатной незадачей, из-за Роберта, например. Я попытался помочь Эви, с силой оттянув платье у нее на спине, но она вывернулась.

— Не цапай, что не твое, юный Оливер!

— Да я старше тебя!

Она глянула на меня не то что с презрением или с вызовом, а как смотрят на предмет неодушевленный. Странно, подумал я, какими серые глаза могут быть темными. Она открыла было рот, но закрыла и продолжала отряхивать и разглаживать складки. Все равно, думал я — и тут взбухавший во мне восторг вдруг распустился багряным цветком, — оно мое, это надутое, женственное, великолепное созданье!

— Погоди-ка, Эви. Я вытащу прутик.

Я разбирал ее волосы, нюхал, нюхал запах земли, тоненький запах примятых цветов. Вытащил прутик и обнял ее. Она обвисла в моих руках безответной сердитой массой.

Потом вырвалась и пошла через деревья, к тропе. Я двинулся за нею. Она ускорила шаг, выбралась из-за деревьев, перешла на неровную трусцу, замедляясь лишь там, где требовала осторожности густая колючая куманика. В нескольких метрах от Бакалейной я ее догнал.

— Эви...

Она недовольно смотрела на меня.

— Когда...

— Не знаю.

— Я буду ждать здесь, вечером.

На это она ответила косой, уже мне знакомой гримаской.

— Нет уж.

— А завтра?

— Почем я знаю?

— Завтра после приема. Вечером.

— Тебе прям все сразу сказать? Ишь разлетелся, мистер Умник.

Я уверенно сжал ее плечи.

— Завтра вечером, после приема. Я буду ждать. И мы с тобой снова...

Она ничего не ответила, только мрачно смотрела сквозь меня.

— Или нет, Эви?

Эви чуть обмякла в моих руках.

Я смотрел, как она скользит своей характерной походкой мимо дома священника, соседних домов, к Бакалейному тупику. С гордостью собственника я любовался этой гривой, кругленькой попкой, легкими взмахами милых рук. Я пошел домой расхлебывать кашу. Много чего накопилось, сейчас начнется... Папа встретил меня такой грустной озабоченностью, что лучше бы уж он на меня наорал. Разбитая панель не поминалась ни звуком. Мама думала, что мне, наверное, стыдно, но так отчаянно скрывала сомнения в здравости моего рассудка, что они были мне абсолютно ясны. Папа осмотрел мою руку, намазал порезы йодом, дал мне слабительное. Я, конечно, без конца извинялся, говорил, что просто не понимаю, что на меня нашло. Я сам починю пианино или заплачу за починку при первой возможности. Я больше не буду. И — вот именно — я был совершенно спокоен. Я извинялся снова и снова. Но на самом деле ничто меня не брало, ни разбитая панель, ни папина глубокая озабоченность. Ни даже мамины слезы.

Когда я лег спать, левую руку стало ломать и дергать. Я положил ее поверх одеяла, чтоб остудить, но это не помогло, и я оперся локтем о подушку, так что рука была выше головы и от нее несколько отхлынула кровь. Поразительно, до чего изменилась жизнь. Даже мысль об Имоджен, хоть привычно кольнула сердце, но как-то смутно кольнула, затупленным острием. Я от нее загородился воспоминанием о белом душистом теле. Мне хотелось странных вещей, хотелось, чтоб Имоджен узнала, что Эви — моя; чтоб она поняла — но она же знала, конечно, — до чего хороша наша местная достопримечательность, моя чудная прелесть, благодаря которой я достиг такого покоя. Я представил себе Стилборн: пижоны из колледжа на востоке, конюхи на западе, жаркие эротические леса на юге и на севере — голый откос. От Бакалейного тупика до Старого моста — серебристая нить, безопасная, патрулируемая линия. Роберт на своем мопеде прошил эту линию с обходных путей. Я же перехватил самый важный участок между тупиком и нелепой лесной церквушкой. Я по всем правилам наставил сержанту Бабакумбу рога. Рога эти мне рисовались довольно смутно, но выражение нравилось. Я думал и думал про ее тело, я с наслаждением перебирал все подробности. Я их знал теперь наизусть. Я разрабатывал планы новых побед. Завтра легко, играючи я оплету поцелуйной цепью сначала один розовый наконечник, потом другой, смеясь, наслаждаясь дрожью и трепетом своей добычи. Руку дергало, голову переполняла белая женственность, и только уже когда совсем рассвело, я заснул.

День начал тащиться еле-еле с самого завтрака — бесконечно растянулся в длину. Время было жаркое, яркое, я не знал, как его убить. Родители все еще были мрачны и озабочены. Стараясь к ним подлизаться, я был тише воды, ниже травы — даже помог мыть посуду. Я вызывался еще что-нибудь сделать, может, сбегать в лавку, но мама это отклонила. Я пошел в аптеку и спросил у папы, не надо ли разнести лекарства — я уже сто лет этим не занимался, — но папа только головой покачал. Пойти погулять я не мог. Папино слабительное оказалось таким сильнодействующим, что почти весь день мне пришлось держаться поближе к дому. И со своей распухшей левой рукой я не мог играть на пианино. Панель папа вынул и поставил к стене у себя в аптеке, чтобы починить, когда выдастся свободное время. И, сев на музыкальный стул, я очутился лицом к лицу не с музыкой, а с каким-то хитрым узором. В общем, это было не так уж и важно, мне не очень хотелось играть. Я только попытал правой рукой хроматическую гамму и остался доволен ее исключительной беглостью. Пианино, кажется, не особенно пострадало. Вернее, последний удар мало что прибавил к бедствиям многострадального инструмента. И он скалил жуткие желтые клавиши, очевидно, решившись встретить гибель с улыбкой и быть мужественным до конца.

Прием еще не кончился, а я уже бродил взад-вперед по Бакалейной и нервничал. Я прошелся туда-сюда мимо изгороди из стриженой вероники, постоял, прислонясь к высокому забору у нас на задах. Я поглядывал вверх, на откос, на кручу кроличьего садка, ольшаник и за ними, выше — те, наши деревья. Пробили церковные часы, и сердце у меня бухнуло и покатилось — вот сейчас выйдет Эви. Но она не появилась. Я все больше злился, дошел почти до самого Бакалейного тупика — ее не было. Я вышагивал взад-вперед по серебряной ниточке, я не мог с нее сойти, я постепенно понял, что к ней прирос, увяз, не сдвинусь, останусь тут, пока не загаснет день, если понадобится — всю ночь, если понадобится — останусь тут, пока брезжит хоть чутошная надежда.

И вот, когда мне стало казаться, что надежда свелась на нет, я увидел Эви. Она снова была наша местная достопримечательность и лучилась даже больше обычного. Она плыла, она улыбалась, открыв рот. Она явно обрадовалась при виде меня, потому что, когда я помахал ей рукой, она засмеялась, тряхнула черными волосами, сменила шаг на побежку. И опять поплыла, и с нею вместе плыл ее запах.

— Привет, Эви! Как ты долго!

— На уроке занималась.

— На уроке?

— Ну, ты знаешь. Секретарское дело.

— А-а! Старый Уилмот...

Эви хихикнула и вполне добровольно свернула на нашу тропу. Она сверкнула — или нет, осияла меня, так будет верней сказать — взглядом через плечо, и я пошел за нею.

— Стенография.

— И как у вас пишется «пневмония»?

— Еще чего!

Эви расхохоталась и припустила бегом, пока не запнулась на крутизне.

Деревья сомкнулись. Ветер протиснулся между мной и ее платьем, и нас обоих тучей накрыл запах жимолости. Я шел за нею, шаг в шаг.

— В каком смысле — «еще чего»?

— Ну, там не медицина. Вообще.

Она снова расхохоталась.

— Просто он возьмет книгу какую и...

Нам преградила путь куманика. Мой нос был всего в нескольких сантиметрах от ее гривы. Я уже не знал, то ли это путаные привады лета, догоравшего в обступивших нас кустах, то ли запах ее тела. Насчет запаха неясно, но видеть я видел, как это тело шевелится под сине-белым ситцевым платьицем. И собственное мое тело напряглось. Я дернул ее за руку, повернул к себе и крепко поцеловал. Она, хохоча, отдернула губы.

— Нет! Нет! Нет!

Оттолкнула меня, хохоча, сверкая, сияя, благоухая, снова метнулась козочкой по тропе.

— Говорит, наподдаст мне, если не стану лучше стараться.

Я покатился со смеху, вообразив капитана Уилмота, с волчьим оскалом выбирающегося из своего электрического стула.

— Если только он тебя поймает. «Примкнуть штыки!»

— Говорит, мне самой даже понравится.

— Старый педрила! Ты бы сказала отцу!

Эви опять захохотала, тоном выше. Мы сошли с тропы в заросли. Я схватил ее, но, все хохоча, она увернулась и скрылась в кустах.

— Эви? Ты где?

Молчание. Только городские звуки с долины под нами. Я вслепую продрался сквозь кусты, и там она меня ждала — запыхавшись, сверкая. Я обнял ее, она меня оттолкнула обеими руками.

— Нет! Нет! Нет!

Из города летели: очень отчетливый звон медного колокольца и сиплые контуры крика:

— Эй! Эй! Эй!

Эви затаила дыхание. Прямо у меня на глазах под тонким платьицем выскочили на груди две пуговки. Она прижалась ко мне, вцепилась мне в плечи, закрыла глаза.

— Возьми меня, Олли! Сейчас! Возьми!

И — через миг — распластана среди цветов, задрано платье, глаза дрожат, лицо искажено, смеха ни следа...

— Олли! Олли! Сделай мне больно...

Я не знал, как сделать ей больно. Выбивая частую дробь в своем мальчишьем усердии, я тонул, я терялся в сжатиях и растяжениях дыбящегося и опадающего тела. Она не принимала мой быстрый ритм, только долгие, глубокие океанские раскаты, в которых ее муж, ее мальчик колыхался щепкой, не более. И эти океанские раскаты как бы бескостного тела сопровождались метаниями головы — глаза закрыты, наморщен лоб, — будто в мучительном плаванье к дальней, темной, злой и запретной цели. Я был лодчонкой в глубоком море, а море само было стонущей, вражеской, скрытной стихией, требующей, но не жаждущей соучастника. И вот я потерял направление, лодчонку накрыло, поволокло на утес, и тут раздался крик, громкий, пыточный, и я лежал среди бурунов, потерпев кораблекрушение...

Деревья встали на место. Все затихло, кроме моего сердца. Цветы были тихие, далекие — как нарисованные. Я быстро отошел от нее и лег, зарывшись лицом в мертвые листья.

Холодящее опасение закралось мне в душу, постепенно переходя в кое-что похуже. Я слышал, как она поднялась на ноги и занялась платьем. Я присел на корточки и смотрел на нее, она меня не замечала. Потом двинулась к тропе. Я бросился ей наперерез.

— Эви!

Она метнулась в кусты, я за ней, схватил за руку.

— Ладно тебе, Эви!

Потом мы стояли лицом к лицу и — я орал, она визжала — выясняли, кто виноват, как и почему, будто криками можно что-то отменить и поправить. И — так же вдруг, как разорались, — мы смолкли. И холодной, немой угрозой, непоправимо навис факт.

Эви повернулась и ринулась сквозь заросли к краю откоса, будто жаждала глотнуть воздуха. Я двинулся за ней, глупо стараясь производить как можно меньше шума. Я прочистил горло и шепнул:

— По-твоему, у тебя будет?..

Она раздраженно дернулась, с ненужной яростью махнула по горизонтальным складкам.

— Почем я знаю?

— Я думал...

— Придется, значит, тебе погодить и посмотреть, как и мне, а?

И глянула на меня с этой своей неприятной кривой ухмылкой.

— Думал, можно одни пирожки да пышки без шишек поиметь?

Я смотрел на нее, стиснув зубы и ненавидя весь женский пол. Словно прочитав мои мысли, она буркнула:

— Мужиков — ненавижу!

Мутный, медный звон взлетел с долины. Мы оба посмотрели туда. Сержант Бабакумб достиг своей второй остановки. Я даже различил его между стволами ольхи — крошечное красно-синее пятнышко на гребне Старого моста. Эви отвела от него глаза. Она стояла против меня, несколько сдвинутая к моему правому боку. Сложив под грудями руки, раскорячив ноги, уронив голову. Никакая не местная достопримечательность. Просто прачка. Очень медленно она шарила взглядом по городу, от церкви до моста, от Бакалейной до самых лесов. Когда наконец она заговорила, это был грубый голос Бакалейного тупика, голос оборвышей, хриплый, злой:

— И город этот весь ненавижу — ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!

Я глянул вниз, мимо темной ступенчатости кроличьего садка, мимо зеленого склона — на город. Осмотрел высокий забор у нас на задах, наш лужок, окно ванной. Глянул поверх нашей крыши на дом мисс Долиш, послушал будничный, деловитый автомобильный рожок. Там выяснится вся глубина моего преступления. Я отпрянул за стволы ольхи, Эви с усмешкой на меня оглянулась:

— Чего боишься. Никто тебя не узнает аж с такой дали.

— Эви. Что же нам делать?

— А чего тут сделаешь.

— Может, ты...

Я имел весьма смутное представление о вовлеченных биологических факторах и совершенно не знал, как тут быть. Я грустно присвистнул и отвел с глаз волосы.

— Когда ты будешь знать?

— В понедельник, может, во вторник.

Она отвернулась от города и стала продираться к тропе. Я пошел за нею. Мы оба молчали. Вечер был светлый, еще тепло. Я глядел на ее спину, такую узкую, беззащитную, такие слабые голые руки, и впервые, кажется, понял, какой это ужас — быть девушкой.

— Эви...

Она остановилась, не оглядываясь.

— Не горюй. Может, все еще и обойдется.

Она как-то странно всхлипнула и пустилась бегом по тропе. Я шел медленней, раздумывая, как мне быть. Когда я свернул с тропы на Бакалейную, Эви ушла далеко вперед. И снова плыла, сдержанно, уверенно.

Я шел домой, пронзенный этим видом, сам не свой от невыносимых опасений. Я с ужасом вспомнил про Оксфорд. Если — если — если у нее будет ребенок — прости-прощай, Оксфорд! Какие пойдут разговоры! В восемнадцать лет бросить учебу из-за женитьбы. Пришлось. Иначе — семь фунтов в неделю, алименты. Про эти семь фунтов я знал. Мы щегольски запускали их в разговор, как месячные, как девять месяцев и целый словарь подобных понятий.

— Может, все еще и обойдется...

Потом меня как громом поразила мысль о родителях. Папа, такой добрый, медленный, такой серьезный папа, мама, хоть она, конечно, штучка, но так меня любит, так гордится мной... Это их убьет. Стать родственниками, пусть даже свойственниками, сержанта Бабакумба! Их общественное положение, столь хрупко уравновешенное, столь тонко блюстимое, полетит из-за меня в тартарары! Я поволоку их вниз, вниз, вниз, по тем крошечным ступенькам, по которым так трудно карабкаться, а сверзиться так легко. Да, я их убью.

Я пытался незаметно юркнуть наверх, но не тут-то было.

— Оливер! Это ты, детка?

– Я, мама.

— Скорей иди ужинать.

Я вошел в столовую. Они оба там сидели. Я оглядел холодную свинину. Я забыл про еду, есть мне совершенно не хотелось.

— Можно, я не буду?

— Глупости! — мама сверкнула очками. — Ты же растешь! Садись-садись, будь умницей. К тому же папочка хотел тебе что-то сказать.

Я покорно сел и уткнулся взглядом в холодную свинину у себя на тарелке.

— Чего же ты дожидаешься, папочка? Скажи ему.

Папа завершал пережевывание. Глаза у него были задумчивые, нежно ходили ходуном вверх-вниз моржовые седые усы. Потом он медленно повернул ко мне свою лысую голову.

— Это по поводу пианино, Олли.

— Я же просил прощенья уже.

— Хватит об этом! — мама весело рассмеялась. — Все прощено и забыто. Ты слушай!

— Мы вот подумали. Чинить его будет долгое дело. Пока клей застынет и прочее. А с этой своей рукой ты еще несколько недель не сможешь к нему подойти, так я полагаю.

— Не тяни, папочка! Вечно ты тянешь!

— Ну вот, а мы тебе пока не сделали подарка, достойного твоих упорных трудов. И мы решили — мама и я: мы отправим пианино в Барчестер, и там его подновят. Одним махом — двух зайцев. Конечно, встает вопрос денег — правда, мама?

— Он всегда встает — деньги есть деньги!

— Но я все прикинул и думаю, мы...

— А если рука у тебя раньше заживет, ты всегда сможешь играть на скрипке, Оливер, ты же так дивно играл, пока не помешался на своем пианино!

— И когда ты приедешь из Оксфорда на каникулы, у тебя будет настоящий инструмент.

Он повернулся к своей тарелке и снова принялся за еду.

— Конечно, — сказала мама, — ты сам понимаешь, оно не превратится в концертный рояль!

— Но лучше оно сделается, — сказал папа. — Там много чего могут. Вряд ли станут делать деревянную раму. Дерево всегда портится. Не знаю, кому оно нужно.

— Может, даже клавиши отбелят.

— Дерево всегда портится. Это из-за климата.

— И подсвечники нам не нужны. Пусть их снимут.

— Металл для звука лучше. У нас металл.

— Ну чего ты, детка? Ну-ну, перестань! Все ведь прощено и забыто!

— Успокойся, старина!

— Это наследственное, знаешь, папочка.

— Покажи-ка нам язык, старина.

— Не надо его дразнить. Скушай свининки, Оливер. Это тебе полезно.

Папа тяжко поднялся и пошлепал в аптеку.

— Ну чего ты, ревушка-коровушка, — сказала мама ласково. — Я же все понимаю, детка. Расти трудно — даже и мальчику. Это наследственное. Характер. Скушай, скушай свининки, детка, тебе сразу полегчает. Знаешь, я помню... Ты не поверишь, Олли... Мы так тобой гордимся, детка, но не можем же мы без конца тебе про это твердить. Вот горчичка.

Папа молча вернулся и поставил возле моей тарелки рюмочку. Опять со слабительным.

Кое-как тянулись дни. Миссис Бабакумб по-прежнему одаряла меня своим косым кивком с любого расстояния, вплоть до ста метров. Эви уже не ходила патрулируемой дорогой. Я слонялся по Бакалейной, и надежда моя таяла. Иногда я слышал, как она стучит на машинке в приемной, иногда видел, как она пробегает с работы домой, — и все. Эви меня избегала. Настал понедельник, вторник, среда — она не появлялась на моем горизонте. Мой ужас перешел в стадию непрестанной тревоги. В снах фигурировал новый кошмар, повторяясь из ночи в ночь. Будто я иду по Стилборну, но приговоренный к смерти. И родители тут же, все знакомые тут же, и все согласны со смертным приговором, ибо моя вина, хоть она в сновиденье не проясняется, — непростительна. Просыпался я с радостью, что это был сон. А потом вспоминал Эви.

Через неделю я снова увидел ее, но не смог с ней поговорить. Я был в ванной, и оттуда увидел Эви с тощим партнером доктора Юэна — доктором Джонсом, они ходили взад-вперед по большей из двух юэновских лужаек. Я опасливо пронзил ее взглядом, будто рентгеновским лучом. Но ничего особенного не заметил. Точно такая же, ни на йоту не изменилась. Ножки переступают ниже колен, буйно подрагивают мохнатые ресницы, рот открыт, на губах загадочная усмешка. Я ощутил разом облегченье и ярость. Конечно, девушка в таком положении — если она в таком положении... Но тощий доктор Джонс вел себя при этом странно. Сжимал руки за своей хлипкой спиной. Вертел коленками, поглядывал искоса и хихикал. Ничуть на доктора не похож. Просто старый дурак. Как пить дать, лет сорока, не меньше.

Потом я сообразил, что он, однако, же именно доктор. А известно, зачем ходят девушки к докторам. Я провожал исчезавшую в доме счастливую парочку, как каких-то чудищ. Ясно было одно. Мне необходимо ее увидеть. А у меня не было ровно никакого предлога, чтоб пройти в приемную. Поскольку я не мог предъявить таких явственных признаков недомогания, как, скажем, сломанная рука или сыпь, любое мое посягательство на медицинскую помощь папа встретит новой дозой слабительного. Или, учитывая блестящий успех предыдущих двух доз, это будет, возможно, противопоносное средство. Даже моя левая рука зажила и обрела прежнее свое проворство, будто раскокать панель было для нее просто эксцентрическое фортиссимо, просто упражненье такое. В тоске и печали я проанализировал свое состояние и заключил, что абсолютно здоров. Тут не могло быть сомнений. Вдобавок я питал благоговение к докторам, особенно удивительное при таком близком соседстве. Я безотчетно опасался, как бы доктор Юэн внимательно меня осмотрев, авторитетно не объявил, что я жду ребенка. Но мне надо было ее видеть — и я решился. Я сбегал к себе, схватил с полки книжку, сбежал вниз и прошел прямо в аптеку. Папа разглядывал сквозь свои толстые стекла рецепт.

— Книга для мисс Бабакумб, — сказал я непринужденно. — Лучше я сейчас ей занесу. А то потом...

Зря я, однако, старался, папа все разглядывал рецепт, бормотал, не замечая меня, нашаривая правой рукой шпатель. Я прошагал коридором и открыл дверь в приемную. Доктор Джонс отскочил от Эви так, будто она всаживала в него шприц. И уставился на меня. Возле рта у него краснел мазок помады. Он сказал с облегчением:

— А-а, это ты!

И тут стукнула входная дверь, и ввалилась толстая миссис Данс, вопя так, как только ей позволяли тучность и одышка. На руках у нее был крошка Дагги. Весь красный и дергался. Доктор Джонс мигом преобразился.

— Спокойствие, миссис Данс! Дайте мне ребенка. Мисс Бабакумб — вы мне нужны.

И повалили в кабинет, все четверо или, может быть, пятеро... Я так и остался у двери с «Сельскими комедиями» мисс Ситуэлл[1] в протянутой руке. По-прежнему терзаемый мучительной неизвестностью о том, жду ли я ребенка, я прошел обратно через аптеку, где все так же парили над чем-то медленные, четкие пальцы моего тихого папы.

И снова пошли слежка, подглядывание, патрулирование, и как ни завлекала меня мама вкусностями, у меня начисто пропал аппетит. Наконец настало воскресное утро, и я опять увидел Эви. Я мрачно стоял у забора на задворках у Юэнов, на Бакалейной. Я даже порыскал у деревянной лачуги в дальнем конце на случай, если они служат — или что там с ней делают — свою мессу. Но там было тихо и пусто. Я пошел другой дорогой, мимо задворков священника, мимо обнесенных вероникой домиков, пока не дошел до места, откуда открывался вид на Бакалейный тупик. Послонялся там в надежде увидеть, как она выходит из крайнего дома. В конце концов я поплелся обратно и, злой и несчастный, встал, привалясь к кирпичному забору Юэнов. И вот из-за поворота выплыло сперва колыханье подола. Я мгновенно опознал ситцевое платьице Эви, белое, в дымно-синих цветочках и веточках.

---

[1] Эдит Ситуэлл (1887—1964) — английская поэтесса, критик, прозаик.

Отскочил от забора и почти побежал ей навстречу. Она шла тоже быстро, ровно переступала ножками, и ветер сгонял назад ее волосы, облеплял ситцем груди и бедра. Я подошел к ней вплоть, схватил за плечи.

— Эви! Скажи мне!

Она смотрела на меня угрюмо, как на врага. Раскрашенная — старательно, густо. Мохнатые ресницы расчесаны, склеены чем-то черным, как такие пластины. Глаза обведены голубым, и будто вырезаны из багровой бумаги ярко намазанные губы.

— Отстань, Олли. Я с тобой больше не буду встречаться.

Она выворачивалась, я держал ее крепко. И надсадно шептал:

— Будет у тебя ребенок?

— Пошел ты...

Я ее встряхнул.

— Ребенок! Будет у тебя?..

Она вырвалась. Глянула на меня злобно.

— Тебе надо знать, да?

— Я должен знать!

Она раздраженно дернула головой и хотела уйти. Я загородил ей дорогу, вытянув руки. Она попробовала под них поднырнуть, отчаялась и кинулась на ту тропку, ведущую к ольшанику. Увидела, куда попала, повернула назад. Но я загородил отступление. Она побежала наверх, я за ней. Сгреб ее за голые локти, повернул к себе.

— Эви!

Она отвернулась, что-то выплюнула в кусты.

— Эви! Что с тобой?

Она распрямилась и смотрела на меня из-под черных щелкающих пластин.

— Мошку заглотнула!

— Последний раз спрашиваю! Будет у тебя ребенок?

— Нет. Не будет. А то тебе больно надо знать. Или еще кому.

— Слава Богу!

Вся перекосясь, она передразнила меня:

— Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу!

И, спотыкаясь, стала взбегать по тропе, напарываясь на ветки, попадая в крапиву, шарахаясь, петляя. Я затрусил следом. В сердце у меня распустились великая радость и покой. Я ускорил шаг, я был уже в метре от нее, а она все взбиралась вверх какой-то сразу дерганой и расслабленной побежкой. И бросала при этом такие же дерганые слова:

— Пусть бы мне завтра помереть — и то бы тебе ничего. И никому ничего. Вам всем одно надо — тело мое поганое, а не я. Хоть бы мне пропасть, хоть бы тебе пропасть вместе с хреном твоим поганым и с химией твоей поганой, умник выискался... Только тело мое поганое, только...

Мы вырвались в солнечный круг. Смеясь от радости, от облегчения, я снова повернул ее к себе, мне хотелось, чтобы она разделила мою радость, чтобы все разделили. Держа ее одной рукой за спину, вжимая в себя эти круглые груди, я другой рукой поднял ее лицо, чтобы поцеловать. Она поморщилась, вывернулась, зашипела, как кошка.

— Ну Эви, ну миленькая! Ну давай! Успокойся! Успокойся, юная Бабакумб!

Тут она прижалась ко мне, руки на моих плечах, голова у меня на груди. И заговорила, всхлипывая, давясь слезами:

— Ты меня никогда не любил, меня никто никогда не любил. Я любви хотела, хотела, чтоб кто пожалел... я хотела...

Она хотела нежности. Я тоже. Но не от нее. Мои возвышенные фантазии, обожание и безнадежная ревность не имели к ней никакого касательства. Она была — доступная вещь. Я с улыбкой пережидал, когда отполыхают летние молнии, отбушует гром, уймутся ливни, чтобы нам снова приступить к разумным отношениям. В конце концов, Эви — это дикое, нужное, вожделенное существо — была еще и девушка. И, естественно, слезы немного погодя иссякли. Я ждал, не без легкой иронии, что сейчас проступит игривая; таинственная усмешка. Но Эви, наоборот, мед-

ленно оторвалась от меня, смахнула с лица волосы. И медленно побрела сквозь кусты к ольшанику над кроличьим садком, прикладывая к глазам и к носу платочек. Бросилась на землю в тени, оперлась на локоть и уныло разглядывала Стилборн в лиственной раме. Через минуту-другую я подошел, встал на коленки сзади нее, рядышком, беспечный и радостный, как пчела над цветком. Я погладил ее голое плечо. Она отшвырнула мою руку, будто отмахнулась от мухи. Хохоча, я раблезианским жестом задрал ей подол. Хихикая схватил резинку трусов. Ощутив на себе мои пальцы, она дернулась от меня, и трусы скользнули к коленкам. Как током ударенная, она поддернула их и глянула на меня через плечо мертвым, белым под размазанной краской лицом.

Есть вещи, которые не надо анализировать, раскапывать, затверживать и воскрешать усилием памяти. Они просто вспыхивают перед глазами и можно детально разглядывать их. А вдобавок такова их природа — ни одна ведь мысль не мелькнет, не оставя зарубок где-то в космосе, — что они сразу же влекут и неизбежное истолкование. Я стоял на коленках, смотрел на нее и не видел, видел только свое открытие, и из клочков с естественной неотвратимостью складывалась картинка.

Капитан Уилмот со своим волчьим оскалом и грудой невыкопанной шрапнели! Примкнуть штыки! Капитан Уилмот, добрый соседушка, гоняющийся за призраком юности, вышибленной из него снарядом, нежно преданный учитель от природы одаренной ученицы.

Она вставала перед ним на коленки, я так и видел. А он, пригнувшись, наверное, к креслу, тянулся над ее свешенной головой и правой рукой выбивал эти красные шрамы, в такт, что ли, глубоким океанским раскатам, а потом, утомясь — много ли сил у развалющей, слюноточащей горгульи, — отпускал удары уже послабее, уже левой рукой по другим, тем рубцам.

Не знаю, сколько времени я так смотрел на нее, не видя, и мы оба, застыв, молчали. Мне было восемнадцать, ей тоже, и первый звук, наверно, какой я издал, был смех — от чистейшего изумления. Потом я снова увидел ее — глаза и губы, вклеенные в белое лицо, Стилборн не в фокусе под нею, за нею. Я засмеялся снова, от беспомощности, потерянности, будто я напоролся на проруху, ноль, пустоту, где не то что нарушаются правила, а просто правил — нет. Такой срез жизни.

Не отводя от меня глаз, глядя на меня из-под своих неподвижных пластин, Эви подняла руку к волосам и хихикнула, но это не навело в ее лице порядка. Она затихла, глядя на меня — глаза в глаза, — и вдруг в лицо ей кинулась краска. Она не то что покраснела, вспыхнула, нет, все лицо разладилось, вздулось, и блестящая от натяжения кожа будто не давала закрыться рту. Хрипло, надсадно, так же неудержимо, как она покраснела, у нее вырвалось:

— Пожалела я его.

Я отвел от нее глаза и смотрел на город. Высветленный тенью ольшаника, он лежал разноцветный, мирный. Я смотрел на наш забор, окно ванной, окно аптеки, на наш дворик — там стояли бок о бок на травке мои родители. Я так и видел, как папа смотрит на клумбу, а неугомонная мама нагнулась и что-то перебирает в цветах. Они были слишком далеко, я их узнавал только по фону и жестам, папа был темно-серым пятном, мама — светло-серым. И вдруг я остро ощутил: там и здесь, два разделенных мира. Там — они с Имоджен, чистые на разноцветной картинке. Здесь — она, эта, предмет, вещь, на земле, провонявшей прелью, обглоданными костями, жестокостью, — отхожее место природы.

Вещь все смотрела на меня. Лицо опять стало белым. Мы вели себя так тихо, что дрозд спокойно поклевывал рядышком перегной. Хроменькому, об одной лапке, ему приходилось отставлять хвостик вбок, чтоб сохранять равновесие.

Эви встала на коленки, и дрозд сразу упорхнул.

— Олли.

— А?

— Хочешь?

— Что?

Она ссутулилась, уставилась в землю. Потом подняла глаза, так закусив нижнюю губу, что на обоих резцах осталось по красному пятнышку.

— Я все сделаю. Все, что ты скажешь.

Сердце у меня оборвалось, плоть взыграла. Они там, далеко, два серых пятна, а здесь оно — неизбежное, нужное, неопровержимое. Я с любопытством вглядывался в свою рабу.

— Когда? Я хочу сказать — когда это началось?

— С пятнадцати лет.

Непостижимо — но смутное подобье улыбки пробилось под слоем косметики, приподняв белые щеки, будто она вспомнила что-то стыдное и все же приятное.

— ...и всю дорогу.

Я протянул руку, она отпрянула.

— Нет. Не сегодня. Сегодня... не могу я!

И осторожно поднялась на ноги. Я сказал твердо:

— Тогда завтра, после приема. Я буду ждать. Тут.

Она встряхнулась, взяла себя в руки. И стала прежней Эви. На секунду спроворила даже легкое излучение, косую ухмылку. Потом пошла по тропе в кустах и скрылась из глаз.

Я остался, где был, среди произрастаний и запахов, и смотрел на Стилборн, картинкой в лиственной раме висящий на какой-то стене.

Вечером за ужином мама объявила свой план.

— Сможешь ты заварить чай, папочка? Для себя и для Олли? Или Олли, может быть?..

Папа поднял взгляд.

— Что? Почему? Когда?

Мама сверкнула очками.

— Здрасте! Кому я все это рассказываю? Вы, оказывается, оба ни звука не слышали!

Папа робко изобразил глубочайшую заинтересованность.

— Действительно, мама. Я задумался. Да. Так о чем ты?

— А этот вообще ничего не видит и не слышит. Да, скажу я вам...

— Так о чем ты говорила, мама?

— Как я уже сказала, — объявила мама с достоинством, — я еду в Барчестер. В субботу.

Папа почесал голову, прикидывая, что такое Барчестер.

— А-а, да.

— На автобусе в час дня. Свадьба не раньше трех.

— Свадьба?

Папа прикидывал, что такое свадьба.

— Чья свадьба?

Мама с шумом поставила чашку. У нее сегодня определенно был приступ раздражительности.

— Как ты думаешь — чья? Папы римского? Имоджен Грантли, естественно!

Через какое-то время я снова стал слышать, что говорили за столом. Мама оканчивала долгий период:

— ...а чаю попью в Кадене.

— Да, самое хорошее место, я полагаю.

— Что ты в этом понимаешь, папочка? Ты ни разу там не был! А потом я, наверно, схожу в кино.

— В Стилборне тоже есть кинематограф, мама, — вставил папа услужливо. — Только я не знаю, что там идет.

— Ты много чего не знаешь, — сказала мама вредным голосом. — Даже кое-чего, что творится у тебя под носом.

Папа подхалимски кивнул.

— Я знаю. Может, Оливер тоже хочет...

— Он! — обо мне говорилось, как о некоем презренном предмете в далекой Австралии. — Он хочет по округе все время шататься, уж можешь мне поверить!

Некоторое время мы все трое молчали. Я слышал, как мама стучит туфелькой по ножке стола.

— Вот я и не прошу никого из моих милых мужчин меня сопровождать...

Стук прекратился. Помолчав, она заключила фразу тоном, не допускающим возражений.

— ... потому что не сомневаюсь, что только зря бы старалась...

Мы с папой уставились в свои тарелки, молча по разным причинам.

Даже на другой день к чаю мама еще не остыла. Мне было что скрывать, и меня томили нехорошие мысли, обернувшиеся просто грозным предчувствием, когда она нарушила наше молчание.

— А эта девица долго торчала в аптеке, папочка!

— Да. Да. Долго.

— Что ж, надеюсь, ты дал ей полезный совет. Пора уж кому-то на себя это взять!

Папа утер седые усы и мирно кивнул. К нему ходили за советом. Наверно, потому что он был больше похож на доктора, чем доктор Юэн, притом не будучи окружен устрашающим ореолом докторского статуса. Люди считали, что с ним можно поговорить. Что правда, то правда — он довольно редко прерывал их своими соображениями. Пережевывая жвачку какой-то идеи, покуда она не выпустит последнего сока, с виду он будто слушал изливаемый на него речевой поток. И пациент ценил его мудрость. Да и в самом деле — добрый, отзывчивый, тщательный и медленный, он был, наверное, мудрым. Мне, с моей особой сыновней позиции, трудновато судить.

— Ну и чего ей было надо, папочка?

Циничная часть моего существа на секунду возликовала, вообразив, как папа предлагает Эви слабительное. Но он пристально разглядывал чайник, поджав губы. Я ждал.

— Она... разуверилась в людях.

Я спрашивал себя, не продемонстрирует ли мой вопрос о том, кто эта девица, мое полное безразличие. Но разумно решил воздержаться. Зато мама полыхнула очками и со значеньем кивнула.

— Меня это не удивляет! Нисколько не удивляет!

— Твари, — сказал папа. — Все мужчины животные, твари. Вот что она сказала.

— Та-ак, — сказала мама. — А чего ты ждал от такой девицы? Мужчины таковы, какими ты...

Я прыснул чаем на скатерть. Эта мелкая неприятность подоспела весьма кстати. Пока меня стукали по спине, я очень рассчитывал на перемену темы. Но мне бы следовало понимать, что мама в своем странно затяжном приступе раздражительности не ограничится двумя-тремя репликами. И папе придется сдаться.

— Продолжай, продолжай, папочка. Что же ты ей на это сказал?

Папа вытер усы, провел ладонью по лысине, поправил очки, снова взглянул на чайник. Я услышал стук маминой туфельки.

— Я сказал — «нет».

Стук продолжался, и папа его услышал. Он уточнил:

— Я сказал — нет, они не животные. Сказал — я не животное. Сказал — наш Олли...

Стук прекратился. Папа мерцал и сверкал на меня искоса.

— Я сказал — конечно, у него есть свои недостатки, много недостатков, но он не животное.

Наступила пауза. Мама заглянула ему в глаза и спросила, едва слышно:

— И что же она сказала?

Папа отвернулся от меня и смотрел в свою тарелку. Он ответил уклончиво:

— Ну, сама знаешь, как это бывает, мама. Я начинаю думать, а они... не помню.

Мама встала, взяла чайник и ушла с ним на кухню, хлопнув дверью. Снова наступила пауза. Потом папа тихонько сказал:

— Знаешь, все из-за этой свадьбы. Вот вернется она с этой свадьбы и... успокоится.

К концу приема я ждал в наших зарослях. Эви запаздывала, но все же она при-

шла. Ситцевое платьице и все такое прочее всплывало по тропе. Моя распаленная похоть предвкушала ее кротость, униженность, осознание своей новой роли. Но Эви улыбалась, глядела даже, пожалуй, победоносно и опять излучалась. Она прошла мимо меня, уверенно двинулась сквозь кусты, сквозь ольшаник и села посреди морковных огрызков кроличьего садка. Я мялся рядом, переводил взгляд с нее на город и обратно.

— Пошли, Эви!

Она душисто тряхнула сияющей гривой, легла на солнышке. Широко раскинула руки, вытянула ноги, куполом опало платьице.

— Пошли, Эви!

Снова она тряхнула головой, громко захохотала. Я подошел, присел на корточки рядом.

— Слушай — в чем дело?

Эви включила все, что положено, и глядела на меня искоса, помахивая лохматыми ресницами. Уперла подбородок в шею, еще подтянулась, отделив верхнюю часть тела от земли, и у меня перехватило дыхание. От знакомого запаха.

— Пошли на наше местечко — нам будет хорошо!

Эви закрыла глаза, рухнула. И так лежала, не улыбаясь.

— Здесь или нигде!

— Но... ведь город!

Подняла голову, глянула туда, косо усмехнулась.

— Я сказала. Все, мистер Умник.

Я приказывал, уговаривал, умолял. Эви не шелохнулась. Лежала, растянувшись, раскинув руки, и отвечала все той же фразой:

— Здесь или нигде.

В конце концов я смолк и уныло уткнулся взглядом в темную землю и сухие кроличьи катышки. Эви встала и отряхивала разную гадость с платья.

— Эви. Завтра.

Завтра — то есть в день свадьбы. Я уже знал, чем можно, как пластырем, залепить мысли про это.

— Ну пока. До завтра. Здесь.

Эви косо усмехнулась.

— Ладненько, Олли. А чего?

И ушла, уверенная, прямая, как ни в чем не бывало.

Только когда уже мы сели втроем обедать пораньше, чтобы маме успеть на барчестерский автобус, — только тогда я понял. Мама, благодушная, оживленная, вообще не закрывала рта — когда умолкала, ела.

— ...Ты можешь больше не беспокоиться за эту девицу, папочка. Она уезжает!

— А?

— Едет к тетке в Эктон. Ей работу обещали в одной фирме. Экспортируют, кажется, лес. Тоже неплохо!

— Неплохо?

— Ну, для нее.

Папа жевал, глядя прямо перед собой. Наморщил лоб, покачивал головой.

— Лондон. Не знаю. Такая даль. Юная девушка...

И продолжал жевать, зловеще покачивая головой, будто перед его умственным взором сонмы юных девушек проходили кидаться с Лондонского моста.

— Ерунда, папочка! — сказала мама, смеясь и сверкая. — Она же у тетки поселится!

Папа сменил покачивания на кивки, продолжая мерно жевать — тридцать два раза или, может быть, шестьдесят четыре? Мама перестала сверкать и смеяться и уставилась в стену. Когда она заговорила, голос у нее был тот голос, каким она сообщала обычно о своих волнующих, немыслимых предчувствиях и озарениях. Не допускающий возражений, железный, безличный, не мамин голос. Сейчас в нем звучали вдобавок бравурные, даже веселые ноты:

— Если она только побережется, она будет жить припеваючи!

Я мыл посуду с необъяснимой яростью. Покончив с этим, я вышел и зашагал через Стилборн, прочь от откоса. Нырнул в эротические леса, повернул, снова попал

в поля. Считается, что с гребня Буфетной горы виден самый кончик Барчестерского шпиля, и я всю ее исходил и потом взобрался на гребень. Но Барчестер вместе с предполагаемым шпилем тонул в непроглядной сини. Я повернулся и мрачно обшарил взглядом весь откос до наших зарослей. Там, наверху, выше темного садка, белело крошечное пятно.

Не волноваться! Только не волноваться!

Я пошел мимо Сенокосцев, мимо Конюшен, напрямик полями Малой фермы, снова взобрался. Белое пятно тут как тут. Видно с любого конца округи. Я спотыкаясь побежал вдоль откоса — Ров, Взгорье, Железные ворота, Чертов лог. Задыхаясь, вломился в наши заросли, пот тек у меня по лицу ручьями, склеивал волосы. Церковные часы внизу пробили три.

— Эви!

Я рухнул с нею рядом, сердце колотилось о сырую землю. Она сидела, скрестив ноги, опираясь на обе руки. Стилборн и вся широкая округа ходуном ходили за ее спиной, будто тоже задыхались от бега.

— Эви — ну пожалуйста!

— Здесь или нигде.

Я чувствовал уставленные в меня глаза Стилборна. Но они были далеко, были в толстых очках, а мы — два неопознаваемых пятна. Меня сковывал необъяснимый, неразумный страх, но сковывал не на шутку. Эви это понимала, победно хмыкала исподтишка и сама, наверно, удивилась и испугалась, когда я, обняв ее за спину одной рукой, схватил за грудь другой и запер отчаянными губами ее всполошенный ропот. Она не противилась и не помогала. И когда я уже лежал, задыхаясь, ничком, встала и ушла — вся красная, без единого слова.

Я остался лежать, как был, потом наконец глянул вниз из-под локтя, стараясь опознать фигурки, двигающиеся где-то там, по самой грани моего зрения. Я встал, пригнувшись, пошел через ольшаник и выпрямился, только уже когда спустился на Бакалейную. Открыл нашу входную дверь осторожно, как вор. Подумал, не взяться ли за скрипку, не сыграть ли, скажем, цыганский романс, на который меня со странной настойчивостью науськивала мама. Можно начать, например, тихо-тихо, потом погромче, еще громче, и папа не сможет определить, когда я вернулся — да и вообще, выходил ли я из дому. Но мне надо было успокоиться поскорей, и потому я пошел в аптеку и непринужденно открыл дверь. Папа стоял возле верстака у окна. Верхняя часть окна была открыта и смотрела на наши заросли. Он даже не потрудился спрятать бинокль в кожаный чехол, висевший за дверью. Бинокль лежал перед ним на верстаке, потрепанный, но годный к употреблению. Я подсчитал в уме. Десятикратное увеличение. Шестьсот шагов разделить на десять. Шестьдесят шагов.

На верстаке перед папой лежала книга. Он медленно закрыл ее, прошел мимо, не взглянув на меня. Взял с гвоздя белый халат, надел, медленно вернулся к верстаку. Высвободил из-под скрепки один рецепт, близко поднес к глазам. Потом вдруг скомкал рецепт, оперся на сжатые кулаки, свесил голову. И стояла тишина.

Наконец он распрямился, осторожно разгладил рецепт, снял с полки пузырек. Я уже знал — сейчас начнется, уже чувствовал — подступает, неотвратимо, как секс. Чувствовал по тому, как меня трясло, и смешались Имоджен с Эви, пианино с Робертом и с мамой, и нестерпимые усилия воли не могли остудить глаз. Я выдохнул задушенно:

— К черту все! О! К черту! К черту!

Беспомощно, бешено, жалко. А слезы не лились — хлестали мне на ботинки, на скамейку, на руки...

— К черту! К черту! К черту!

Голова запрокинута, кулаки сжаты, растянулось, мутясь, окно, и темные подземные хляби разверзлись во мне, и текло, текло...

— К черту! К черту!

Папа водил из стороны в сторону головой, будто ее дергают за резинку, а сам он — недоуменный, угодивший в силки зверек.

— Я должен был знать, понимаешь ли, — должен. После всего, что она мне... — он поставил пузырек, глянул в окно, потом на свои руки. Провел одной по лы-

сине. — Смеется и смеется. Я сначала думал — истерика. Смеется и смеется и... или издевается.

Я стоял — несчастный, гадкий, пропащий, уже мечтая провалиться сквозь землю. Папа откашлялся и продолжал странно решимым, натяженным решимостью голосом:

— Молодежь... не думает. Я... Ты не знаешь про это место... Бакалейный... Да... Одним словом... Там — болезнь, понимаешь ли. Я не утверждаю, что каждый непременно должен заразиться... но если так себя вести...

Снял очки, протер с хирургической тщательностью. И вдруг, сквозь спокойный, устоявшийся агностицизм, прорвался голос пуританских поколений:

— ... этот господин, как я там, по-твоему, должен его называть... эти книги... кино... газеты... этот секс — это зло, зло, зло!

Я стоял как куча дерьма, мечтая только о сточной канаве, по которой я мог бы проползти к моим родителям, упасть к их ногам, чтоб они простили меня, чтоб вернулась наша былая невинность. Я стоял и смотрел, как он готовит лекарства против всех недугов Стилборна.

Я не выходил из дому, играл на дешевой скрипочке вместо моего пианино, в надежде хоть как-то подлизаться к родителям. Я избегал Эви, как болезнь, которую расписывал папа. И, действительно, видел ее всего один раз до ее отъезда. Я стоял у окна гостиной со скрипкой в руке. Я выложился на страстном цыганском романсе. И теперь стоял, уставясь на дом Пружинки напротив, с тоской представляя себе, как бы ее потешило мое прилежание. И тут по другую сторону Площади появилась Эви. У меня медленно отвисла челюсть. Эта познанная, разгаданная, эта падшая женщина ни чуточки не изменилась. Вывернутые губы, таинственная усмешка, наглый носик, сияющая грива, недвижные коленки. Она плыла, как всегда овеянная почти осязаемой аурой секса. Я провожал ее глазами, пока она не уплыла за ратушу. Она была — зло, зло, зло. Я тоже. Я вернулся к моей скрипке, к бешеным опортаменти и гортанным вибрато моей цыганщины.

Так исчезла Эви. Но только годы спустя я узнал — почему. Причиной был не я, хоть я так полагал, стыдясь и одновременно тщеславясь. И не Роберт со своим мопедом, и не капитан Уилмот со своей пишущей машинкой и плеткой. Как ни бился Дагги Данс в конвульсиях, которые его доконали, как ни билась миссис Данс в материнском горе и в истерике, у нее не отнялась пара стилборнских глаз, не отнялся стилборнский язык. Из нашей среды в сторону Лондонского моста Эви исторг крошечный мазок помады возле губ доктора Джонса. Это было уж слишком. Эви уехала, и снова тихо разгладилась разноцветная картинка Стилборна.

Эви, однако, избежала Лондонского моста, потому что я ее увидел еще раз, притом в Стилборне. Случилось это два года спустя, осенью, я был на пороге моего третьего года в Оксфорде и дергался, как все, потому что и ежу было ясно, что война на носу. Я сомневался, что удастся закончить курс, и довольно мрачно рисовал себе собственную участь под огнем нового западного фронта. У нас бушевала большая городская ярмарка — мероприятие, ежегодно намертво пресекавшее и без того хилую деловую жизнь Стилборна. Но она, эта ярмарка, уходила, как видно, корнями в такую англосаксонскую глубь, что только особым указом парламента можно было ее отменить. Бедственность положения усугублялась тем, что торговые ряды, некогда прораставшие между Старым мостом и Площадью по кривой Главной улице, заместил теперь блеск и грохот каруселей, качелей, чертовых колес, зеркал смеха и прочего, призванного торговать исключительно удовольствиями. Был субботний вечер. Небо холодное, легкое, лунное. Но от несчетных приспособлений, соревновавшихся в бесчинном разладе, над ярмаркой дым стоял коромыслом и пар взвихрялся столбами, опадал грибами и осыпался искрами так, будто война началась уже. На три сотни метров выстроились тиры, карусели, балаганы — битье горшков, метание дротиков, три броска за шесть пенсов, призы в бадье с отрубями. Нити, целые аляповатые клумбы мигающих электрических лампочек были заодно с лигроиновыми вспышками заведений поплоше, и все вокруг из-за них мелькало, дрожало, ходуном ходило. Свободным оставался один проход,

единственный путь к бегству от этого обморочного, облачного грохота. Я ушел было, но вернулся, бравируя и убеждая себя, что едва ли уже меня могут пронять удовольствия моего детства, и, злясь, хотя не теряя чувства юмора, убеждался, что очень даже могут. Руки в карманах серых широких фланелевых брюк, в длинном свисающем на грудь и на спину шарфе, я вышагивал по проходу. Треск, вспышки, заводная музыка, взвизги, выкрики, уханье деревянного мяча о брезент, стоны пуль на листе железа слегка отодвинулись, стали фоном, от меня отделились. Проход был пуст: еще рано обжиматься за палатками парочкам, пьяные еще не загадили его блевотой. Из-под потускневших от конкуренции огней кинематографа ко мне по тротуару двигалась девушка. Грива, недвижные коленки, чинно переступающие ножки — нет, я не мог обознаться. Да и ничего удивительного, что я ее встретил. Совсем недавно сержант Бабакумб вышел из ратуши в своем живописном наряде, звякнул медным колокольцем, воззвал «Эй! Эй!» и, широко разинув рот на третьем «Эй!», испустил дух. На узком месте нам было не разойтись. Она остановилась против меня, улыбаясь в отсветах дымных столбов.

— Привет, Олли! Чего делаешь в таком ди-иком месте?

— Гуляю. Просто гуляю. А ты?

— Я на выходные тут. Встретить кой-кого надо.

— А, ну тогда пока.

Я двинулся было, хоть мне уходить не хотелось. Она не шелохнулась.

— Ты теперь куда?

— Домой. Тут просто чудовищный грохот!

— Я с тобой.

— Ты ведь встретить кого-то хотела!

Она подняла руку к волосам.

— Для слова сказала. Мало ли.

Мы умолкли и смущенно оглядывали друг друга. Лондон пошел ей на пользу. Несколько миллиметриков там, складочки сям, вопрос покроя и ткани, наверно. Кое-чего она поднабралась, поднаторела. Строгий темно-зеленый костюм, полуботинки без каблуков. Прическа небрежная, но в небрежности — обдуманность, ловкость. Уж кое в чем я, по крайней мере, разбирался, и кое-что я увидел. Эви забралась на несколько ступенек вверх по нашей проклятой лестнице.

— Вот узнал про твоего отца. Прими, как говорится.

Эви важно кивнула.

— А теперь-то машина есть у вас, Олли?

Про сержанта — все.

— У нас? Нет. — Я сверху вниз широко улыбнулся. — Ты на меня погляди! Я сам дорогой очень!

Эви меня овеяла ароматным смешком.

— Ой, важный какой в этих очках!

Ловко подняла обе руки и сдернула с меня очки. Ночь помутилась.

— Эй! Ну тебя!

— Я так моему боссу делаю, когда... Здрасте, опять прежний Олли.

— Отдай, слышишь? Я же...

— Ладно. Не пыли.

Подошла вплоть, душистая, уверенная, закрепила у меня за ушами дужки. Душа, посвященная химии, зашлась от чего-то знакомого, забытого ради инертных газов и вовсе на них не похожего. Эви легко откачнулась.

— Бобби Пружинкину машину брал.

— Что ж. Я не Бобби, верно?

— Нет. Оно и видно.

Дрогнули кисточки. Она повернулась и двинулась к Площади, я — за нею.

— Все на пианино играешь, да, Олли?

— Так, иногда. Времени нет, знаешь. А ты все поешь?

— Кто? Я? Больно надо!

Мы дошли до Площади. Эви заглянула туда, потом остановилась, повернулась ко мне.

— Ну, а вообще-то ты чего делаешь, Олли?

— Моя дорогая Эви. Слишком долго и нудно было бы объяснять...

Тем не менее я за это взялся. Я заговорил о занимавшей меня идее, как об уже доказанной. Криптон — то, что называется инертный газ. Но если его как следует раззадорить посредством давления и температуры, пропустить через него электрический разряд — искра пробьет весьма плотное облако криптона вместе с еще одним элементом. И получится совершенно неестественная субстанция, если допустимо такое определение. Так что криптон...

Эви на меня смотрела квадратными глазами.

— Ой-ей-ей, Олли! Ну ты и умный!

Я был приятно удивлен. Лондон определенно пошел на пользу Эви. У меня мелькнула бредовая идея повести ее в лабораторию, но я ее тут же отринул, ибо статус мой там несколько не соответствовал планке, на которую я намекал. Бред нарастал, однако, и, завидя наш флигель рядом с докторским домом, я ее чуть было не пригласил. Но тотчас возобладал здравый смысл.

— О, не знаю! А вот ты, Эви, — ты изумительно выглядишь!

Она вся лучилась под газовым фонарем.

— Олли. А у тебя девушка есть?

Я, улыбаясь, покачал головой и зажал ладонью щеку там, где, кажется, назревал прыщик. Ответ Эви меня озадачил. Она кивнула значительно.

— Да ты и молодой еще чересчур, правда?

— Я старше тебя!

Я призадумался на секунду, нащупал деньги в кармане и остановился на компромиссе, единственно возможном, если я не хотел сразу терять Эви, ее излучение и восхищение. Пока я раздумывал, Эви повернулась на пятках и обшарила взглядом Площадь. Снова приблизила ко мне лицо.

— Но кто-то должен быть рядом!

— В каком смысле, Эви?

— Скучно же одному на свете!

Смелое выступление, учитывая грохочущую возле нас ярмарку.

— Можно зайти куда-нибудь выпить.

Эви открыла кошелек, заглянула. Я ее успокоил. Я уже получил деньги за следующий семестр. Я был богач, притом не постигший покуда банальной истины, что те же деньги не потратишь дважды. Мы двинулись вместе в «Корону». Я придержал для Эви дверь, и она захлопнулась с тугим стуком, отрезав нас от ярмарочного гама. Тут не было запахов снеди, смазки и пота, вспышек, мигания ламп. И хозяйничал добропорядочный, тусклый, но всепроникающий дух линолеума и пыли. По псевдоручной работы ковру мы прошли во второй зал и уселись у стойки на высоких лакированных табуретах. Миссис Минайвер, скрючившись, уронив на стойку руки, разглядывала смутный вид Эдинбургского замка. Моментально раскрюченная порывом профессионального гостеприимства, она выдала Эви ее виски с содовой, бледное пиво мне и скрючилась вновь. Я огляделся. Последний раз я был в «Короне» тогда, почти два года назад, с мистером де Трейси — памятный случай. Сейчас четверо членов муниципалитета, зажав креслами низенький столик в дальнем углу, что-то обсуждали по поводу предстоящего заседания. В другом углу молчала, уныло созерцая свои стаканы, какая-то пара.

— Ну, давай, Олли!

— Поехали.

Один из членов муниципалитета медленно прошаркал в мужскую уборную.

Да, прыщик действительно назревал. Я теребил его в долгом молчании.

Член муниципалитета медленно пришаркал обратно. Минуя миссис Минайвер, что-то бормотнул, касающееся погоды. Она с бодрым смехом раскрючилась и скрючилась вновь.

Эви схватила и залпом осушила стакан.

— Еще, пожалуйста, миссис Минайвер!

— Стой, Эви, давай я...

— Нет.

Пришаркавший из уборной откинулся в кресле, ладонь рупором к уху.

— А? Громче, Джим!

— ...пока мы не упустили контракт!

— А-а. Да.

Эви уперла подбородок в ладони, тряхнула гривой, повернулась ко мне.

— А неплохо мы жили, да, Олли?

Я механически хохотнул. Эви выпила еще виски с содовой и сказала, как бы набравшись храбрости:

— Да. Неплохо. Хорошо жили. И теперь вот... Как вспомнишь...

Я допил свое бледное пиво и оглядел ножки Эви в чулках. Очень ничего себе ножки. Я протянул пустой стакан миссис Минайвер, она мне опять налила. Бледное пиво было очень ничего себе.

Эви продолжала:

— Все же, кто вместе рос — мальчишки, девчонки...

И послала в мою сторону луч — лукавый и томный одновременно. Я засмеялся и хлебнул как следует бледного пламени. Я тоже кое-что вспомнил и зябко почувствовал, что нельзя пускать события на самотек.

— А Роберт, Эви! Про Роберта не забудь.

Томность утонула в лукавстве.

— Бобби! Моя первая любовь!

Я хлебнул еще, вспомнил малолитражку мисс Долиш и поперхнулся.

— Еще, миссис Минайвер, пожалуйста!

— И мне.

Эви примолкла, глядясь в зеркало за стойкой. Она была очень ничего себе.

— Во вторник.

— Что, Эви?

— Во вторник уезжаю. — Искоса сверкнула на меня улыбкой. — Пока что — передышка. — Схватила стакан, опрокинула. — Еще, пожалуйста!

— Поехали!

— Сперва надо кой-кого повидать, конечно.

— Тебе?! Кого это?

Меня осенила блистательная идея. Я осклабился.

— Кстати, а как Фредди Уилмот?

Эви некоторое время молчала, глядя в стакан. Потом выпила, поставила стакан со стуком.

— Я только из Швейцарии, с боссом своим туда ездила.

Я сверхзначительно осклабился.

— Ну, а этот — как?

— Патрик — лапочка. Все говорят. Я его обожаю.

Она вдруг захихикала. Десять секунд — и куда подевалось томное лукавство. Передо мной сидел бесенок. Эви Старого моста.

— Он — все отдать, да мало. Ну прям замечательный!

Высокий табурет качнулся, она уцепилась за стойку.

— Поехали!

— Вздрогнем!

— Пошли заглянем к твоим родителям.

— Ты это брось, Эви.

— Или к доктору Джонсу. Вот мужчина! Надо к ним заглянуть.

— Не думаю.

— Оно и понятно, что в Стилборне столько баров. А то как бы... Жалко, тут Патрика нет. Еще, пожалуйста!

— Прям замечательного.

Эви хихикнула громко.

— Он в постели замечательный. Все говорят.

Разгоряченный жидким бледным пламенем, я не мог уступить ей пальму первенства в нашем состязании остроумий.

— А на самом деле?

Но я, оказывается, плохо знал Эви.

— И на самом деле, — сказала она. — Получше тебя будет.

Урчанье беседы смолкло в углу. Все стихло. Я привстал с табурета и сделал

несколько нелепых па возле стойки.

— Мы в постели никогда не лежали, — сказал я с хохотом, естественным, как дерматин. — Никогда! Ты это брось, Эви!

— В постели никогда не лежали, — подхватила она, кивая. — И без постели позже полвосьмого никогда. — Ни разу, ни-ни! Ну, давай!

Я с хохотом поднял стакан. И совершил свою грубейшую стилборнскую ошибку.

— Опрокинули — жопки вверх!

Эви — очень осторожно — поставила на стойку пустой стакан. Заглянула в него, будто ожидала увидеть там муху или что похуже. Мрачная пара, обменявшись кивками, быстро поднялась и удалилась без единого слова. Эви подняла было руку, будто хотела откинуть волосы, но опять уронила. Посмотрела на меня искоса через стойку, оглядела молчащий бар, глянула сквозь стены на город. Выступила кривая усмешка.

— Все началось, — сказала Эви, — когда ты меня ссильничал.

В ушах у меня невыносимо звенело. Все было как в страшном сне. Что тут можно сказать? Простое, решительное, неопровержимое? В самом деле — что я сделал — мы сделали? Четверо членов муниципалитета встали как один и направились к двери мимо раскрючившейся и скрючившейся миссис Минайвер.

— Наверху, на горе, — пояснила Эви громко и обстоятельно. — В зарослях!

— Неправда!

— Добром бы я ни в жисть, — сказала Эви. — Я тебя не хотела. Мне всего пятнадцать было.

Дверь захлопнулась. Мы были одни. Снова меня подхватило теченье Стилборна, но на сей раз не шепоток-хохоток. Воды взревели над самой моей головой. Я бухнул стакан, бросился вон и встал под газовым фонарем на углу ратуши. Эви с хохотом встала рядом. Я еле сдерживался, чтоб не вцепиться ей в шею руками.

— Олли, лапочка!

— Уделала меня, да? Хорошо уделала!

— А то.

— И себя уделала.

Она хихикнула.

— Чего? Сразу обоих?

— Только и умеешь, что смеяться, смеяться, смеяться и...

— Крошка Одри. Вот я кто[1].

И качнулась ко мне, лучась. Но молодая луна и газовые фонари — вот и все, что ее освещало. Белая, как мертвец, глаза и рот черные, как лакрица.

— А пошла ты, знаешь куда!

Она на мгновенье застыла. Потом стала серьезно кивать.

— А-а, — сказала. — Так. Хорошо.

Повернулась, пошла, все кивая, остановилась. Повернула обратно.

— Олли!

— Что?

— Ты уж прости. Только...

— Опоздала немного.

И сразу, вдруг, она опять стала прачкой, голова выдвинута вперед, сжаты кулачки.

— Ты! Станешь ты когда взрослым, нет? Это место. Ты. Ты и мамка твоя, папка твой. Вы для нас благородные чересчур, да? У вас ванная. «Я еду в Оксфорд!» А про... про тараканов слыхал, и... ? Нет? Ладно! Во вторник. И ноги моей больше... Ни за что! Так что болтай себе, смейся. Ясно? Болтай и смейся!

— Черт! Про что мне болтать?

— Болтай-болтай.

— Да про что?

Она с ненавистью выдохнула мне в лицо:

— Про нас с папкой.

---

[1] «Крошка Одри смеялась, смеялась, смеялась» — расхожая фраза 30-х годов, пущенная в обращение благодаря не очень приличному анекдоту.

Повернулась и нестойко двинулась через Площадь. Только после эркера мисс Долиш снова овладела походкой. Я стоял, смятенный, пристыженный, впервые, несмотря на злость, по-иному увидев Эви в ее ежечасной битве за опрятность и красоту. Будто этот объект разочарованья и страсти вдруг принял атрибуты личности, а не вещи. Будто я — будто мы — могли бы заняться чем-то, музыкой, например, вместо неотвратимых, неизбежных сражений. Чувство это было так сильно, несмотря на мою ярость, что я крикнул пустой Площади:

— Эви!

Она опять ровно переступала ножками. И поскольку из-за шума ярмарки она могла не услышать меня, на секунду меня подмывало броситься за нею, аж в темную пасть Бакалейного тупика. Но я увидел, как засветлилось папино окно, как мамина тень прошла по занавескам. И еще я увидел — или мне показалось — взгляд Эви и взмах расслабленной пятерни над левым плечом. И она ушла. Я потерянно поплелся домой — думать про эту неоткрытую личность и про странную ее оговорку.

II

После окончания своего первого оксфордского семестра я поездом поехал в Барчестер, а там сел в автобус до Стилборна. Я проторчал в Барчестере, сам не знаю зачем — бродил вокруг собора, пасся по книжным лавкам, — пока не спохватился, глянув на часы, что, если не потороплюсь, пропущу последний автобус. Я на него успел и зарылся в книжку. Будто пытаясь таким способом что-то продлить. Это «что-то» был никак не Оксфорд. Химия проглотила музыку и оказалась, к моей досаде и удивлению, отнимавшей все время работой. Я еле выкраивал небольшой досуг для тайного порока музыки, правда весьма увлекательного. Вдобавок я рвался поскорей увидеть родителей, продемонстрировать модную ширину серых брюк, все про все рассказать. Эви уехала, Имоджен вышла замуж. Я был настоящий студент с соответственным пониманием долга и ценностей, без забот и печалей.

И — вот поди ж ты — углубился в книжку.

После старых обвалов
Новый идет водопад,
Протяженность без шири.
Место без меры,
Молитва без слез.

Нет, увольте, это не для меня, как он ни прекрасен. Я был ученый с одним тайным пороком. Зря я замахнулся на второй — он был мне уже не по зубам. Я отложил книжку, приготовившись ко всему, а меж тем автобус, по-коровьи качаясь, одолевал в темноте Старый мост. Я пронес два свои чемодана от остановки к нашему флигелю и обнаружил, что там темно. Нашаривая под ковриком ключ, я услышал несущийся через Площадь от ратуши мамин голос. Она меня крепко и нежно расцеловала. Мы не успели еще расположиться, а я уже понимал, что происходит, ибо увидел папу со скрипкой в черном деревянном футляре. Я как бы разом снова вступил в ту область, где все ясно без слов, и когда папа включил свет, на маме действительно оказалось парадное серое платье, золотая брошка и легкие розовые пятна под каждой скулой. Она смеялась, сверкала, сияла. И без папиной скрипки и темно-серого костюма я мог догадаться, что Стилборнский оперный союз переживает свое ежедвух-, не то трехлетнее воскрешение. Для мамы, по-моему, это был всегда звездный час. Она завладевала пианино. И с капельмейстером офицерского колледжа на тромбоне, бамстедским приходским священником на контрабасе, наборщиком на альте и папой в качестве первой (и единственной) скрипки она задавала тон в театральном оркестре. Скудость этого оркестра не объяснялась просто такими понятиями, как талант — не талант. Будь в Стилборне куда больше людей, владеющих инструментами, для них не нашлось бы места. Та же незадача скрывалась за масштабами труппы. И «Сельская девчонка», «Веселая Англия», «Сирень цветет» и «Чу Чин Чо» исполнялись в весьма стеснен-

ных условиях. Но будь у нас, предположим, бездна талантов, гигантская сцена, оркестровая яма и зрительный зал — все равно оставалось бы всепобеждающее ограничение — социальное. Замкнутая среда колледжа была для нас недостижима. И старшина О'Доновáн помогал нам исключительно потому, что там он был сбоку припека. В свою очередь многие — добрая половина населения Стилборна — отсеивались механически, обитая в таких местах как Бакалейный тупик и Мельничная и будучи оборванцами. Хоть Эви пела и могла любого свести с ума, она не имела ни малейшего шанса даже постоять в хоре. Искусство объединяет. Но не до такой же степени. Так что все делалось горсткой людей, обведенных незримой чертой. Никто и не заикался об этой черте, но помнили все.

Наш SOS родился из подспудно бродившего в обществе духа. У нас не было ритуалов, кроме ежегодной процессии мэра. Ни речей, ни парадов. Сами себе трагедия, мы и не подозревали, что нуждаемся в катарсисе. Шоковую терапию нам заменяли «Международные новости». Но время от времени беспокойный дух воспламенялся от сжатия и мы беспокойно ворочались во сне. SOS, мирно почивший после очередного сезона, пробуждался и зализывал раны. Их было предостаточно. После профессиональных встреч лишь немногие члены труппы не прерывали отношений. С роковой неизбежностью желание играть, увлекать, впечатлять порождало пышно цветущую зависть, ненависть, склоки и обиды, которые приходится таить в обыденной жизни. Постановка изящной оперы уничтожала половину нашего потенциала одним махом, потому что всегда находились двое-трое, столь оскорбленных неполучением роли героя или героини, что категорически просили их более не беспокоить. Или — еще того хуже — мрачно мирились с второсортным жребием и вступали на путь театрального саботажа. К концу длившихся у нас три вечера выступлений добрая половина труппы чувствовала себя столь смертельно обиженной, что клялась в жизни более не подвергать себя подобным унижениям. Вот почему SOS не мог функционировать ежегодно. Какой-то период требовался, чтоб затянулись шрамы. Распри затихали, враги снова раскланивались при встрече. И тогда уж — однако отнюдь не в соответствии с графиком — снова начиналось брожение. Собирался комитет, возрождался союз, анализировался понесенный в прошлый раз урон, а затем объявлялось, что в поддержку такой-то и такой-то благотворительной акции, скажем доктора Барнардо [1], SOS представит в ратуше такой-то и такой-то мюзикл. И, завидев на маминых скулах эти красные пятна, я сразу понял, что не об Оксфорде сейчас будет речь. Возбужденная мама сама хотела поговорить.

— Ну и что же у нас на сей раз, мама?

— Можно, наверное, чайку попить, — сказала мама. — Поставишь чайник, папочка, да? Господи, я совершенно... Это такая прелесть, знаешь, Оливер. У нас никогда еще такой прелести не бывало!

Она напела несколько тактов, расхохоталась.

— Я спрашиваю, как это на сей раз называется?

— «Червонный король». Местами упоительная музыка. Ты оценишь.

— Я не пойду. Не волнуйся.

— Ну, мы это еще обсудим, — сказала мама. — Знаешь, детка, у нас ведь сейчас профессиональный режиссер. Ты, наверное, слышал про него в Оксфорде. Мистер де Трейси. Мистер Ивлин де Трейси. Я уверена, ты про него слышал.

— Ни сном ни духом.

— Он очарователен. Сразу преодолел все сложности. Подумай — профессиональный...

— Сложности?

— Ну с приемной мэра. Мистер де Трейси взял и сказал: «Ребятки, нам просто придется изменить маршрут. Вот и все». Папочка, ты ситечко забыл!

— Так что там с этой приемной?

— Ты не поверишь. Он заявил: «Нет». И с тех пор она стоит запертая.

— Но не можете же вы...

---

[1] Томас Джон Барнардо (1845—1905) — известный филантроп, основавший множество детских приютов — так называемых Домов Барнардо.

— Мистер де Трейси повесил циклораму на полметра дальше и устроил так, чтоб труппа ходила там.

— Но — почему же?..

— Вот-вот, ты спрашиваешь. Естественно. Папочка, я надеюсь, ты поставил чайник? Понимаешь, Оливер. Это из-за дочки. Ее просто оставили с носом.

— Не может быть!

— Представь!

— Нет!

— А я тебе говорю, Оливер. Так что ты понимаешь.

Я понял. Без дочери мэра миссис Андерхилл труппа была непредставима. Много лет назад она сезон продержалась на профессиональной сцене, и у нее был поставлен голос. С тех пор она сделалась нашей бессменной инженю, что многое упрощало. Я видывал ее в персидских шальварах, японском кимоно, елизаветинских фижмах. Голос ее был создан для «Друри-лейн», а нашу бедную ратушу сотрясал как обувную коробку. Выйдя как-то из лесу, спускаясь к Стилборну и услышав ее верхнее *до*, я даже погрешил на пациента из соседней больницы. Если комитет отверг услуги миссис Андерхилл — логично, что престарелый родитель запретил SOSy пользоваться приемной и, естественно, тянул с этим извещением, пока оно не сделалось роковым.

— И как же вы?..

— С черного хода, конечно. Мне говорили — жуткая теснота. На арьерсцену слева, — сказала мама, гордо смакуя терминологию. — Только так. Каждый, кто зайдет справа, задевает циклораму. Даже видно иногда, как она колышется.

— Какое — иногда, — сказал папа. — Младший Джонсон сегодня чуть ее локтем не проткнул.

— Но как же... То есть?

Мама поняла.

— Ну, ей уже под шестьдесят, детка, а все на свете имеет конец, правда? Пришлось уступить место кой-кому помоложе.

— И какую же она теперь играет роль? Ведьмы?

— Уж не думаешь ли ты, что Элси Андерхилл станет играть кого-то кроме героини? Мой дорогой Оливер! Она просто хлопнула дверью! Да, скажу тебе, это было нечто! Некоторые считают, что Клеймор был не совсем тактичен...

— Клеймор? Так он еще в героях?

Норман Клеймор, владелец и издатель «Стилборнского вестника». И теперь муж Имоджен. Сердце у меня екнуло, когда я понял, кто сменил миссис Андерхилл в качестве инженю.

— Они — прелестная пара, детка, пусть даже голос у мистера Клеймора чуточку слабоват...

— Абсолютнейший комар.

— Ну и можно, наверное, согласиться, что внешне он не вполне Айвор. Но миссис Клеймор — то есть Имоджен Грантли, — вот уж кто действительно настоящая принцесса.

Это я мог себе представить. И устремился мыслью обратно в Оксфорд.

— У нее голос, — сказал папа, — как у...

— Да-да, папочка! Выпей еще чашечку.

Имоджен еще и пела. Природа явно перестаралась. И я решил завтра отправиться в долгую-долгую прогулку, чтоб не услышать ее и снова не влипнуть.

— Воображаю, какая давка на этом вашем черном ходе!

— О, мы в оркестре, конечно, не очень знаем, что там происходит. Но ты нам расскажешь, детка.

Я рассеянно кивнул, думая про Имоджен. Потом:

— Что ты сказала, мама? Я? Расскажу?

— Это в самом начале, детка. Одна сценка...

— Постой! Минуточку!

— Ты бы хоть дослушал, что я хочу сказать!

— Послушай, мама...

— Одна сценка. По-моему, в Венгрии или в Руритании, словом, где-то такое.

Ресторан. Она не знает, что он переодетый король, он не знает, что она переодетая принцесса Пафлагонская. Очень остроумная идея. И как он додумался!

— Нет, мама, нет! Я тебя предупреждаю, мама...

— И цыган, конечно, им играет, и тут они влюбляются...

— Нет!

Я заметил, что папа не смотрит ни на меня, ни на маму и так смотрит в чашку, будто читает в ней свою судьбу.

— Только представь, — сказала мама. — Он играет, а у них такой трогательный разговор, и король ему дает набитый золотом кошелек, и он уходит, и тут оркестр тихо-тихо подхватывает тему цыгана, и он — то есть это уже король — начинает петь, сидя с нею рядом... — и моя вдохновенная мама запела на пределе страсти: — «В сердце моем, о дитя, расцветает заря!»

— Не хочу!

— Послушай, Оливер, — сказала мама, слегка отрезвев. — Не изводи меня! У нас младший Смит изображает цыгана, а папочка за него играет. Но что толку. Он просто смычком в такт музыке не умеет водить. И я вчера предложила мистеру де Трейси. Завтра, на заключительном представлении, сказала я, мой сын Оливер с удовольствием нам поможет...

Я в отчаянии ухватился за соломинку.

— Пойми же, мама! Я давно не играю на этой проклятой скрипке! Да и как ты себе представляешь — могу я, по-твоему, до завтра разучить музыку?

— Но этого и не требуется, детка.

— Так что же тогда делает этот ваш цыган? Пюпитр за собой таскает и «Цыганские романсы»?

— Это та музыка, которую ты играл перед тем, как уехать в Оксфорд, — сказала мама. — Помнишь, как она тебе нравилась, детка, ведь ты играл с утра до вечера, ежедневно, три недели! И, по-моему, ты дивно играл.

Я разинул рот, потом закрыл. С упреком глянул на папу, но он продолжал изучать свою чашку. С упреком глянул на маму. Но она, снова безмятежная, ликующе улыбалась.

Назавтра, в субботу утром, я покорно поплелся с мамой в ратушу. Мы вошли в большую дверь с западной стороны, и там нас ждали трое. Мистер Клеймор с Имоджен сидели на сцене за столиком. Я был милосердно избавлен от официальной церемонии знакомства, потому что, когда я следовал за деловито устремившейся через зал мамой, футляр моей скрипки расстегнулся, и содержимое вывалилось на пол. Я водворял его на место, потом стоял со смычком в одной руке и скрипкой в другой, пока меня наконец заметили. Я смотрел на Имоджен, и она улыбнулась мне своей чудной, морщащей губы улыбкой, но ничего не сказала, потому что говорил мистер Клеймор, и голос его, как всегда, мне напомнил скрежет ногтя по стеклу.

— Вот и он, Ивлин. Нам ведь требуется всего-навсего пробежать этот кусочек диалога, не так ли?

Сперва в голове у меня пронеслось, что это уже текст пьесы, потому что появившаяся из-за кулис слева от меня фигура была костюмирована.

— Мистер де Трейси, — сказала мама. — Это мой сын Оливер. Оливер, детка, это мистер Ивлин де Трейси.

Мистер де Трейси отвесил низкий поклон, но не сказал ни слова. Только улыбался мне со сцены сверху вниз и ждал. Очень длинный и тощий. В узких клетчатых панталонах и длиннющем, чуть не до колен, пиджаке. Плюс отложной воротник и черный фуляр над расшитым жилетом. Странно, и что было делать такой фигуре в Венгрии или Руритании? Очень мило с его стороны, что он не только поставил пьесу, но еще согласился играть.

Мистер Клеймор, однако, начинал нервничать, что было непонятно в субботу утром. Номер в типографию отправляли вечером в четверг. Мама повернулась ко мне:

— Ты настроился, детка?

Я нырнул под зеленый суконный занавес, отделявший оркестр от зала, и взял

на пианино *ля*. Пока я настраивал скрипку, мистер Клеймор беседовал с мистером де Трейси.

— Кто этим займется, Ивлин, я или вы?

Тут я заметил любопытную вещь относительно мистера де Трейси. Он сотрясался. Он ничуть не изменил выражения на своем длинном лице с туманной улыбкой, неизменной улыбкой, чуть размыкающей губы, но длинное тело сотряслось — три-четыре раза — и стихло. Сотрясение включало и ноги, имевшие тенденцию выворачиваться в коленках.

— Вы, Норман, я полагаю. В вас пропадает такой профессионал!

Мистер Клеймор надул щеки.

— Что вы, Ивлин, старина, просто я хочу вас избавить от лишних трудов.

— А старый спец вроде меня всегда рад поучиться, Норман. У вас бесподобный нюх.

Мистер Клеймор удовлетворенно рассиялся.

— Не скрою, я даже сам иногда удивляюсь... Однако. Дайте-ка мне сообразить.

Он соображал, склонив подбородок на белую руку. Мистер де Трейси продолжал меня озирать со своей туманной улыбкой. Глаза, огромные, два старых пожелтелых бильярдных шара, и на каждом очко — зрачок. Волосы на макушке все вылезли, кроме скромного черного хохолка, натренированного склоняться к затылку. Улыбка была загадочна и дружелюбна.

Мистер Клеймор выпрямился на стуле.

— Тэк-с! Давай сюда, мальчик!

Я взобрался на возвышение и очутился в метре от Имоджен.

— Сцена такова, — сказал комариный голос. — Вы видите богатых посетителей и подбираетесь со своей музыкой — играя, играя — все ближе, сюда. Играйте себе на здоровье, пока не заговорю я. Тут вы резко сокращаетесь — стихаете, стихаете, — пока я не брошу вам этот кошель с золотом. Вы кланяетесь низко, оччень низко и ретируетесь задом. Ясно?

На Имоджен был оранжевый пуловер и светло-зеленая юбка. Я разглядел золотистый ободок под искрящимся обручальным кольцом.

— О Боже! Он не слушает! Смотрите, Олли...

— Очень трудно так вводиться, — сказал мистер де Трейси тихо из-за моей спины. — Он, полагаю, робеет. Я бы непременно робел.

— Вы слышали все, что я сказал?

— Да, мистер Клеймор.

— Норман, мне кажется, не знаю, как вам? Он должен знать, откуда выходить. Это бы облегчило задачу, не так ли?

— Он выйдет оттуда же, откуда выходил этот кретин Смит, естественно.

Голос у мистера де Трейси был прелестно чист и нежен, и он отпускал его мелкими дозами, по каплям, сознавая, очевидно, всю его драгоценность.

— Может быть, мо-о-ожет быть, он не знает, что Смит выходил на сцену в центре, вот тут.

Мистер Клеймор приложил кулак ко лбу и закрыл глаза.

— Значит, он не сидел вчера вечером в зале!

Мама заговорила из темноты:

— Он очень поздно приехал из Оксфорда. Сдавал коллоквиум, знаете! Им остались очень довольны, правда, Оливер?

Мистер Клеймор переместил кулак на стол и открыл глаза.

— Меня уверяли, что он будет сидеть в зале, чтоб почу-у-увствовать вещь!

Мистер де Трейси посодрогался и стих.

— Мы уж постараемся, Норман, старина.

— Тэк-с. Значит, юный Оливер. Вы начинаете играть, когда я говорю: «Мне уже кажется, что это место самое очаровательное на всем белом свете». Ясно?

— Да, мистер Клеймор.

— А когда я говорю: «Музыка говорит вам про то, о чем я не в силах, о чем я не смею сказать!» Тут вы сокращаетесь.

— Да, мистер Клеймор.

Я отступил за холщовый задник. Между ним и висевшим в качестве циклорамы сукном было примерно полметра. Имоджен сказала своим чудным голосом:

— Какое странное, очарованное место. Оно пугает меня!

— Мне уже кажется, что это место самое очаровательное... нет, погодите. Мне уже кажется, что это место самое очарова-а-ательное на всем белом свете!

Я вышел на сцену и начал играть, но тут же и перестал, потому что мистер Клеймор вскочил и махал руками.

— Стоп! Стоп! Стоп!

Мистер де Трейси обнял меня за плечи и похлопывал ладонью по правому локтю.

— Норман, старина. Лучше, пожалуй, им займусь я. Исключительно для того, чтобы вы поберегли ваш голос и ваши силы для спектакля. Мм?

Мистер Клеймор рухнул на стул и саркастически расхохотался.

— Как скажете, Ивлин!

Он барабанил пальцами по столу, пока Имоджен не прикрыла его руку своей ладонью, взглянув на него с пониманием. Мистер де Трейси ронял свои чистые, нежные слова мне в ухо.

— Вы так дивно играете, милый мальчик, что все у вас прекрасно получится. Не правда ли? Мм? Но если — если! — вы выходите этим великолепным, размашистым шагом, вы оказываетесь здесь, у самой оркестровой ямы, пока не успели еще сыграть ни единой ноты для короля и принцессы, которые сидят — там. С другой стороны, если вы делаете даже единственный свой великолепный размашистый шаг (рука его нежно меня похлопывала) — вы уже не выглядите подобострастным, раболепным, заискивающим скрипачом-цыганом, не правда ли? Мм?

— Да, сэр.

— Зовите меня Ивлин, милый мальчик. Все зовут. А я буду звать вас Оливер. Мм? Итак, пробуем разок-другой войти. Вы делаете много малю-юсеньких шажков, понимаете, почти стоя на месте. И сцена сразу кажется зрителям больше — как ни странно! Великолепно! Так!

Тем временем я был так пригнут долу, что хорошо видел коленки мистера де Трейси и поражался проворству и свободе, с какими двигались вбок его суставы.

— Оливер, мой милый, и не спорьте! Вы уже играли на сцене! Мм?

— Нет. Честное слово.

— Даже в школе?

— Меня пробовали, но я провалился.

— Сударыня, поздравляю вас с таким сыном.

В зале незримо хохотала мама.

— О мистер де Трейси! Уж я-то...

— Природный талант плюс великоле-епное исполнение на скрипке. Нда-с. Мы готовы?

Мистер Клеймор снова саркастически расхохотался.

— Мы давно готовы!

— Так, Оливер, мой мальчик.

— Мне уже кажется, что это место самое очаровательное на всем белом свете!

Я переступал крошечными шажками и играл в ожидании сигнала для пианиссимо, но его не последовало. Зато мистер Клеймор вскочил и размахивал руками. Я перестал играть.

— Но это невозможно! Абсолютно невозможно! О мой Бог!

— Я ждал, когда вы скажете...

— Я все сказал! Я про-кри-чал!

На сей раз рука мистера де Трейси обвила плечо мистера Клеймора.

— Норман, старина, мне придется вас приструнить. И призываю вас смириться, мм?

— Мой Бог! Мой Бог!

— Это все темперамент. Успокойтесь, старина. Ну?

— Мой Бог!

Наступила долгая пауза. Мистер де Трейси похлопывал ладонью. Мистер Клеймор отнял кулак ото лба и открыл глаза. Имоджен улыбнулась ему своей чуд-

ной, морщащей губы улыбкой. Мистер Клеймор уронил голову на плечо мистеру де Трейси, схватил его за левый бицепс и крепко стиснул.

— Простите, Ивлин, старина.

— Ну-ну, Норман, старина. Я вот думаю. Может быть, нам прерваться?

— Нет-нет.

— Вы уверены, что вы...

— Да-да.

Мистер Клеймор откинул голову, встряхнул волосами и проследовал к своему месту.

И опять Имоджен положила на его руку свою ладонь. Мистер де Трейси, улыбаясь, повернулся ко мне.

— Так или иначе, юноша, нам надо — убавиться. Нам требуется — ну, как это?

Он взялся рукой за подбородок, вперив оба очка на желтых бильярдных шарах во тьму зала.

— Нам требуется... — он отнял руку от подбородка и, отведя наотлет, очертил ею полукруг, что-то незримое держа между большим и указательным пальцем, — убавить звук!

Комариный голос пропел за столиком:

— У его отца есть ну-как-его-там в скрипке.

Мистер де Трейси распростер руки.

— Да! О чем я думаю! Сурдинка! Именно!

— Вот еще! — крикнула мама из темноты. — С какой стати Оливеру пользоваться сурдинкой! В жизни не слышала такой чуши!

— Мама, послушай...

— Спокойно, Норман, спокойно. Предоставьте это мне. Поберегите силы для спектакля. А вы, сударыня, — мистер де Трейси, склонив лицо, туманно улыбался темноте, — объясните, почему бы вашему сыну не воспользоваться сурдинкой?

На сцену взлетел вредный мамин голос:

— Да потому что это все увидят!

— Резонно, Норман, старина.

— Никто ничего не увидит, Ивлин, все будут смотреть на короля и принцессу. Он абсолютно эпизодичен.

— Все — безусловно! — будут смотреть на Оливера, мистер Клеймор! И слушать его! Знаете, если у вас такой голос, что вас не расслышать из-за одной-единственной скрипки в самом дальнем углу сцены...

— Единственной скрипки! — пропел мистер Клеймор. — Мальчишка гремит как целый духовой оркестр!

— Он любезно согласился для вас сыграть, и я не желаю...

— Спокойно, Норман, старина. Сядьте. И вы тоже, Имоджен, моя радость. Сударыня...

— В этой постановке вообще не чувствуется никакого уважения к музыкантам!

Мистер Клеймор стукнул себя по лбу, потом тяжко навалился грудью на стол.

— Я так устал. О Боже! Так устал.

Мы все молчали. Потупясь в смущении, я увидел быстро и широко распахивавшиеся и смыкавшиеся колени мистера де Трейси и испугался, как бы он не рухнул. Я проблеял не очень уверенно:

— Я вот думал... есть такой... фокус, что ли...

Мистер де Трейси, не прерывая улыбки, слегка приоткрыл рот и глубоко запустил в меня свои меченые шары.

— Да-да, мальчуган? Оливер?

— Именно что фокус. Только мне пенс нужен. Лучше старый. Ага, вот этот пойдет. Между грифом и порожком. Понимаете, если я... придется чуть приспустить колки. Значит, если я — вот так. Сую пенс сюда, под струну *ля*, потом под *ре* и потом под *соль*. Так. Потом, конечно, я снова настроюсь. К *ми* это почти не относится, но *ми* не очень и нужна для... этой штуки. Вот. Погодите секундочку, я настроюсь.

— Никто ничего не увидит, мистер Клеймор! Надеюсь, вы довольны! И ни один человек вообще не услышит Оливера.

Мистер де Трейси молитвенно смотрел на меня:

— Гений. Истинный гений.

— Так устал. О Боже.

— Ивлин, мне кажется, с Нормана хватит...

— Имоджен, дражайшая, милый друг, скрипка цыгана — это важно. Норман, старина, я вынужден снова вас приструнить. Ну! Еще разок. И потом — мило выпьем. Готовы, Оливер, мой мальчик?

— Мне уже кажется, что это место самое очаровательное на всем белом свете.

Выворачивая голову до упора и практически зарыв ухо между струн, я кое-как ухитрялся производить некоторый писк. Другое ухо таким образом успешно улавливало мистера Клеймора. Два комара. Меня уже начинал затягивать феномен этой призрачной игры, но я не успел еще войти во вкус, как мистер Клеймор вытащил из кармана мешочек и высоко подбросил в моем направлении.

— Вам надо ловить это, мальчуган, — сказал мистер де Трейси, и его обычный голос, мягкий и тихий, громом прогудел среди комарья. — Если упустите, ползать придется.

— Да, сэр. Ну как?

— Дивно. Прелестно.

— Я его совершенно не слышала, — кричала мама из глубины зала. — Ни единой ноты!

Мистер Клеймор сверкнул взором во тьму.

— Это интимная сцена, — пропел он. — Вы еще будете говорить, что и меня не слышали!

Мама весело расхохоталась.

— Ну, честно говоря...

— Ивлин, старина! Идея! Мы же его можем испо-о-ользовать! Чтоб оживить ту большую сцену — перед самым Великим Дуэтом! Помните?

— Да-да, старина. Но едва ли он может быть цыганом, верно? То есть во дворце!

Я молча стоял со смычком и скрипкой, покуда решалась моя участь.

— Ведь так и просится! В конце концов, по крайней мере двенадцать пар придворных, лордов и леди, участвовали в первоначальной постановке...

— Это идея, старина, это, бесспорно, идея.

— Он может, например, быть стражником. Встанет по стойке «смирно», обнажит меч. Отсалютует и уйдет.

— Где вы его хотите поставить?

— Здесь? Нет — там! Или в центре, в глубине сцены, против окна?

— Я думаю — справа, на авансцене. Станьте тут, пожалуйста, мальчуган.

— Ивлин, старина, когда я видел в этой роли Айвора, он отпускал придворных жестом — вот так. Но при единственном стражнике я, пожалуй, лучше скажу что-нибудь, верно? Как вы считаете?

— Мы это еще обсудим, Норман. В рабочем порядке. В каком он будет костюме?

— Пусть он будет гвардейцем, — сказала мама. — Он будет дивно выглядеть в шлеме, или что там они носят.

— Безусловно, сударыня. Но — увы! Все пять мундиров заняты в хоре. И выстроятся с дамами, ожидая финала.

Мистер де Трейси снова распростер руки, склонил к плечу голову, по очереди нам улыбнулся. И содрогнулся слегка.

— Ничего не попишешь.

Я облегченно вздохнул. Но тут же услышал, как мама спешит через зал к зеленому занавесу.

— Мистер де Трейси, мы что-нибудь безусловно придумаем!

— Мама, мама...

— Ах, сударыня, мы бы и сами рады...

Мистер Клеймор стукнул себя по лбу.

— Идея. Мысль.

— Да, Норман, старина?

— У меня ведь... Я вам показывал заметку о моем Эссексе?

— Показывали, старина.

— Это на Барчестерском карнавале, — сказала Имоджен, несколько оживляясь. — Тысяча лет истории. Норман был изумителен.

— Ну так вот! Я ему это одолжу, и мы сделаем из него бифитера.

— Согласен — камзол и лосины — для бифитера в самый раз. Но у него же еще и шляпа, старина.

— У меня есть именно то, что надо, мистер де Трейси. Моя старая черная широкополая шляпа!

— Послушай, мама, по-моему, мне...

— Минуточку, Оливер. Я сегодня же сделаю ей бумажную оторочку и помпончик пришью.

— Прелестно. Великолепно!

Мистер Клеймор барабанил пальцами по столу.

— Может быть, мы это провентилируем в гардеробной?

— Но есть еще и цвет, старина. Бифитер же должен быть красный с черным, правда?

Мистер Клеймор расхохотался.

— Мы, между прочим, в Венгрии. И венгерский стражник вовсе не обязан быть тех же цветов, что английский бифитер, не так ли?

— Обо всем-то вы подумаете, Норман. Хотя — погодите. Он же должен держать алебарду. Эссекс, мне кажется, не носил алебарду?

— Ну конечно же нет, Ивлин, — пропел мистер Клеймор. — Вы просто издеваетесь надо мной! У меня был меч, конь, целый отряд слуг!

Мистер де Трейси туманно ему улыбнулся.

— Семеро моих слуг с покорной готовностью...[1]

— Даже больше. Но — действительно загвоздка. Алебарды у нас нет.

Я начал ненавязчиво ретироваться.

— Значит, ясно. Я только...

— Погодите, Олли. Генри Уильямс. Вот кто нас выручит. Да. Я поговорю с ним по дороге домой. Он нам мигом соорудит алебарду.

— По-моему, — сказала мама из-за зеленого сукна. — По-моему, у бифитера на туфлях тоже помпончики...

— У вас будет картинка, сударыня, я уверен.

— Ах, да! — заходясь веселым смехом вскрикнула мама. — Есть, есть — у Оливера в Детской энциклопедии!

— Мама!!! О Господи...

— Тэк-с, — пропел мистер Клеймор. — Вы можете после обеда взять у меня костюм, Оливер, и заберете алебарду у Генри, как только она будет готова. А теперь разработаем сцену.

Я слез вниз и оставил там свою скрипку, смычок и свой пенс. Хотел пронзить маму свирепым, пасмурным взором, но в зале было слишком темно. Когда я вернулся, мистер Клеймор и Имоджен сидели посреди сцены друг против друга, так задрав головы, будто переглядываются через забор. Мистер де Трейси изучал швабру. Потом подал мне.

— Вот вам алебарда, мальчуган. Справа, на авансцене. И так будете стоять всю последнюю сцену за исключением финала.

— Ивлин, старина, я же должен что-то сказать! Пожалуйста, дайте мне слова!

— А вы не хотели бы ограничиться жестом, как Айвор?

— Ага, знаю, Ивлин! Как там? Но погодите, ваше королевское высочество, мы не одни... — Повернулся и выбросил мне в лицо руку.

— Как величаво, дивно, старина. Редкое понимание театра. Айвор сам не придумал бы лучших слов!

---

[1] *В.Шекспир.* «Двенадцатая ночь», акт II, сц. 5.

— И тут он, конечно, должен отдать честь.

— Интересно, как вы будете отдавать честь алебардой?

— Пусть лучше опустит ее концом к полу. Попробуйте, юный Оливер! Осторожно! Господи! Вы мне чуть глаз не вышибли!

— Я думаю, — не дрогнув коленками, сказал мистер де Трейси, — я думаю, лучше ее не опускать, потому что тогда она пересечет всю сцену. Может быть... позвольте мне, Оливер, мой мальчик. Стойте — вот так. И когда король к вам подходит — так величаво, дивно — и говорит, вы стойте та-ак и делайте та-ак. Да? А далее вы повернетесь и удалитесь — вот тут — и мы еще раз увидим ваш великолепный размашистый шаг, да? Ну, начнем!

— Оставь нас, любезный!

— Ах нет, нет, нет! — крикнула мама, посмеиваясь. — Не может он сказать «любезный»! Король! Бифитеру!

— Какое вы звание предпочли бы, сударыня?

— Может быть, генерал? — мама еще смеялась. — Чем плохо? А?

— Я не собираюсь называть генералом какого-то мальчишку!

— Он, в самом деле, для генерала, пожалуй, несколько юн, старина. Оливер, мальчуган. Какое вы предпочли бы звание? Мм?

— Не знаю. Я бы...

— Я назову его — сержант. Вас это устроит, сударыня? Сообщите нам свое мнение!

— Ах, при чем тут я, мистер Клеймор! Мое дело — исключительно музыка. Но если вы меня спрашиваете, мне кажется, уж скорее полковник.

— Полковник! Ха! Это он — полковник?

— Осторожно, Норман, старина.

— Полковник!

— Как насчет майора, старина, мм? Подойдет вам майор, мальчуган?

— Пусть майор, очень хорошо — майор, да, Оливер?

Мистер Клеймор прошел три шага к краю сцены. Уперев в бока кулаки. Бледный, потный, трясущийся.

— Сударыня, — пропел он. — Вы только что изволили заметить, что ваше дело исключительно музыка. Вот и ограничьтесь ее пределами!

Мама зашлась звонким серебристым смехом.

— Я-то музыку хоть умею читать, — сказала мама, — и не нуждаюсь в том, чтоб мне ее разобъясняли нота за нотой!

Молчание было зловещим. Мистер Клеймор повернулся на пятках и медленно проследовал в глубь сцены налево, пока, оказавшись в углу, чуть не проткнул носом рисованный задник. Я в тоске разглядывал мою швабру. Имоджен все сидела, все улыбалась какой-то своей тайне вечной улыбкой сивиллы. И длилось молчание.

Вдруг мама бросилась к пианино, отпахнула крышку, громыхнула по клавишам. Даже в таком тусклом свете я видел, что она вся трясется, как мистер Клеймор.

— Пошли, Оливер!

— Куда?

— Домой, конечно. Куда же еще? В зоопарк?

Мистер де Трейси вышел на середину сцены. Он обнимал нас всех, от маминой прыгающей брошки до кудряшек на затылке мистера Клеймора, — улыбкой и жестом бесконечной нежности и сочувствия. Но он ни слова не успел сказать, а мистер Клеймор уже пел рисованному заднику:

— Больше никогда! Нет! В жизни! Клянусь, никогда-никогда!

Мама бухнула крышку на клавиши.

— И я вам клянусь, мистер Клеймор — никогда! Ни за что! Идем, Оливер!

Мистер де Трейси качал головой, улыбаясь нежно.

— Артисты — артисты до мозга костей! Мм? Ну, ну же, ребятки! Имоджен, дражайшая! Мм? Как часто я видел такое! Перенапряжение, малая искра и — мм?

Мама стояла, обеими руками вцепившись в пюпитр, искоса глядя на сцену.

Мистер Клеймор пел:

— Никогда! О, никогда-никогда!
— Послушай, мама, может, хватит!
— Имоджен, дражайшая...
— Я хочу есть, Норман. Ну, пожа-а-алуйста, милый!
— Артисты до мозга костей...
Опять была долгая пауза. Мама вдруг расхохоталась, иначе, тоном ниже, и снова смолкла, глядя на пианино.
— Ну мама, пусть называет меня хоть теткой Чарлея, если ему от этого легче!
Мистер де Трейси расхохотался раскатисто, обеими руками и веселым лицом призывая нас всех присоединиться.
— Придется мне еще раз вас всех приструнить. Мм? Я настаиваю! Кто у нас режиссер? Мм? Сударыня? Оливер? Имоджен, дражайшая, очаровательная? Норман, старый воитель? Вы не можете вынести все — все! — на этих широких плечах!
Пауза была уже короче. Мистер Клеймор слегка отвернулся от задника и проговорил, задыхаясь:
— Капитан. Я назову его «капитан». «Оставьте нас, капитан». Так я скажу.
Мистер де Трейси обернул меченые шары к залу и послал туда улыбку.
— Мм?
— Мне это совершенно безразлично, мистер де Трейси. Я ограничиваюсь пределами музыки. Поступайте как знаете. Больше я ни слова не скажу.
Мистер Клеймор повернулся на пятках, сжал кулаки, открыл рот. И закрыл. Стоял и смотрел. Мистер де Трейси продолжал улыбаться, ласково, нежно.
— Чудно! Великолепно! Договорились! А теперь — немножечко выпьем! Норман? Оливер? Дамы?
— Благодарю вас, мистер де Трейси. Но я до таких ме-ест не охотница...
Пристраивая швабру к двери приемной мэра и предвкушая стаканчик пивка или сидра, я услышал мамино звонкое, непререкаемое:
— ...как и мой сын!

После обеда я взял свой костюм цыгана и свой бифитерский камзол с лосинами у мистера Клеймора. Принес домой и примерил. И то и другое было маловато. Хотя мистер Клеймор ростом был примерно с меня, камзол зверски жал в груди, зато, правда, был так широк в талии, что маме пришлось его присборить, чтоб как-то приладить на меня. Костюм же цыгана был сооружен для кого-то вдвое меня короче, а тоньше прямо-таки вчетверо. По этой причине нечто вроде малиновой атласной жилетки лишь кое-как прикрывало мне спину, и единственное, что оказалось впору, был красный вязаный колпак, который мог растягиваться по мере потребности. Он был обшит золочеными бусинами, и треньканье их при каждом повороте моей головы, было погромче, пожалуй, думал я не без горечи, чем пение мистера Клеймора и моя придушенная скрипка. Но мама сказала, что все это мне безумно идет. Покончив с примеркой, я пошел в гараж за алебардой. Генри был там, но в офисе, облаченный в костюм.
— Привет, Генри. Сделал алебарду?
Генри повернулся от конторки.
— Ведь как, мастер Оливер. Суббота, время после обеда. Не все всю дорогу отдыхают, верно? Нет?
— А-а...
— Ладно. Сейчас глянем. Минутку.
Он выбрал из связки ключ, слез с высокого табурета и прошел бетонированной площадкой. В главном строении открыл деревянную дверь и ввел меня внутрь. Моя алебарда лежала на скамье, подпертая двумя деревянными чурками.
— Мама родная. Надо же, вот ведь уродский инструмент! И зачем такое?
— Я отдаю ею честь мистеру Клеймору.
Генри ничего не сказал, и мы, стоя рядом, разглядывали алебарду.
Клинок из листового железа, выкрашенного под серебро. Потом кисточки, кисточки, потом выкрашенная красной краской деревянная рукоять. Я протянул руку.

— Осторожно, ххоссподи! Не подсохло! Когда представление? В полвосьмого вроде?

— Что же мне делать? У тебя будет открыто, нет?

— Только для заправки. Мы ее где-нибудь оставим, а вы потом заберете. Несите ту чурку, а эту — я.

С величайшими предосторожностями мы вытащили алебарду на волю и проследовали с нею к открытому гаражу, не содержавшему ничего кроме малолитражки мисс Долиш. И пристроили ее на бетоне у стенки.

— Вот, — сказал Генри. — До последней минуты ее оставляйте, мастер Оливер.

— Она мне раньше десяти и не понадобится. Ну, до полдесятого. Это для последней сцены, понимаешь?

— Подсохнет. Обещать, конечно, ничего не обещаю. Но так думаю — подсохнет. Брюки у вас не в краске?

— Нет. По-моему, нет.

— Ххоссподи. Эти, что ли, оксфордские брюки называются?

— Модные.

— Ботинки зато чистить не надо. Экономия труда как-никак. Ладно, мастер Оливер. Значит, попозже-попозже ее заберете.

— Спасибо.

Я побежал домой и застал маму за созданием моей шляпы. Она все еще пребывала в состоянии сдерживаемого восторга. Скандал с мистером Клеймором его только, как ни странно, усугубил.

— Поди-ка сюда, детка. Примерь.

Шляпа блином сидела у меня на макушке.

— Отцовская голова, — сказала счастливая мама. — Ленту вынуть придется.

— Где я переоденусь, мама?

— Здесь, конечно! Где же еще?

— Я думал...

— Скажи спасибо, что мы совсем рядом живем. Младшему Смиту приходилось, бедняжке, тащиться из такой дали! И в совершенно мокром костюме! Уэртуисли отдали дамам свою приемную. Конечно, до прошлой недели они могли рассчитывать на приемную мэра. Только бы снова дождь не полил! Какая жалость, что у нас нет настоящего театра!

— И, по-твоему, я в этом виде выйду — на у-улицу!

— Прекрати, Оливер!

— Цыганом? Бифитером?

— Примерь-ка еще. Не напяливай так, я же ленту вынула, оцарапаешься. Господи, нет! Придется сзади разрезать. Ты успеешь постричься?

— Нет!

— Ты не очень-то идешь навстречу, детка. Да, кстати, я принесла тебе из мясной изумительное жабо. Мистер Дэнфорд такая прелесть.

— На у-улицу!!

— Не понимаю, почему вы оба так не хотите пойти навстречу. Твой отец, например... ну да ладно... Подумай, как мистер Харви, например, проделывает весь этот путь от Бамстедской церкви на своей крошечной машинке, со своим контрабасом сзади и своей, между прочим, завтрашней проповедью впереди! Стыдись, Оливер! Тебе должно быть стыдно, ведь когда мистер Харви был еще молодым человеком, он волок свой контрабас за велосипедом! У меня дух, бывало, перехватывало, когда он катил с горы из лесу и то и дело чуть не попадал под свой контрабас. И когда он влетал на Старый мост — о, это, я тебе скажу, было такое облегчение! Ка-аждый раз, когда в Стилборне исполнялась музыка, он крутил педали через весь лес — хотя на годик-другой ему, конечно, пришлось прерваться, когда на него свалился этот воз сена. Старик Воробей был пьян, и я все думаю, какое счастье, что его сын сразу стал перекидывать этот воз вилами и, обнаружив контрабас, моментально, конечно, понял, кто там лежит.

— Послушай, мама...

— К сожалению, нам, наверно, придется еще чуть-чуть разрезать. Ах, детка,

надеюсь, там столько мозгов! Нет. Есть люди, с которыми просто что-то вечно случается. Ты, например. Помнишь, детка, как ты упал в пианино? Конечно, теперь-то он постарел и, между нами, стал глуховат. Такая жалость. В четверг спутал номера на пюпитре и сыграл не тот. Хорошо еще, оба были на три четверти...

— Они все на три четверти. Всегда.

— ...так что все сошло, потому что одно ум-па-па не слишком отличается от другого ум-па-па, правда? Только он, к сожалению, продолжал свои ум-па-па, когда все остальные уже кончили — и довольно долго. В результате, как ты мо-ожешь себе представить, детка, зал решил, что так надо, и не стал хлопать. Мистер Клеймор просто позеленел от злости.

— Да. Могу себе представить.

— А ты не обращай внимания на мистера Клеймора, Оливер! Наш режиссер мистер де Трейси. Делай все, как он тебе скажет.

— А кого он играет?

— Никого он не играет!

— Почему же он тогда так одет?

— Он профессионал. Из Лондона. И чему только вас учат в Оксфорде?

— Кончила?

— Имей терпение, детка.

— На-до-е-ло!

— И не уподобляйся мистеру Клеймору, детка. Ты слышал, что он сказал в заключение? — И мама, сверкнув очками, задрала нос и состроила мину Клеймора. — «Ивлин, старина, я до самого вечера буду лежать как труп!» Но, — и она сверкнула очками на меня поверх шляпы, — мистера де Трейси на мякине не проведешь, о, не сомневайся! Он этого человека раскусил! Он понял, что единственный верный подход к этому человеку — да и ко всей этой братии — лесть. Ты заметил, как он ее подпускает?

— Да, заметил.

— Конечно, мы все для него жалкие любители. Но он всегда любезен и мил и, главное, понимает в музыке. При мне говорил репортеру, что оркестр, по его мнению, заслуживает особого упоминания. Ничего подобного, сказал, никогда не слышал. Только когда распоряжается этот Клеймор, дождешься от них чего-то кроме дежурного «Оркестр честно внес свою скромную лепту под управлением...» Надеюсь, хоть фамилию нашу в виде исключения не переврут!

— По-моему, готово, да?

— Придется тут сзади вставить резиночку, а то слишком распахивается разрез. Ты же не хочешь, чтоб с тебя шляпа свалилась, детка! Между нами говоря, я твердо решила, что мистеру Клеймору больше не к чему будет придраться. Пусть ссорится сколько ему угодно, я буду как скала! Для всякой ссоры, в конце концов, нужны двое. Вдобавок хочется, чтоб у мистера де Трейси осталось о нас хорошее впечатление.

— У него коленки смешные, да?

— Коленки? О! Поняла, что ты хочешь сказать! Когда я была девочкой, мы называли это «кавалерийские колени». Ты, конечно, был еще маленький, когда лорд Кромер открывал институт. Ты, конечно, не помнишь. Интересно, был мистер де Трейси когда-нибудь в кавалерии?

— Маловероятно, по-моему.

— Почему, я уверена, он дивно бы выглядел!

Мама весело вскочила, сама примерила мою шляпу, потом передала ее мне.

— Сзади что-то не очень, мама. Как-то съезжает.

— Господи. Может быть, ты ее будешь придерживать? Одной рукой?

— Я же должен отдавать честь этой дерь...

— Оливер!

— ...ревянной, жуткой алебардой!

— Я шнурочек пришью. Будет под подбородком держаться, как у тебя, помнишь, была матросская шапочка. Ты был в ней такое очарованье! На ленте «Британский лев». Мы тогда отдыхали две недели в Уэймуте, и ты подошел к каким-то матросам и говоришь: «А я тоже моряк!»

— Господи.

— Поставь чайник, ладно, детка? У нас будет нечто вроде раннего ужина. А если ты придешь после спектакля голодный, ты сможешь что-нибудь перехватить. Там, конечно, будет потом кофе с пирожными, но кто же их ест? Все всегда слишком возбуждены. Хорошо, детка! А сейчас лучше поупражняйся на скрипке.

— Зачем это.

— Ты хочешь дать мистеру Клеймору повод придраться?

— Ну, ладно, ладно.

— И вынь этот пенс!

— Да мистер Клеймор...

— Я не про спектакль, глупыш, — сказала мама и опять расхохоталась. — Я про сейчас. И не надо было оставлять его в скрипке, Оливер. Это для нее вредно.

— Я и не оставлял.

— Положи его в футляр!

— Он у меня будет в кармане.

— Если у тебя будет карман! То есть в твоем костюме цыгана, я имею в виду.

— Лучше я сбегаю в гараж, на алебарду взгляну.

— Только недолго, да?

Я вернулся к своей алебарде, нагнулся, пощупал. Она была еще липкая, и я не стал ее трогать. Генри — на то он и Генри — был еще в офисе. Но когда я к нему обратился, он ничего мне не смог посоветовать. Это меня слегка удивило, я привык считать, что Генри может все.

Я медленно побрел домой, и там мама заварила мне чай и довела до совершенства шляпу. Папа был тут же и скучно пережевывал пирог с мясом. Мама не проглотила ни кусочка, все время разговаривала и будто порхала над землей.

Я остро ощущал нашу с папой кровную связь.

— Пап, ну как? Работа идет?

Папа повернул голову и задумчиво на меня посмотрел. Потом отвернулся и продолжал есть.

— Ответил бы мальчику, папочка!

— Бах, — сказал папа. — Гендель. Тонкий помол — вот это я люблю!

— Кое-что в «Червонном короле» очень мелодично, — сказала мама. — Ты сам говорил!

Папа посмотрел на нее затравленным взглядом.

— Да. Говорил. Когда слышал его в первый раз.

Мама заведовала моим переоблачением в костюм цыгана и руководила гримировкой. Особенно разили наповал усы. И потом папа с мамой пошли занимать свои места в оркестре. Улицы возле ратуши являли странное зрелище. Дамы в неохватных и непостижимых кринолинах, стражи в шлемах и перьях, двое-трое пейзан, перепорхнув с одной стороны Площади на другую, юркали под навес на лестницу перед ратушей. Я приободрился, решив, что в таком обществе спокойно останусь неопознанным, и, сжимая свой футляр, пустился через Площадь. Но дойдя до ступеней, убедился, что они так забиты шлемами и кринолинами, что мне не успеть вовремя пробиться. Я решил попытать счастья у главного входа, потому что едва ли туда уже подоспела какая-то публика. Прокрался через рынок, вынырнул на Главной улице и — сердце мое бухнуло прямо в пряжки на туфлях, а оттуда подпрыгнуло к горлу.

У главного входа ратуши стояла очередь. В абстракции я понимал, что люди придут на спектакль. Но вот они были передо мной — живые, из плоти и крови. Я всех их знал в лицо и, призвав на помощь все свое самообладание и осмотрительность, мог с ними разминуться на улице, не покраснев как рак и не растянувшись плашмя. Обычно я надеялся и порой убеждался, что я на худой конец незаметен, а в лучшем случае и невидим. И вот не метафизически, а с беспощадностью факта мне открылось, что сейчас придется себя подавать этим реальным, выстроившимся хвостом людям; оскорблять их слух беспомощностью своих двойных флажолетов. У меня даже руки затряслись от этого кошмара, и я отпрянул под укрытие ратуши, под временную сень ее колонн. Очередь молча втекала в двери. Вдруг тромбон старшины О'Донована грянул над моей головой. Увертюра, поехали. Я кинулся

к лестнице, но там все еще было битком, и меня ужалила новая забота. Я не видел, куда бы приткнуть футляр. Я побежал домой, подумал, как спокойно и мило в нашей гостиной, и бросил его там. Кинулся обратно, со смычком в одной руке и скрипкой в другой, услышал, что увертюра кончилась, и стал продираться вверх по лестнице. Она была забита нервным, свирепым народом, не имевшим ни малейшего снисхождения ни ко мне, ни к моему инструменту. Я протиснулся до первой площадки, был вынесен людским прибоем на вторую и брошен к самой сцене. Тут я сообразил, что забыл свой пенс, и попытался снова протиснуться вниз. Это повело к ряду страстных обвинений, произносимых таким шипящим шепотом, что я не расслышал ни одного. Я мог бы, конечно, грубой силой проложить себе путь, но отчасти его заграждали сравнительно нежные девы, и я вдобавок нес скрипку. Я взял себя в руки и призвал на помощь свой ум. Когда гримированное лицо кидалось на меня и шипело, я говорил ему, что мне нужен пенс. Не найдется ли у вас пенса? Но у всей толпы, по-видимому, не было ни единого пенса, а иные были настолько бездушны, что смеялись надо мной. Потом у меня отстали усы, и я был так стиснут, что не мог водворить их на место. Последняя моя надежда — на полную неузнаваемость — рухнула. Я сдался, я покорился судьбе и стоял за рисованным задником в ожидании знака мистера Клеймора. Меня беззвучно и страшно давили уже не актеры на лестнице, а незримая публика в зале. Я начал дрожать, руки примерзли к скрипке. Все указания вылетели из головы.

— Мне уже кажется, что это место са-амое очарова-ательное на всем белом свете!

Великолепным размашистым шагом я ступил за рисованный задник и очутился на слепящей сцене.

Я стоял, щурясь от блеска, примерзнув к скрипке, и вот раздался первый одинокий хлопок, второй и — хлынули теплым потоком аплодисменты. В них слышалась ласка. Ясно было, что меня узнали, признали аптекарского сынка; ясно было, что да, я парень что надо. Я вдруг понял, что все мои шапочные знакомцы одобряли мое поведение, во всяком случае извиняли его. От страха, даже ужаса меня непоследовательно кинуло сразу к самонадеянности. Прямой, музыкант до кончиков ногтей, скрипач не только с дипломом, но еще и смычком владеющий, я взял свой первый аккорд. Пальцы были жаркими, нежными, рука со смычком — вольной, гибкой. Меня не мучили никакие сомненья, я играл так же громко, как пела миссис Андерхилл. Я кончил — я заранее знал, как точны, как ликующе тонки будут три моих последних эффектных двойных флажолета, — и каскадом обрушились аплодисменты. Самоуверенность и самообладание не покинули меня. Я пригляделся к свету и видел маму за пианино, она кивала, смеялась, аплодировала. С великолепным хладнокровием я поклонился. И когда выпрямился, кошель с деньгами, просвистев мимо моего лица, шмякнулся о циклораму. Пятясь со сцены, я снова кланялся. В зале топали.

— Бис! Бис!

Скромность мне подсказала, что, пожалуй, довольно. В конце концов, это была сцена мистера Клеймора, и я не хотел ему ее омрачать. Пот застывал у меня на лбу и, вжимаясь в лестничную давильню, я нежно, учтиво улыбался всем и каждому с высоты своего нового роста. Времени у меня было полно, в сущности, целый вечер оставался до перевоплощения в бифитера, и я предвидел, что это, конечно, будет некоторый спад. Зато — как легко. Не играть на скрипке, вообще — ничего. Только оживлять сцену. Я спустился вниз, и вечер обдал меня внезапной свежестью. Я стоял, наслаждаясь простотою действительности и воспоминаниями о своем триумфе.

В нескольких метрах от меня опирался о колонну мистер де Трейси. На лице его была та же нежная улыбка.

— Поспешаем прочь, мальчуган?

— Мне переодеться надо. Значит, вас не было за сценой, сэр?

— Я понял, что, стоя здесь, можно полней сосредоточиться на музыке. Были у вас какие-нибудь затруднения?

— Вообще-то я эти деньги не успел поймать. И усы отстали.

Мистер де Трейси улыбнулся и сверху овеял меня сладостью.

— Прелестно! Прелестно!

Он пошарил в полах плаща, вынул бутылку, осмотрел на свет, убедился, что она пуста, и сунул обратно.

— Не пойти ли нам тихохонько вместе выпить, Оливер?

— Я же в костюме!

— Я тоже. Можно мне отбросить притворное и глупое «мальчуган»?

— Вы слышали, как я играл?

— О да. И что-то мне подсказало, что вашего пенса не было с вами.

— Ради Бога, простите!

Мистер де Трейси подрожал коленками.

— Едва ли вы угодили своему ненавистному сопернику.

— Моему — ?

— Нашему великолепному герою-любовнику.

Я переглотнул и поднял на него глаза. В ответ он улыбнулся, обдав меня призрачным веяньем джина.

— Но как — ?

— Мужественные ноги чуть-чуть носками внутрь. Взгляд... щенячьей преданности. Прелесть, прелесть!

— Но я не...

— Я соблюду ваш секрет.

— Она не...

Он обвил мое плечо своей длинной рукой. Странная приятность, ощущенье защиты.

— Она ничего не знает, да? По-моему, пора исцелиться.

— Пока я жив...

Он потрепал меня по плечу.

— Шоковая терапия.

— Да нет же, я ничего. Честно.

— Десять гиней — и билет туда-обратно третьим классом. Кажется, грех жаловаться. А жалуешься, и еще как! И до того хочется удрать, что под конец почти все эти десять гиней... Тем не менее. Пошли в мавзолей.

— Где это?

Я увидел, что он смотрит на «Корону», и разразился пылкими протестами.

— Ой! Мне, во-первых, переодеться надо! Ведь я как-никак тут живу!

— Единственное утешение, какое я могу предложить вам в столь горестной участи, Оливер, — хороший стаканчик джина. У вас еще уйма времени до того, как вы будете оживлять сцену для мистера Клеймора.

— Я думал, вы его Норман зовете.

Мистер де Трейси кротко кивнул.

— Да-да, в самом деле?

— Но разве вам не надо сидеть за сценой, сэр?

— А я и сижу, — он сверху дохнул на меня. — Ты же знаешь, что я там сижу, правда, Оливер? Ты будешь моим свидетелем, правда?

Я радостно рассмеялся.

— Уж будьте уверены!

— И называй меня Ивлин.

— Как Норман?

— Нет, не как Норман, дитя мое. Как мои друзья.

— Ага!

У самой «Короны» он легонько меня отстранил и постоял, глядя на ратушу, несколько набок склонив голову.

— Судя по совершеннейшему отсутствию звука, поет мистер Клеймор.

Я хихикал, я его обожал.

— Да! Да! Господи!

— Я с ними работал, видишь ли, — за мои грехи! — так что я все про них знаю. Особенно про нее.

— Почему это?

— Бернард Шоу называет такое «Женщина во мне самом». Во мне много женского, Оливер. Так что уж я-то знаю.

— Она красивая.

Мистер де Трейси улыбался. И каждое его слово было как осиный укус.

— Она — пустая, бесчувственная, суетная женщина. У нее недурное личико и хватает ума вечно улыбаться. Да что там! Ты в сто раз... Никогда не открывай ей своей телячьей любви. Это только потешит ее суетность. И как спесивы оба! Нет, тут не то что десяти гиней, тут тысячи...

Я открыл рот, но не находил слов. Мистер де Трейси отпустил мое плечо, с живостью распрямился.

— Ну, вот. Мы у цели.

Ввинтился во вращающуюся дверь, оглядел первый зал.

— Если ты принесешь мне то кресло, Оливер, и сядешь вот сюда, мы очень уютно разместимся между камином и пальмой.

И пошел во второй зал. Менять этот незыблемый интерьер было отважное предприятие. Однако чувствуя, что все теперь вдруг изменилось, я радостно приволок кресло. Мистер де Трейси принес два бокала с прозрачной жидкостью.

— Превосходно исполнено. Твоя бы мама, и та... Нет. Это низко с моей стороны. Прости меня, Оливер, но, видишь ли, я, — пошарил глазами, будто рассчитывал прочесть где-то в воздухе нужное слово, — я... истерзан. — Протянул мне бокал и сложился в кресле. — И даже нельзя ведь сказать, что во имя искусства. Все во имя десяти гиней, и ты — первое, буквально первое человеческое существо, которое я встречаю в связи с этими возмутительными упражнениями в буколических глупостях. Н-да. За исключением, разумеется, твоей достойнейшей мамы.

— Она вас без конца превозносит.

— Вот как? Весьма польщен. Ну, а твой отец?

— Он вообще мало разговаривает.

— Это ведь тот обширный господин в сером, который играет на скрипке с каким-то тлеющим жаром?

— Верно.

— Он пользуется методом Станиславского. Я никогда не видел, чтоб так явственно выказывалось яростное презрение. Ни единого слова. Взгляд устремлен в ноты. Каждая нота на месте. Тлеет, тлеет, тлеет. О Боже — зачем?

— Так маме хочется.

Я хлебнул из бокала и задохнулся.

— Пей медленнее, Оливер. Ты почувствуешь такое освобождение! Господи. Уж я-то попил на своем веку.

— Освобождение? От чего?

— Вообще. От чего хочется удрать. Освободиться.

Я помолчал, прикидывая тесные пределы собственного существования. И вдруг меня прорвало, хлынуло горлом:

— Верно. Точно. Все — зло! Ложь! Все. Нет ни правды, ни совести. Боже! Не может ведь жизнь... ну, где-то глянешь на небо, и... а для Стилборна же это — крыша! крыша! Как... И как надо прятать тело, о чем-то не говорить, о чем-то даже не заикаться, с кем-то не кланяться... и эта штука, которую они выдают за музыку, — все ложь! Неужели они не видят? Ложь, ложь! Похабщина какая-то.

— Весьма прославленная. Огромные сборы.

Я сделал быстрый глоток.

— Знаете, Ивлин? Когда я был маленький, я думал, что дело во мне, и, конечно, так оно и было отчасти...

— Прелестно! Прелестно!

— Все так запутано. А знаете? Всего несколько месяцев назад я... брал девушку, там, на горе. Можно сказать, публично. А почему бы и нет? Почему? Кто в этом... этом... кто делал что-то более... более...

— Вас кто-нибудь видел, Оливер?

— Мой отец.

Коленки мистера де Трейси раз-другой распахнулись, сомкнулись.

— Знаете, Ивлин. Как в химии. Можно видеть в ней — то, можно — это.

— Что — как в химии?

— Ну. Жизнь.

— Жизнь — чудовищный фарс, Оливер, с неумелым режиссером. Эта девушка. Она была хорошенькая?

— Очень даже.

Мистер де Трейси смотрел на меня над краем бокала, улыбался нежно при полной недвижности меченых бильярдных шаров, и тощее вытянутое лицо слегка лоснилось.

— Завидую.

— Да вы бы на нее и не посмотрели, Ивлин, там у вас такие актрисы, а она — ну, деревенская девушка, из Бакалейного тупика. Но как подумаю — зачем мы... зачем...

Я осекся, припоминая, что я еще хотел сказать — про Эви, про Стилборн, про папин бинокль и про небо, — что-то, что легко было сказать Ивлину, потому что ему все легко было сказать. Я глядел на него и преданно улыбался. Вокруг него всклубился легкий туман, а сам он, четкий и милый, оставался в середке. Наконец-то я понял, почему у него такие точечные зрачки. Желтизна глазных яблок хлопьями и кристалликами выпала на радужной, и стало трудно их во всем этом различить.

— Ивлин. Я хочу правды. И нигде ее нет.

Мистер де Трейси испустил долгий, прерывистый вздох, и еще шире стала его улыбка.

— Правды, Оливер? Ну...

— Жизнь должна быть...

— Проникновенной.

Он сунул руку в нагрудный карман, вынул небольшой кожаный бумажник. Не отрывая от меня глаз, вытащил пачку фотографий и верхнюю протянул мне. Туман сомкнулся, я уже видел только ее. Или я так сосредоточился, хмурясь над фотографией, что прочее все застлало туманом. Мистер де Трейси совал мне в другую руку остальные, но я уже приковался к этой. На фотографии, бесспорно, был мистер де Трейси. Помоложе. Но длинный нос и подбородок в профиль не оставляли сомнений. Как и тощая фигура. Распущенные темные волосы парика не доставали до плеч, открывая взору часть жилистой шеи. Правая голая рука лебедино выгибалась вперед и вверх, левая — назад и вниз, и вместе они составляли диагональ. Балетный костюм туго его обтягивал, а из-под белой пены кружев струились, смыкаясь, тощие ноги и завершались неимоверного размера балетными тапочками. Женский маскарад только еще подчеркивал его маскулинистость.

— Господи, что это?

— Просто к вопросу, Оливер. О проникновенности. Отдай, пожалуйста.

Но я перелистал всю пачку. Везде тот же костюм, тот же мистер де Трейси. На некоторых его поддерживал пухлый молодой человек. И они неизменно глубоко заглядывали друг другу в глаза. Я так хохотал, что мне стало больно.

— Ну отдай же, Оливер.

— Да что это?

— Фарс, только и всего. Отдай, пожалуйста.

— Я, по-моему, в жизни не видел...

— Оливер. Отдай. И беги.

— Давайте еще по одной...

— Не забудь, тебе выходить бифитером.

— А ну его!

— Тем не менее.

Я поднял глаза на мистера де Трейси и удивился, как он отодвинулся далеко-далеко, оставаясь на том же месте.

— По-моему...

— Мы не станем ведь огорчать твою маму.

И тут я вспомнил.

— Да! Вы же что-то хотели мне сказать!

— Не припоминаю.

— Насчет правды. И честности, кажется.

— Решительно не помню.

— Я вам рассказывал — про этот город и вообще.
— По-моему, тебе пора переодеваться.
— Разве?
— Ну — беги.
— А, вспомнил! — я снова рассмеялся от этой мысли. — Вы же хотели меня исцелить!
Лицо мистера де Трейси вплыло в фокус.
— В самом деле, Оливер. Прощальный дар. Ну так вот. После того как ты отдашь честь и уйдешь со сцены, послушай Великий Дуэт.
— Да? Ну — и?
— И все. Просто послушай.
— Ладно. А потом прибегу рассказать...
— Меня не будет.
— А, так вы за сценой будете?
— Я — удеру.
Вдруг он придвинулся совсем близко, поднял руку и указательным пальцем постучал по часам. Я увидел время и в ужасе метнулся прочь. Нацепил костюм бифитера, пустился через Площадь к гаражу. Алебарда была совсем сухая, только безумно тяжелая. Я взвалил ее на плечо и сунулся черным ходом, но в таком положении она в дверь не пролезала. Я взял ее на изготовку и так двинулся наверх. Но на лестнице выстроились артисты, и через несколько секунд то, что замышлялось как выход на сцену, превратилось в рукопашную гримированных борцов, осыпавших бранью меня и красную рукоять моего оружия. Мелькали и полуголые груди, карминные губы, яркие платья, и ноги, ноги. Я, однако, оставался верен своей алебарде, движимый жаждой скорее отделаться и бежать к Ивлину. Первую площадку я одолел, но на второй мне открылась беспощадная истина. Алебарда моя тут пройти не могла.

Спуск вообще-то занял у меня даже больше времени, чем подъем. Ибо каждый артист жался поближе к магическому квадрату, на котором разворачивался «Червонный король», и не желал ни на пядь отступать в сторону холодной ночи. Наконец я все-таки вырвался и, стоя возле ратуши, думал, что же еще теперь делать. Прислонив к колонне алебарду, я побежал в «Корону», но Ивлина там не было. Я сунул свою голову и шляпу во второй зал.
— Вы не видали мистера де Трейси, миссис Минайвер?
— Ушел он.
— Вернется?
— Жди. Задолжал мне за выпивку. Артист! Знаю я их.
— А куда он пошел?
— В кабак небось.
— Мне надо его найти!
— И зачем он тебе сдался, Оливер. Старый...
— Да это насчет представления. Там не ладится кое-что.
— А-а. Ладно, тогда загляни в «Беговую лошадь», куда конюхи ходят. Да скажи ему, пусть лучше по-хорошему деньги отдаст, которые за выпивку задолжал!
— Ладно!
— А если уедет последним автобусом, не плативши...
— Ладно!
Я бросился по Главной улице к Старому мосту. В «Беговой лошади» было почти пусто, но мистер де Трейси уютно устроился в уголке. Спиной упираясь в стойку, положив на нее локоть. Когда я ворвался, он бросил на меня взгляд и стал сотрясаться от колен и выше.
— Ивлин! Что мне делать?
Поразительно, как он сохранял это бледное, неизменное, улыбающееся лицо, весь ниже пояса содрогаясь и корчась.
— Ивлин! Алебарда! При выходе с лестницы. Не пролезает!
Из сплошной тряски пролился мягкий, певучий голос:
— Он не может протащить алебарду с черного хода! Кто поверит?
— Что мне делать?

— Значит, надо зайти спереди, не так ли?

Это повело к новому пароксизму тряски. Прилизанный хохолок на самой макушке вдруг отклеился и встал, как рог.

— Меня же увидят!

Но Ивлин только знай себе трясся. Локоть соскользнул, он утвердил его вновь. Я выскочил из «Беговой лошади», зашлепал по Главной улице. Взял алебарду и пошел к главному входу. Мне удалось без особого грохота проволочить ее в дверь, через темный зал, и левой стороной я прокрался к зеленому сукну за пианино.

Осторожно, предусмотрительно я поднял край занавеса клинком и вслед ему выбросил рукоять. Сперва я встретил легкое сопротивление, унявшееся после глухого стука, и, сунув голову под занавес, толкнул вперед алебарду. Сразу за занавесом были: включенный фонарик, складной перевернутый стульчик и партитура «Червонного короля» в синеве чернильных помет. Я встал на четвереньки и пополз. С этой стороны сцены оставался очень узкий проход между стеной и циклорамой. И в конце его была запертая дверь — верней, часть запертой двери — в приемную мэра. Посмотрев туда, я сообразил, почему сопротивление, встречаемое моей алебардой, так и не прекратилось и после того первого стука снова заставило ее прыгать и плясать в моей руке. В дальнем конце темного прохода, спиной к мэрской двери, вжимаясь в нее головой и плечами, лежал молодой человек и обеими руками удерживал клинок моего оружия в нескольких сантиметрах от своей груди. Когда я попытался отдернуть алебарду, он, весьма неразумно, возобновил борьбу с нею, строя мне рожи.

— Но, — пел комариный голос, — погодите, ваше королевское высочество, мы не одни!

Итак, я опоздал, и я дернул алебарду у молодого человека, и он — крайне неудачно — в тот же самый миг ее выпустил. Я радовался, что не шлепнулся навзничь на сцену, и был благодарен судьбе, что оплошно высунул клинок всего на каких-то полметра. Я повернулся, шагнул, вытянулся. Я оказался рядом с Имоджен и что-то нигде не видел мистера Клеймора. Поискав глазами, я обнаружил его прямо перед собой, только он как-то странно согнулся надвое и будто разглядывал пряжки на моих туфлях. Имоджен выбросила вперед руку, ожгла меня взором:

— Оставьте нас!

Я был так смущен ее гневом и напуган жестом, что с горящими ушами поспешил прочь со сцены. Даже не слышал, что творилось в зале. Стоял, прислонив за циклорамой к стене свою алебарду, и клял себя за то, что забыл отдать честь.

Началась музыка.

Сердце мое не обрывалось, как бывало, познавая одно из совершенств Имоджен. Как будто рядом стоял Ивлин. И будто все еще обнимал меня за плечо. Пот просыхал у меня на лбу. Она равнодушно вступила в ту землю, куда мне открыли доступ, в землю, где я был свой. Этот ландшафт, где музыкальные ноты, где все звуки — зримы и разноцветны, она наобум топтала тупой стопой. И дело даже не в том, что петь она не умела. Так нет же, наплевав на то, что не умеет петь, она преспокойно выставляла себя на посмешище. Она так ужасно фальшивила, что мотив, зубчатый, как горный кряж, грядой меловых холмов опадал в ее исполнении. Я слушал, а рука Ивлина все лежала неосязаемо у меня на плече, и сквозь звуки Великого Дуэта — комариный писк сплетался теперь со шмелиным жужжаньем — я слышал голос:

— Пустая, бесчувственная, суетная женщина.

Эти двое, невежественные, суетные, были созданы друг для друга и больше никому на свете не нужны. Я подсмотрел за ними в замочную скважину, мне на душу пролился мерзкий бальзам. Я их дослушал. Я освободился. И снова бросился против течения вниз по лестнице, к человеку, которому я был теперь столь многим обязан. Но в «Беговой лошади» его не оказалось, как и в остальных четырех пивных по эту сторону Главной улицы. Я вернулся к ратуше, решив, что, вполне возможно, он за сценой дожидается финального занавеса.

Но я ошибся, он был на Площади. Я увидел его еще издали, он был почти прямо под фонарем. Он обеими руками держался за прутья железной ограды, повиснув на ней. Паучьи ноги были соответственно сложены, и так, словно вибрация,

пульсация жизни только в них и осталась, они одни еще двигались. Лицо, профилем над оградой, не изменилось и, все такое же бледное, нежно улыбалось. Ноги пытались сами собой сделать несколько шажков, потом, как бы спохватившись, что кого-то оставили сзади, возвращались восвояси.

Я нагляделся на этот специфический феномен в Оксфорде и сразу понял, в чем дело. Выходить на поклоны он, по-видимому, не мог. Оставалось одно.

— Пойдемте, Ивлин!

Он меня не узнал, он меня не увидел. Я обхватил его за плечи и поднял. Вся энергия сосредоточилась у него в кистях, и мне пришлось их отдирать от ограды. Почти волоком я потащил его по Главной улице. Барчестерский автобус, последний, дожидался пусто.

Мы не очень понравились кондуктору в наших костюмах.

— Кабы не вытошнило его.

— Не вытошнит, — сказал я и рассмеялся. — Не из таковских мистер де Трейси, правда, Ивлин?

Ивлин не ответил. Я внес его в автобус, он теперь меня слушался и был как перышко. Нежно, бережно я усадил его на длинное сиденье прямо за дверью.

— Ну вот!

Как будто он держался на воде или, скажем, всю свою жизнь только так и укладывался, Ивлин легко и готовно подложил обе ладони под правую щеку, подтянул к подбородку колени и одновременно повалился на девяносто градусов вправо. Так он и лежал, свернувшись калачиком, и лицо, улыбка, меченые шары не изменились ничуть, будто смотреть на мир под таким углом — самое натуральное дело. Но тут мотор, взревев, бросил в дрожь тело мистера де Трейси, будто он на прощанье по-своему отдал должное забавному ракурсу Стилборна.

Кондуктор засомневался.

— Ой, не знаю я...

— Да все обойдется. Пока он до Барчестера доедет...

И только когда звякнул звоночек, меня вдруг стукнуло, что я ведь взял с потолка, что ему надо в Барчестер, никто мне такого не говорил.

Я побежал за автобусом, я кричал:

— Ивлин! Эй! Вы едете в Барчестер!..

Но автобус уходил от меня, качался по Старому мосту, тяжко взбирался к лесу. Я повернул, прикидывая, не забежать ли домой, взять деньги для миссис Минайвер. Но увидев, что в «Беговой лошади» гасят свет, я решил, что миссис Минайвер придется обойтись до завтра. А если сумма окажется для меня разорительной, я всегда смогу ее вернуть, когда увижусь с Ивлином или он мне напишет. И я пошел к черному ходу ратуши, но там было пусто. Я поднялся по лестнице. Сцена тоже была пуста, хотя приглушенный гул голосов тек из-за занавеса. Я приладился к глазку и увидел, что артисты, рабочие сцены, музыканты со своими знакомыми стоят и пьют кофе. Стоят группками, между собой не сообщающимися. И я с облегчением понял, что еще года три по крайней мере SOS не сможет функционировать. Я отдернул занавес и пошел получать поздравления.

III

«Стилборн». Но как поражало взгляд это виданное-перевиданное имя. Раньше надтреснутые, уныло-черные буквы «Стилборна» бежали по стрелке навек накренившегося столба, иногда совсем не в ту сторону. Бузина, терновник и низкорослые клены заслоняли их, оставляя ненужную информацию подстригателям изгородей да землекопам. И столб ветшал в пустом ожидании канувших в вечность почтовых карет.

Нынешний «Стилборн» прочитывался с расстояния полумили. При автостраде, белым по сини. И вдруг меня осенило, что и Стилборн такое же место, как всякое другое. Которое может засечь на пути бог весть откуда к Барчестеру и сфотографировать спутник. Место и место. Столпившиеся у жалкой речушки дома, пункт, застигнутый автострадой, как застигает пахаря с его лошадками вертолет. Руки сами крутили руль, и я механически скатывался к своему прошлому. Старый мост

честь честью горбатился, серый и непрактичный, как и положено красоте. Никто не расширил его, не сровнял горб, меня подбросило, как на качелях, и понесло по вихляющему спуску к нашей маленькой Площади, и там я остановил машину. Я поискал у себя в душе эмоций, но не нашел. Моя решимость в жизни не возвращаться, чтобы давно умершее ненароком не разбило мне сердце, заместилась прохладным любопытством. Я, конечно, был начеку и готов вовремя смыться, если ностальгия сделается непереносимо острой, но окна машины цветными открытками отпечатывали пейзаж. Я мог их листать, пролетая под защитой стали, резины, кожи, стекла.

Правда, нельзя сказать, что Главная улица уж вовсе не переменилась. Правая сторона почти от самого Старого моста до Площади была схвачена бетоном, зеркальным стеклом и хромом. Все это, разумеется, Генри. Аршинные буквы кричали: «Гараж Уильямса», «Выставочный зал Уильямса», «Сельскохозяйственный инструментарий Уильямса»; а там, в парке, жадно припавшем теперь к реке, демонстрировались эти предметы, с помощью которых Генри преобразовывал наше существование, — комбайны, тракторы, сенокосилки, столь пронзительно синие и оранжевые, что ясно было, как он процветает. Гигантские бетонные трубы лежали вдоль реки, собираясь ее сглотнуть, чтоб Генри вышел прямо на автостраду. Я проехал вперед, к бетонной площадке возле заправки. То, что Марку и Софи угодно было означить как «бензинная леди», двинулось мне навстречу. Пухлая блондинка в белом халате с «Гаражом Уильямса», вышитым над левой грудью.

— Можно видеть мистера Уильямса?

Выяснилось, что молодой мистер Уильямс в Лондоне, а старший мистер Уильямс у себя в кабинете. Я вышел из машины. И, едва ступив на этот бетон, я почувствовал себя растерянным юнцом. Я вдруг понял, что зря сюда явился. Но не успел вернуться под защиту стали и стекла, потому что услышал сзади голос:

— Мастер Оливер!

Он крепко, тепло и долго жал мою руку. Не тряс, но нежно водил ею вверх-вниз, словно мы причащались вместе печали мира. Я успел заметить, как мало изменилось его худое лицо, подсвеченное, возможно, зимним солнцем Египта или Марокко — столь печально обрамляло оно карие глаза, вечно готовые как будто налиться слезами. Только волосы стали другие. Совершенно белые.

— Милый Генри. Время тебя не берет!

— Стараемся.

— А какими машинами торгуешь! Высший класс!

— Ну-ну, может, со мной поменяться желаете, сэр?

Но он увидел мою машину через мое плечо. И выпустил мою руку.

— Ну-ну, сэр! Извини меня!

Тут оно прорвалось, всегда призрачно отдававшееся в прихрамывании валлийских гласных, — почти пародийное его валлийство. Как квохчущий на склоне горы ручей.

— Да, исключительного качества вещь, сэр, извини меня!

Я стал чуть выше ростом. Впервые в жизни я почувствовал, что произвел впечатление на Генри. Сказалось то, что лежало у него на самой глубине и рождало все эти стекла, гудрон, бетон, механизмы, — тяга, не дававшая радости и покоя, ощущаемая как неизбежность, как не знающее снисхождения божество. Его отношение ко мне чуточку изменилось. Он отдавал дань успеху, не вникая в его природу. И я, окончательно овладев собой, эту дань принимал. Я ходил с ним по его владеньям, не обращая внимания на вибрацию наших социальных антенн, и только в самом конце экскурсии, в старой части здания, я замер перед чем-то смутно знакомым, еще не успев сообразить почему. Тут были: пальмы, еще какие-то растенья в кадках, приглушенный свет и — вращающийся помост. На помосте, в сверкании радиатора и сиянии фар, в новых шинах на допотопных колесах, откинув верх, помещалась отставная малолитражка. И вращалась с гонором неуемной вдовицы, демонстрируя мне то правый свой бок, то номер под радиатором.

Я крикнул:

— Пружинка!

— Уступила нам, как поняла, что уж сама не поездит. Мы, само собой, мело-

читься не стали.

— Значит, она умерла...

— Мисс Долиш скончалась — ох, уж скоро три года будет. Лежит, где бы самой ей понравилось — где слышно орган. Добрая, милая леди!

Я слушал вполуха. И не рассматривал пристально малолитражку, только делал вид. Я пристально рассматривал самого себя. Эти чувства, эти эмоции, вдруг неуместно расцветшие среди роскоши пальм и растений в кадках...

— В южной стороне от церкви лежит, к трансепту поближе. Мы так понимаем — отдать дань уваженья, почтить — это святое. Сами увидите.

— Значит, Пружинка умерла...

— Вы всегда ее обожали, ведь правда? Я же ж помню! И, ясное дело, уважите память.

Я отвернулся от малолитражки и посмотрел на Генри. Взгляд его, как всегда, был непроницаем в своей открытости. Генри был из тех, к кому не подъедешь, кого не объедешь на козе. Вдруг я почувствовал, что, как ни странно, сам заливаюсь краской, опять превращаясь в ребенка. Я ощущал его взрослую власть.

— Да-да, — бормотнул я. — Конечно.

Я направил покорные стопы прочь, по гнутой Главной улице, к Площади. Было много новой краски. Колонны ратуши отмыли и выкрасили лоснисто-белым балкон. Газон посреди Площади, между ратушей и церковью, шумно стригли особой косилкой Генри, укрощая одну половину и тесня мятежный прямоугольник ромашки в другой. Старые цепи вокруг газона пошли на лом, столбы тоже. Исчезли и старые ограды перед каждым домом, оставя в камне пеньки. Знакомые дома, вспученные, покосившиеся, осевшие, слегка нестойкие, обернулись эдаким Челси, млечно-голубые, с пронзительной желтизною дверей. Не без сарказма я подумал, что Стилборн принарядили, как дряхлую даму, чтоб не стыдно показать гостям. Между домами и газоном машины стояли, сверкая капотами, в ряд, как коровы на водопое. Родительский флигель привалился к дому доктора, похожий скорей не на жилье, а на музейный экспонат, живописный и выхолощенный. Ситец, лениво заигрывавший с окном моей комнаты, знать ничего не знал обо мне. Только церковь осталась прежней в своей нерушимой серости. Кто-то играл на органе. Его звук, подмешавшись к стрекоту газонокосилки, напомнил мне, зачем я сюда пришел. Я толкнул кладбищенскую калитку и по стриженой траве побрел между серых надгробий. Я без труда обнаружил дань уважения Генри: она была из белого мрамора, фирма не пощадила затрат.

Во-первых, она впечатляла весом. В прямоугольном бордюре, среди белой мраморной крошки, под стеклянным куполом — иммортели. И все это венчал мраморный ромбоид чуть не в тонну весом. Но самое трогательное — его украшала арфа, столь натуральная, что, казалось, мраморные струны вот-вот затрепещут, отзываясь органу.

Я озирался, гадая, что мне полагается делать. Знать бы принятые формулы. Может, надо помолиться? Как еще уважить память? Как отдают дань уважения стрижке дерна, мраморной стружке, гулу органа? По правде сказать, я радовался, что я жив, и немного от этого угрызался. Я раскорякой сел на другой камень, поскромней, и сосредоточенно разглядывал надпись под арфой, стараясь выудить из начертаний имени знак о том, как себя вести.

КЛАРА СЕСИЛИЯ ДОЛИШ
1890—1960

Семьдесят лет. Ничего особенного. Все совершенно естественно. Я читал и читал и ничего такого не вычитывал. Я опустил глаза на мраморную крошку, тщательно осмотрел иммортели, к сожалению, напоминавшие деталь свадебного торта. И только оглядев ближний край бордюра — буквально у меня под ногами, — я оценил всю тонкость замысла Генри. Там были три слова, мелкими буквами. Он поместил их в ногах, скромно сознавая свое место, твердо понимая, где чему быть и кому что положено. Сидя на замшелом камне перед беломраморным ромбоидом,

я впал в некое оцепенение. Я вспомнил. Слова были не Генри и не Пружинкины слова, хоть она любила их повторять. Слова ее отца. Я сидел на солнце, криво усмехался, рылся в памяти и его вспоминал.

Старый мистер Долиш. Чудак, каких в детстве считаешь неотъемлемой принадлежностью быта. У нас их было много таких в Стилборне. Например, одного, полоумного инвалида в коляске, я нисколько не жалел, потому что он был — предмет, как свиное корыто, как невнятный камень у входа в ратушу. Еще была старая дама, которая напяливала на себя множество юбок и громадную шляпу с вялой охапкой листвы, превращавшую ее в старенькую, сморщенную Офелию. Пружинкин отец, старый мистер Долиш, был, конечно, не такой, как они. Но тоже примечателен в своем роде. Неудавшийся музыкант, композитор, как говорили, на самом деле он держал музыкальную лавку и настраивал пианино. По какой-то линии запутанного местного родства он, кроме лавки, унаследовал еще и дом по другую сторону площади, напротив нашего флигеля. Унаследовал и немного денег, и это, впридачу к лавке, придавало ему весу. Он играл на органе в церкви, пока Пружинка не подросла и не сменила его. Но большую часть времени, оставя лавку на томную девицу, он ходил, верней, носился по улицам. Легкий, в темно-серой крылатке, с седой копной, вздымавшейся и подпрыгивающей над неистово вдохновенным лицом. Смотрел он всегда несколько снизу и вбок, как бы поглощенный столь возвышенными материями, пред которыми все смертные — прах и суета. Он носился по улицам, и время от времени вы могли слышать, как в порыве бетховенской ярости он кричит, верней, каркает громко:

— А-а-ах!

Не исключено, что, распознав в себе совершенное отсутствие таланта, он решился, по крайней мере, явить первоклассную иллюстрацию к Жизни Замечательных Людей или вжиться в портрет романтического музыканта кисти Делакруа. Он верил, как мне стало известно, в эмансипацию женщин, Вагнера и Стерндейла Беннета[1] и не верил в Бернарда Шоу и юного Холста[2]. Он имел состояние, а потому, как ни носился по улицам, в Стилборне прощали его, ощущая благодаря ему причастность к высокому искусству. В первый раз я его заметил, когда был еще совсем маленький и няня везла меня в креслице на колесах по Главной улице от Старого моста к Площади. Мое внимание привлек Бедный Человек, стоявший на углу с обшарпанной коляской. В коляске помещалось кое-что поинтересней грудного младенца — гнутый зеленый рог, завершавшийся широким раструбом. Одной рукой он вертел ручку под рогом, другой протягивал шапку. Мы приблизились, и я услышал пленительнейшие звуки на свете: «Тарлям-па-пам! Па-пам!» Я громко расхохотался и потребовал, чтоб меня высвободили и пустили к плясавшим вокруг Бедного Человека детям. Это, разумеется, было немыслимо, потому что действие происходило в общественном месте и дети были оборвыши. Но я не успел еще разреветься как следует, а уж события громоздились одно на другое. Мистер Долиш летел через Площадь от церкви с тростью в руке, в белом облаке артистической гривы. Он надвигался на пляшущих, и Бедный Человек, отпрянув от няни, протянул шапку в этом новом направлении. Мистер Долиш, гракнув, как разъяренный грач, обрушил трость на пластинку, и черные осколки разлетелись во все стороны. Дети орали, хохотали, хлопали, продолжали плясать. Мое креслице запнулось. И снова метнулось вперед, потому что няня спешила прочь, держась края тротуара. Я, разумеется, извертелся в своих постромках, стараясь подольше насладиться зрелищем, и за несколько остававшихся мне секунд успел уловить, как солнечную, сонную улицу оживляли: марокканец из скобяной лавки, мисс Димл из галантерейной, миссис Патрик из кондитерской, трое из матрасной, кузнец, с дымной подковой выглядывающий из своих дверей. И посреди всего этого реяла белая грива. Смолкнувший тарлямпампам сменился грачиным граканьем и граем оборванцев.

Вы спросите, как — трехлетним — я мог знать всех этих людей, их имена и занятья. Но такова уж сетчатка детского глаза, что под воздействием любви или

---

[1] Уильям Стерндейл Беннет (1816—1875) — английский пианист и второстепенный композитор.
[2] Густав Теодор Холст (1874—1934) — английский композитор.

волнения на ней отпечатывается несмываемый снимок. Я, конечно, не знал тогда ни имен, ни откуда кто взялся. Но я несчетное количество раз видел потом их всех и сопоставлял со снимком, который лежал у меня в голове, да и теперь там лежит. Я вынимаю снимок из ящика и сортирую свои впечатления по двум стопкам — в одну идут первоначальные, невинные образы; в другую — постепенно усложняемые, проясняющие, что подкова остывала, мои собственные беленькие сапожки были из телячьей кожи, а мистер Долиш — неудачник, бешено демонстрирующий на житейских подмостках свои бесплодные амбиции и обиды.

Есть у меня и ранние «снимки» Пружинки. Я привык видеть, как по ту сторону Площади дама в странном наряде пружинистым шагом движется к церкви. Было неизбежно, что я немножко поучусь у нее музыке.

Я нарочно сказал «немножко», потому что папа был глубоко убежден, что профессия музыканта — опасная и, предавшись ей, я, пройдя через невозможный водоворот богемы, кончу тем, что буду таскать по улицам граммофон и протягивать шапку.

Я только видел Пружинку, а познакомился с нею, когда уж мне было шесть лет. Я перешел с мамой через Площадь, где Пружинка жила одна и учила одна в ста пятидесяти метрах от музыкальной лавки своего отца. Мама оделась тщательно — шляпка, перчатки, пальто с высоким воротом. Открыла нашу входную дверь, выпустила меня, открыла калитку и меня вывела. Мы прошли по булыжникам, и она нагнулась, отстегнула цепь и снова ее пристегнула, когда мы вошли на газон. Нетоптаная трава мне показалась просторной, как полночная прерия: была поздняя осень, а свет газовых фонарей вокруг Площади до ее середины не достигал. По ту сторону газона мама опять отстегнула цепь и застегнула за нами. Опять мы прошли по булыжникам, открыли железную калитку, подошли к двери, и мама нажала на сиплый звонок. В левой руке я держал маленькую скрипку в футляре с бархатным подбоем и не отрывал от нее глаз, пока отворялась дверь. Сперва я ничего не увидел, кроме Пружинкиных ног, потому что стеснялся, и немногим больше увидел, когда мы вошли в дом, потому что там было темно. Туфли у нее были самые обыкновенные, просто тяжелые, и я разглядывал их некоторое время, пока над моей головой шла взрослая болтовня. Когда мои глаза привыкли к относительной тьме прихожей, я слегка осмелел, медленно поднял взгляд и впервые увидел Пружинку вблизи. Я обследовал суровую серую юбку с подчеркнутой кожаным ремешком талией. Над ней была блузка в черно-белую полоску с тесными обшлагами и воротом. Спереди висел темный галстук, защепленный огромной брошкой с жутковатым полудрагоценным бурым камнем.

Посреди правой стены темно-бурой прихожей была темно-бурая дверь и возле нее темно-бурый ларь. Я сложил варежки и башлык на этот ларь, и мы втроем проследовали в темно-бурую дверь в уже совершенно лишенную бурости тьму. Я смог различить только два несоразмерных глазка смутного света: один — тускло-красным пятном совсем внизу, другой — синей почкой высоко наверху. Лицо Пружинки приблизилось к почке, та распустилась белым калением, озарив, но не рассеяв мрак. В самом лице не было ничего белого, ничего розового, и блеклая желтизна в сочетании с высокими скулами, голыми веками и лысыми надбровными дугами делала ее скорее похожей на китаянку, чем на европеянку, и мало похожей на женщину. В то время я различал мужчин и женщин только по платью, и единственно неоспоримо женским в Пружинке была юбка. Даже мышиные волосы, зачесанные назад и стянутые в пучок, не рассеивали сомнений, потому что пучок был плоский и с высоты моего роста почти не виден. Но пока я молчаливо и сосредоточенно ее разглядывал, у меня за спиной тихонько закрылась дверь. Я взглянул на мерцающий эркер и услышал, как мамины шаги удаляются по булыжникам. Когда я опять перевел глаза на Пружинку, она уже пристально занялась чем-то на подвесной полке, и я стал осматривать комнату. За шипящим газом по-прежнему прятался сумрак. Но — как мне предстояло понять с годами — даже и белый день мог только скупо сочиться сквозь пожухлую кисею. И даже не будь занавесок, и тогда бы ему не пробиться на середину комнаты. Потому что тут его стерег гигантский рояль, ощерясь на занавески свирепой клавиатурой, готовой заглотнуть их при случае. Зато у него была такая оснастка, какой я нигде больше не видывал — пол-

ный набор органных педалей и соответственно широкое сиденье. На крышке чуть не до потолка громоздились мятые ноты, порванные струны, скрипка, книги, пыль, странные неопознаваемые предметы и колеблемый бюст бородатого господина, как потом оказалось Брамса. Во тьме за роялем было красное пятно камина, дымившего не хуже самой Пружинки. Пока я изучал комнату, она выбрала и набила одну из дюжины трубок. Уселась на органное сиденье и закурила. Затягивалась, дымила, пускала длинные дымные кольца в затхлость и пыль. Я опять перевел взгляд на ту полку и над полкой увидел большую коричневую фотографию дамы в пальто и шляпе и большую коричневую фотографию мужчины, мрачно озиравшего комнату поверх моей головы. Я снова посмотрел на Пружинку, потому что между затяжками она заговорила:

— Ничего... нет... прекрасней... трубки.

И, не успев это произнести, она положила трубку обратно на полку и закурила сигарету. Вынула из футляра мою скрипку и смычок и показала, каких мест я не должен касаться грязными пальцами. И стала — моргая и слезясь от дыма — усаживать меня в правильную позицию для игры на скрипке.

С музыкантами приходится обращаться жестоко, если они сами не понимают, что музыка — дело жестокое. А ничего нет более жестокого, чем позиция для игры на скрипке. Выгнутая левая рука, неподатливым локтем прижатая к телу, запястье, вывернутое так, чтоб мизинец свободно захватывал четыре струны, — только поющий голос инструмента может все это искупить. Обнаружа скрюченный таким манером скелет, вы бы, конечно, решили, что это жертва опытного дзюдоиста, загубленная его роковым броском. До всякого поющего звука моей ли, ее ли скрипки Пружинка использовала мое детское тело как манекен, резко, по-мужски толкая, дергая и подпихивая мои суставы, — как манекен, которому, поразмыслив, она вручила мой безгласный пока инструмент.

Не успели меня закрепить в позе жертвы страшного дзюдоиста (музыки, музыки), как меня уже распрямили, а моя скрипка — прелестная вещица, так сиявшая, когда мы ее покупали в Бристольском пассаже, — была уложена в гроб. Пружинка надела мужской пиджак и пронзала булавкой плоскую шляпу, пока я бился над предметами моего облачения. И сквозь все щеколды, затворы и цепи она отвела меня к родительскому флигелю. Дамы пришли к соглашению, что впредь я буду сам отважно преодолевать этот путь. Мне оставили задание на дом: ежедневное возвращенье к позиции дзюдо — вывернутая левая рука, опущенный подбородок, поднятое плечо — в надежде на дальнейшее воссоединение с покуда немым инструментом.

В пятницу, юркнув под цепи, проскакав по газону, я вернулся к темной прихожей и, как мне было велено, постучался в дверь музыкальной комнаты. Пружинка выпустила большую девочку и впустила меня. На сей раз после упражнений в дзюдо она настроила мой инструмент и велела пилить беззащитные струны. В награду она взяла свою скрипку и сыграла гамму, иногда попадая пальцами не туда, так что я не мог удержаться от смеха. Пружинка смотрела на меня сверху вниз, суровая, как ее юбка, покуда не улеглась моя веселость. И заставила меня в точности повторить все за нею.

— Снова, Оливер, снова! Неужели ты сам не слышишь! Слушать надо!

И она хватала меня за пальцы. Наконец, сбежав по щеке, на темный лак моей скрипки упала слеза.

— Что такое? Тебе нехорошо?

Дернулась прочь, остановилась от меня в двух шагах. И уронила голос до негодующего шепота:

— Может быть тебе надо *выйти*?

Да, мне хотелось выйти. Но я только и мог, что молча кивнуть. Пружинка засуетилась. Быстро отложила в сторону мою скрипку. Нырнула во тьму, извлекла подсвечник, зажгла от газа свечу.

— Идем.

Я пошел за нею. Но она не стала одевать меня в пальто и башлык и не повела к входной двери. Нет, она прошла через прихожую, потом по темным, расхлябанным ступенькам, и свет свечи их пятнал грязными лужицами. Потом был длинный коридор, и по обеим сторонам двери, двери, и некоторые, распахнутые, казали го-

лый пол и мерцающее окно. В конце коридор взбегал одной ступенькой вверх и утыкался в стеклянную дверь. Пружинка ее открыла.

— Сюда.

Отдала мне подсвечник и закрыла дверь за мною. Я со страхом шагнул и увидел коричневый фаянсовый стульчак. Сбоку была ручка, и железная труба убегала вверх-вверх, в дальнюю даль, сквозь потолок. Я слышал, как мужские башмаки Пружинки удаляются по коридору. Я прижался спиной к стене и сосредоточился изо всех сил на свече. Я уже сообразил, почему я не понял ее, а она меня. Но я не в силах был ничего поправить, оставалось только терпеть. Так я и стоял, прижавшись к стене, и холод этой тьмы, этого одиночества леденил мне спину и студил волосы. И оплывал огарок.

Наконец, очень издали, накатил раздраженный вопль:

— Оливер!

Я подскочил к ручке, дернул. Прошло несколько пустых секунд. Потом, высоко на крыше, щелкнуло, заурчало, обрушилось. Невидимые трубы жужжали, гремели, рокотали, вспенивались. Я кинулся к двери, споткнулся на ступеньке, бросился по коридору. Пружинка стояла в прихожей, только что впустив большого мальчика. Выхватила у меня свечу.

— На сегодня — все, Оливер. Задаю тебе эту гамму. До вторника.

И, отойдя на два шага, нагнулась ко мне, а большой мальчик бессовестно слушал:

— В следующий раз не забудь *выйти* перед тем, как ко мне пойдешь.

Так началась моя карьера музыканта-любителя. По вторникам и пятницам, по пятницам и вторникам. Мама ловко ввертывала мой новый статус в разговоры с немногими нашими знакомыми.

— Оливер делает такие успехи, — говорила она. — Он просто обожает мисс Долиш, правда, детка?

Я робко соглашался. Не было приличного мальчика или девочки в нашем окружении, чьи родители бы не считали, что мы обожаем Пружинку. Такая это была скала в нашей жизни, твердыня, утес. Когда я ловил себя на том, что подсчитываю: тридцать помножить на шестьдесят будет тысяча восемьсот секунд, я раскаивался в своей испорченности. Я начинал смотреть на часы за час до урока и никогда не забывал перед отходом «выйти».

Итак, я теперь знал Пружинку и смотрел через Площадь, как она пружинит к церкви и потом пружинит обратно домой. Если она не была в церкви, каждые полчаса мальчик или девочка входили в дверь возле эркерного окна музыкальной комнаты. Да, она трудилась в поте лица, наша Пружинка. Возможно, это служило причиной странности, которую я в ней случайно открыл и заботливо потом лелеял. Вопиющие твои ляпы она с негодованием поправляла. Но если ты оставался в поразительно зыбких границах простительного греха, веки у нее опускались, поднимался подбородок, и, сидя на органном сиденье подле рояля, она крепко засыпала. Сигарета свисала из полуоткрытого рта, и она покачивалась или медленно кружила, как угомоняющийся волчок, покуда из-за потери равновесия или чудовищной ошибки своего обожающего ученика вдруг не вскидывалась, проснувшись. Это, возможно, и побуждало меня к большей точности, но — увы — не могло излечить мою растущую ненависть к бедной маленькой скрипке и скуку моих упражнений. Так шли месяцы, и я терзался, и Пружинка корила меня, сопоставляя мое привольное житье с тяжкой юностью истинного музыканта, выпавшей ей на долю. Раз она даже прогнала меня раньше времени за то, что я неверно переписал гамму.

— Мне с тобой нечего делать, — сказала она, суровая, как ее юбка, — если ты трудишься только во время урока. Между прочим, Оливер. Когда я была маленькая, папа мне велел переписывать фуги, каждый голос другими чернилами. И если я путала партии — рраз! — он хлопал меня линейкой по пальцам.

И я ушел, и убивал мои законные полчаса, болтаясь следом за фонарщиком, который с помощью длинного шеста оживлял четыре газовых фонаря по углам нашей площади. Время шло, и промельки быта Долишей сливались в зловещую картину: рраз! — линейкой по пальцам, бах! — нотным рулоном на органных хо-

рах, джик! — смычком под ребра. Я живо себе представлял носящегося в крылатке мистера Долиша со скорой на расправу рукой и глазами, устремленными к абсолюту. Иногда, одолевая железные заслоны на пути от нашего дома к Пружинке, я опасался, как бы она не призвала его на помощь, если мои пороки и злодеяния, одним словом моя мерзостность, окажутся ей не под силу. Слава Богу, до такого ни разу не дошло.

Первая пауза в моем ровном продвижении от урока к уроку возникла, когда я сдавал экзамен по начаткам скрипичной игры. Нам предстоял целый ряд экзаменов, потому что иначе бы никто не узнал, умеем мы играть или нет. В случае успеха нам — то есть нашим родителям — полагалось приобрести аттестат, который можно в рамке вывесить на стене или припрятать в ящик, как амуницию для грядущих жизненных битв. Но этот экзамен стал поворотным пунктом и, как я теперь погляжу, все собою затмил.

Для начала: я тогда в первый раз ездил на автомобиле. Автомобиль был огромный, чуть не с автобус. Он стоял на булыжниках за железной цепью напротив дома Пружинки, и мы, дети, обступили его. Прошла черная зима, светило солнце. Мы радостно болтали. Возле автомобиля стоял человек, и хотя тогда я увидел в нем просто незнакомого взрослого, я, снова доверясь детской сетчатке, могу вытащить и рассмотреть снимок. Он был молодой, тощий, среднего роста, с худым смуглым лицом, и глаза будто залиты глицерином. На нем был лоснящийся синий костюм, и он ознакомил меня с методом говорить лицом одно, а словами — другое. Он посмотрел на бумажку, которую держал в руке. Сказал, что номер-то верный, но он звонил-обзвонился. Ему нужна мисс Долиш, а непохоже, что кто-то из нас мисс Долиш. Лицо было очень печальное, а слова были шуткой. Он сразу имел успех. Мы-то все знали, кто такая Пружинка. И от неуместности его грусти, от нашей нашести и пружинности Пружинки мы чуть не лопнули со смеху. Тема, однако, не получила развития, пресеченная упругим шагом Пружинки по мостовой. Молодой человек надел фуражку и отдал честь. Пружинка заняла позицию в двух шагах от него, ноги вместе, локти назад, ладони чуть вверх, и объяснила, что ее задержал священник. Молодой человек открыл дверцу, и она нам велела влезать. Все уселись, она взгромоздилась на сиденье рядом с водителем, и мы поехали. Сзади не раздавалось ни звука, и молчали впереди оба взрослых. Но километрах в полутора от Стилборна одну девочку затошнило, и совместное участие в ее беде растопило лед. Пролетая между Дикой Морковью и Собачьим Шиповником, мы слушали увлекательнейший разговор впереди. У молодого человека был певучий, текучий голос, каких мы не слыхали в Стилборне, голос под стать его переливчатой мимике. То и дело меняясь в регистре, он был мягок и нежен, как скрипка. Да, он из Уэльса, из Кардиффа, да, мисс, он немножко поет, тенором, значит, они с ребятами вечно, бывало, пели, как сойдутся. Сейчас я диву даюсь, как мы про него все сразу узнали — что он беден, много работает, хочет в жизни чего-то добиться, любитель музыки и первоклассный механик. От неожиданно говорливой Пружинки мы узнали то, о чем давно знали, но не задумывались: что в Стилборне нет гаража, только велосипедная лавка и кузница, что приходится нанимать автомобиль, чтоб поехать в Барчестер, потому что, хоть вернуться можно на четырехчасовом автобусе, в ту сторону автобусы не ходят до двух, кроме базарных дней. Молодому человеку хотелось бы научиться читать ноты как следует, «ну вот как вы, мисс». И тогда бы он поступил в Барчестерский городской хор, который скоро исполнит «Святого Павла» в соборе. После чего он пропел, истекая елеем: «Итак мы — посланники от имени Христова!» [1]

Пружинка склонила голову, глянула искоса, улыбнулась. Пошлепала одной замшевой перчаткой о другую.

— Ну, мистер...

— Генри, мисс.

— У вас же прекрасный лирический тенор!

— Спасибо, мисс, — сказал Генри. — Такой комплимент, и еще от настоящего музыканта! Так и передам в Барчестере кому следует, и придется им взять меня в

---

[1] Второе послание к Коринфянам, 5. 20.

хор, куда они денутся! Да уж; что наша жизнь без музыки...

— Музыка, — сказала Пружинка. — Ах...

Это «Ах» было не грачиное граканье мистера Долиша — гораздо нежней. И она прибавила так, будто мы не в автомобиле, а в церкви:

— Мой отец всегда говорит: «Рай — это музыка».

Генри убежденно тряхнул фуражкой.

— Анекдот про Дая Эванса знаете, мисс? Попадает он, значит, в рай, а там хор. Сопран пятьдесят тысяч, пятьдесят тысяч контральт, пятьдесят тысяч басов, а тенор только Дай Эванс один. Вот заводят они аллилуйю, а дирижер палочкой постучал и говорит: «Минуточку, — говорит, — тенор все заглушает. Дай Эванс, поубавь-ка, будь настолько любезен».

Анекдот поразил Пружинку, как нас поразил тот первый вопрос Генри. Она тряслась, каркала и, подняв замшевую перчатку, хлопала себя по пучку. Но вот она затихла, и я увидел, что Генри тоже начал трястись, подавляя кашель: кх-кх-кх.

— Извиняюсь, мисс, — сказал он, наконец перестав кашлять. — Видно, это от газа последствия. А теперь послушайте, мисс, что я вам скажу. У меня сегодня короткий день. Так что вы дайте мне, во сколько бы вам встали билеты — ну там, на бензин, — а я отвезу вас с детишками обратно в Стилборн, как в Барчестере освободитесь.

Тут уж с молчанием на заднем сиденье было покончено. Мы заорали хором, чтоб она соглашалась. И она согласилась — ради нас, и смеялась, и мы по пригороду Барчестера катили к снятому в «Золотом Шаре» для такого случая залу.

Этот мой первый экзамен навеки определил наши взаимоотношенья с Пружинкой. Ибо, сыграв наконец свой дикий отрывок из Баха — да диди да да диди да, — я разревелся от унизительного уродства извлекаемых мною созвучий. Потом, хлюпая, я сыграл гамму, ставя пальцы на сверкающие места, чтоб удержать скрежещущие тона от разлада. Завывая, я со скучливой уверенностью определял интервалы и даже называл экзаменатору его первую ноту сразу до всякого интервала, ужасно торопясь поскорее отделаться.

— И нечего плакать, — сказал он. — И, между прочим, по-моему, у вас абсолютный слух.

Я ушел, все еще всхлипывая. Когда я иссяк, мы уже готовы были снова тронуться в путь.

На сей раз Генри говорил об автомобилях.

— Вам бы маленькое авто заиметь, мисс. Сейчас леди многие сами на авто разъезжают.

Нас отвлекали дорожные впечатления — а меня вдобавок скромная гордость, что единственный из экзаменуемых я вызвал переполох, — и только проскочив Старый мост и покатив по Главной улице к Площади, я наконец услышал, что говорит молодой человек.

— Какое тут беспокойство, мисс. Я, значит, погляжу, что да как, и вам в случае чего сигнализирую. А водить — это я вас в два счета выучу, мисс. Да чего там, мисс, я ж с удовольствием.

Мы остановились у цепей перед эркерным окном. Генри выскочил и, покашливая, помог выбраться Пружинке. Она нас оглядела.

— Милли. Тебе далеко идти. Зайди, выпей молока с печеньем. Мистер...

— Генри, мисс.

—Вы были так любезны. Вам не мешало бы подкрепиться чашечкой чая, прежде чем пускаться в обратный путь.

Я поспешил по газону в родительский дом, не оглядываясь, и потому не знаю, принял Генри ее приглашение или нет. Зато когда я рассказал родителям, что я, единственный из всех, плакал, они решили, что музыкальные экзамены не по моим тонким нервам и бог с ним совсем, с аттестатом. Я буду, решили они, заниматься музыкой для собственного удовольствия, пусть это кому-то и покажется странным. О совершенном прекращении моих музыкальных занятий не могло быть и речи. В результате наши встречи с Пружинкой отчасти лишились своей напряженности. Она не могла, разумеется, всерьез относиться к урокам, не ведущим к разумной цели.

Она спала теперь чаще и дольше. Если она не спала — она говорила, иногда по десять безмузыкальных минут подряд. Почему-то я всегда ей поддакивал. Я не мог не поддакивать — просто не мог. Мое раболепное соглашательство было как смирительная рубашка.

Генри Уильямс опять объявился, когда еще было в разгаре лето. Он подкатил к эркеру в двухместной малолитражке с холщовым откидным верхом и увез с собой Пружинку. Через неделю, после ряда уроков автовождения, когда я со своей скрипкой перепрыгивал через цепи на выстриженную траву и поверх розоватых крыш млечно голубел вечер, — на мостовой стояла малолитражка, а рядом покорный Генри. Мистер Долиш вылетел из парадного в облаке белых волос, рывком распахнул калитку.

— Швыряние денег на ветер!

Я стоял, прижимая к груди футляр, и смотрел. Уйдя по мостовой шагов на двадцать, мистер Долиш оглянулся и крикнул эркеру, будто тот был живой:

— Музыки твоей тебе мало?

Вышла Пружинка.

— Заходи, Оливер, и начинай играть.

И задыхаясь вошла за мною.

Мне бы еще гадать и гадать насчет Пружинки, и старого мистера Долиша, и Генри, если бы не бесподобная мамина проницательность. Как все женщины на нашей Площади, она была прирожденный детектив. Они, женщины, не довольствовались ограждениями перед каждым домом и засовами на дверях. Они непроницаемо занавешивали окна. Отступя на шаг от занавесок в глубь комнаты, они посылали наружу то, что теперь я назвал бы радарными лучами. Любопытная деталь: лучи проникали сквозь занавески так, что ближние были женщине смутно видны, сама же она оставалась надежно укрыта. Мужчины располагали большей свободой при отнюдь не столь тонкой проницательности. Зато они приносили ценные сведения для опытного разведчика, окопавшегося в тайнике. И каждая трапеза превращалась в своего рода перекрестный допрос, позволявший выстроить целостную картину. Моя субтильная мама по полчаса простаивала за кисейной занавеской, гадая, что могла означать новая шляпка, встреча, движенье руки, даже выраженье лица.

— Идет дочка Элиотов. К мосту, конечно, идет на свидание со своим Томасом, а мать у нее, между прочим, еще в больнице.

Кроме радара, у мамы было еще одно тайное оружие. Я. Я не только дважды в неделю проникал в дом Пружинки, меня использовали и в более широкой сфере. Совершенно естественно, помогая папе, я нес то пузырек с лекарством, то коробочку пилюль в какой-нибудь дом. Я и представить себе не мог, сколь ценную информацию извлекала для себя мама по моем приходе домой. Я был как межпланетная научно-исследовательская ракета и ничуть не более, чем она, пекся о своем назначении. Помню, в те дни, когда Генри учил Пружинку водить машину, я что-то носил в соседний с ней дом — Уэртуисль, Уэртуисль, Уэртуисль, юрисконсульты, — не постигая, что означает его длинное наименование. Я вошел в прихожую, там не было ни души. И пока я раздумывал, куда сунуться, меня накрыло барственным басом:

— Войдите!

Я толкнул дверь и увидел старое венозное лицо над столом, заваленным пыльными папками.

— Ну-с? Что угодно? Вступить в брак? Составить завещание?

Я протянул коробочку.

— А-а. Это для моего сынка говенного. Нет. Я возьму. Вот.

Он порылся в кармане и выбросил на стол два пенса. Я знал, однако, что я не Бедный Мальчик. Я попятился, затряс головой и закрыл за собой дверь. Мама была довольна моим отказом от чаевых и выдала мне трехпенсовик на расходы. Ободренный, я шепнул, что мистер Уэртуисль сказал плохое слово, очень плохое. И она кивнула, будто так и знала, что он его скажет и почему. А еще по ту сторону, где жила Пружинка, был большой дом, в котором жили две дамы, сами по себе. В них была какая-то недоступная для радара тайна. Когда обе давно уже умерли, я спро-

сил про них маму, но она мало что могла сказать.

— Они очень странно держались. Очень, очень странно.

Я один раз ходил в этот дом. Будто подстерегала у входа, младшая дама вышагнула мне навстречу и плотно прикрыла за собой дверь.

— Скажи своей матери, Оливер, — произнесла она ледяным голосом, — что это номер семь, а не номер одиннадцать.

Чем по всем правилам, очевидно, закончился некий раунд. И с грустью я вспоминаю, как Юэны неукоснительно мне что-нибудь дарили на Рождество. Тоже вибрировали строго в такт с хрустальной пирамидой.

И нет ничего удивительного, если мама интересовалась Пружинкой. Я описал ей расхлябанные ступени, длинный коридор, пустые комнаты. И часто за столом она заводила развернутый монолог, в который папа время от времени вставлял уклончивые замечания.

— Жить одной в таком огромном доме...

Огромный дом? Так вот как они назывались, мои неотвязные сны, — Пружинка в пустующей тьме, и нет в пустоте никого, только ощеренный рояль. Мистер Долиш жил над своей лавкой, может быть, он не любил этот дом, или звук музыкальных уроков, или просто считал, что дочери нужна независимость.

— Сдавала бы комнаты, — сказала мама. — По-моему, нехорошо женщине жить так вот одной. Да и деньги...

— Ну, будет тебе, мама, — сказал папа. — У Долиша солидные средства. Вполне солидные. С ним все в порядке.

Как-то Генри подъехал на автомобиле, когда мы сидели за столом. Мама вскочила, едва услыхала рожок, глянула сквозь занавески.

— Опять урок, — сказала она. — Третий раз на этой неделе.

Папа утер седые усы и снова задумчиво склонился над супом.

— Это ей обойдется недешево.

— Глупости, — сказала мама запальчиво. — Она ему ничего не платит.

— Да ну? — сказал папа. — Что ж, очень благородно. Если бы все...

— Благородно! — крикнула мама с тем страстным презрением, которое держала в своем арсенале для людей, не снабженных радаром. — Благородно! Да! Пожалеешь червячка — не поймаешь окунька!

Вскоре после этого я наблюдал, как машина впервые поступила в единовластное распоряжение Пружинки. Было время чая. Пружинка и Генри подъехали к дому, и он потом пешком пошел на барчестерский автобус. Пружинка скрылась за дверью, оставив машину на мостовой. Мы стояли за занавеской. Там и сям вокруг Площади занавески подрагивали, кое-где даже съезжали чуть на сторону. Пружинка снова вышла, села в машину, произвела какие-то движенья руками, бросив машину в дрожь. Сзади всклубилось густое облако дыма, рев мотора перешел в негодующий визг. Машина дернулась метра на три вперед и намертво стала. Пружинка вылезла и вернулась в дом. А на утро Генри был тут как тут, лежал на булыжниках в лоснящемся синем костюме, и на радиаторе висела фуражка. И в следующий раз, когда я пришел на урок, я успел десять раз сосчитать до шестидесяти, прежде чем Пружинка вкатила на мостовую и пропружинила в дом, хриплая по-мужски, запыхавшаяся.

— Я за самые дюны проехала — чуть не до Легатов, сама, Оливер! Можешь себе представить? Оказывается, это так просто!

Она металась туда-сюда, воздевала руки. Восклицала, какой благородный Генри.

— Сколько же он на меня времени тратит! И знаешь, Оливер, я ведь никакими силами не могу заставить его принять деньги. Он уверяет, будто ему это ничего не стоит!

Я объяснил веско, не только из желанья поддакнуть, но чтобы вдобавок ввернуть фразу, которая меня восхитила, что он «не жалеет червячка, чтоб поймать окунька». Пружинка постояла — неподвижная, стихшая. Потом стала с пристрастием меня допрашивать, все напористей, и наконец ужасно рассердилась. Я не мог понять, что я такого сделал. И наконец она меня прогнала, а дома дело обстояло не лучше, потому что, когда я отчитался о нашей беседе маме, мама рассердилась

еще больше Пружинки. Я так и не понял причины гнева обеих, но межпланетные сообщения и всегда чреваты — увы! — непредвиденными опасностями.

Вот тогда я заметил кое-что странное в лице Пружинки, и странность эта потом все усугублялась. Анатом бы, наверное, заговорил тут о сильно развитых мышцах сфинктера вокруг рта. Когда она гневалась или что-то порицала, рот сжимался, губы сперва взбухали пучком, потом втягивались внутрь. Вокруг собирались складки и сходились к центру. Год за годом складки сфинктера углублялись, пока не стали видны постоянно, сердилась она или нет. Когда сердилась, складки делались траншеями, рот становился воронкой.

Не успела Пружинка освоить водительское искусство, как ее отец окончательно вылетел из нашего круга и был погребен на церковном погосте недалеко от калитки. Помню, вскоре после этого события пересекши Площадь, я не застал Пружинки, мне сделалось не по себе в темной прихожей, и я толкнул дверь музыкальной комнаты, навстречу теням, тяжким формам, оскалу рояля. Красно тлел камин, и я двинулся к нему, ища защиты. От щелчка в догорающих углях у меня встали дыбом волосы, и будь в прихожей хоть какой-нибудь свет, я бы сбежал. Но я остался, где был, и вот уже различал очерки предметов. Особенно заинтересовал меня предмет на каминной полке, в котором, постепенно яснея, проступило лицо; и наконец я понял, что это Бетховен в бронзовой гриве, сжав губы, глубоко запавшими глазами сверлит хвост рояля. Явно похожий на Пружинку и на ее отца, он определенно меня порицал. Пока я над этим раздумывал, эркер ощупали автомобильные фары. Пружинка вошла в прихожую, постояла, открыла дверь музыкальной комнаты. Двинулась к газовой горелке, и я, с облегчением ринувшись ей навстречу, стукнул футляром рояль. Пружинка вскрикнула, обернулась — и глянула на меня ужасно выпученными, как-то окончательно облысевшими глазами. Прижала руку к груди, рухнула на органное сиденье.

— Никогда, никогда не смей сюда входить, пока я не позову!

Я смиренно просил прощения. Я до того натерпелся страха в темноте и одиночестве, что меня даже не очень пронимал ее гнев. И потом у нас был урок. А на той же неделе Генри Уильямс переехал в Стилборн. Точно не помню, как именно это произошло, просто началась новая фаза, когда он стал жителем нашего города. Наверху горбатой Главной улицы, там, где она впадает в нашу Площадь у ратуши, располагалась кузня, маленьким проулком отрезанная от дома Пружинки. В нескольких метрах дальше по проулку калитка вела во двор за кузней. В этом дворе стояло нечто вроде хлева с голубятней. Генри, как голубь, жил на голубятне. Иногда помогал кузнецу, иногда мыл машину доктора Юэна, а то накачивал ей шины ножным насосом. Когда возле ратуши открывался базар, Генри был тут как тут, сновал между прилавков, расторопный, всегда готовый к услугам. Пружинка ставила свою машину на том дворе, верней, Генри для нее ставил, потому что Пружинка не могла развернуться в узком проулке. Генри и ухаживал за машиной, блистил, как жемчужину короны, и она вся мерцала и светилась. Я, не вникая, привык считать Генри Пружинкиной собственностью, так уж она с ним обращалась. Станет во дворе между ржавой грудой железа и зарослями крапивы и громко говорит о машине, пока он ее моет, — кричит хрипло, с расстояния двух шагов, но и ласково, весело, будто машина — живая и она ее гладит. Генри знай себе трудится и кивает, пока Пружинка, вдруг ни с того ни с сего отвернувшись, не запружинит домой.

Я не мог понять маминых жалостливых насмешек. Почему бы мисс Долиш не любить свою машину? Я бы, например, тоже любил. Но — и уж это было совершенно непостижимо — маме, кажется, не нравился Генри. Мне он, наоборот, исключительно нравился, и в конце концов я стал даже думать, что это один из моих недостатков. Он со мной разговаривал своим текучим голосом, когда я смотрел, как он моет машину, и он обращался ко мне почтительно-вежливо. Приходя в аптеку за микстурой от кашля, при виде меня неизменно адресовался ко мне: «мастер Оливер».

Когда, буквально за одну неделю, двор за кузней преобразился — рассверкавшись инструментами, цистернами и канистрами, — и я с восторгом описывал маме новый триумф Генри, она меня оборвала:

— Тьфу! Просто слушать противно!

Несмотря на смерть отца, владенье машиной заметно оживило Пружинку. Она теперь дольше и слаще спала на органном сиденье, по-младенчески распустив губы, и даже изобрела шутку, которой мы наслаждались из урока в урок. У меня был сборник упражнений такого Ктотэма. Впервые я принес зеленую папку, опоздав на урок, и с этого совпадения все и пошло.

— Кто там? А-а, наконец! — крикнула она. — Оливер с Ктотэмом! Ты теперь сам будешь Ктотэм.

И тряслась и каркала на органном сиденье. С тех пор она меня иначе не называла, и вместе мы от души хохотали. Как-то, когда у цепей перед эркерным окном на нас наткнулся священник, она пригласила его разделить нашу радость:

— Я его называю Ктотэм, потому что...

Тогда же она меня удивила, как никогда еще в жизни не удивляла. Мне было десять лет, я только поступил в местную гимназию. Я таскал теперь скрипку побольше, на которой играл так же скверно, как и на первой. Входя в парадную дверь, я слышал со двора треньканье и звяканье Генри, хоть кузнец уже закрылся до утра и отправился в «Гребешки». Я постучался в дверь музыкальной комнаты, и Пружинка, видно, меня поджидала, потому что откликнулась сразу, хоть и тихонько:

— Кто там? Ктотэм?

Я вошел и чуть не уперся носом в ее блузку. На уровне моих глаз была одна из перламутровых пуговиц, сбегавших по оторочке, по планке — или как это называлось — к поясу. Что само по себе было новостью, ибо я привык видеть здесь бурый галстук. Но это еще не все. С обеих сторон этой планки пенилось белое кружевное жабо. Руки у нее были подняты. И те же кисейные кружева торчали из-под каждого рукава. Пройдя по декорированной планке до шеи, мой взгляд обнаружил, что знакомая брошь покоится в кисейном гнезде, там, где исконно располагался галстучный узел. Я с изумлением глянул Пружинке в лицо. Оно как бы чудом размягчилось и просияло — не то что молодое лицо, но с намеком, с напоминанием о юном, о девичьем. Даже волосы были не такие суровые, скучные, стали ярче и распушились. Глаза — но очень скоро они прочли изумленье в моих. Губы сжались в сборках морщин, сразу обтянулись скулы, щеки впали, и в первый и последний раз на моей памяти круглые красные пятна вспыхнули на обеих. Я смотрел, и краска разливалась по лицу Пружинки, пока вся она не потемнела от шеи до лба. Резко шагнула к роялю, чтоб я мог настроить скрипку, оставила меня с моей гаммой и — пряча лицо — буквально выскочила вон. Когда вернулась, лицо, как всегда, было желтое и в разительном несоответствии с кружевами. Она была чрезвычайно строга и ко мне придиралась. Больше я этих кружев не видел.

А вскоре потом переменилась вся наша жизнь. Я возвращался с Главной улицы, купив конфет, и, как всегда, завернул во двор кузни, поглядеть, у себя ли Генри. При этом я, как всегда, волновался, потому что мама считала, что мне не следует к нему приставать. От привкуса запретного плода, как водится, мои визиты делались еще слаще. Генри, охорашивая машину, иногда болтал со мной, пока я смотрел, объяснял, например, что такое грязевик и зачем на шинах узоры. Но сейчас Генри был не один. Длинная белобрысая женщина, бледная, одышливая и тупая, стояла под приставной лестницей с грудным ребенком на руках. Она препиралась с Генри.

— Ну как я полезу? Это не дело, Генри. Мне настоящую лестницу надо.

Я уносил свои конфеты под текучие увещания Генри. Блондинка и младенец оказались его абсолютно непредвиденными женой и ребенком. Я страшно завидовал им, считая необыкновенным везеньем не иметь дома и жить по-цыгански на голубятне. Что касается Пружинки, я не могу описать, в какую пропасть унижения и тоски она была брошена или бросилась.

— Бедняжка, — смеясь и жалостно покачивая головой, говорила мама. — Кто бы мог подумать, правда?

— Что — подумать, мама?

Но мама только покачивала головой и смеялась.

Для всех наступила веселая пора. Я разделял общее веселье, не очень понимая

его источник, очевидно, невольно исходя из предпосылки, что, если все вокруг развлекаются, должно быть весело и мне. Но когда возбуждение достигло высшей точки, я обнаружил, что радуюсь только я один. Дело в том, что не прошло и нескольких недель после появления Мэри Уильямс с младенцем, а уж все трое вселились в большой дом и стали там жить вместе с Пружинкой. Я был просто счастлив, я наслаждался чувством освобождения и покоя. Мне уже не снился длинный коридор, пустые комнаты, я знал, что там живет Генри. Теперь, неся пузырек с лекарством малокровной Мэри, я поворачивал не сразу направо, к музыкальной комнате, а налево, во двор за кухней с промельком заглохшего длинного сада. Там стояла на плитках коляска с вопящим Джеки и невидимая Мэри гремела тарелками. Мама, однако, не разделяла моих чувств. Почему-то она сердилась, когда говорила о Генри, и выходила из себя, говоря о Пружинке. Я затруднялся выбором собственной линии поведения. За спиной у Пружинки я подражал маме, и вот не кто-нибудь, а Генри резко меня осадил. Как-то, завезя свой велик к нему во двор, чтобы он укрепил мне руль, я завел речь о Пружинке так, как если бы он, я, мы все были по одну сторону баррикад, а она по другую, вместе с чудиками Стилборна. С перепачканного смазкой лица на меня глянули глаза, как никогда затопленные глицерином.

— Мисс Долиш, — сказал Генри, — вот уж добрая, благородная леди.

Я заткнулся, слегка покраснев.

Папа купил простейший приемничек, а потом граммофон. Я начал догадываться о том, что такое музыка, что такое исполнение. Крейслер, Падеревский, Корто, Казальс[1] — сквозь неповоротливое шипенье пластинок, сквозь вечный мучительный треск и взрывы морзянки прорывалась музыка. Но Пружинка — когда я пытался с ней поделиться своей новой радостью — с диким негодованием обрушилась на папу, обрушилась на меня.

— И зачем это понадобилось твоему отцу, Оливер? Ведь якобы он любит музыку! Я бы в жизни, в жизни не стала слушать такую дешевку, гадость, вульгарщину, такое кощунство!

Я стоял, кивал, улыбался — сконфуженно, подхалимски — и мечтал, чтоб она поскорей умолкла. В дверь музыкальной комнаты постучали. И когда она вышла, я услышал крик:

— Нельзя меня прерывать во время урока, Мэри! Очень хорошо. Разогрейте мне бифштекс с почками.

Да, действительно, мы менялись, менялись все. Пружинка становилась мужеподобней и резче, уже не так пружинила при ходьбе и понемногу тучнела. С Генри и Мэри она обращалась грубо, по-хозяйски. Иногда про них говорила: «моя семья». Генри тоже переменился. Посолиднел. Выступал иногда уже не в лоснящейся синей сарже, а в пальто и фетровой шляпе, как прочие бизнесмены нашего города. Ну а я — я стал неискренним, скрытным, циничным. Только уж через много лет, оглядываясь назад, я понял, откуда было во мне это чувство лживости и вины. Мэри — та сделалась еще более блеклой, одышливой. И совсем уж кислой и злой. Однажды, выйдя во двор с лекарством, я застал там Пружинку и Мэри, подбоченившуюся в кухонных дверях. Обе орали, перебивая друг друга. Но вот голос Мэри, поднявшись до вопля, отчетливо донес до меня каждое слово:

— А я говорю, тетя Сис, мне нужна моя кухня!

Вдруг они увидели в дверях прихожей меня с пузырьком в руке. Все примолкли, за исключением Джеки, который выбросил из коляски погремушку, громко заметив:

— Бах! Бах!

Без единого слова я вручил пузырек и ушел.

Как-то я сидел на откидном стульчике — мы ехали в Калне играть и петь «Илию», — а спереди сидели Генри с Пружинкой. Верх был опущен, и я смутно слышал, как тихие голоса бубнили, постепенно нарастая, пока Генри не взорвало:

— Да нет же, тетя Сис! Все не так, не так, не так!

---

[1] Знаменитые музыканты: Фриц Крейслер (1875—1962) — австрийский скрипач и композитор; Игнацы Ян Падеревский (1860—1941) — польский пианист и композитор; Альфред Корто (1877—1962) — французский пианист и дирижер; Пабло Казальс (Касальс; 1876—1973) — испанский виолончелист и композитор.

Опять забубнили, опять отчетливо прорвалось:
— Сами же говорите, что у вас есть ваша музыка!
— Тс-с, сзади Ктотэм...
Покрутила шеей, крикнула:
— А ты как считаешь, Ктотэм?
— Что-что, мисс Долиш?
— Тебе не слышно, что мы говорим?
— Что вы сказали, мисс Долиш? Я не слышу! Дикий ветер...

Неискреннее дитя. Но у меня тоже была моя музыка. Звуки поддерживают, раскрепощают, это была для меня уже не теория, но реальность. И все еще терпя скрипку, я влюбился в фортепиано и выколачивал последние силы из нашего звякающего инструмента. Я уже слышал больше музыки, чем Пружинка, и перешагнул границы ее музыкального мира. Стоит очертить эти границы. Событиями в ее жизни были нечистые и нудные исполнения «Святого Павла», «Илии», «Мессии», кое-что из Станфорда[1] и «Распятие» Штайнера[2] ежегодно на Пасху. А так — Хеллер, Ктотэм, «Вольные упражнения» Маттея[3] плюс «Гимны старинные и современные»[4] по воскресеньям. Ну а я, я с трудом выносил — куда денешься? — проворечие своего подхалимского экстерьера с неартикулируемыми мыслями и невнятицей чувств, всуе порхающих под его прикрытием дважды в неделю по полчаса.

— Не знаю, что бы Оливер делал без мисс Долиш. Он так ее обожает...

И, прячась на следующем уроке за улыбками и кивками, внимая диатрибе, посвященной Стравинскому, которого она никогда не слышала, я смутно думал: «Значит, это называется — обожать».

Она теперь раздалась, волосы, отшпиленные от пучка, мотались под плоской шляпкой. Она обрела два золотых зуба с одной стороны и сияла ими, разражаясь угрюмым смехом при наших доверительных шуточках. Коляску Джеки заняла его сестренка.

— Пойдем, ты взглянешь на мою маленькую племянницу. Тю-тю-тю! Пусенька! Это Ктотэм, Ди. Я его называю Ктотэм, потому что...

Но был страшный случай, когда, дожидаясь урока в темной прихожей, я услышал с лестницы голос, не грубый, а проникновенный и нелепо молящий:

— Я одного хочу, чтоб я тебе была нужна, нужна!

Да, мои вянущие скрипичные уроки все чаще и чаще срывались. Не из-за скандалов, которые вспыхивали, кажется, ежедневно, даже не из-за тщательных примирений. Они не мешали урокам, только задерживали их. Главное бедствие был шум — иногда ритмично надсадный, иногда сокрушительный, — идущий снаружи. Оттуда, где раньше был двор и соседняя кузня, теперь по дешевке обернувшаяся мастерской и гаражом Генри. Там были рекламы «Данлопа»[5] и старые шланги на беленых стенах, как осьминоги, развешанные для просушки. Были канистры, цилиндры, компрессор, верстак и какие-то таинственные инструменты, необходимые Генри для хирургического леченья машин. Все лоснилось от неизбывной маслянистой грязи.

Помнится, я демонстрировал свою спорную способность совладать со второй позицией. Пружинка сидела на органном сиденье, тупоносые туфли на органных педалях. Твидовая юбка и пиджак шершавились в газовом свете. Я играл, и вот обширная грудь качнулась, свесилась голова, закрылись глаза. Я наяривал, с чувством признательности услаждая эти закрытые глаза и сокращаемый сфинктером рот.

Вдруг грянули пушечные раскаты. Меня накрыл грохот. Пружинка очнулась, уставилась в мои ноты, будто канонада — часть партитуры.

— Это Генри, — по-дурацки крикнул я. — Генри работает допоздна!

— Я тоже работаю допоздна!

Оторвала ноги от педалей, вскочила, распахнула дверь.

---

[1] Чарльз Вильерс Станфорд (1852—1924) — английский композитор, дирижер, музыковед, обрабатывал народные песни, издавал сборники народных песен и баллад.
[2] Якоб Штайнер (1617—1683) — австрийский скрипичный мастер, придворный музыкант.
[3] Тобайес Маттей (1858—1945) — английский пианист, педагог, теоретик фортепианного искусства.
[4] Известный сборник церковных гимнов. Впервые издан в 1861 г.
[5] Концерн по производству технических резиновых изделий, в частности автопокрышек.

— Мэри! Мэри!

Ответа не было, шум продолжался.

— Мэри! Ну как я могу слушать музыку под этот мерзкий грохот? Пусть немедленно прекратит!

Мэри что-то проблеяла в ответ, я не разобрал слов. Голос Пружинки, не раз укрощавший хор; перекрыл канонаду.

— Сейчас же идите и скажите ему! — Затем аппассионата: — Я этого не потерплю! — Краткий, рваный дуэт в прихожей окончился сдвоенным хлопаньем дверью, и Мэри, блея, бросилась домывать младенца, а Пружинка протопала на плитки двора с финальным фортиссимо: «Не потерплю!»

Я стоял, ждал, цифры росли — шестьдесят, сто двадцать, триста, — и наконец тихий вечер вернулся в Стилборн. Шестьсот секунд. Пружинка вошла запыхавшаяся, лицо лоснилось, пучок рассыпался космами. Снова началась канонада, и ей пришлось проорать объяснение:

— Машина Юэна. У него срочный вызов, а свою Генри отдал внаймы. Моя в ремонте. Ничего не поделаешь. Тебе придется уйти, Ктотэм. Я не могу преподавать при таком грохоте.

И я ушел, преследуемый пушечными раскатами.

Все чаще и чаще Генри работал допоздна. И не мог не шуметь. А почти все ученики приходили к Пружинке по вечерам и натыкались на лобовую атаку. Я брал уроки в доме, раздираемом распрями, переполненном трудовым грохотом, накаленном обидой. Я замечал, как морщины на лбу у Пружинки становились глубокими бороздами. И хриплую грубость и сон на органном сиденье оттеняла теперь отчаянная усталость. Потом, ни с того ни с сего, шум прекратился, и Мэри стала сахар-медович и сплошное «миленькая тетя Сис».

Причина прояснилась дома за чаем. Мама нарушила наше жвачное молчание, как всегда, в знак того, что у нее есть для нас новость.

— Вот он своего и добился.

Я поднял взгляд.

— Кто?

— Генри Уильямс. Просто топать и кричать хочется!

Папа глянул поверх чашки.

— И чего же добился Генри Уильямс?

— Да всего, чего хотел. Берет лавку, которая ей от отца досталась, и флигель рядом и будет строить гараж!

Я прикинул в уме. Никакой канонады. В результате нерушимые тридцать на шестьдесят.

— Пружинка-то будет рада.

Мама нервно погремела чашкой.

— Сам не знаешь, что говоришь. За ее же денежки он перестраивает ее же собственность. Он ее обдерет как липку!

Папа глянул на нее сквозь толстые очки и обтер седые усы обеими руками.

— Уильямс упорно работает. Она сможет вернуть свои деньги.

Мама рассмеялась с горькой иронией, как ни странно, относившейся скорее к папе.

— Не очень верится!

— Ну будет тебе, мама. Она не ребенок. Конечно, они все это оформили как полагается.

— Да ну их в Европу! — от мамы, боюсь, ускользала эвфемистическая подоплека ее заявления. — Надоело! И сам же ты знаешь, старый Уэртуисль вечно подшофе.

— Ну я не знаю, мама...

Мама окончательно рассердилась:

— Зато я знаю!

Мы оба трусливо умолкли, и он-то, возможно, знал, почему она сердится, шаркая под ее взором обратно в аптеку.

Да, теперь можно было наблюдать кое-что новенькое на полпути по Главной улице от Старого моста к Площади. Там, где жил и носился старый мистер Долиш,

были теперь бетонированная площадка, гараж и ремонтная яма для осмотра машинных внутренностей. Было высокое, тощее сооружение при дороге, с помощью которого Генри перекачивал бензин. Тут же я впервые увидел самое удивительное и поистине знаменательное объявление двадцатого века: «Воздух отпускается бесплатно». Повадившись накачивать шины своего велика от этого механизма, я не ухватывал тонкой экономической подоплеки. Но Генри, снисходя к моей невинности, не возражал, да и вообще, кажется, уже мог себе позволить известную широту. Облачась на работе в костюм, он заточался в своем маленьком офисе. И был тогда не Генри, а мистером Уильямсом. Вскоре после переезда он поставил на бетонированной площадке первый в нашей округе комбайн, предлагая внаймы недоверчивым фермерам. Скоро те были обращены. А сады, сбегавшие в тылу гаража к реке, залил теперь бетон.

Но когда еще свежа была на гараже краска, я получил некоторое представление о том, как отнеслась к этим преобразованьям Пружинка. Я метался по нашей крошечной лужайке, раздумывая и мечтая. Пройдя между яблонь на огород, я упер ся взглядом в угол забора. Место всегда мне казалось самым укромным. В этой укромности, подальше от людского давления, там, где на меня могли повлиять одни пауки, я рассчитывал найти выход. Кое-что уже брезжило в тумане. Я изо всех сил сосредоточился. Имена пианистов я знал лучше, чем имена футбольных звезд. В этом углу меня уже не мучило ощущение собственной наглости оттого, что я вознамерился играть на рояле серьезно, по-настоящему, как Майра Хесс[1] и Соломон[2] например. Я уже познал восторг открытия, что мои пальцы справляются с музыкой так, как я и думать не смел. Но со следующего года предстояло зарабатывать стипендию в Оксфорд. Физика и химия — солидные, серьезные вещи. Родители намекали, что блестящее будущее мне уготовано физикой и химией. Из этого своего укромного угла я шел с колотящимся сердцем к Пружинке. Я сам завел разговор! Заговорил о карьере. В самоироническом тоне, к которому всегда прибегал, говоря с ней о чем-то для меня важном — чтоб перемахнуть на ее сторону баррикад и все обернуть шуткой, едва уловлю насмешку. Ерничая, спросил, почему бы мне не стать музыкантом, пианистом, что ли.

К моему удивлению, Пружинка не стала смеяться. Откинула голову, сделала заключительную затяжку, долго давила окурок. Не отрывала важного взгляда от клавиш.

— Твой отец ни за что не согласится.

Разумеется. Вне укромности огорода, при дневном беспощадном свете его согласие было абсолютно необходимо.

— Ой, даже не знаю, мисс Долиш...

Она молчала.

— А что думает по этому поводу твоя мать?

Тотчас мне открылось все неприличие блудной, неоплачиваемой музыки.

— Ей-богу, мисс Долиш, я же это так, в общем, и не думаю, мисс Долиш!

Пружинка сложила руки на коленях. Когда заговорила, в голосе была странная, тусклая горечь, какой я в нем раньше не слышал.

— Нет, не делайся ты музыкантом, Ктотэм. Лучше иди в гараж, если хочешь зарабатывать деньги. Ну а я — я останусь рабою музыки до конца моих дней.

Я, как ни в чем не бывало, подхалимски кивал. Пружинка качнулась, заснула, легонько пожевывая губами. Потом лицо исказилось, втянулся рот, она открыла глаза.

— Этот обормот до сих пор спит в одной комнате с сестрой! Какая гадость! А ей ведь не скажешь! Ей ничего не скажешь! И чего они дожидаются?

Озноб, как живой, прополз по моей коже. Я молчал, ждал, смотрел на темную фотографию молодого человека, вечно глядевшего мимо меня, переводил взгляд на темную даму в пальто и шляпе. Но вот Пружинка увидела мои ноги. Поднимала, поднимала глаза, пока не добралась до лица. Вдруг узнала меня.

---

[1] Майра Хесс (1890—1965) — одна из виднейших английских пианисток.

[2] Соломон (Соломон Катнер; 1902—1988) — английский пианист. Дебютировал в возрасте 8 лет, исполнив Первый концерт Чайковского.

— А-а, Ктотэм, старина! Чего же ты ждешь? Начинай играть!

В следующий раз неся Мэри лекарство и против всякой вероятности надеясь прошмыгнуть во двор мимо музыкальной комнаты незаметно для Пружинки, я на цыпочках одолел прихожую, открыл дверь во двор и угодил прямо в семейный ураган. Мэри, стоя против Пружинки, обороняла кухонную дверь. Генри стоял ко мне спиной — очень широкой в пальто.

Вдруг Пружинка заорала:

— Я не желаю терпеть его в своем доме!

Генри, сохраняя спокойствие, поднял обе руки — утишая, увещевая.

— Понимаете, тетя Сис, у Мэри болит голова...

— А у меня что — голова не болит?

— Джеки мой сын, мой, я ему хозяйка! Вам-то какое дело?

— Мэри, ты так не разговаривай с тетей Сис!

— Убирайтесь все вон — слышите! Вон из моего дома!

Тут они заметили меня. Я подошел, спотыкаясь на плитках, отдал пузырек. Мэри, одной рукой поправляя рассыпавшиеся волосы, другой потянулась к лекарству.

— Спасибочки.

Я побежал прочь, как маленький, не чуя под собою ног.

Никуда они, конечно, не убрались. Через неделю отношения Мэри с Пружинкой опять стали сахарными. Потом был еще скандал и еще. Они все не уезжали. В путанице ли моих снов или когда спала на органном сиденье, она стонала: «О, Генри, Генри, милый! Я-то, как же я-то теперь?»

Собственная моя музыкальная будущность решилась сама, при моем весьма вялом сопротивлении. Профессионалом мне, положим, не стать, но почему бы не подготовиться к экзаменам по фортепиано. Когда я наконец решил изложить эти соображенья Пружинке, она посидела немного, потом расхохоталась, просияв золотыми зубами.

— Смотри, Ктотэм, ой, смотри!

— Нет, но я правда хочу, мисс Долиш.

Пружинка тряслась на органном сиденье.

— А нервы у тебя выдержат?

— Я хочу получить диплом.

— Что говорит твой отец?

— Он — за, если это не помешает моим основным занятиям.

— Начинать придется с азов. Ты бренчишь понемножку, ведь правда?

— Да, мисс Долиш.

Пружинка склонилась к роялю. Вытянула пыльные потрепанные ноты из груды, полистала, поставила на пюпитр и начала играть. Кончив, зажгла сигарету.

— Ну вот. Теперь ты знаешь, на что идешь.

Очень хочется думать, что мою нечленораздельность она приписала восторгу. На самом деле я был изумлен. То, что она играла, было экспромтом Шопена. Я слушал его накануне в исполненье Корто.

— Уж я буду стараться.

— Придется. Существует ведь еще и теория. И проверки слуха. Мы давным-давно не проверяли твой слух, а? С тех пор, как ты был во-от такой. Отвернись-ка, Ктотэм.

Я отвернулся от рояля и разглядывал жухлую кисею занавесок. Она брала интервалы, потом все более и более сложные диссонансы. Я так и видел, куда тычется каждый толстый палец. Будто читал крупный-крупный шрифт. Она кончила, я повернулся.

И тут она сказала странную вещь:

— Твой отец должен гордиться тобой.

На это мне нечего было ответить. Вдруг ее понесло.

— Мой отец вечно волновался из-за этих проверок слуха. Как не угадаю среднюю ноту из... ну из такой вот массы — бах! линейкой по рукам!

Она не отрывала глаз от стены, я посмотрел туда же. И увидел блекло-коричневую фотографию молодого человека, который провисел все эти годы рядом с

дамой в пальто и шляпе надзирателем музыкальной комнаты. Я был так ошарашен, что не слушал продолжавшую говорить Пружинку. Эти лысые веки и брови, высокие скулы! Я их узнал. Молодой человек — теперь я видел, что он не старше меня, — был старый мистер Долиш, в реянье гривы, с глазами, устремленными к абсолюту.

— ...иногда очень холодно по утрам. Но он-то все понимал. Говорил: «Продолжай упражнения, девочка, вот и согреешься». Ведь рай — это музыка, правда, Ктотэм?

— Да, мисс Долиш.

И началась для меня блаженная, восхитительная пора, и небо над Стилборном ушло в бесконечные выси. Музыка, музыка, музыка уже не жалкая, стыдная — абсолютно легальная, то, чем, по общему мнению, мне следовало заниматься. Скандалы в старом доме были теперь досадной помехой, а не поводом проволынить урок. Я злился в прихожей, гадал, куда подевалась Пружинка и достанутся ли мне законные тридцать минут. И слышал бешеный крик со двора:

— Что же вы не уезжаете? Уезжайте!

Дикие отношения шли, спотыкаясь, Генри поддерживал какой-то баланс, понимая обеих противниц и атакуемый с обеих сторон. Пружинка вваливалась в музыкальную комнату, рукой унимая колыханье обширной груди, и мне доставался остаток урока. Конец моей музыке пришел тем не менее раньше, чем я ожидал. Я слишком ретиво, слишком подолгу терзал наше отжившее пианино. Неодобрительные замечания физика и химика, прежде столь мною довольных, насторожили родителей.

— Да, завтра тебе идти на музыку. Но у тебя и химия завтра!

— Ну пап. Сам-то ты ведь учился на скрипке?

— Скрипка никогда не вставала между мной и Materia Medica. Оливер, ты, кажется, не хочешь учиться в Оксфорде?

— Хочу, конечно.

— Эти последние месяцы — такие важные, детка, — заклинающе вставила мама. — Ты же знаешь, мы только хотим, как тебе лучше.

Годами вколачиваемая мысль насчет постыдности моей мечты о музыкальной карьере заставила меня прикусить язык. Будто прочитав мои мысли, папа ласково глянул на меня через стол. Если бы он хоть сердился, я бы мог за себя постоять. Но голос его звучал сочувственно, проникновенно, будто мы оба столкнулись с железной необходимостью:

— Оставь это в качестве хобби, вот как я, например. И вообще — граммофон и радио скоро многих профессиональных музыкантов пустят по миру. Господи-Боже, ну как ты сам не понимаешь, Оливер? С твоими способностями ты мог бы доктором стать!

Нелегко было мне признаться Пружинке, что к диплому готовиться больше не надо. Но она почти ничего не сказала, только тряхнула головой, будто другого и не ждала. Уроки наши снова стали пустой тратой времени. Времени впустую тратилось теперь даже больше, потому что скандалы достигли критической точки. Генри мягко, но решительно ускользал из прихожей в темном двубортном костюме с двумя самописками в нагрудном кармане, оставляя за собой разбушевавшийся костер.

— И вы, получается, мне ничего не должны!

— Сколько брали, все отдали!

И все равно они не съезжали.

— Не желаю терпеть его в своем доме! Отвратительный, мерзкий мальчишка! Он же над ней издевался...

Наступил и окончился последний урок. И вот после нервного лета я наконец, счастливо замирая, складывал вещи для Оксфорда. Только уже вечером перед самым отъездом я вспомнил Пружинку, потому что большой фургон стоял на мостовой у ее ограды.

— Мама, а что с Пружинкой?

Мама брезгливо тряхнула головой.

— Они уехали.

— Кто?

— Уильямсы. Кто же еще? Папа римский? — мама почти шипела. — Так я и знала — уехали, как только она стала им не нужна. Сняли пока какую-то одноэтажку. Говорят, Генри Уильямс собирается строить дом. Я никогда не верила этому типу.

Я не припоминал, чтобы мама имела какие-нибудь сношения с Генри, и подивился ее категоричности. Я смотрел, как открылись двери напротив, как рабочие выносят мебель, коврики, посуду, постели. Мама стояла рядом и тоже смотрела.

— Все дешевка, подержанный хлам. Он зря не потратится.

Фургон тронулся, мама вернулась к шитью. Ученик с нотной папкой вошел в Пружинкину дверь.

— Ты бы попозже, когда она кончит уроки, пошел — попрощался, — сказала мама. — Это твой долг.

— Ой нет. Ну мама!

— Глупости, — сказала мама спокойно. — Сам знаешь, ты обожаешь ее.

Так что вечером, когда дрожь газовых фонарей вокруг Площади унялась в ядовитой яркости, я, лоснясь брильянтином и мечтая поскорей отделаться, прошел по газону к старому дому. В эркере было темно, и мне ужасно хотелось думать, что она ушла или легла, потому что приманки Оксфорда — огни, концерты, театры и люди, которые будут к моим услугам в свободное от химии время, — вытеснили все остальное. Но я оглянулся на наш флигель, увидел, как дрогнула занавеска, сдвинулась, оставила треугольничек, в котором чуялся мамин глаз. И, глубоко вздохнув, перешагнул цепи и ступил на булыжники. Открыл входную дверь. Меня уколола холодная мысль, что вот опять коридор и комнаты наверху стемнели и опустели. Даже в прихожей опять стало страшно. Несмотря на свои восемнадцать лет, я — для отступления — оставил входную дверь открытой. Газовый фонарь начертил на полу окно и вертикалью налег на дверь музыкальной комнаты. Со стесненным сердцем — и с фантомной детской скрипочкой в левой руке — я поднял правую, чтоб постучать. И опустил.

Звуки, доносившиеся из-за темной филенки, были своего рода проверкой слуха. Но что было делать грачу там, налево, на коврике перед тусклым красным глазком камина? И не мог он перемежать свое тихое граканье этой странной, задушливой нотой, как струн под неловкими пальцами. Я окаменел, с опущенной левой рукой, приподнятой правой, и слушал, как задыханья и граканья множились, длились. Проверка слуха давала картину такую отчетливую, будто нас не разделяла филенка. Она сидела в темноте, слева, скорчившись перед тусклым огнем, под хмурым бюстом. Безуспешно пытаясь без учителя научиться, как избыть сердце в слезах.

Волосы у меня, несмотря на брильянтин, встали дыбом. Я закрыл входную дверь так осторожно, будто обчистил дом. Поскорей прошел по газону и хотел прокрасться наверх, пока мама не заметила. Но хотя она еще шила, она слышала все.

— Что-то разговор был короткий, Оливер?

Я хмыкнул, изо всех сил подражая папе.

— Иди сюда и рассказывай.

Тяжело вздыхая и, как ни странно, покраснев, будто меня поймали на подлости, я вошел в гостиную.

— Ну, так что она тебе сказала, детка?

— ...Ее не было.

— Глупости! Она не выходила из дому.

— Я тебе говорю — не было ее. Может, спать легла.

Мама посмотрела на меня поверх очков и слегка улыбнулась.

— Может, и легла.

Так я избавился от Стилборна и думал, что навсегда. А мне бы знать, что, пока не порвана пуповина, расстояние не отменяет закона всеобщего нашего тяготенья.

Первый же номер «Стилборнского вестника», переправленный мамой, сообщал не только о моем великолепном возвышении в статус студента, но и кое-что о Пружинке. Я прочел, что мисс Долиш («известная жительница нашего города») попала в аварию на пересечении Королевской Тропы и Портовой улицы. Повреждения незначительны, но мисс Долиш перенесла шок. Новость не показалась мне существенной, но когда я приехал домой на пасхальные каникулы, кое-что прояснилось. Я долгими часами бродил по округе. Как-то перешел Старый мост и взобрался на гору в сторону леса, чтоб удрать подальше от Площади. Глубоко задумался над тем, как бы провести летние каникулы где-нибудь за границей, и поэтому чуть не налетел на Пружинку. Малолитражка стояла поперек дороги. Передние колеса, зайдя за травяную обочину, завязли в грязном кювете. Тут же, вяло озирая лес, стояла Пружинка. Деваться было некуда.

— А-а! Мисс Долиш! Какие-то неполадки?

Сначала она повернула глаза, потом голову. Плотно стиснутый рот в глубоких бороздах.

— Вы не ушиблись, мисс Долиш?

Вдруг лицо разгладилось и просияло.

— А-а, старина Ктотэм!

— Вам помочь?

— Помочь?

Снова рот сжался, лицо потемнело. Вернулись борозды. Она затрясла головой, медленно, хмуро.

— Нет. Нет, нет, нет.

— Я могу подтолкнуть...

— Нет, нет.

Молочный фургон, подпрыгивая и грохоча, выехал из лесу.

— Может, я...

— Нет.

И все трясла головой, супилась и говорила «нет», будто билась над ускользавшей от решенья задачей.

— Ну, тогда я...

Вдруг тьма рассеялась. Поразительно, жутковато — такая резкость перемены, как в радио с неисправными лампами: звук — вот он, только что был и — рраз — щелк — ущелкивает куда-то. Взгляд сосредоточился на мне, улыбка открыла золотое сверканье.

— А-а, старина Ктотэм! Что? Девочку высматриваешь в лесу?

Я вспомнил всю историю с Эви Бабакумб и почувствовал, что багрово краснею. И отшатнулся, как мечом, обороняясь тростью.

— Я...

— Ну а как фортепьяно, дитя мое?

— Никак.

— Есть кое-что поинтересней, а?

Я чувствовал, как лоб у меня покрылся испариной.

— Химия, физика. Знаете что? Я сейчас иду в Стилборн. К сожалению, это довольно долго. Может, меня кто-то подбросит. Может, за вами прислать Генри?

Она запрокинула голову и расхохоталась.

— А знаешь, Ктотэм? Он ведь всегда сам возится с моей машиной, бензин накачивает и меняет все эти штуки внутри, ну, как их, не знаю. И сам всегда ее чистит, моет. Наденет спецовку и лезет под нее, как тогда, когда он...

— Так я пришлю его, мисс Долиш. Или мне лучше остаться? Нет? Вы уверены? Вы не боитесь одна тут?..

— Тут, в лесу?

Она снова расхохоталась. Потом, сразу, лицо потемнело, потухли, застыли глаза.

— Мне ничего не грозит. Кому нужна такая старуха? Мне ничего не грозит.

— Я постараюсь поскорей.

Я зашагал по проселку, кратчайшим путем к Стилборну. Не доходя до поворота, я оглянулся и помахал, чтоб ее подбодрить, но она не видела меня. Стояла

возле машины и смотрела в лес. Добравшись до плавной дуги шоссе, я метров за сто увидел приближающийся драндулет Генри. Я кричал и махал Пружинке, тщась изобразить семафор. Я кричал и махал драндулету. Генри проехал мимо, не заметив меня, в темном двубортном костюме и фетровой шляпе — проехал мимо, скорбно уставясь вперед сквозь ветровое стекло. Я постоял, пока не увидел, как он притормозил рядом с Пружинкой.

За ужином, когда меня расспрашивали о прогулке, мама была вся внимание. Когда я отчитывался о встрече с Пружинкой, кивала и мрачно усмехалась. Папа глянул на нее сквозь очки.

— Ухудшение.

Я смотрел на него, на нее.

— Ухудшение? О чем ты? В чем дело?

Мама отмахнулась от моего вопроса.

— Я знала, что этим кончится, когда он своего добьется.

— Будет тебе, — сказал папа веско, налегая на пирог с мясом. — Будет. Чем ей плохо? Десять раз вернула все сполна. Надо отдать должное Генри Уильямсу. У него отлично идут дела.

— Не то что у некоторых, — сказала мама вредным голосом. — Погодите, он еще полгорода скупит, за него я как раз не беспокоюсь.

Я принял это за тонкую ссылку на небогатый итог моего первого экзамена по химии и молчал. Папа молчал тоже. Мама завладела площадкой — но она к этому привыкла.

— Джеки Уильямс в Оксфорд не поедет, даже если окажется, что у него есть мозги, в чем я очень сомневаюсь. Сразу пойдет в бизнес. Так у них водится. Денег-то у него хватит его отправить, да зачем ему? А бедная мисс Долиш надрывается...

Тут папу прорвало.

— И вовсе ей это не нужно, — сказал он резко. — Да на одни проценты с того, что она вложила в его дело, она могла бы жить, как... в Борнмуте[1] могла бы жить, если бы хотела.

Мне стало скучно.

— Зато сегодня ей повезло. И на том спасибо. Правда, непонятно, почему молочник не остановился...

— Повезло? — сказал папа. — Повезло?

И мама — эхом:

— Повезло?

Они переглянулись, потом посмотрели на меня.

— Но она могла же застрять. У меня час заняла дорога. И если б не подоспел Генри... Да что такое?

Они снова смотрели друг на друга, мама с хитрой усмешкой.

— Оливер, детка, — сказала мама нежно. — Ты конечно... Но тебя ведь давно не было. Все про нее знают — в том числе и молочник. Она была в ста метрах от перекрестка в лесу, да?

— Там телефон-автомат, — буркнул папа. — Она ему звонила.

Я отпихнул стул.

— Господи! Ну и ну!

— И никакого везения.

— Почему же она мне не могла сказать! То есть я-то, я же...

Мама громко расхохоталась. Потом стихла.

— Бедняжка, — вздохнула она. — Она от него хочет единственного — хоть капли внимания.

У меня все оборвалось внутри. Поздно, позже, чем у всех по соседству, кусочки — старые, новые — сложились в картинку у меня в голове. Я так и стоял с открытым ртом. Мне нечего было сказать. Но что-то они увидели в моем застывшем лице, потому что папа протянул руку — неловко — и положил на мой рукав.

---

[1] Борнмут — фешенебельный курорт на юге Англии.

— Мы совсем забыли, как много она для тебя значит, Оливер. Но понимаешь, сынок, с этими телефонами — это у нее уже было.

Папин жест так не вязался с принятой у нас сдержанностью, что я перекосился и встал. Буркнул:

— Ну, если у нее хватает денег...

— Ах, — сказала мама загадочно. — Не в деньгах счастье. Когда-нибудь ты поймешь, Оливер.

Я остался в недоумении. При всей запутанности моих чувств в последних маминых словах я смутно уловил некоторое противоречие с тем, что она говорила сначала. И впервые я понял, что она не только моя мама. Но еще и женщина. Это открытие совершенно сбивало меня с толку. Я стоял посреди прихожей, в перчатках, в шарфе, одним концом заброшенном на спину, и терзался от униженья, обиды, от какой-то боязни рампы: все мы выставлены на всеобщее обозрение, все друг на друге паразитируем, все мы ряженые и стесняемся своего маскарада. Я открыл входную дверь, убегая от маминой проницательности. А когда закрывал, услышал ее недодушенный смешок:

— Интересно, что она еще сочинит после телефонов-автоматов?

И теперь, когда мама мне присылала «Стилборнский вестник», я прилежно его изучал. И действительно, я узнал не только, что за органом была мисс К.С.Долиш, но на другой странице мисс К.С.Долиш облагалась штрафом в размере пяти фунтов, а потом и в размере десяти. Приезжая домой на каникулы, я видел иногда — но стараясь держаться подальше, — как она идет от гаража к дому походкой, бледно напоминающей о былой пружинистости. Я видел мрачность лица, сведенный рот, застывший взгляд.

— Бедняжка, — механически приговаривала мама. Очевидно, потеряв к ней всякий интерес. Как та давно умершая Офелия с полной шляпой листвы, Пружинка стала стилборнской чудачкой, с которой сжились и смирились. В конце концов я прочитал, что мисс К.С.Долиш вызвана ответчицей по делу о несоблюдении правил дорожного движения. Сама она не пострадала, но кто-то пострадал. Я читал речь судьи: он учитывает то-то и то-то; «но все мы не молодеем, и в собственных же интересах мисс Долиш» и т.д. и т.п. Он вынужден лишить ее водительских прав сроком на пять лет.

Я читал, сидя на подоконнике, шпиль университетской церкви вытянулся передо мной. Помню, как цинично я усмехался. Кажется, идея телефона-автомата себя исчерпала? Пришлось придумать что-то новенькое? Но тут она, пожалуй, перестаралась. В последний раз привлекла к себе внимание, думал я в своей невинности. Я был химик, не биолог. Только уже собираясь в Оксфорд перед последним курсом, я наконец понял все.

Осень стояла жаркая, в кои-то веки у нас бабье лето. Догорали штокрозы. Охраняя нащ вход, они свешивали с почти черных стеблей красно тлеющие головки. Газон посреди Площади тоже весь почернел, и некоторые травинки вскидывались и потрескивали, когда на них наступали. Мама суетилась на кухне, собирая ужин. А так в доме не раздавалось ни звука. Папа задерживался в аптеке, и гостиная была в моем полном распоряжении. Я слышал, как Пружинка наяривает в церкви безупречно скучное соло на органе. Я стоял посреди наших кресел и чашечек, слушал, смотрел. Вот орган умолк, и почти тотчас Пружинка прошла по ту сторону Площади, вошла к себе. Я радовался, что она благополучно исчезла и я не рискую на нее напороться. Площадь свободна. Можно спокойно выйти.

Дверь ее дома открылась. Пружинка вышла, держась особенно прямо. В вельветовой шляпе набекрень на жидких волосах. Прикрыла за собой дверь, не глядя, натянула перчатки. Лицо спокойное, улыбающееся. Повернула налево, пошла по мостовой к гаражу Генри. Не глядя ни направо, ни налево. Было так тихо, что я слышал цоканье туфель по камню. Я смотрел, смотрел, пока она не скрылась за ратушей.

Меня ломало, корежило, подмывало бежать — тем не менее я захлопнул дверь гостиной, потом прокрался обратно, мимо кухни, в сад, между яблонь — в свой укромный уголок. Я смотрел, смотрел — я старался на чем-нибудь сосредоточить взгляд, чтоб не видеть того, что отпечаталось на сетчатке. Во мне бушевал шквал,

и казалось, что он снаружи, везде, что засохшая паутина и пауки среди кирпичей дрожат из-за него, из-за нее, из-за меня. Я слушал собственный, чужой голос:

— Нет. Нет. Ох нет. Нет. Нет...

А сам уже знал, что это выжжется во мне навсегда, пожизненным невытравимым тавром: шагающая по мостовой Пружинка, мощные груди, жирный живот, неуклюже перекатывающиеся ляжки, Пружинка со спокойной улыбкой, в шляпе, перчатках, плоских туфлях, и больше на ней — ничего.

После этого Пружинка исчезла. Дом стоял себе как всегда, малолитражка стояла у гаража Генри — мытая, сверкающая. О Пружинке не упоминали. Она стала одной из тех, от кого дружно отворачивался Стилборн. Так бы мне толком и не узнать, что с ней происходило все эти годы, если б я не задал прямой — наглый — вопрос. Было это в конце последнего ежегодного визита родителей ко мне в Оксфорд. После чая, когда мы мучительно добивали время, медлившее между этой процедурой и отходом поезда. Как всегда — хотя очень им радовался, — я впал в немоту, и мы все трое не знали, что бы еще сказать. Мы поглядывали друг на друга через пропасть лет и несхожего опыта. Конечно, только неловкость тягучей паузы и побудила меня завести этот разговор.

— Да, кстати, мама, а как Пружинка? Я в последний раз ее что-то не видел.

Снова повисло молчание. Папа старательно набивал трубку, вплотную приблизя к ней толстые очки.

— Она заболела, — мама выразилась деликатно и сдержанно, — ну знаешь. Ей пришлось уехать.

Они быстро переглянулись.

— Неприятная история, — папа сосредоточенно зажигал спичку. — Очень неприятная история.

Мама прихлопнула рот кружевным платочком.

— Бедняжка, — сказала она.

Молчанье тянулось, сгущалось. Да и что тут скажешь?

И однако мне суждено было еще раз увидеть Пружинку, правда, уже через много лет. Наступила война, потом мир. И вот после долгих мирных лет я поехал с семьей — уговаривать маму не жить одной во флигеле, а перебраться к нам. Но ни мне, ни жене не удавалось сладить с ее истериками и слезами. Я чувствовал, как тяжело это детям, и старался ее успокоить.

— Всё эти кошки, — сказала мама, утирая глаза. — Ты же знаешь, я не выношу кошек.

— Ну не обращай внимания.

— Тебе легко говорить. Нет, надо ей сказать. Столько их развела. Всю ночь торчит на улице: «Кис-кис-кис, поди сюда, к мамочке! А где молочко?..» Я глаз не смыкаю...

— Кто это развел столько кошек, мама?

— Она. Мисс Долиш, — рассердилась мама. — Просто сил нет терпеть эту женщину.

— Пружинка!

— Поди скажи ей насчет кошек, Оливер! Я просто больше не могу!

— Пружинка! Так она вернулась? Я думал... я думал, она...

— Конечно вернулась. Давно уже. Ты бы сказал ей, Оливер.

— Но мы же уезжаем буквально на днях...

Мама разразилась слезами.

— Нет, ты должен с ней поговорить! Отца не успели похоронить... Все вокруг ими кишит! А если они сюда повадятся...

Я потрепал ее по плечу — неуклюже и так похоже на папу, что поскорей отдернул руку.

— Ладно, мама. Я пойду с ней поговорю.

— И вообще. Ты же всегда так...

— Знаю, мамочка, милая. Я ее обожаю.

Я вышел и стоял на Площади, собираясь с духом. Марк обстреливал из пуле-

мета Софи, занятую разбрасыванием маргариток и не обращавшую на него никакого внимания. Но при виде меня они бегом бросились ко мне. Я обоих взял за руки и прошел к двери рядом с эркером. Она была открыта, мы вошли и стояли в прихожей. Я постучал в дверь музыкальной комнаты и не дождался ответа. Но дверь во двор тоже была открыта. Мы вошли туда, и я жадно глотнул вольного воздуха. Из-за кошек, попугайчиков и канареек и без того затхлый дом провонял уж совсем невозможно. Злонамеренного вида котяра скользнул мимо нас в дом, и сразу же я услышал шипенье и шерстистое шмяканье битвы.

Пружинка медленно брела по садовой тропе, она казалась шире, чем эта тропа, — стала совсем квадратная. Вельветовая шляпа по-прежнему кренилась на жидких волосах, галстук надвое рассек необозримый простор. Остановилась в двух шагах и разглядывала нас, всех троих.

— Здравствуйте, мисс Долиш. Вы меня не узнаете?

— Старина Ктотэм. Твои?

— Да, это Марк, это Софи. Ну как вы, мисс Долиш?

— Пойдем в дом.

И пошла в прихожую. Мы двинулись следом, дети жались ко мне. Меня уже точило, что зря я это затеял. Пружинка уставилась на попугайчика, который не обращал на нее внимания, занятый собственным обольстительным образом в зеркале. Она причмокнула:

— Тце-тце-тце!

— Марк, Господи Боже, детка! При всех! Беги скорей домой.

Пружинка оглядела его с порога.

— А его этот мальчишка отличился на войне. Кто бы мог подумать, а?

— Да уж.

— Ну а ты, Ктотэм?

Я прикинул в уме.

— Мне, признаться, досталась очень мирная война. Приходилось, конечно, держать газ наготове. Но в ход пустить не пришлось.

Она вернулась к попугайчику.

— Тце-тце-тце!

— Вы очень полюбили животных, правда?

— А я и всегда любила, когда еще маленькая была, как твоя дочка. Знаешь, Ктотэм? Я строила из себя мальчишку, чтоб строить из себя ветеринара! Но, конечно, куда мне было с моей музыкой время находить на зверюшек. Да и с этим жутким мальчишкой — как бы я их в доме стала держать?

Меня кольнула мысль, что время для нее спрессовалось. Но я рта не успел открыть. Она снова заговорила. В глазах мелькнул вызов.

— Я ведь долго болела. Серьезно болела. Ты знал, да?

Снова я сделался маленьким мальчиком с детской скрипочкой. И молча затряс головой. Вдруг рыхлые щеки дрогнули, просияло золото, она разразилась хохотом.

— Но сейчас-то мне лучше, гораздо, гораздо лучше!

Дочкина щека вжалась в мою ладонь. Но Пружинка уже перестала смеяться, нагнулась и погрозила паре свирепых глаз, горевших из темноты под лестницей.

— Гадкий, гадкий!

Кот скользнул мимо нас, за дверь. Пружинка распрямилась.

— Можешь себе представить? С ним хлопот, как с ребенком. Всю ночь мне спать не дает, на улицу просится!

— А вы устройтесь, как Исаак Ньютон со своими кошками. Он им вырезал в двери дыры с откидной дощечкой — побольше для большой кошки и поменьше для маленькой.

Через несколько секунд до Пружинки дошло. Она колыхалась и завывала.

— И не надо будет вставать, чтоб его впустить.

Пружинка перестала смеяться.

— Генри сделает, — сказала она. — Он прекрасно вырежет дырку. Я попрошу Генри. Он придет и сам все сделает или кого-то из своих людей пришлет.

Я кивал, продвигаясь к двери.

— Ну ладно...

— А знаешь, он ведь до сих пор сам моет мою машину. В спецовке. Больше никого к ней не подпускает. — Она кивнула мне со значением. — Такая епитимья, понимаешь? И эта женщина — тоже епитимья. Генри понимает. Он все понимает, правда?

— Да. Да, конечно.

— Ну а другие... — она глянула на дверь музыкальной комнаты, потом на Софи. — Дочь твоя уже начала играть?

— Нет еще пока. Но она очень любит музыку, да, Софи?

Дочь уткнулась в мою брючину, прячась от квадратной тети с рыхлыми щеками. Я зарылся пальцами в ее волосы, чувствуя хрупкость этой головы, этой шеи, задыхаясь от любви, твердо решаясь охранить, защитить, не отдать ее этой гиблой надутости, и чтоб была у меня настоящей женщиной, женой, матерью.

— Я называю твоего отца Ктотэм, потому что есть упражнения такие.

Я потоптался неловко.

— Ладно... Нам, наверно, пора...

— Ну тогда прощай, Ктотэм.

— Спасибо вам за все...

— Не стоит. Подумаешь, дело большое.

Она повернулась к саду. Остановилась, посмотрела на меня.

— А знаешь, Ктотэм? Если бы мне пришлось спасать из огня ребенка или попугайчика, я бы выбрала попугайчика.

— Я...

— Прощай. Думаю, мы больше никогда не увидимся.

Тяжко спустилась на две ступеньки. Я услышал, как плоские туфли шаркают по саду.

Никогда.

Тонна мрамора, арфа, каменная крошка, иммортели, беломраморный бордюр, громыханье органа в южном трансепте —

КЛАРА СЕСИЛИЯ ДОЛИШ
1890—1960

— и посреди органного грохота три слова мелкими буквами прямо у меня под ногами:

Рай — это музыка

Я ужаснулся, поймав себя на неприличном смехе в таком месте. И, будто гигантский палец зацепил во мне важный нерв, я каждой жилкой почувствовал, откуда идет эта жуть. Тут, под землей, совсем рядом, как всегда, в двух шагах — это жалкое, жуткое, неиспользованное тело, с блеклыми кружевами и китайским лицом. Как проверка слуха такая, в результате которой все померкло, оставя только омерзение, оторопь ребячества и атавизма. Тени меня обступали и застили солнце. Я услышал собственный голос — как чужой, независимый от меня в своей попытке искренности:

— Я никогда тебя не любил! Никогда!

Но я стоял уже за церковной оградой, на газоне посреди Площади. И даже не сразу сообразил, как я сюда попал. Немолодой господин дал деру, будто опять испугался длинной пустоты между пустыми комнатами.

Хрустальный девичий хохоток выпорхнул из дома Уилсонов, снабженного теперь вывеской «Биржа труда». Тележка мороженщика прогрохотала мимо родительского флигеля, призывая к себе внимание с помощью мегафона. За колоннами ратуши двенадцать белых телевизионных теннисистов одинаково подавали двенадцать мячей. Оторопь моя прошла понемногу. И в уютно защищенном нутре проступало:

Я боялся тебя, я тебя ненавидел. Вот и все. Я обрадовался, когда узнал, что ты умерла.

Я прошел вперед, к ее дому. Входная дверь была не просто открыта, но, снятая с петель, прислонена к стене. Снизу вырезан четкий квадратик, прикрытый откидной дощечкой. Между входной дверью и ступеньками в сад рабочие густо запутали свои меловые следы. Я прошел к музыкальной комнате, поднял руку, чтобы постучать, спохватился. Распахнул дверь, она, громыхнув, прянула назад от стены. На грохот отозвался резкий бумажный постук на окне, за кисейной занавеской — верней, где она раньше была. Я оторопело стоял, подняв руки. В паутине бессмысленно бились потертые крылья. Я кинулся сражаться с рамой. Но увечное созданье трепеща рухнуло на пол и застыло в неподвижности. Тень клавиатуры витала в пустой комнате, органные педали приходились над участком нестертого пола. Мой взгляд вернулся восвояси, на высветленные пятна обоев, две коричневые фотографии. Дальше любоваться музыкальной комнатой мне не хотелось.

Я помешкал в прихожей, воображая длинный коридор наверху. Нет, нет. Хорошенького понемножку. Я быстро спустился по двум ступенькам и двором прошел в сад, под добрую защиту солнца.

Работники Генри уже начали разбирать длинную стену, отделявшую лавровые кусты и ракитник от его разрастающегося бизнеса. Складывали ценный старый кирпич. Но в двух местах стена обвалилась от собственной тяжести, похоронив сорняки под грудами желтого цемента и красных осколков. Меня потянуло в глубь сада, где я никогда не был. И я пошел гаревой тропкой, теснимой подорожником и одуванчиками. Протиснулся между лаврами и очутился у речки. Эта часть сада оказалась прибрежной выгородкой с каменными ступеньками, незабудками, еще не зацветшей желтофиолью и медленной, плоской водой. На верхней ступеньке стояло виндзорское кресло. Хоть пауки оплели ножки, птицы изгадили сиденье, хоть порыжел и потрескался лак, кресло молча, неопровержимо свидетельствовало, что она тут сидела — может быть, каждый вечер — в последнее свое лето и осень, среди комаров и стрижей. Возле длинной стены против кресла были сложены кирпичи. И над ними стена вся закоптилась. Я оглядел кирпичи и понял, что это не просто невинный костер. Уже несколько зим поливало дождями обрывки, клочки, корешки; целые подгнившие переплеты все же позволяли прочесть: Брайткопф и Хартель, Аугенер, Макмиллан, Бузи и Хокс... и почти не горючие стопки «Мьюзикл таймс»...

Генри этого никогда бы не сделал. Эта музыка стоила хороших денег. Я заметил металлический блик, подцепил стальную планку, и моя догадка подтвердилась. Свинцовый грузик расплавился, но этот клинышек, обеспечивавший непереносимо точное тиканье, был опознаваем. Никогда бы Генри не стал сжигать метроном старого мистера Долиша, ценную антикварную вещь в лакированном футляре. Так же, подумал я, поймав на себе сверлящий сумрачный взгляд из травы, как не стал бы он расколошмачивать молотком на гипсовые обломки Бетховена. А трухлявый деревянный угол — видно, все, что осталось от фотографий и рамок...

Я сидел в ее кресле, уткнувшись локтями в колени, подбородком в ладони. Я не мог разобраться — к чему, к кому относятся мои чувства, да и в самих чувствах.

— Ну как, все осмотрели?

Генри стоял по ту сторону пролома — смуглое лицо, влажный взгляд, седые волосы, собранность, аккуратность. Я поднялся и начал неловко карабкаться по кирпичам.

— Вам помочь?

— Я сам, спасибо.

Бог о бок мы побрели обратно. Склоненные головы, руки стиснуты за спиной, медленный, траурный шаг.

— Это ты хорошо придумал, Генри, — насчет надписи.

Он не отвечал. Я посмотрел на него искоса.

— Почувствовать — это да, а пока до пониманья дойдет... Я такой.

Мы остановились и посмотрели друг другу в лицо.

— Можно сказать, Генри... можно сказать...

Можно сказать, что когда наконец она была спокойна и счастлива, когда у нее расправилось и улыбалось лицо, ее увезли и лечили до тех пор, пока хорошенько не вылечили и не сделали снова несчастной. Можно и так, например, сказать.

А вообще — что тут скажешь.

— ...А-а, неважно.

Мы молча пошли дальше, сошли с бетона на мостовую. Я вынул деньги — уплатить за бензин и поискал глазами бензинную леди. Она явилась, но Генри от нее отмахнулся.

— Разрешите, сэр. Нет, нет, ну что вы. Это же мне в удовольствие. Через столько лет с вами увиделся.

Взял деньги и пошел разменивать. Я стоял, разглядывал стертую мостовую, исписанную так мелко, так неразборчиво; я видел: ступни, мои в том числе, ступают, проходят. Вытянув ногу, я постучал своим живым носком, прислушался — топ, топ, топ, — и вдруг на меня нашло: да если бы я мог ссудить этот звук, собственное мое тело, мою возможность избирать будущее этим невидимым ступням, да я бы все отдал — все. И в ту же секунду я понял, что, как Генри, всегда за все плачу только по сходной цене.

— ... и девять пенсов, итого три фунта. Спасибо, сэр.

Я посмотрел ему в глаза, увидел в них собственное лицо.

— Прощай, Генри.

Он поднял руку, без слов. Я сел в свою машину исключительного качества, взял с места, проехал по Старому мосту и выехал на автостраду. Я старательно сосредоточился на руле.

Писатель
Пинчон

не любит
фотографироваться

ТОМАС ПИНЧОН

АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ
ЭНИГМА

О Томасе Пинчоне написано больше, чем написал он сам; его творчеству посвящались симпозиумы; коллоквиумы и специальные выпуски престижных журналов. Тем не менее для своих читателей он по сей день остается таинственным незнакомцем: много легенд и слухов, минимум достоверной информации. Сведения, сообщаемые на суперобложках, обязательно визируемых его литературным агентом, крайне скудны. Ни биографических подробностей — мало кто знает, что дебют Пинчона состоялся еще в конце 50-х, — ни литературных характеристик, только перечисление заглавий. Причем перечень обрывается, едва начавшись. Сборник рассказов, три романа. Сравнительно недавно, в 1990-м, добавился еще один — «Вайнленд». До этого семнадцать лет Пинчон фактически молчал.

Есть другой прославленный молчальник, Сэлинджер. Понятно, что имена двух авторов (благо они принадлежат в современной прозе к самому первому ряду) чаще всего упоминаются рядом. Внешне для такого сближения есть причины. По сути — ни одной.

Да, и Сэлинджер, и Пинчон сделали все с целью оградить себя от посягательств прессы и нескромного интереса публики. Оба не выносят, чтобы к ним относились как к знаменитостям, и, дорожа уединением, категорически отказываются от интервью, никогда не появляются на телеэкране. Оба ведут какую-то незримую жизнь, не провоцируя, но и не останавливая пересуды, которыми периодически — правда, теперь все реже — увлекается окололитературный мир, взволнованный в очередной раз промелькнувшим (неизменно оказывается — беспочвенным) сообщением о готовящейся сенсации: а вдруг и правда подтвердилось, что Сэлинджер, как давно поговаривали, психически болен и содержится в лечебнице? А вдруг Пинчон в самом деле приезжает на конференцию, ради него и затеянную?

Он, конечно, не приезжает (а Сэлинджер, как и тридцать, и сорок лет назад, живет у себя в Корнише, на берегу реки Коннектикут). Поволновавшись, успокаиваются и даже перестают обращать внимание на странность ситуации, когда писатель, весьма ощутимо присутствуя в литературе своими произведениями, никак не присутствует в ней, если подразумевать обязательный антураж: не устраивает вечеров, не раздает автографов, страшится рекламных кампаний и вообще не появляется на людях, словно свидание с аудиторией было бы для него адской мукой. В этом смысле Пинчон и Сэлинджер действительно похожи. Но анахоретами они сделались в силу совсем разных мотивов.

Затворничество Сэлинджера и его отказ — по всей видимости, окончательный — от творчества объясняли по-разному, однако нет сомнений, что это прежде всего итог духовного перелома, пережитого им под конец 50-х годов. Дзэн-буддизм оказался для Сэлинджера больше чем увлечением, побудив переменить жизненные ориентиры; он написал несколько фрагментов, которые напоминают скорее медитацию, чем прозу, и оставил литературу. Как не пожалеть об этом, вспоминая «Над пропастью во ржи» и ставшие хрестоматийными сэлинджеровские рассказы. Но и сокрушаясь, нельзя тем не менее не видеть последовательность, твердость его позиции. Уж никак не «читка», а самая

настоящая «гибель всерьез», цитируя знаменитые строки.

К Пинчону пастернаковский образ отнести невозможно. Его понимание литературы не предполагает серьезности, которая иной раз способна оказаться поистине смертельной. Ничего более чужеродного представлениям Пинчона, чем подобные верования и взгляды, невозможно вообразить. Молчание Сэлинджера знаменовало собой самопожертвование, выбор судьбы, оплаченный очень высокой ценой. Молчание Пинчона не знаменует ничего столь же значительного и ответственного; оно главным образом просто игра. Остроумная, требующая безукоризненно выдерживать установленные для самого себя правила, порой очень изобретательная, но все-таки игра, и не больше.

Началась она задолго до «Радуги земного притяжения» (1973), романа, который, похоже, гарантировал своему создателю если не бессмертие, то уж несомненно счастливую жизнь в современной литературе. Все, что Пинчон писал до своей главной книги, выходило едва ли не анонимно: без фанфар в периодике (хотя прозаик уже пользовался немалой известностью), без цитирования восхищенных рецензентов в тексте аннотации, даже без фотографии автора. Агент разрешал использовать только один снимок, сделанный на школьном выпускном балу, когда Пинчону было шестнадцать. Словно с тех пор, с 1953-го, время сделалось не властным над автором «Энтропии».

Между тем рецензий появлялось множество, год от года все более комплиментарных. Пинчон, конечно, заслужил эти щедрые похвалы. Но сколько было дебютантов, возможно, и не менее одаренных, однако оставшихся незамеченными, оттого что не умели (или не хотели) организовать отклики на свои книги. Пусть даже скандальные отклики — иногда это в конечном счете еще выигрышнее, если говорить о резонансе, а значит, и об успехе.

Пинчон достиг и того, и другого, действуя как бы наперекор всем правилам. Не так важно, ему самому или агенту пришла в голову до гениальности простая идея: в перенасыщенной саморекламой литературной среде достичь известности можно, не пытаясь обойти конкурентов, а, наоборот, подчеркнуто игнорируя обычные способы, к которым прибегают для завоевания имени. Эта тактика увенчалась полным триумфом. Пишущим о книгах понравился затеянный Пинчоном маскарад; возможно, понравились и книги, но не это было главным. Что-то волнующее заключалось в том, что все более признанный писатель по-прежнему остается невидимкой, сфинксом — уж не химерой ли? Энигматичность Пинчона стала захватывающим сюжетом. Критиков, судя по написанному об этом прозаике, она волновала более всего остального.

Вот уже четверть века продолжается эта игра, превратившая Пинчона в своего рода культовую фигуру. От него все время ждут чего-то поистине выдающегося, эпохального, намного превосходящего даже «Радугу». Эти ожидания стали обязательным компонентом мифологии, которой овеян образ самого загадочного американского писателя нашего времени. «Вайнленд», который должен был произвести фурор, скорее разочаровал, несмотря на дополнительный интерес, придаваемый книге тем обстоятельством, что события развертываются в 60-е годы, особенно памятные для Пинчона, тогда-то и покорявшего Парнас. И все равно почти не поколебалась уверенность, что именно Пинчон создаст «великий американский роман». Тот, о котором, не очень ясно понимая, что он должен собою представлять, грезило несколько писательских поколений. Тот, который пока существует лишь в виде пародии язвительного Филипа Рота, давшего своему вызывающе тривиальному тексту как раз это заглавие — «Великий американский роман» — и предложившего коллекцию банальностей самого невзыскательного толка.

Но Пинчон, предполагается, напишет что-то не ерническое, а настоящее. И время от времени появляются сообщения о шедевре, который должен быть завершен со дня на день. Правда, появляются и другие сообщения: если им доверять, Пинчон вслед за Сэлинджером тоже положил перо, предавшись метафизическому созерцанию.

Бог весть, исходят эти толки непосредственно от Пинчона или являются домыслами сплетников. Эффект в конце концов один и тот же. Это эффект мистификации. Он повторялся уже не раз и не два, но, видимо, пока не приедается. И на какое-то время новостью дня становится известие о том, что Пинчон закончил гигантский — в тысячу страниц с лишним — роман о Гражданской войне в США. Что он пишет книгу о современности, выполненную в стилистике пародийного коллажа и своей изобретательностью, приправленной парадоксом, способную поспорить с творениями самого Умберто Эко. Что он переключился на научную фантастику. Что для своей новой книги он усердно штудирует старояпонские памятники, потому что решил создать нечто схожее с моногатари. И т. п.

Мистификация в крови у Пинчона. Она не только определяет его писательское поведение, она глубоко соприродна его таланту. Самая известная из его книг открывается фразой «Вопль отчаяния пронзил небеса» однако никакого отчаяния нет и в помине. Какое отчаяние, если вокруг комический абсурд? Весь текст «Радуги земного притяжения» при первом знакомстве кажется непрерывным шутовством с оттенком трагифарса. Не-

лепица постоянно напоминает о себе в сумрачных декорациях Лондона военной осени 1944 года, когда немцы еще не прекратили бомбежек, а, наоборот, начали использовать расхваленные «Фау-1» и «Фау-2».

Утром те, кого посылают разбирать руины, видят перед собой сюрреалистический пейзаж, но на этих пепелищах бушуют эротические оргии, и вдруг выясняется, что ракеты каждый раз попадают в тот самый дом, где накануне герой романа, американский разведчик, одержал свою очередную любовную победу. Случайность? Или тоже мистификация, а на самом деле свидание происходило в совсем другом квартале? А может быть, только травестия ходовых приемов детектива? Тем более что у Пинчона чуть ли не все персонажи — агенты, и чаще всего двойные. К тому же прочно увязшие в сетях бюрократии. Той, для которой война лишь повод создавать новые, дополнительные отделы и филиалы, пока не выяснится, что все шпионят за всеми, отправляя некий гротескный ритуал.

Война кончится, а ритуал сохранится, и во второй части романа бывший разведчик предстает полным параноиком, как и остальные выжившие — выжившие лишь для того, чтобы опасность мерещилась им теперь на каждом углу и с минуты на минуту предчувствовалась новая катастрофа, уже без преувеличения вселенская. Ею может стать — да что там может, непременно и станет — бурный рост бюрократии, означающий вот уж и правда абсолютную несвободу для всех без исключения. Привести к катастрофе может и атомный взрыв, столь вероятный, когда мир начинен бомбами, как пудинг изюмом. А может — энтропия.

Для Пинчона это понятие обладает исключительно емкой семантикой и поистине ключевой важностью. Легко заметить, что даже его повествование как бы имитирует энтропические процессы. Едва наметившаяся напряженность коллизий или ситуаций тут же ослабевает. Отсутствует стержень, если говорить о развитии интриги или движении характеров. Вообще, нет той сфокусированности, целенаправленности, энергии сюжета, которая характерна для американской прозы в ее классических образцах от Эдгара По до того же Сэлинджера.

Пинчон — другой, и он не добивается «единства впечатления», которое По вменял в обязанность писателю, считая, что это единство «дороже всех аллегорий на свете». Аллегория как раз не отталкивает Пинчона, и добивается он скорее той «неоднородности», которая по критериям, принятым преобладающей в Америке традицией, предосудительна. Пинчон же находит, что подобная несостыкованность, привкус хаоса, передающийся и композиции, и стилистике, отказ от поиска какого-то ясного смысла в изображаемых жизненных положениях и внимание к нелогичному, неглавному, вроде бы и вообще необязательному — это и есть современная поэтика. Или, во всяком случае, такая поэтика, которая отвечает современному восприятию вещей. Да и самой реальности нашего времени.

Любопытно, что такие представления оформились у Пинчона еще за много лет до того, как их канонизировал, философически обосновав и сведя в систему, постмодернизм, признавший американского прозаика одним из своих лидеров. Сам Пинчон ни разу не высказался о собственном отношении к нашумевшей школе, он скуп на комментарии и старательно обходит стороной темы, которые обожают классификаторы от критики. Но стоит заметить, что о постмодернизме не было и слуха, когда Пинчон опубликовал в 1960-м текст, ставший для этого направления едва ли не сакральным, — рассказ «Энтропия».

За три с половиной десятка лет «Энтропия» успела появиться в бесчисленных антологиях и хрестоматиях, обросла толкованиями подчас самого причудливого свойства, сделалась классикой — или почти классикой. Хотя автор словно оставался к ней безучастным. Он перепечатал свою новеллу лишь один раз, в сборнике «Учась потихоньку» (1984), составленном из совсем старых его вещей. И — случай для него беспрецедентный — предпослал этому сборнику свое введение.

Из него можно узнать, что «Энтропия» ему теперь активно не нравится, как и остальные рассказы раннего периода — их всего-то четыре. Пинчона в них не устраивает присутствие сверх меры «густой», навязчивой символики. Это просчет, обычный для начинающих. Они безоглядно увлечены своими идеями, любая банальность кажется им откровением. И этим мнимым откровением они подавляют читателя, не давая ему ни единого шанса что-то оспорить, в чем-то усомниться.

Вот и у него в рассказе этот термометр, упорно показывающий 37 градусов по Фаренгейту, эта умирающая птичка, которую не смог отогреть своим телом герой, — не слишком ли прямолинейные ходы? Не чрезмерно ли красноречивые метафоры? Ведь рассказано всего-то про убогую вечеринку, которая невесть когда началась и непохоже, чтобы когда-нибудь кончилась, пусть одна из девиц уже спит в ванне. Обыкновенный пьяный разгул. А можно подумать, что описывается знамение, явленное на пиру Валтасара.

Наверное, оценивая себя, Пинчон все-таки слишком строг. Примененное им монтажное построение не ошеломляет новизной, однако оно эффективно: на двух этажах происходит, по существу, одно и то же, просто контексты разные. Ясно, что от приближающегося краха не защитят ни лихорадочный экстаз, ни любовно взлелеянная атмосфера гнездышка, напоминающего оранжерею. Об этом крахе может возвестить совершенно реальная тепловая смерть, или незримое, но по своим последствиям не менее грозное омертвение интеллекта, или триумф эрзаца, окончательно вытеснившего полноценную культуру. Так или иначе, в воздухе витает предощущение трагической развязки, а неслиянность фабульных линий лишь усиливает его.

Они, эти линии, ни разу не соприкасаются, фактически они никак не скреплены, да и оборваны немотивированно, неожиданно. Нет ни прямого сопоставления, ни контраста, есть обобщенный образ энтропии как универсальной метафоры мира и души. Характерно пинчоновская проза.

Самое любопытное, что, судя по критике, многие восприняли метафору буквально и принялись интерпретировать рассказ как иллюстрацию идей, выдвинутых В.Гейзенбергом, одним из корифеев современной физики. Хотя для чего бы начинающему прозаику вторгаться в сферы, принадлежащие термодинамике и теории неопределенности? Но тогда, в начале 60-х, престиж физики оставался исключительно высоким, от нее ждали решения не меньше как онтологических проблем и, помещая рассказ в столь почетный контекст, думали сделать честь одаренному автору.

Все-таки лучше отнестись к «Энтропии» как к литературе, не взваливающей на себя бремени чужеродных ей задач. А понятие, вынесенное в заглавие, лучше связать не с физикой, но с атмосферой времени, когда написана эта новелла, — благо сам Пинчон указывает, что связь тут непосредственная. О Гейзенберге, принимаясь за «Энтропию», он имел очень смутное представление (правда, читал Н.Винера, развивавшего сходные положения), и рассказ, по его замыслу, должен был представлять собой «картину времени, в котором самым гнусным было преследовавшее нас, вступающих в жизнь, ощущение, что оно никогда не кончится». Времени, для описания которого, как вспоминал Пинчон четверть века спустя, подходят лишь слова из такого ряда: «бесцельность», «подавленность», «разброд».

«Нам досталось все усредненное, мы были лишь потребителями того, что скармливала индустрия новостей», — и это еще не самое худшее из сказанного Пинчоном о своем поколении. Оно пришло вслед за битниками, в одночасье куда-то сгинувшими. И на несколько лет опередило тех, кто обретал себя в движении протеста, — война во Вьетнаме стала мощным катализатором, хотя протест был не только антивоенный, он выразился в бунте против любой репрессивности, как бы она ни проявлялась.

Уделом сверстников Пинчона стало безвременье, и оттого они с легкостью поддавались то безрадостному гедонизму, то беспросветной мизантропии, будто эта поддельная праздничность или пестуемая анемичность способна заменить духовную позицию. Пинчон никогда не осознавал себя частицей этого поколения и уж тем более — его рупором. Не оттого ли и сумел он так точно воссоздать страхи и тревоги поколения, побуждавшие отыскивать всюду знаки и симптомы несчастья? И воспроизвести этот кокетливый, клишированный нонконформизм. И описать травмированность временем, все снова и снова напоминающим о пустоте существования, об одиночестве — хотя бы и вдвоем, — о хаосе жизни, от которого не спасают теплицы.

Как зарисовка исторического промежутка, когда развертывается рассказанная Пинчоном незамысловатая история, «Энтропия» обладает значением яркого художественного документа. Но тот промежуток давно закончился, а новелла Пинчона по-прежнему пробуждает интерес — оттого что, вопреки авторским уверениям, она вовсе не исчерпывается описанием ситуации, заключенной в определенные хронологические рамки. Она вообще не поддается расшифровке, если подходить к ней как к социологическому этюду, как к философской притче, как к фрагменту, доносящему давно ушедшее умонастроение, хотя все это в тексте Пинчона есть: и социология, и философия. Но есть и еще что-то — неуловимое, энигматичное. Или, может быть, тут просто сказывается инерция восприятия, заданная более поздними произведениями этого прозаика, в которых загадочность, элемент нелогичности обязательны?

Так или иначе, «Энтропию» невозможно читать, игнорируя то обстоятельство, что она представляет собой образчик «контрреализма» — термин принадлежит едва ли не самому яркому из американєких постмодернистов Джону Барту. Он в отличие от Пинчона любит теоретические построения, охотно объясняет собственные писательские интенции и взгляды, характерные для всех тех, кого — иной раз, правда, не без натяжки — относят к приверженцам постмодернизма.

На страницах критических эссе Барта Пинчон легко опознается, хотя чаще всего и остается неназванным. Но именно его опыт — и свой собственный — прежде всего имеет

в виду Барт, говоря об оппозиции «неореализму» Апдайка, Беллоу, Рота — тех, кого интересуют «условия жизни», то есть конкретика обстоятельств, в которых развертывается трагикомедия человеческого существования. Есть «неореализм», но есть и «контрреализм», а для него интерес способны представлять лишь «факты жизни» — некие константы бытия, не сопрягающиеся ни с социальными условиями, ни с метаморфозами идей. Некие эпистемологические и аксиологические проблемы, которые вечны, как сам человек.

В будничности эти константы трудно опознаваемы, и тривиальность будней должна быть передана без малейшего следа ретуши — так, как это сделано у Пинчона. Но подобная правдивость отнюдь не самоцель. Сквозь сор фактографии должна проступить универсальность коллизии, затрагивающей абсолютно всех без исключения. Барту оставалось только договорить, что наиболее естественно это достигается использованием (обычно — пародийным) распространенных, типовых ходов самого непретенциозного искусства: ведь оно-то и представляет собой язык масс. Тогда описание поэтики Пинчона как «контрреалиста» получилось бы полным.

Вряд ли коллизии, снова и снова обозначающиеся в его прозе, — та же энтропия, например, — с легкостью будут признаны действительно универсальными, и можно многое возразить против самой идеи разделения прозаиков на «нео-» и «контрреалистов». Однако новизна этой поэтики поначалу ощущалась и вправду сильно. Потом она стала модной, а значит, предугадуемой: со своей подчеркнутой, ожидаемой бессвязностью, со своим пристрастием к игре, провоцирующей самые несхожие толкования смысла любого из фрагментов и текста в его целостности. С обилием реминисценций, постоянно угадываемой травестией штампа и собственным пристрастием к штампу, каким сделалось бесконечное пародирование банальностей. Со своей страстью выстраивать из готовых блоков все новые и новые сочетания, словно соревнуясь с ребенком, которому подарили конструктор и особенно замысловатый набор схем.

Авторитет Пинчона помог такой прозе приобрести едва ли не канонический статус. Он, конечно, не может нести ответственности за самозваных учеников, которые продвинулись намного дальше его самого, превращая то, что некогда называлось прозой, в текст, подчас вообще лишенный человеческого содержания и представляющий собой сплошное упражнение по комбинаторике. Сам он, судя по «Вайнленду», тоже приложил усилия к тому, чтобы его повествование стало напоминать парад стереотипов массового сознания и психологии (правда, иронически осмысленных) и чтобы образ мусорной свалки, появлявшийся уже в первых рассказах, сделался доминирующим, как будто для описания нынешнего мира этого образа совершенно достаточно.

Когда-то, прочитав книгу наподобие «Вайнленда», говорили, что одаренный художник попал в полосу кризиса. Теперь такие слова не употребляются. Что, впрочем, не меняет положения дел.

Однако Пинчон — это ведь воплощенная энигма: как знать, что с ним происходит, и какую книгу он пишет, и пишет ли вообще. Он непредсказуем. Оттого и способен удерживать интерес публики годами, десятилетиями — даже не печатая решительно ничего.

ТОМАС ПИНЧОН

Энтропия

Рассказ

> Борис только что изложил мне свою точку зрения. Он — предсказатель погоды. Погода будет такой же плохой, говорит он. Будет еще больше потрясений, еще больше смертей, еще больше отчаяния. Ни малейшего признака перемен... Нам надо идти в ногу, равняя шаг, по дороге в тюрьму смерти. Побег невозможен. Погода не переменится.
>
> *«Тропик Рака»*

Этажом ниже Митболл[1] Маллиган съезжал с квартиры; пьянка длилась уже сороковой час. На кухонном полу, среди груды пустых бутылок из-под шампанского, Шандор Рохас с тремя дружками резались в покер и запивали бензедрин

[1] Meatball — фрикаделька, тефтель (*англ.*). (*Здесь и далее — прим. перев.*)

«Хейдсеком»[1], чтобы спастись от сна. В гостиной Дюк, Винсент, Кринкл и Пако, склонившись над засунутым в корзину для бумаг пятнадцатидюймовым усилителем, внимали двадцатисемиваттному звучанию «Богатырских ворот в Киеве». Все они носили темные очки в роговой оправе и с блаженным выражением на лице курили престранные папироски, содержавшие вовсе не табак, как вы могли бы подумать, а фальсифицированную разновидность cannabis sativa[2]. Это был квартет Дюка ди Анхелиса. Они записывались на местной студии «Тамбу» и имели на своем счету только лонгплей «Песни извне». Время от времени кто-нибудь смахивал пепел прямо на динамик, чтобы посмотреть, как частички гари танцуют в воздухе. Сам Митболл спал у окна, прижимая к груди, словно плюшевого медвежонка, пустой двухлитровый пузырь. Несколько девушек — то ли секретарш из Госдепартамента, то ли референток из АНБ[3] — в полном отрубе лежали на кушетках и креслах; одна из них предпочла ванну.

Это было начало февраля 1957 года, когда в Вашингтоне ошивалось множество потенциальных эмигрантов, норовивших при встрече рассказать, как в один прекрасный день они отправятся в Европу, чтобы заняться настоящим делом, но сейчас, судя по всему, перебивавшихся на обычной госслужбе. Все они относились к своему положению с легкой иронией. Например, они устраивали вечеринки для полиглотов, где новичка просто игнорировали, если он был не в состоянии поддерживать разговор одновременно на трех-четырех языках. Они могли неделями торчать в армянских закусочных и вдобавок зазывали вас отведать булгур[4] с ягненком на крошечных кухоньках, увешанных афишами боев быков. Они крутили романы со знойными девушками из Андалусии или Южной Франции, изучавшими в Джорджтауне экономику. У них было свое «капище» на Висконсин авеню — университетский погребок «Старый Гейдельберг»; и пусть весной вокруг вместо лип цвели вишни, но и в этом полусне им порой удавалось, как они выражались, словить кайф.

К этому моменту Митболлова вечеринка должна была вот-вот обрести второе дыхание. За окном шел дождь. Вода журчала по толю крыши и, разбиваясь мелкими брызгами об носы, лбы и губы деревянных горгулий, слюной стекала по оконным стеклам. Накануне шел снег, а за день до того дул штормовой ветер, а еще раньше — город сверкал под солнцем, как в апреле, хотя на календаре было начало февраля. Странная это пора в Вашингтоне, псевдовесна. Тут тебе и день рождения Линкольна, и китайский Новый год, и сиротский сквознячок на улице: вишни расцветут еще не скоро, и, как поет Сара Воан[5], весна, наверное, немного запоздает. Обычно компании, подобные той, что собираются будними днями в «Старом Гейдельберге» выпить вюрцбургского и спеть «Лили Марлен» (не говоря уже о «Душечке Сигме Кси»), неизбежно и неисправимо романтичны. А каждому настоящему романтику известно, что душа (*spiritus, ruach, pneuma*) не что иное, как воздух; всего лишь природная субстанция, которая клубится в атмосфере — для того чтобы аккумулироваться при вдохе. Так что климат вмешивается не только в общественные дела — праздники или туристские развлечения, — но и в частные, словно эта пора составляет в фуге года *стреттo*: непредсказуемая погода, бесцельные любови, бездумные обещания; и эти месяцы пробегают как во сне, тем более что позже, как ни странно, ветры, дожди, страсти февраля и марта никогда не вспоминаются в этом городе, как будто их и вовсе не было.

Последние басовые ноты «Богатырских ворот», пробившись сквозь перекрытия, пробудили Каллисто от его неспокойного сна. Он все еще держал в ладонях птичку, прижимая ее к своей груди. Улыбнувшись вжатой в перья голубой головке и усталым выпуклым глазам, Каллисто подумал о том, сколько ночей ему еще предстоит отдавать ей свое тепло — до полного выздоровления. Он провел так уже три дня: это был единственный известный ему способ лечения. Лежащая рядом с ним девушка шевельнулась и, закрыв лицо руками, заскулила. Перекликаясь со звуками дождя, донеслись первые нерешительные и ворчливые утренние голоса других

---

[1] «Хейдсек» — марка шампанского, «Пайпер Хейдсек».

[2] Конопля. В расширительном смысле — любое растение, из которого приготовляется гашиш, марихуана и т.п.

[3] Агентство национальной безопасности. Основной его функцией является дешифровка.

[4] Армянское блюдо.

[5] Сара Воан (1924— 1990) — одна из величайших джазовых вокалисток, прозванная «Божественной».

птиц, прятавшихся в кроне филодендронов и веерных пальм: алые, желтые и голубые пятна, вплетенные в руссоистскую[1] фантазию оранжерейных джунглей, поглотивших семь лет его жизни. Герметично закупоренная оранжерея была крошечным островком порядка в городском хаосе, чуждым капризам погоды, государственной политике и всяким гражданским волнениям. Методом проб и ошибок Каллисто добился экологического равновесия, а девушка помогла ему достичь художественной гармонии, так что колыхание растений, движения пернатых и двуногих обитателей сливались в едином ритме, как части превосходно отлаженного мобиля. Конечно, опасаясь за целостность своего убежища, они с девушкой больше не покидали оранжерею. Все необходимое им доставляли прямо сюда. Сами они не выходили наружу.

— Как она там? — прошептала девушка.

Она лежала как рыжевато-коричневый вопросительный знак, глядя на него своими неожиданно большими и темными, медленно моргающими глазами. Каллисто дотронулся пальцем до перышков у основания птичьей шеи и мягко их погладил:

— Я думаю, идет на поправку. Гляди, заметила, что ее друзья просыпаются.

Еще в полусне девушка различала звуки дождя и птичьи голоса. Ее звали Обад; полуфранцуженка-полуаннамитка[2], она жила в своем странном и одиноком мире, где облака, аромат цезальпинии, горечь вина, случайные щекочущие прикосновения к коже неизбежно воспринимались подобно звукам — звукам музыки, периодически прорывающимся сквозь ревущую тьму диссонансов.

— Обад, — сказал он, — пойди посмотри.

Она покорно поднялась, добрела до окна, раздвинула занавески и, чуть помедлив, сказала:

— 37. Все еще 37.

Каллисто нахмурился.

— Со вторника, — сказал он. — Никаких изменений.

Три поколения назад Генри Адамс в ужасе смотрел на Силу; Каллисто испытывал то же по отношению к Термодинамике, внутренней жизни силы, осознавая, подобно своему предшественнику, что Святая Дева и динамо-машина олицетворяют собой как любовь, так и силу; что обе они есть одно; и что, следовательно, любовь не только движет солнце и светила[3], но также заставляет вращаться юлу и прецессировать туманности. Собственно, последний, космический, аспект и беспокоил Каллисто. Как известно, космологи предсказывают тепловую смерть вселенной (что-то вроде Лимба[4]: форма и движение исчезают, тепловая энергия выравнивается во всем пространстве); хотя метеорологи изо дня в день разбивают их доводы утешительным разнообразием сменяющих друг друга температур.

Но вот уже три дня как, несмотря на изменчивую погоду, ртуть застыла на тридцати семи по Фаренгейту. Видя в этом предзнаменование скорого апокалипсиса, Каллисто погладил птичьи перья. Его пальцы сильнее сдавили птицу, словно он хотел получить пульсирующее, болезненное подтверждение приближающегося выравнивания температур.

Заключительный лязг ударных сделал свое дело. Митболл с содроганием пробудился, в тот самый момент, когда синхронное качание голов над корзиной прекратилось. Несколько секунд было слышно растворявшееся в шепоте дождя шипение пластинки.

— Аааррр, — объявил в тишине Митболл, с тоской глядя на пустую бутылку.

Кринкл плавно повернулся, улыбаясь, и протянул Митболлу косяк.

— Старик, тебе надо догнаться, — сказал он.

— Нет-нет, — возмутился Митболл, — сколько вам повторять, парни. Только не у меня. Вы должны понять: Вашингтон кишмя кишит легавыми.

Кринкл задумчиво посмотрел на него.

— Ну, Митболл, — сказал он, — тебе просто ничего больше не хочется.

— Хочу похмелиться, — простонал Митболл, — больше ничего. Выпить чего-нибудь осталось?

— Шампанское, я думаю, кончилось, — сказал Дюк. — Текила в ящике за

---

[1] Имеется в виду художник Анри Руссо.

[2] Аннамитка — жительница Аннама, восточного побережья французского Индокитая, являющегося в настоящее время частью Вьетнама.

[3] Отсылка к Данте: «любовь, что движет солнце и светила» — последняя строка «Рая». Может быть, следует отметить, что Генри Адамс тоже цитирует «Рай», в 25-й главе своих мемуаров.

[4] Чистилище, находящееся между Адом и Раем, а также любое промежуточное состояние.

холодильником.

Они врубили Эрла Бостика[1]. Митболл остановился в дверях кухни, мрачно глядя на Шандора Рохаса.

— Лимоны, — чуть подумав, обронил он.

Он добрел до холодильника, достал три лимона и лед, после чего, нащупав бутылку, приступил к спасительной операции. Начал он с того, что, разрезая лимоны, пустил себе кровь, после чего принялся двумя руками выжимать из них сок, пытаясь при этом ногой колоть лед. Через десять минут он обнаружил, что каким-то чудом сварганил совершенно забойный текиловый коктейль.

— Выглядит аппетитно, — откомментировал Шандор Рохас. — Может, и мне такой же сделаешь?

Митболл недовольно поморщился.

— Кичи лофас о шегибе[2], — машинально ответил он и побрел в ванную.

— Послушай, — через минуту крикнул Митболл, ни к кому конкретно не обращаясь, — послушай, тут кто-то — или что-то? — спит.

Он потряс девушку за плечо.

— Аа, — отозвалась она.

— Тебе здесь не очень-то удобно, — заметил Митболл.

— Ну, — согласилась та.

Девушка зацепилась за душ, включила холодную воду и, скрестив ноги, села посреди брызг.

— Так-то лучше, — засмеялась она.

— Митболл, — закричал с кухни Рохас, — тут кто-то лезет в окно. Я подозреваю, что взломщик. Домушник-верхолаз.

— Что ты дергаешься, мы на четвертом этаже, — ответил Митболл и поскакал на кухню.

Какой-то косматый и мрачный человек стоял на пожарной лестнице и скребся в стекло. Митболл открыл окно.

— А, Саул, — сказал он.

— Ну и погодка, — сказал Саул. Обдав всех брызгами, он впрыгнул в кухню. — Ты, я полагаю, уже слышал.

— Мириам от тебя ушла, — сказал Митболл, — или что-то в этом духе — вот и все, что я слышал.

Внезапный шквал ударов во входную дверь прервал разговор.

— Да заходите вы, — призвал Шандор Рохас.

Дверь открылась, и появились три студентки из Джорджа Вашингтона, все — с философского. Каждая держала в руках трехлитровую бутыль «кьянти». Шандор подпрыгнул и помчался в гостиную.

— Мы слышали, здесь вечеринка, — сказала блондинка.

— Свежая кровь, свежая кровь, — заорал Шандор.

Бывший борец за свободу Венгрии, он являл собой хронический случай того, что некоторые критики мидл-класса называют «донжуанизмом округа Колумбия». Purche porti la gonnella, voi sapete quel che fa[3]. Как у собаки Павлова: контральто или дуновение «Арпеж» — и у Шандора уже текли слюнки. Митболл мутным взором взглянул на протиснувшееся в кухню трио и пожал плечами.

— Ставьте вино в холодильник, — произнес он, — и с добрым утром.

В зеленом сумраке комнаты шея Обад, склонившейся над большими листами бумаги, напоминала золотистую дугу.

— В юные годы, будучи в Принстоне, — диктовал Каллисто, сооружая птичке гнездо из седых волос на своей груди, — Каллисто выучил мнемоническое правило, помогавшее запомнить законы термодинамики: ты не можешь победить; все ухудшается до того, как улучшится; кто сказал, что вообще что-либо будет улучшаться? В возрасте пятидесяти четырех лет, столкнувшись со взглядами Гиббса[4]

---

[1] Эрл Бостик — известный джазовый музыкант, в пятидесятые годы игравший с Дж.Колтрейном, Диззи Гиллеспи и др.

[2] Kitchi lofass a shegitbe — венгерское ругательство (*искаж.*).

[3] «Теперь вы знаете, что он делает, когда видит юбку» (*итал.*) — заключительные строки «Арии со списком» Лепорелло из оперы Моцарта «Дон Жуан».

[4] Джозайя Уиллард Гиббс (1839—1903) — американский физик, один из основателей термодинамики и статистической механики, в своей работе «Основные принципы статистической механики...» (1902) развивавший идеи Дж.К.Максвелла и Л.Больцмана.

на вселенную, он осознал, что студенческая мудрость оказалась в конце концов пророчеством. Тонкая вязь уравнений сложилась в некий образ окончательной и всеобщей тепловой смерти. Разумеется, он всегда знал, что только в теории двигатель или система могут работать со стопроцентным КПД; знал он также и теорему Клаузиуса, которая утверждает, что энтропия изолированной системы постоянно возрастает. Но только после того как Гиббс и Больцман[1] использовали при обосновании этого принципа методы статистической механики, ужасающий смысл этих утверждений воссиял для него: только тогда он осознал, что изолированная система — галактика, двигатель, человек, культура, что угодно — должна постоянно стремиться к наиболее вероятному состоянию. Так ему пришлось печальной, увядающей осенью своей жизни радикально переоценить все, что он доселе успел узнать; все города, времена года и случайные страсти его дней были теперь озарены новым и неуловимым светом. Но оказался ли он сам на высоте задачи? Опасности упрощающих софизмов были ему известны, и он надеялся, что у него хватит сил не соскользнуть в благодатный декаданс расслабляющего фатализма. Им всегда владел деятельный итальянский пессимизм: подобно Макиавелли, он полагал, что соотношение сил *virtu*[2] и *fortuna*[3] составляет пятьдесят на пятьдесят; но теперь уравнения требовали учитывать фактор случайности, который приводил к столь невыразимому и неопределенному соотношению, что он не решался даже вычислять его.

Вокруг него колебались неясные тени оранжереи — и жалобное сердечко трепетало рядом с его собственным. В ушах девушки как бы контрапунктом к словам Каллисто звучала болтовня птиц, судорожные гудки машин доносились сквозь влажный утренний воздух, сквозь пол пробивались дикие запилы альта Эрла Бостика. Чистоте архитектоники ее мира постоянно угрожали подобные вспышки анархии: разрывы, наросты и скосы, сдвиги и наклоны — ей приходилось беспрерывно перенастраиваться, чтобы вся структура не обратилась в нагромождение дискретных и бессмысленных сигналов. Каллисто однажды описал этот процесс как вариант «обратной связи»: каждый вечер Обад вползала в сон с чувством опустошения и с отчаянной решимостью не ослаблять бдительности. Даже во время кратких занятий любовью случайное двузвучие их натянутых нервов поглощалось одинокой нотой ее решительности.

— Тем не менее, — продолжал Каллисто, — он обнаружил в энтропии, то есть в степени беспорядка, характеризующей замкнутую систему, подходящую метафору для некоторых явлений его собственного мира. Он увидел, например, что молодое поколение взирает на Мэдисон авеню с той же тоской, какую некогда его собственное приберегало для Уолл-стрита; и в американском «обществе потребления» он обнаружил тенденции ко все тем же изменениям: от наименее вероятного состояния к наиболее вероятному, от дифференциализации к однообразию, от упорядоченной индивидуальности к подобию хаоса. Короче говоря, он обнаружил, что переформулирует предсказания Гиббса в социальных терминах и предвидит тепловую смерть собственной культуры, когда идеи, подобно тепловой энергии, не смогут уже больше передаваться, поскольку энергия всех точек системы в конце концов выровняется и интеллектуальное движение, таким образом, прекратится навсегда.

Внезапно он поднял глаза.

— Проверь еще разок, — сказал он.

Обад снова встала и подошла к термометру.

— 37, — сказала она. — Дождь кончился.

Он быстро опустил голову и, стараясь придать голосу твердость, прошептал в подрагивающее крыло:

— Значит, скоро переменится.

Сидящий на кухонной плите Саул напоминал большую тряпичную куклу, истерзанную истеричным ребенком.

— Что с тобой приключилось, — спросил Митболл, — если тебе, конечно, охота высказаться.

---

[1] Людвиг Больцман (1844—1906) — австрийский физик, один из основателей статистической физики. Больцману принадлежит статистическое обоснование второго закона термодинамики (теоремы Клаузиуса); именно это обоснование позволяет трактовать данный закон как утверждение, гласящее, что любая замкнутая система движется к хаосу, беспорядку, разрушению и «тепловой смерти».

[2] Сила, умение (*итал*).

[3] Судьба (*итал.*).

— Да уж охота, еще как, — ответил Саул. — Одну вещь я все-таки сделал: я ей врезал.

— Дисциплину надо поддерживать.

— Ха! Хотел бы я, чтобы ты это видел. Ах, Митболл, это была классная драка. В конце концов она запустила в меня «Физико-химическим справочником», но промазала, и он вылетел в окно, но когда стекло разбилось, мне показалось, в ней тоже что-то треснуло. Она выскочила из дому в слезах, прямо под дождь. Без плаща, в чем была.

— Вернется.

— Нет.

— Посмотрим, — сказал Митболл и, помолчав, добавил: —Похоже, у вас была битва гигантов. Типа кто сильнее, Сейл Минео или Рикки Нельсон[1].

— Все дело, — сказал Саул, — в теории коммуникации. Вот что самое смешное.

— Я в теории коммуникации не разбираюсь.

— Как и моя жена. Да и кто разбирается, если честно. В этом-то и весь фокус.

Саул попытался улыбнуться, и Митболл поспешил спросить:

— Может, тебе текилы или еще чего?

— Нет. То есть спасибо, не надо. В этих делах можно погрязнуть по уши, а уж если попался — чувствуешь себя под колпаком, вечно оглядываешься: не прячется ли кто в кустах, не торчит ли за углом. БЛУКА совершенно секретна.

— Чего?

— Бинарный линейный управляемый калибровочный агрегат.

— Из-за него вы и подрались.

— Мириам опять взялась за фантастику. И за «Сайентифик американ». Похоже, она съехала на идее, что компьютеры ведут себя как люди. А я ляпнул, что это можно запросто перевернуть и рассматривать поведение человека как программу, заложенную в ай-би-эмовскую машину.

— А почему нет? — сказал Митболл.

— Действительно, почему нет. Это ключевая идея во всяких коммуникационных штуках, не говоря уж о теории информации. И как только я это сказал, она взвилась. Шарик лопнул. И я никак не пойму *почему*. А уж кому бы, как не мне, знать. Я отказываюсь верить, что правительство транжирит деньги налогоплательщиков на меня, тогда как полно гораздо более важных вещей, на которые их можно было бы растранжирить.

Митболл выпятил губы:

— Может быть, она подумала, что ты сам ведешь себя как дегуманизированный аморальный ученый сухарь?

— Ох ты Господи, — махнул рукой Саул, — дегуманизированный. Куда ж мне дальше гуманизироваться? Я и так весь на нервах. Тут нескольким европейцам где-то в Северной Африке языки повырывали, потому что они говорили не те слова. Только европейцы думали, что это — те слова.

— Языковой барьер, — предположил Митболл.

Саул спрыгнул с плиты.

— Ты что, — сердито сказал он, — хочешь получить приз за самую глупую шутку года? Нет, старик, никакой это не барьер. Если это как-то и называется, то только чем-то типа размытости. Скажи девушке: «Я люблю тебя». С местоимениями никаких проблем, это замкнутая цепь. Только «ты» и «она». Но грязное слово из пяти букв — то самое, чего следует опасаться. Двусмысленность. Избыточность. Иррелевантность, в конце концов. Размытость. Это все шум. Шум глушит твой сигнал и приводит к неполадкам в цепи.

Митболл заерзал.

— Ну, это самое, Саул, — проворчал он, — ты, я не знаю, вроде как слишком много хочешь от людей. В смысле – сам-то ты знаешь. Ты хочешь, наверное, сказать, что большая часть того, что мы говорим, — это твой пресловутый шум.

— Ха! Да половина из того, что ты сейчас сказал, чтобы далеко не ходить.

— Ну, и ты тоже.

— Я знаю, —мрачно усмехнулся Саул, — это-то и самое гадкое.

---

[1] Сальваторе Минео (1939—1976), Рикки Нельсон (1940—1985) — американские киноактеры, кумиры подростков конца 50-х гг.

— Готов поспорить, что именно поэтому специалисты по бракоразводным процессам не сидят без работы. Из-за перебранок.

— Ну, я не так чувствителен. С другой стороны, — нахмурился Саул, – ты прав. Ты догадался, что, по-моему, самые «удачные» браки — такие, как наш с Мириам до прошлого вечера, — держатся на чем-то вроде компромисса. Никогда не действовать с максимальной эффективностью, обеспечивать только минимальную рентабельность. Я думаю, что подходящее слово — «совместность».

— Ааарррр.

— Вот именно. Ты хочешь сказать, что это тоже шум? Но мы по-разному это воспринимаем, потому что ты — холостяк, а я — женат. То есть был женат. К черту.

— Послушай, — сказал Митболл, из последних сил стараясь быть терпеливым, — вы говорите на разных языках. Для тебя «человек» — нечто такое, что можно рассматривать как компьютер. Может, тебе это помогает в работе или еще как. Но Мириам имеет в виду совершенно...

— К черту.

Митболл замолчал.

— Я бы выпил, — сказал Саул после паузы.

Карты были уже заброшены, и друзья Шандора методично уничтожали запасы текилы. В комнате на кушетке Кринкл тихо ворковал с одной из студенток.

— Нет, — говорил Кринкл, — нет, Дэйву я не судья. И вообще я перед ним преклоняюсь. Хотя бы из-за того несчастья, которое с ним приключилось.

Улыбка девушки увяла.

— Какой ужас, — сказала она, — что за несчастье?

— Ты разве не слышала? — спросил Кринкл. — Когда Дэйв служил в армии — всего-то простым техником, — его послали в Оак Ридж со спецзаданием. Что-то связанное с Манхэттенским проектом. Возился со всей этой гадостью и в один прекрасный день хватанул рентгенов. Так что теперь не снимает свинцовых перчаток.

Девушка сочувственно покачала головой.

— Какой это, наверное, кошмар для пианиста.

Митболл оставил Саула в обществе бутыли текилы и уже собирался отправиться спать в сортир, когда дверь распахнулась и в квартиру ввалились пятеро недавно завербованных моряков, каждый из которых был отвратителен по-своему.

— Вот это хаза! — возвестил толстый, сальный матрос, уже потерявший свой берет. —Тот самый бардак, о котором нам говорил кэп.

Жилистый боцман третьего класса оттолкнул его и ввалился в гостиную.

— Ты прав, Слэб, — сказал он, — но даже для здешнего мелководья тут не так чтобы клево. В Неаполе я видел куда более классных телок.

— Эй, что здесь почем? — просипел сквозь свои аденоиды огромный моряк, сжимавший в руке стеклянную банку с контрабандным бухлом.

— О Боже, — простонал Митболл.

Температура за окном не менялась. В теплице Обад рассеянно ласкала ветки молодой мимозы, прислушиваясь к напеву соков, поднимающихся по стеблю, черновой и неозвученной теме этих хрупких розоватых цветков, предвещающих, согласно примете, урожайный год. Музыка плела сложный узор: в этой фуге упорядоченный орнамент состязался с импровизированным диссонансом вечеринки, временами прорезавшейся пиками и взлетами шумов. Постоянно меняющееся соотношение «сигнал — шум» отбирало у Обад последние калории, и равновесие никак не могло установиться в ее маленькой головке, пока она смотрела на Каллисто, баюкающего птичку. Сейчас, прижимая к себе маленький пушистый комок, Каллисто старался прогнать саму мысль о тепловой смерти. Он искал соответствий. Де Сад, конечно. И Темпл Дрейк, изможденная и отчаявшаяся в маленьком парижском парке в финале «Святилища»[1]. Конечное равновесие. «Ночной лес»[2]. И танго. Любое танго, но, возможно, прежде всего тот тоскливый, печальный танец в «L'Histoire de Soldat»[3] Стравинского. Его мысли снова обратились к прошло-

---

[1] «Святилище» — роман У.Фолкнера. Имеется в виду заключительная сцена романа, происходящая в Люксембургском саду.

[2] «Ночной лес» — книга Джуны Барнс, популярная в межвоенном Париже.

[3] «История солдата» (*франц.*).

му: чем было для них танго после войны, какой потаенный смысл он потерял среди всех этих величавых танцующих манекенов в cafes-dansan или метрономов, тикающих за шторками сетчаток его партнерш? Даже чистые ветры Швейцарии не могли излечить grippe espagnole[1]: Стравинский переболел ею, все они переболели. А много ли музыкантов уцелело после Пашшендля, после Марны? У Стравинского — только семь: скрипка, контрабас. Кларнет, фагот. Корнет, тромбон. Литавры. Как если бы маленькая труппа уличных музыкантов старалась передать ту же информацию, что и большой симфонический оркестр. Но и со скрипкой и литаврами Стравинскому удалось привнести в это танго то же изнеможение, ту же безвоздушность, которую он видел в прилизанных юнцах, пытавшихся подражать Вернону Кастлу[2], и в их возлюбленных, которым вообще было все равно. Ma maitresse[3]. Селеста. Вернувшись в Ниццу после второй мировой, Каллисто нашел на месте того кафе парфюмерный магазин, рассчитанный на американских туристов. Ни булыжник мостовой, ни пансион по соседству не сохранили ее тайных следов; и нет таких духов, которые могли бы сравниться с ее запахом, терпким запахом молодого испанского вина, которое она так любила. Взамен он купил роман Генри Миллера и читал его в поезде по дороге в Париж, так что, приехав, был уже отчасти подготовлен. И увидел, что и Селеста, и все другие, и даже Темпл Дрейк — еще далеко не все, что изменилось.

— Обад, — позвал он, — у меня болит голова.

Звуки его голоса отозвались в девушке обрывком мелодии. Ее путь — кухня, полотенце, холодная вода, провожающий ее взгляд — сложился в причудливый и сложный канон; и когда она положила ему на лоб компресс, вздох благодарности показался ей сигналом к новому сюжету, к новой серии модуляций.

— Нет, — продолжал твердить Митболл, — нет, боюсь, что нет. Это вовсе не дом терпимости. К моему большому сожалению.

Но Слэб был непреклонен.

— Так ведь кэп сказал, — тупо повторял он.

Моряк выразил готовность обменять свою сивуху на умелую давалку. Митболл в ярости огляделся вокруг, будто ища подмоги. Посреди комнаты квартет Дюка ди Анхелиса переживал исторический момент. Винсент сидел, остальные сгрудились вокруг: судя по их движениям, можно было подумать, что идет обычная репетиция — если бы не полное отсутствие инструментов.

— Эй, — позвал Митболл.

Дюк несколько раз мотнул головой, слабо улыбнулся, зажег папиросу и только тогда поймал взгляд Митболла.

— Тсс, старик, — прошептал он.

Винсент начал выкидывать руки в стороны, сжимая и разжимая кулаки; потом вдруг замер, а потом повторил представление. Так продолжалось несколько минут, и все это время Митболл мрачно потягивал свой напиток. Морячки перебазировались на кухню. В конце концов, словно по невидимому сигналу, группа прекратила свои притоптывания, и Дюк, ухмыляясь, сказал:

— По крайней мере, мы вместе закончили.

Митболл свирепо глянул на него.

— Так я говорю... — начал он.

— У меня родилась новая концепция, старик, — ответил Дюк. — Ты ведь помнишь своего тезку. Ты помнишь Джерри.

— Нет, — сказал Митболл, —«Я запомню апрель», если это чем-то поможет.

— На самом деле, — продолжал Дюк, — это была «Любовь на продажу». Что свидетельствует об уровне твоих знаний. Соль в том, что эти самые Маллиган, Чэт Бейкер[4] и вся их компания теперь могут отвалить, отчалить насовсем. Ты въезжаешь?

---

[1] «Испанка» (*франц.*). В предисловии Пинчон признался в том, что, когда писал рассказ, был уверен, что «испанка» — это вид душевного расстройства, а не грипп, как он выяснил уже после написания рассказа.

[2] Вернон Кастл — популярный американский танцовщик (1887—1918).

[3] Моя любовница (*франц.*).

[4] Джерри Маллиган (род. 1927) — джазовый баритон, саксофонист, аранжировщик и композитор, сыгравший важную роль в формировании и развитии «cool jazz». В 1952 г. основал собственный квартет, в котором играл вместе с Чэтом Бейкером. В этом квартете у них не было пианиста, что и имеет в виду Дюк.

— Сакс-баритон, — предположил Митболл, — что-то с сакс-баритоном?

— Но без пианино, старик. Без гитары. И без аккордеона. Ты понимаешь, что это значит?

— Не совсем, — сознался Митболл.

— Нет, ты дай мне сказать, я, понимаешь, не Мингус[1], не Джон Льюис[2]. Я в теориях никогда не был силен. Я имею в виду, что всякое там чтение с листа для меня было всегда немного сложновато и...

— Я знаю, — язвительно сказал Маллиган, — тебя вышибли из Киванис-клуба, потому что ты перепутал тональность в «Happy Birthday!».

— Из Ротари-клуба, — огрызнулся Дюк. — Но на меня иногда находит такая вспышка прозрения, вот, например, если в первом квартете Маллигана нет пианино, то это может значить только одно.

— Что нет аккордов, — сказал Пако, басист с детским личиком.

— Он хочет сказать, — пояснил Дюк, — что нет базовых аккордов. Не на что опираться, пока ведешь горизонтальную линию. В этом случае остается одно — просто домысливать эти базовые.

На Митболла снизошло ужасное прозрение.

— И следующий логический шаг... — сказал он.

— ... это домыслить все, — с простодушной гордостью объявил Дюк, — базу, линию, все!

Митболл с трепетом воззрился на Дюка.

— Но... — прошептал он.

— Конечно, — скромно сказал Дюк, — кой-чего надо доработать...

— Но... — повторил Митболл.

— Просто вслушайся, — призвал Дюк, — и ты врубишься.

И они снова вышли на орбиту, предположительно где-то в районе пояса астероидов. Чуть погодя Кринкл изобразил мундштук и начал шевелить пальцами, а Дюк —прихлопывать себя ладонью по лбу.

— Оау! — рычал он. — У нас новый зачин, помнишь, который я написал вчера ночью?

— А как же, — ответил Кринкл, — новый зачин. А я вступаю на переходе. На твоих зачинах я всегда там вступаю.

— Правильно, — откликнулся Дюк, — так почему...

— Потому, — сказал Кринкл. — Шестнадцать тактов я жду, потом вступаю.

— Шестнадцать? — переспросил Дюк. — Нет, нет. Восемь — вот сколько ты ждешь. Хочешь, спою? «На фильтре сигареты губной помады след, в заманчивые дали авиабилет».

Кринкл почесал в затылке:

— Ты имеешь в виду «Эти глупости»?

— Да, — воскликнул Дюк, — да, Кринкл, браво!

— А вовсе не «Я запомню апрель»?

— Минге морте[3], — ответил Дюк.

— Мне кажется, мы играем слишком медленно, — заметил Кринкл.

Митболл усмехнулся.

— Назад к старой чертежной доске? — спросил он.

— Нет, старик, — ответил Дюк, — назад к безвоздушной пустоте!

И они попробовали еще раз, хотя Пако тут же взял соль-диез, в то время как остальные — ми-бемоль, так что пришлось начать все сначала.

На кухне моряки и двое девушек из Джорджа Вашингтона горланили «На «Форрестол»[4] положим дружно». У холодильника кипела двуручная и двуязычная игра в

---

[1] Чарльз Мингус (1922—1979) — американский джазовый композитор, басист и пианист. В 50-е гг. основал студию Jazz Composer's Workshop, чтобы добиться независимости от коммерциализации джаза.

[2] Джон Аарон Льюис (род. 1920) — джазовый пианист и аранжировщик, работавший с Диззи Гиллеспи и Чарли Паркером. Его барочный стиль близок к «cool jazz».

[3] Minghe morte — итальянское ругательство (*искаж.*).

[4] Американский авианосец, названный в честь Джеймса Форрестола (1892—1949), в 1947—1949 гг. — министра обороны США; известен, в частности, разработкой концепции «советской угрозы».

морру[1]. Саул, наполнив несколько бумажных пакетов водой, стоял на пожарной лестнице и меланхолически ронял их на редких прохожих. Обкурившаяся толстушка в беннингтоновской майке, недавно обрученная с приписанным к «Форрестолу» лейтенантом, влетела на кухню, въехав головой в живот Слэбу. Его дружки расценили это как вполне подходящий повод для драки. Игроки в морру размахивали друг у друга перед носом руками, выкрикивая «trois»[2] или «cette»[3] во всю мощь своих легких. Девушка, оставленная Митболлом в ванной, благим матом призывала на помощь, объявляя, что тонет. Похоже, она села прямо на слив, и вода была ей уже по шейку. Шум в квартире Митболла достиг невыносимого и безбожного крещендо.

Митболл наблюдал за этим, лениво почесывая живот. По его мнению, было всего два возможных выхода из сложившейся ситуации: а) запереться в сортире и ждать, пока в конце концов все сами выкатятся вон; б) постараться утихомирить их поодиночке. Первый путь был безусловно привлекательнее. Но потом он подумал о сортире. Там будет темно и душно и вдобавок одиноко. А он не привык к одиночеству. И потом, эти славные морские волки с «Летучего голодранца» — или как его там? — еще, чего доброго, вынесут к чертовой матери дверь сортира. Тогда он окажется, мягко говоря, в затруднительном положении. Другой способ казался куда как хлопотнее, но представлялся более эффективным— по крайней мере, в отдаленной перспективе.

Так что он решил рискнуть и удержать свою безумную вечеринку от сползания из сумбура в полный хаос: выдал вина морякам и шуганул игроков в морру; познакомил толстушку с Шандором Рохасом, который ее в обиду не даст; помог утопленнице вылезти из душа, вытер ее и отправил в постель; еще раз поговорил с Саулом; позвонил в мастерскую насчет холодильника, который, как кто-то заметил, потек. Вот то, что он успел сделать до наступления ночи, когда большинство гуляк отправились восвояси и пьянка, дребезжа, замерла на пороге третьего дня.

Наверху Каллисто, заблудившийся в собственном прошлом, не почувствовал, что едва слышное биение птичьего сердца стало угасать. Обад стояла у окна, глядя на прах своего чудесного мира; температура не менялась, небо давно приобрело однородный серый оттенок. Потом какой-то звук снизу — женский визг, опрокинутое кресло, разбившийся стакан, он так и не понял что — прорезался сквозь временной провал и вывел Каллисто из оцепенения; он почувствовал еле заметные судороги и слабое подрагивание птичьей головки, а его собственный пульс — словно взамен — стал сильнее.

— Обад, — едва слышно позвал он, — она умирает.

Девушка, будто зачарованная, пересекла теплицу и взглянула на руки Каллисто. Оба застыли в шатком равновесии, пока слабый стук нисходил в изящном диминуэндо до полной тишины. Каллисто медленно поднял голову.

— Я же держал ее, — произнес он в беспомощном изумлении, — чтобы отдать ей тепло моего тела. Как если бы я пересылал ей жизнь, чувство жизни. Что же случилось? Разве тепло уже не передается? Неужели больше нет... — он не окончил.

— Я только что была у окна, — сказала она.

Он откинулся назад, потрясенный. Мгновение она стояла в нерешительности; она уже давно поняла его навязчивую идею, но только сейчас осознала, что неизменные 37 градусов — главное. Внезапно, как будто найдя единственное и неизбежное решение, она бросилась к окну и, не успел Каллисто хоть что-то сказать, сорвала занавески и выбила стекло; тонкие руки окрасились кровью и засверкали осколками; она обернулась, чтобы видеть лежащего на кровати мужчину и вместе с ним ждать, пока установится равновесие, пока 37 градусов по Фаренгейту не возобладают и снаружи, и внутри, и на веки вечные и пока странная колеблющаяся доминанта их разделенных жизней не разрешится в тонику тьмы и в финальное исчезновение всякого движения.

1960

Перевод с английского С.КУЗНЕЦОВА

---

[1] Морра — итальянская игра, заключающаяся в отгадывании, кто сколько пальцев выкинет, типа «камень—ножницы—бумага».

[2] Три (*франц.*).

[3] Семь (*итал.*).

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ
ОБУЧЕНИЕ ХАОСУ

Никогда прежде Адамсу не удавалось обнаружить в истории действие закона, и по этой причине он не мог учить истории — хаосу учить нельзя.

Генри Адамс[1]

«Энтропия», наверное, самый знаменитый рассказ Пинчона, во многом определивший восприятие всего его творчества. Сразу после выхода в 1960 году он привлек внимание критики к молодому писателю, был включен в сборник лучших рассказов 1961 года и с тех пор еще не один раз входил в состав различных антологий. Хотя «Энтропия» — не первый напечатанный рассказ Пинчона, но смело можно сказать, что его известность началась именно с «Энтропии».

Перечитывая «Энтропию» после пинчоновских романов, можно в зачаточном виде увидеть многие мотивы, не задерживающие внимания при первом прочтении: интерес к теории Павлова, к бюрократическим аббревиатурам, к уподоблению человека кукле и т.д., в том числе к проблеме отношения человека и техники, важной и для «Радуги земного притяжения»[2] , и для эссе о луддизме[3] (этой проблемы Пинчон касается также и в последнем из своих опубликованных текстов — эссе «К Тебе тянусь, о Диван мой, к Тебе...»[4]). Некоторые герои рассказа — или по крайней мере их тезки — появились затем и в других произведениях, в том числе и в первом романе Пинчона «V.». Но даже взятый отдельно от всего творчества автора рассказ впечатляет тонким переплетением мотивных линий и множественностью возможных интерпретаций.

Согласно одной из них, «Энтропия» представляет собой краткий обзор возможных гуманитарных приложений заглавного понятия. Этот взгляд на ранний рассказ Пинчона возник по аналогии с его романами, которые часто рассматриваются как своеобразные энциклопедии. Несмотря на то что этот подход оставляет без рассмотрения многочисленные смысловые компоненты рассказа, при анализе «Энтропии» он удобен в качестве первого шага.

Напомним, что существует несколько трактовок энтропии. Так, в рамках теории информации она рассматривается как характеристика системы, связанная с искажениями при передаче информации. Именно энтропия ответственна за «шум» на линии связи. Именно «шум», искажение «сигнала» и волнует Саула. Возрастание энтропии означает в данном случае невозможность передачи информации — шум, по словам Саула, глушит сигнал: осмысленные слова вытесняются служебными, как в речи Митболла, или не имеющими смысла для одного из собеседников, как это происходит в случае Саула и Мириам.

Невозможность коммуникации становится одной из главных тем рассказа: полиглоты в квартире Митболла говорят на множестве языков, почти не слушая друг друга, речь Каллисто представляет собой монолог, рассказ Кринкла о Дэйве совершенно бессмыслен и т.д. Так самые разные эпизоды рассказа демонстрируют один и тот же принцип: шум заглушает сигнал, делая общение невозможным[5].

На кибернетическую трактовку человеческого поведения Пинчона, судя по всему, натолкнул Н.Винер, с книгой которого «The Human Use of Human Beings» («Человеческое использование человеческих существ») он был уже знаком в конце пятидесятых. В беседе Саула с Митболлом легко увидеть отражение попыток Винера приложить идеи теории информации к человеческому поведению.

Однако Винером далеко не ограничивается список научных источников «Энтропии». По некоторым сведениям, во время обучения в Корнеллском университете Пинчон про-

---

[1] *Генри Адамс*. Воспитание Генри Адамса. Пер. М.А.Шерешевской.М., «Прогресс», 1988. С. 435.

[2] Именно так, согласно профессиональной традиции, принято переводить название романа Пинчона «Gravity's Rainbow», хотя, по-моему, буквальный перевод — «Радуга гравитации» — оказывается в данном случае и более удачным, поскольку в романе речь идет именно о силе *всемирного* тяготения.

[3] *Thomas Pynchon*. «Is it O.K. to be a luddite?» — New York Times Book Review, 28.10.1984.

[4] Переводом этого эссе мы завершаем «пинчоновский» выпуск рубрики «NB». (*Прим. ред.*)

[5] *Дэвид Сид* (D.Seed. Order in Thomas Pynchon's «Entropy». — In: Thomas Pynchon. Modern Critical Views. Ed. by H.Bloom. N.Y., 1986) справедливо отметил, что в этом могло сказаться, в частности, увлечение Пинчона Беккетом. Так, он предполагает, что Каллисто, просящий Обад подойти к окну, невольно повторяет сцену между Хаммом и Кловом из «Конца игры» (1958).

слушал курс термодинамики[1], и термодинамическая трактовка энтропии является для рассказа не менее важной, чем коммуникационная.

Как известно, с точки зрения термодинамики энтропия выступает в качестве функции состояния системы, характеризующей ту часть внутренней энергии, которая не может быть превращена в работу. Согласно второму началу термодинамики, энтропия замкнутой системы возрастает, то есть система стремится к выравниванию температур и установлению необратимого термодинамического равновесия. В этом состоянии она уже не способна совершать работу, и теплообмен прекращается.

Особый драматизм этому закону придает статистическая интерпретация, согласно которой энтропия выступает как мера беспорядка в системе. Таким образом, конечным результатом действия второго начала термодинамики становится гомогенная система, лишенная формы, иерархии и какой-либо дифференциации. По всей видимости, идея применить законы термодинамики к социальной реальности пришла к Пинчону от Генри Адамса, американского историка, политика и писателя (1838 — 1918), автора мемуаров «Воспитание Генри Адамса», ставших настольной книгой для многих американцев, которые вступили в жизнь еще за пятьдесят лет до «Энтропии». «Воспитание» написано в третьем лице — как и воспоминания Каллисто[2].

Чем же так привлек Пинчона Генри Адамс? Возможно, одной из причин могло явиться сходство происхождения. Генри Адамс принадлежал к влиятельной семье, из которой вышло двое президентов: прадед Генри — Джон Адамс (второй президент США) и его дед — Джон Куинси Адамс (шестой президент). Подобно ему, Пинчон тоже может гордиться своими предками, бывшими среди первых пуритан-переселенцев. Его прадед Уильям Пинчон стал одним из первых американских писателей, опубликовав в 1650 году религиозный трактат, сочтенный еретическим и сожженный на главной площади Бостона. Кроме того, вместе с Морганом он основал колонию Массачусетского залива, а его потомки — и предки «нашего» Пинчона — были на протяжении почти трехсот лет связаны с семейством Морганов[3]. Да и сам Пинчон, видимо, тоже может похвастаться родством с президентами — по слухам, его жена, Мелани Джексон, —родственница президента Джексона.

Эти факты довольно любопытны сами по себе. Мы видим, что по рождению Пинчон вовсе не маргинал, скорее — стопроцентный WASP, и его — мягко скажем — либеральные симпатии, проявившиеся в шестидесятые и нашедшие яркое выражение в «Радуге...» и «Вайнленде», во многом явились именно результатом личного выбора. Впрочем, не только: его резкая критика монополий и политики правительства во многом оказывается близка идеям Адамса, считавшего себя человеком восемнадцатого века и с опаской глядевшего на «новых американцев» — банкиров, бизнесменов и политиков, пришедших к власти в конце XIX века.

Важнее, однако, другое. Именно Генри Адамсу Пинчон обязан многим в своей историософии: идеями о связи власти и любви, о разрушении причинно-следственных связей и даже представлением движения человеческой мысли как параболического полета снаряда, столь важным в «Радуге...».

Именно на двадцать пятую главу «Воспитания...» ссылается Пинчон, когда говорит, что динамо-машина и Мадонна суть одно — разные лики силы. Природа этой силы казалась Адамсу непознаваемой, иррациональной и сверхчувственной. Мадонна олицетворяла для него не только силу веры, но и таинственную силу Женщины и, возможно, неодолимую силу эстетизма[4], а динамо-машина — неведомую силу новой техники. Свою задачу как историка Адамс видел в том, чтобы проследить, как эта сила перетекала из Венеры в Святую Деву, а от нее — в динамо-машину.

Представление о том, что древняя магия и современная техника неразрывно связаны, оказалось очень важным для Пинчона; прежде всего — для «Радуги...», где в центре сюжета высится ракета «Фау-2», вокруг которой выстраиваются самые различные мифы — от древнегерманских до африканских. «Фау-2» превращается в универсальный символ той самой силы, о которой писал Генри Адамс[5].

---

[1] А вот слушал ли он Владимира Набокова, как раз тогда читавшего курс в Корнелле, толком не известно, хотя многочисленные аллюзии на автора «Ады» и «Лолиты» у Пинчона, разумеется, обнаруживаются. В числе записавшихся на лекции Набокова Пинчона нет, что, однако, не исключает того, что он там все-таки бывал.

[2] Точно так же будет писать о себе герой первого романа Пинчона — Герберт Стенсил.

[3] *M. Winston.* The Quest for Pynchon. — In: Mindful Pleasures. Essays on Thomas Pynchon. Ed. by G. Levine and D.Leverenz. Boston, 1975.

[4] Дэвид Сид усматривает намек на это в имени Каллисто, означающем «самый прекрасный».

[5] Справедливости ради отметим, что «магический» взгляд на «Фау-2» сформировался у Пинчона также под воздействием известной книги Жака Бержье и Луи Повеля «Утро магов», в которой нацизм представлен как сплав магии и техники.

Однако для «Энтропии» важнее всего было то внимание, которое Адамс уделял кинетической теории газов и хаосу. Его герой — подобно Каллисто — стремится обрести порядок в мире хаоса. Но попытки эти обречены на неудачу: «Хаос есть закон природы, порядок — лишь мечта человеческая»[1]. В «Воспитании...» даже история — см. эпиграф — то и дело предстает как хаотический процесс, в котором Адамс-историк тщетно пытается найти смысл. Единственным ответом оказывается все то же энтропийное сползание в хаос. Такое же описание истории как энтропии довлеет над Каллисто: «Он увидел, например, что молодое поколение взирает на Мэдисон авеню с той же тоской, какую некогда его собственное приберегало для Уолл-стрита; и в американском «обществе потребления» он обнаружил тенденции ко все тем же изменениям: от наименее вероятного состояния к наиболее вероятному, от дифференциализации к однообразию, от упорядоченной индивидуальности к подобию хаоса».

Таким образом, Пинчон, вслед за Адамсом, пытается приложить категории физики к истории и обществу, дополняя Гиббса и Больцмана Норбертом Винером. Однако при применении естественно-научных концепций в гуманитарной области часты ошибки и неточности. Некоторые из них сразу бросаются в глаза: почему Каллисто впадает в такую депрессию по поводу остановившегося на 37 градусах по Фаренгейту термометра?[2] Ведь температура внутри его жилища явно выше — никакого всеобщего выравнивания температур еще не произошло, не говоря обо всех остальных признаках тепловой смерти. И еще: если Каллисто пытается спастись от надвигающейся на всех энтропии, то почему он превращает свой дом в ту самую «замкнутую систему», в которой энтропия с неизбежностью будет возрастать? Служит ли оранжерея своеобразным островком порядка в мире хаоса — или, напротив, замкнутым мирком, где энтропия-хаос правит бал?

Для ответа на эти вопросы нам придется получше присмотреться к тому, как устроен рассказ.

На первый взгляд кажется, что эпизоды рассказа слабо соотнесены друг с другом, но при детальном анализе выясняется, что каждая сцена тонко связана со множеством других посредством внутритекстовых и интертекстуальных связей. «Научный» слой оказывается при этом только одним из множества слоев: «музыкальных», «фольклорных», «исторических», «политических» и т.д.

Действие рассказа происходит одновременно в двух квартирах, расположенных одна над другой. Нетрудно увидеть множество соответствий между медленным угасанием птички и безумной вечеринкой Митболла. Наверху Каллисто говорит о термодинамической энтропии; внизу Саул — о коммуникационной. Его слова о «шуме», который глушит «сигнал» во время разговора, аукаются описанием Обад, чутко прислушивающейся к соотношению «сигнал — шум». Рассказ Каллисто о Стравинском, построившем танго в «Истории солдата» всего на семи инструментах, перекликается с рассуждением Дюка о Джерри Маллигане и Чэте Бейкере, исключивших пианино из своего квартета, а следующее за этим беззвучное исполнение «Я запомню апрель» — с финальным молчанием Каллисто. Даже стекло, разбитое Обад в последнем абзаце рассказа, аукается окном, выбитым Мириам, намечая еще одну перекличку между парой Каллисто — Обад и Саул — Мириам.

Разумеется, эти параллели не остались не замеченными многочисленными исследователями, писавшими об этом рассказе. Так, верхний и нижний этажи соотносятся с интеллектуальной и чувственной составляющими человеческой психики (или — всего общества), а также — с различными драматическими жанрами. Чарльз Холландер[3] обращает в связи с этим внимание на имена некоторых персонажей рассказа. Так, подозрительно испанская фамилия венгра Шандора Рохаса отсылает сразу к двум знаменитым испанским драматургам-классикам: Фернандо де Рохасу (ок. 1465—1541), автору страстной ренессансной пьесы «Селестина. Трагикомедия о Калисто и Мелибее» («La Celestina. La Tragicomedia de Calisto y Melibea»)[4] и Франсиско де Рохасу Соррилье (1607—1648), одному из ярких представителей жанра «комедии глупцов». Соответсвтенно, и действие новеллы делится на две части: наверху — поэтическая драма, а внизу — комедия глупцов. Так, идея Митболла запереться в туалете от бушующего в его квартире хаоса звучит пародией на Каллисто и Обад, затворившихся в своей оранжерее.

---

[1] «Воспитание Генри Адамса». С. 539.

[2] Сам Пинчон честно сознается, что 37 градусов взял просто «с потолка» — потому что это нормальная температура человеческого тела по шкале Цельсия. С точки зрения физики — совершенно бессмысленное соображение.

[3] *Ch. Hollander*. Pynchon's Politics: The Presence of an Absence. — Pynchon Notes, v. 26-27, 1990.

[4] Не случайно имена героев пьесы перекликаются с именами Каллисто и его французской любовницы Селесты. Кроме того, перевод пьесы Рохаса был издан в начале века с посвящением Дж.П.Моргану — человеку, как мы видели, тесно связанному с семьей Пинчона.

Мы можем видеть, как одна и та же тема контрапунктом проходит по двум линиям рассказа. Эта игра сходств и различий позволила Редфилду и Хэйсу[1] предположить, что весь рассказ построен по принципу музыкальной фуги, не случайно много раз упомянутой в тексте. Возможно, даже расположение квартир — одна над другой — имитирует расположение музыкальных строф в нотной записи. Три голоса — Митболла, Каллисто и Саула, — сплетаясь и расходясь, представляют три измерения энтропии; диалоги двух из них и монолог третьего одинаково нисходят к молчанию, подобно музыке в теории Дюка. В эти различные темы вклиниваются «шумы» — как в смысле теории коммуникации, так и в буквальном смысле — шум с улицы, шум, доносящийся с нижнего этажа и т.д. Новые голоса подхватывают и развивают тему: вечеринка, почти достигнув крещендо, идет на убыль, а кульминация происходит наверху, когда Обад разбивает стекло.

Само ее имя, означающее «рассветная песнь», тоже связано с музыкой, и музыкальные метафоры сопровождают ее на всем протяжении повествования: не случайно при первом же упоминании Пинчон пишет о том, что она воспринимала мир «подобно звукам». В мире рассказа она персонифицирует гармонию, дрожащую под «беспорядочным напором прерывистых и бессмысленных сигналов».

Впрочем, музыкальные метафоры не существуют у Пинчона отдельно от остального текста. Так, струнное двузвучие, метафорой использованное при описании редких любовных актов Обад и Каллисто, составляет характерную черту «Истории солдата» Стравинского, упомянутой Каллисто.

Напомним кратко сюжет балета, основанный на сказке Афанасьева. Дьявол встречает солдата, идущего домой, и выменивает у него скрипку на книгу. Поскольку солдат не умеет читать, а дьявол — играть на скрипке, они отправляются к дьяволу домой, где проводят три года, показавшиеся солдату тремя днями. Вернувшись домой, он узнает, что все — включая невесту, вышедшую замуж, — считают его умершим и принимают за призрак. Впоследствии солдат пробуждает от сна принцессу и женится на ней. Хотя солдат знает, что он в безопасности только пока не покинет дворец, он все-таки решается отправиться домой навестить родных — и попадается дьяволу.

Сюжет сказки, наложенный на пинчоновский рассказ, дает очевидное распределение ролей: Каллисто — солдат, магическая книга — термодинамика, невеста — его довоенная любовница Селеста, Обад — принцесса. Этого, однако, мало. Запрет покидать свой дом, упомянутый в афанасьевской сказке, проецируется не только на затворничество героев,рассказа, но является достаточно обычным запретом, описанным, в частности, в знаменитой книге Фрэзера «Золотая ветвь». Чарльз Холландер, склонный почти в каждом слове Пинчона видеть скрытый намек, утверждает, что название этой книги зашифровано в сравнении шеи Обад с «золотистой дугой»[2].

Один раз попав в поле фольклорных ассоциаций, трудно покинуть его. При этой интерпретации птичка оказывается как бы душой Каллисто, и ее смерть сигнализирует и о его скорой смерти. Если мы вспомним, что запрет покидать свое жилище распространяется, по Фрэзеру, прежде всего на царей, отвечающих за «порядок природных явлений», то становится ясен апокалипсический тон финала: смерть птички и скорая смерть Каллисто[3](царя, отвечающего за благополучие существующего мира) предвещают конец света, в ожидании которого остается только замереть, пока все не растворится в финальном исчезновении всякого движения.

Предлагая эту трактовку, Холландер пишет: «Разум предал Каллисто. Он не понял сил, управляющих его жизнью. Не термодинамика, а примитивная магия; не названные Гиббс, Клаузиус, Больцман и Стравинский, а неназванные Афанасьев и Фрэзер являются движущими силами истории. Зацикленность Каллисто на нездорово понятом абстрактном принципе (термодинамике) приводит его к плачевному концу».

Но если так, то проясняются те научные неточности, о которых мы писали раньше. Согласно описанной выше трактовке, идеи Каллисто и не должны быть непротиворечивыми — они, напротив, должны сигнализировать о недопустимости перенесения научных категорий на человеческую жизнь. Как ни странно, даже эпиграф из Генри Миллера[4] сигнализирует о том же. Ведь метафора неизменной погоды как символа распада и гибели принадлежит не автору, а Борису, точно так же, как концепция «тепловой смерти» принадлежит Каллисто, а не Пинчону: «словно опровергая слова Каллисто», звучат в ушах

---

[1] *R. Redfield, P. Hays.* Fugue as Structure in Pynchon's «Entropy». — Pacific Coast Philology, p.12 ,1977.

[2] В оригинале это звучит несколько убедительнее: «Golden bow» / «Golden Bough».

[3] Космогонизм Каллисто, возможно, также сказался в его имени: нимфа Каллисто была превращена в созвездие Большой Медведицы.

[4] Эпиграф — такая же примета времени, как джаз или кибернетика. Также от Генри Миллера в рассказе — анархическая вечеринка, окрашенная чувственным светом случайных знакомств и кратковременного флирта; философия бурного жизненного потока, увлекающего за собой Митболла и его гостей.

Обад звуки с улицы, музыка с вечеринки и пение птиц.

Каллисто оказывается кругом не прав: желая спастись от энтропии, он помещает себя в замкнутую систему, обрекая ее — в согласии с собственной безумной теорией — на медленное угасание, в то время как внизу Митболлу удается все-таки восстановить хотя бы минимальный порядок — благодаря открытости своего дома и возможности выгонять гостей или замыкать их друг на друга.

Интересно, что второй «теоретик» рассказа — Саул — тоже может быть рассмотрен в связи с «исследованием магии и религии»[1] . Джон Симонс считает, что появление Саула через окно и описание его ссоры с Мириам отсылает к «Деяниям Апостолов», а именно к эпизоду с воскрешением Павлом (Саул—Савл—Павел) выпавшего из окна отрока Евтеха. «Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: не тревожьтесь, ибо душа его в нем» (Деяния, 20, 10). Однако подобное чудо немыслимо для Саула: слово «душа» для него столь же бессмысленно, как слово «любовь». Саул — не Павел, а всего лишь Савл, и выпавший из окна «Физико-химический справочник» — не Евтех. Но тем не менее библейские аналогии помогают конструированию образа Саула как апостола новой кибернетической религии[2].

Мы видим, что оба главных резонера рассказа оказываются сниженными вариантами фольклорных и/или религиозных персонажей. Вместо протагонистов, сообщающих нам авторский взгляд на мир, перед нами предстают почти пародийные фигуры.

Впрочем, пародия не исчерпывается фольклором и физикой. Тот же Чарльз Холландер обращает внимание на чрезмерно высокую концентрацию испанизмов в рассказе: Рохас, упоминание испанского вина, «испанки» и танго заставляют его увидеть в одной из последних фраз Каллисто намек на книгу Мигеля Унамуно «Трагическое чувство жизни у людей и народов». Тем самым Унамуно — посаженный под домашний арест и, возможно, убитый фалангистами во время Гражданской войны — тоже оказывается одним из прототипов Каллисто.

Теперь настала пора внимательнее всмотреться в те исторические моменты, которые оказываются прямо или косвенно затронуты в небольшом пинчоновском рассказе.

Прежде всего это два послевоенных периода — посещение Каллисто Ниццы после второй мировой войны и написание Стравинским «Истории солдата». Упоминание «бывшего борца за свободу Венгрии» уже не выглядит в этом контексте случайным: февраль 1957-го — тоже послевоенное время: ведь только осенью советские танки подавили венгерское восстание (отметим, кстати, что русских аллюзий в рассказе немногим меньше, чем испанских). В некотором роде Шандор, как и герой Стравинского, тоже солдат, возвращающийся с войны. Эти три эпохи задают важные для Пинчона параллели между «потерянным поколением» (beat generation), и сверстниками самого Пинчона. Интересно отметить, что один из немногих биографических фактов, известных о Пинчоне, подтверждает важность для него связи с «потерянным поколением»: в 1959 году он и его друг Ричард Фарина (именно ему посвящается «Радуга...») явились на бал-маскарад одетыми Скоттом Фицджеральдом и Хемингуэем.

С другой стороны, восстание в Венгрии может быть спроецировано на Гражданскую войну в Испании, также завершившуюся интервенцией. В свою очередь, испанская война заставляет вспомнить американскую Гражданскую войну, подробно описанную в мемуарах Генри Адамса. Именно для «потерянного поколения» «Воспитание Генри Адамса» и стало настольной книгой. Заметим, что сопоставление Адамса и Каллисто проведено — достаточно редкий случай — от лица самого Пинчона. Еще раз напомню, что большинство идей, изложенных Каллисто в его надиктованных записках, почерпнуто из «Воспитания...», что позволяет поставить под сомнение их новизну: действительно, концепция «тепловой смерти» относится к началу века, и, тем самым, записки Каллисто отсылают нас к «прекрасной эпохе», предшествующей первой мировой войне, точно так же, как его воспоминания — ко времени, предшествующему второй мировой.

Отметим, что почти все исторические эпохи связаны с Европой — желание гостей Митболла отправиться в Европу, чтобы заняться настоящим делом, отражается в рассказе Каллисто о его жизни во Франции, в упоминании Миллера и Адамса, много лет живших в Европе.

«Опрокидывая» рассказ в будущее, мы видим в нем признаки приближающейся бури шестидесятых: сигареты с травкой выступают предвестниками великого наркотического бума (которому Пинчон тоже отдал дань: в ностальгическом «Вайнленде» пыхают с первой до последней страницы), а полуаннамитка Обад заставляет вспомнить о вьетнамс-

---

[1] Подзаголовок «Золотой ветви».

[2] Основатель киберпанка Уильям Гиббсон, в имени которого так хочется увидеть каламбурную перекличку с Джозайей Уилардом Гиббсом, спустя почти тридцать лет назовет Пинчона первым (еще бессознательным) киберпанком, возможно повторив тем самым стандартную ошибку — перепутав персонажа с автором.

кой войне (возможно, ее происхождение уже тогда было для Пинчона важно в связи с французской колониальной политикой — учитывая его дальнейший интерес к подобным темам, этого нельзя исключить). Точно так же финальное молчание Саула, Каллисто и Дюка выглядит сегодня предвестием молчания самого Пинчона, словно пародирующего своим поведением постструктуралистскую идею «смерти автора»[1].

Мы видим, как исторические отсылки перекрещиваются и пересекаются друг с другом. Благодаря этому время действия «Энтропии» оказывается одновременно послевоенным и предвоенным: ожиданием апокалипсиса и послесловием к нему.

Точно так же дробится и образ Каллисто. Кто он: древний царь, не смеющий покинуть свой дом? Унамуно, арестованный фалангистами? Генри Адамс, пытающийся в начале века описать хаос истории? Или пародия на всех них? Впрочем, точнее будет назвать это пастишем— одинаково внеположенной любой философской или эстетической системе пародией, за которой уже не стоит понятия о норме. Благодаря подобной системе соответствий в самом Адамсе начинают проглядывать черты древнего царя, в Унамуно — американского историка, а в Винере — (лже)пророка новой религии.

Столь же успешно сопротивляется однозначной интерпретации финальный жест Обад. Она разбивает окно, чтобы побороть энтропию, нарушив замкнутость системы? Или чтобы открыть дорогу хаосу? И если да — то для чего? Чтобы приготовиться к смерти или чтобы — вопреки неудачному опыту Каллисто — научиться жить в хаосе, опровергнув вынесенную в эпиграф точку зрения Генри Адамса?

Мы видели несколько мотивных слоев: естественно-научный, связанный с заглавным понятием; музыкальный, включающий в себя отсылки к Моцарту, различным направлениям джаза и «Истории солдата» Стравинского; фольклорный, содержащий скрытые ссылки на Афанасьева и Фрэзера; исторический, охватывающий одну за другой несколько эпох, уходящих едва ли не к XVIII веку; и, наконец, политический слой, наиболее слабо прощупываемый, но, возможно, также присутствующий в тексте. Постоянное мерцание смысла, дублирование одних и тех же конструкций на разных уровнях создают систему взаимоотражающих пародий, лишая рассказ однозначной «морали». Виртуозная техника Пинчона позволяет ему, пародируя с помощью снижающих отсылок пессимизм и отчаяние Каллисто, не приглушить, а усилить мрачный эффект рассказа: в разбитом стекле оранжереи отражаются Генри Адамс, Унамуно, Миллер, Винер и древние цари.

В связи с этим часто употребляемый при разговоре о Пинчоне термин «игра» — пусть даже в серьезном хейзингианском смысле — не представляется мне особо удачным. «Энтропия» — не столько результат пародийного переосмысления первой половины XX века, сколько блестящий пример текста, провоцирующего читателя и критика на бесконечное количество интерпретаций, не уничтожающих, но подпитывающих друг друга, переставляющих акценты и не позволяющих зафиксировать внутренним зрением упорядоченную, стройную картину.

Все это зачастую называется словом «постмодернизм». Название, конечно, не хуже других, мешает только то, что множественность интерпретаций характерна для большинства «хороших» текстов, в том числе — вполне классических[2].

Постструктуралистская критика остро поставила имеющий отношение к проблематике рассказа вопрос об упорядоченности текста[3]. Действительно: что есть любая интерпретация, как не попытка упорядочить разрозненные элементы текста? Стратегия этого упорядочивания бывает различной: текст может быть рассмотрен как замкнутое целое или, напротив, максимально разомкнут, подключен к системам интертекстуальных связей. В любом случае остается внутреннее сопротивление текста, препятствующее его «умерщвлению», превращению в голую, однозначную схему. Происходит это во многом благодаря некой изначальной хаотичности любого текста, невозможности для «автора» заранее просчитать все эффекты, возникающие при восприятии его произведения. Всегда найдутся «случайные» элементы, которые разрушат старательно выстроенную (автором? критиком?) структуру, провоцируя на новые трактовки и не давая тексту умереть.

Любой элемент «шума» может быть осмыслен как «сигнал», потому что никто не знает, где начинаются помехи. Глагол «любить» исполнен смысла для Мириам и бессмыслен, почти непристоен для Саула. Если бы один из них написал книгу, другой прочел бы ее

---

[1] См.: *Р.Барт.* Смерть автора. — В сб.: *Р.Барт.* Избранные работы. М., 1989. 384—391. Умберто Эко, сочетающий в себе писателя с теоретиком, остроумно выразил похожую идею, написав, что автор должен умереть, закончив книгу, — чтобы не становиться на пути текста; но, как всем известно, сам не последовал своему совету.

[2] Как сравнительно свежие примеры, связанные с русской литературой — в том числе XIX века, — могу назвать работы А.К.Жолковского и, в особенности, Б.М.Гаспарова.

[3] Я преднамеренно не касаюсь различных попыток статистической обработки текстов (поэтических прежде всего), в явном виде использующих аппарат теории информации.

по-своему. Критик, старающийся охватить восприятие текста самыми разными читателями, оказывается в бесконечном лабиринте, из которого нет выхода.

В «Энтропии» переплетающиеся линии не позволяют выстроить однозначную интерпретацию. В этом смысле отличие раннего рассказа от последующих романов Пинчона заключено в том, что там сам автор — не скованный малой формой — мог множить аллюзии и интертексты, выполняя в некотором роде работу критиков.

Говоря об оппозиции «хаос — порядок» в книгах Пинчона, Тони Таннер[1] предлагает воспользоваться предложенным Н.Винером разделением, согласно которому существуют два подхода. Первый, называемый им «августинским», предполагает, что хаос — всего лишь отсутствие порядка; второй, манихейский, гласит, что хаос — самостоятельная сила. Именно второй подход и порождает паранойю и идею всемирных заговоров, которых так много в книгах Пинчона. Для нас, однако, важнее другое: предложенная классификация уже в самой своей терминологии опирается на отождествление Порядка с Добром, а Хаоса — со Злом (вводя свои термины, Винер имеет в виду дискуссию о природе Зла между блаженным Августином и манихеями, описанную, в частности, в «Исповеди»). Для Пинчона это отождествление не представляется безоговорочным.

В отличие от Адамса и Каллисто, автор «Энтропии» признает за хаосом и беспорядком своеобразное очарование. Чувствуется, что описание пьяной вечеринки, длящейся вот уже вторые сутки, явно доставляет ему удовольствие. Последующие его работы только убеждают в этом: хаос оказывается едва ли не единственным противоядием против того Порядка, который несет мировая бюрократическая система. Подобно тому как постмодернистская игра размывает оппозиции и расшатывает системы устоявшихся смыслов с их европо-, фалло- и логоцентризмом, так прививка беззакония и анархии заставляет вибрировать и содрогаться системы политические. В этом смысле Пинчон — верный сын шестидесятых, не случайно изобразивший в «Вайнленде» Отдел по борьбе с наркотиками ФБР как своеобразное «американское МГБ», не отягощающее себя презумпцией невиновности или санкциями прокурора.

Система кажется непоколебимой, и второе начало термодинамики — единственное, на что могут рассчитывать борцы с ней. Так энтропия из врага оказывается союзником, подтачивая основания великих держав — таких, как Британская империя и Третий рейх, гибель которых живописует Пинчон в «V.» и в «Радуге...». В последнем романе Пинчон явно упивается картиной энтропийной Зоны, в которую превращена Германия, на бумаге поделенная союзниками, но пока еще населенная свободными дельцами черного рынка, торговцами наркотиками, недобитыми эсэсовцами, киношниками, многочисленными шпионами и т.д. Новый бюрократический порядок еще не успел установиться, и Зона принадлежит всем. Границы между зонами оккупации то наглухо закрыты, то совершенно проницаемы. Хаос настолько всесилен, что действительность может быть структурирована на любой основе, будь то астрология, психоанализ, каббала, марксизм, религиозные культы племени гереро или ракета «Фау-2». По Пинчону, все эти интерпретации — всего лишь свидетельство находящейся на грани паранойи человеческой страсти к порядку.

Впрочем, что такое распад империй, мы знаем не понаслышке. Энтропия вылезает здесь с неизбежностью чертика из распахнутой табакерки. Интересно, что в своем «Послании Л.С.Рубинштейну» (1988) Тимур Кибиров, скорее всего слыхом не слыхивавший о Пинчоне, воспользовался той же метафорой для описания распада СССР, на просторе которого правит бал «энтропия в полный рост». Разница, впрочем, в том, что для Кибирова энтропия — это слепая сила разложения, противопоставленная творчеству и жизни («Только слово за душою / энтропии вопреки»). Для Пинчона все немножко сложнее.

Остается признать недостижимость — да и гибельность — всеторжествующего порядка; отказаться от модернистского проекта построения упорядоченной утопии; отбросить мысль об однозначной трактовке рассказа. А потом — научиться жить в хаосе: разбить окно, выдать вина игрокам в морру, хранить молчание[2].

---

[1] *Tony Tanner*. City of Words. L., 1971.

[2] Автор выражает благодарность К.Старосельской, С.Силаковой, А.Михееву, М.Якубову и Дж.М.Краффту за предоставленные материалы и помощь в работе.

ТОМАС ПИНЧОН

К Тебе тянусь, о Диван мой, к Тебе...

Эссе

Классический трактат о Лености мы находим в «Сумме теологии» Фомы Аквинского. Он отнес Леность, или «acedia»[1], к числу семи основных («capitalis») грехов. Фома уточнял, что использует слово «capitalis» в значении «первичный» или «стоящий во главе», ибо подобные грехи порождают другие. Но в этом эпитете сквозила дополнительная, зловещая, темная коннотация, которая лишь усугубляла силу аргументов Фомы — ведь «capitalis» также означало «достойный тяжкого, смертельного наказания». Отсюда эквивалент этого термина — «смертный»[2].

Но позвольте, не перебор ли это — карать смертью за нечто столь легковесное, как Леность? Вообразите себе разговор в какой-нибудь средневековой камере смертников:

— Послушай, извини за любопытство — за что они тебя решили вздернуть?

— Да как обычно — напоролся на фараонов, когда не надо. И так уж вышло, что уложил я половину шерифовых людей трехдюймовыми стрелами из моего двухаршинного лука с автоподачей. Так что, видимо, за гнев. Ну, а тебя за что?

— Э-э... вообще-то... ну, гнев тут ни при чем...

— Ха! Ты, видно, из этих, что по статье «Леность»?

— ... и вообще я этого не делал...

— Никто ничего не делает, фрайер, слышь, скоро уж и обед подадут. Ты часом не писатель будешь?

Излишне уточнять, что писатели считаются коронными специалистами по Лености. К ним постоянно обращаются — не только за бесплатными советами по этой части, но и с более лестными просьбами: выступить на Симпозиуме по проблемам Лености, возглавить Комиссию по делам Лености, дать показания в качестве эксперта на Слушаниях по вопросу Лености. Этот стереотип в значительной мере порожден тем фактом, что писатели часто вынуждены работать на условиях постраничной оплаты и жестких сроков — следовательно, уж нам-то доподлинно должна быть известна взаимозависимость между временем и деньгами. Вдобавок имеется весь этот роскошный пласт фольклора о «страхе белого листа» (или состоянии «творческой заторможенности», когда писать хочется, но не можется) — недуге, который порой разрешается драматично и без предупреждения (совсем как запор) и (может, поэтому?) находит сочувственный отклик в сердцах широких читательских масс.

Однако на деле «страх белого листа» — это всего лишь познавательная экскурсия в страну смертного греха, который этот комплекс, собственно, и порождает. Как и всякий из прочих шести грехов, Леность считается праматерью целого семейства менее значительных, так называемых «простительных» грехов, как-то: Праздность, Вялость, Телесное Неспокойствие, Непостоянство и Пустословие. Точный смысл латинского термина «acedia» — уныние, сознательно направленное на самого себя, отвернувшегося от Господа. Это дефицит духовной решимости, который, сам себя распаляя, вскоре ввергает человека в состояние, именуемое на нашем языке «комплексом вины» и «депрессией», а в итоге загоняет нас в тупик, где мы уже на все готовы (то есть на все мелкие грешки и заблуждения), лишь бы увильнуть от неприятных ощущений.

Но отпрыски Лености, при всей своей «неправедности», не всегда дурны, как, например, то, что Фома Аквинский именует «Непокоем Духовным» (когда «без ладу, без складу преследуешь несколько целей враз»): если это качество «принад-

---

[1] Апатия (*лат.*). (*Здесь и далее — прим. перев.*)

[2] Традиционный и для нашей культуры («семь смертных грехов»).

© New York Times Review of Books, 1993

лежит силе воображения, ...оно именуется любопытством». И, как доказывает история, именно в подобные моменты своих мысленных странствий писатели и создают удачные, иногда даже лучшие свои вещи: находят ключик к проблемам формы, получают советы из Мира Идей, претерпевают приключения в зоне между сном и пробуждением — иногда их даже удается потом припомнить. Праздные мечтания часто составляют самую суть нашей профессиональной деятельности. Мы торгуем нашими грезами. Таким образом, Леность приносит вполне реальные денежные доходы — хотя, если верить слухам, в других отраслях индустрии развлечений эта трансформация еще сногсшибательнее: праздные упражнения в пляжном пустословии запросто превращаются в десятки миллионов долларов.

Если говорить о Лености как о теме литературных произведений, то после Фомы Аквинского она была воспета в целом ряде шедевров (первым тут вспоминается «Гамлет»), но новый крупный шаг в своем развитии сделала, лишь высадившись на брега Америки. Между Бедным Ричардом, чахоточным мастером афоризмов из ежегодника Бенджамина Франклина, и Бартлеби, трагическим писцом из новеллы Мелвилла, пролегли примерно сто лет ранней истории Америки — период, когда в США рос и креп христианско-капиталистический государственный строй, а Леность-апатия балансировала на грани перехода из мистического состояния в мирское.

Во времена Франклина Филадельфия все дальше и дальше отходила от религиозного идеала, руководившего ее основателем Уильямом Пенном. Город постепенно превращался в нечто типа высокопроизводительной машины, которая поглощала сырье и рабочую силу, поставляя вовне товары и услуги. Внутри, между геометрически безупречными кварталами, циркулировали прохожие и транспорт. Урбанистический лабиринт Лондона, порождавший амбивалентности и подлинное зло, здесь был упорядочен, выровнен по линейке, ортогонализован. (Диккенс, посетивший Филадельфию в 1842 году, заметил: «Побродив по городу час или два, я ощутил, что весь мир готов отдать за одну-единственную кривую улицу».) Духовные проблемы никак не могли тягаться в актуальности с материальными, например с вопросом производительности труда. Леность стала грехом не столько против Бога или духовного понятия о добре, сколько против конкретной разновидности времени — однородного, одностороннего, по сути своей необратимого потока — то есть против «времени часов», которое обязывало всех жить по принципу «кто рано встает, тому Бог подает».

Бедный Ричард не стеснялся выражать свое отвращение к Лености. Он то просто твердил избитые английские пословицы, то выдавал самолично изобретенные сентенции в духе Великого Пробуждения: «Опомнись, о Лежебока! Разве Господь оснастил бы тебя руками и ногами, если б не предназначил, что тебе надлежит ими пользоваться?» Под прихотливым «рубато» трудового дня бился иной, суровый ритм — неумолчный, неотвратимый, немилосердный, и все дела, от которых люди увиливали, всё, отложенное на потом, подлежало срочной «отработке». «Пусть ты замешкался — время мешкать не будет». Ну а Леность, будучи по сути своей хроническим отлыниванием от исполнения долга, все накапливалась и накапливалась, точно бюджетный дефицит, и грядущее неотвратимое возмездие приобретало все более зловещие масштабы. В концепции времени, которая руководила городской жизнью во времена Бедного Ричарда, каждая секунда имела стандартную длину и давалась только раз. А время, которое мы именуем «нелинейным», тут и днем с огнем нельзя было сыскать — ну разве что беззаконный кавардак сновидений, на которые Бедный Ричард не обращал внимания, ибо не видел в них проку. В алфавитном указателе к «Альманаху Бедного Ричарда» (составитель Фрэнсис М. Барбур, 1974) под заголовками «Сновидения» и «Мечты» мы не находим ровно ничего. В глазах леди Филли сновидения были столь же нежеланными гостями, как и их сотоварищ — сон, считавшийся пустой тратой времени (в смысле — богатств, которые за это потерянное время можно было бы накопить), уступкой физиологии, которую непременно следовало обложить оброком в пользу 20-часового продуктивного бодрствования. В годы издания «Бедного Ричарда» Франклин, согласно его «Автобиографии», позволял себе спать лишь с 1 часа ночи до 5 утра. Другим долгим «нетрудовым» отрезком времени были четыре часа (с 9 вечера до часу ночи),

посвященные Вечернему Вопросу: «Какие добрые дела свершил я сегодня?» Вероятно, то был единственный благовидный предлог погрузиться в себя — а куда еще можно было втиснуть теоретизирование, мечты, фантазии, поэтический вымысел? В этой ортогональной машине на жизнь смотрели как на документальную прозу.

К 1853 году, когда появилась новелла Мелвилла «Писец Бартлеби: уолл-стритская история», апатия растеряла последние религиозные отголоски, обретя статус преступления против экономики. В самом сердце «акульего» капитализма заглавного героя постигает недуг, на поверку оказавшийся неизлечимой апатией. Как в тех вестернах, где одинокий изгой-десперадо раз за разом делает выбор, который все ближе и ближе подталкивает его к трагической развязке, так и Бартлеби сидит сложа руки в уолл-стритской конторе, повторяя: «Я предпочел бы этого не делать». Вскоре Бартлеби уже не из чего выбирать — зато его хозяин, солидный деловой человек, понемногу начинает сомневаться в условностях, на которых доселе держалась его жизнь, — и из-за кого, из-за какого-то жалкого писаря! — или, переводя в жизнь реальную, из-за какого-то писателишки Мелвилла. Подумайте только, Бартлеби, низший из низших, ракушка на днище капитализма, — и вдруг разорвал отношения с заведенным порядком вещей! Тут возникает интересный вопрос: кто тут обуян грехом Лености — тот, кто служит корню всех зол, принимая жизнь такой-как-она-есть в обмен на жалованье и спокойное существование, или тот, кто в принципе ничего не делает, упорствуя в своем унынии? «Бартлеби» — первая великая эпопея о Лености нашего времени. Потом пришли Кафка, Хемингуэй, Пруст, Сартр, Музиль и иже с ними — возьмите ваш любимый список писателей, которые жили после Мелвилла, и рано или поздно непременно наткнетесь на какого-нибудь персонажа со знакомой печатью уныния — гербом нашей эпохи — на челе.

Мы, граждане XX века, пришли к пониманию Лености как прегрешения прежде всего политического. Это общественное малодушие, которое попустительствует принятию неправедного политического курса, воцарению неправедных режимов. Период 20—30-х годов, когда по всему миру к власти пришли фашисты, был, возможно, звездным часом Лености, хотя эра Вьетнама и годы администрации Рейгана — Буша не слишком от него отстают. И художественные, и документальные книги просто кишмя кишат персонажами, которые не делают то, что делать должны, поскольку не желают прилагать усилия. Не правда ли, знакомая картина? Возможности ступить на путь добра ежедневно подворачиваются нам и в общественной, и в приватной жизни — ну а мы? А мы проходим мимо. Апатия — жаргон, на котором изъясняется наша будничная нравственная жизнь. Хотя в апатии еще слышатся низкие обертоны смертной тоски, она никогда не поднимется до уровня открытого отчаяния — ни до его боли, ни до его подлинности. Апатия — отчаяние, купленное по дешевке, сознательное сопротивление какой бы то ни было вере, ибо в нашей будничной гонке за бытовыми прелюбодеяниями, гневом и т.п. вера только помеха. Последняя надежда отъявленного пессимиста — притворись мертвым, затаись, и авось коса смерти проскрежещет мимо; Леность, эта впитанная нами с материнским молоком радиация, ненавязчивая радиомузычка — она всюду, и никто даже ухом не ведет.

В наши дни любой разговор о Лености неполон без рассмотрения телевидения, парализующего нас и порождающего странные создания: своих паразитов-симбионтов — я имею в виду пресловутую породу людей, прозванных Диванными Корнеплодами. Байки, в праздности сплетенные, привязывают нас к Ящику. Мы без разбору глотаем шаманскую жвачку, запуская задом наперед механизм преобразования грез в деньги, который изначально и приводит в наш дом этот хоровод пестрых призраков. Мы питаемся ими, параллельно совершая остальные шесть смертных грехов: переедаем, завидуем знаменитостям, вожделеем товаров новых и разных, ласкаем похотливым взглядом плоские образы, испытываем гнев при просмотре новостей и извращенную гордость при мысли о расстоянии между нашим диваном и местами, которые показывают на экране.

Печально, но факт. И все же благодаря своевременному — ни минутой раньше, чем нужно! — изобретению пульта дистанционного управления и видеомагнитофона у нас еще есть надежда. Телевизионное время перестало быть однородным,

линейным предметом массового потребления. Хватит, надоело — теперь у нас есть кнопки мгновенного переключения каналов, а также ускоренной перемотки и реверса. Видеовремя можно перекраивать по своему вкусу. То, что при прежнем раскладе могло бы считаться пустым транжирством невосполнимого времени, сейчас так просто не обругаешь. Если Леность можно определить как притворство, будто время — еще один неисчерпаемый сырьевой источник (в традиции отношения первых американских колонистов к природе Америки), который можно эксплуатировать веки вечные, тогда можно заключить, что мы обучились строить из себя властелинов времени: поворачивать его вспять, замедлять, ускорять, повторять... и даже воображать, будто мы можем от него скрыться. Формулировки грехов против видеовремени подлежат радикальной переработке.

Не видать ли на горизонте признаков назревающих перемен? В недавнем номере «Нэшнл энквайрер» были подведены итоги конкурса на звание Короля Бататов, или Величайшего Диванного Корнеплода США. Победитель был избран из тысячи с лишним претендентов.

— Я ничего не делаю, только работаю да телевизор смотрю, — признается тридцатипятилетний холостяк. В его доме в Фридли, штат Миннесота, двадцать четыре часа в сутки надрываются три телевизора, а четвертый он смотрит на работе. — Самое мое любимое на свете занятие — засесть на диване с батареей пива, пакетом чипсов и пультом управления... Телевизионщики даже пригласили меня участвовать в городском параде. Они пришли ко мне домой, вынесли диван, поставили его на грузовик. Так я и проехался в праздничной кавалькаде — сидя в халате на диване!

* * *

Да-да, конечно, но Леность ли это? Четвертый телевизор на работе и тот факт, что данный Ящиколюб дважды обозначил свое занятие глаголом «сидеть» (а не «валяться», например), наводят на подозрение, что это уже нечто иное. Похоже, чтобы носиться по каналам и рулить видеомагнитофоном, необходима некая нелинейная бдительность сознания, которая может при этом преспокойно уживаться с достопочтенным грехом Лености. Это некая внутренняя собранность человека, который сидит в позе йоги, дзэн-буддиста во время медитации. Суждено ли Лености вновь быть преодоленной? Правда, есть и другая вероятность — что мы вовсе не переросли апатию. Покинув свой обжитой удел — телевидение, она ушла в другие, менее заметные убежища, бог знает какие — компьютерные игры, религиозные секты, смутные торговые залы в далеких городах. И однажды она всплывет в каком-то новом обличье и опять предложит нам мировую скорбь по сходной цене.

Если только мы всерьез не займемся нашим духовным здоровьем, несомненно Леность будет и дальше развиваться и изменяться, удаляясь от своих истоков. Она зародилась в стародавнюю эпоху чудес и веры, когда будничной жизнью взаправду зримо руководил Дух Святой, а время было рассказом с началом, серединой и концом. Вера была горяча, отношения между человеком и Богом — серьезными, фатальными. Христианский Бог был близок. Хоть рукой щупай. Леность — наглое уныние перед лицом Господних благих намерений — была смертным грехом.

Возможно, будущее Лености за прегрешениями против силы, которая ныне, похоже, определяет нашу жизнь, — против техники. Упорствуя в своем луддистском унынии, невзирая на добрые намерения техники, мы будем сидеть по уши в виртуальной реальности, мрачно отказываясь раствориться в ее праздных одноразовых фантазиях — пусть даже они рассказывают о старых добрых рыцарях-суперменах Лености былых времен, об их ленивых, но жестоких схватках с беспощадными злодеями из полиции по борьбе с ленью.

Перевод с английского С.СИЛАКОВОЙ

ПЕТР ВАЙЛЬ
ПЕРЕВОД С ИТАЛЬЯНСКОГО

«Русские и Италия» — название объемистого, на 350 страниц, богато и великолепно иллюстрированного тома, опубликованного в конце 1995 года миланским издателем Шейвиллером по предложению и под редакцией автора этих строк. Это не плоская академическая история культурных отношений между Италией и Россией, а яркое собрание очерков, посвященных ключевым фигурам и узловым моментам этих отношений на протяжении пяти столетий, от создававших Кремль итальянских зодчих до роли Венеции в жизни и творчестве Иосифа Бродского. Об интеллектуальном уровне книги могут свидетельствовать имена таких авторов, как Дмитрий Лихачев и Сергей Аверинцев, Юрий Манн и Дмитрий Сарабьянов, Ольга Седакова и Елена Пастернак, Евгения Рудницкая и Руф Хлодовский, Владимир Пугачев и Лев Лосев, а с итальянской стороны — историки Серджо Романо, Пьетро Мелограни, Антонелло Вентури, писатель Марио Ригони-Стерн и т.д. Таким образом, книга «Русские и Италия» не только вносит важный вклад в изучение векового сотрудничества наших стран в самых разных областях, но и сама является новым, знаменательным плодом такого сотрудничества, представляя собой как бы промежуточный итог и одновременно продолжение взаимного обмена между двумя великими европейскими странами — родиной Данте и Петрарки и родиной Толстого и Достоевского.

Предлагаемый читателю «Иностранной литературы» очерк Петра Вайля взят из этой книги. Ничуть не умаляя достоинств изящного пера Вайля, я сказал бы, что в ряду других текстов его статья нисколько не теряется, выделяясь как особый момент в симфонии, наполненной разными мотивами, среди которых никак нельзя было обойтись без мотива религиозного (в этой связи обращаю внимание будущих читателей книги на очерки Сергея Аверинцева «Итальянское католичество глазами русских» и Александра Алтуняна «Спор между католичеством и православием в России XIX века»).

В заключение остается только пожелать, чтобы книгу «Русские и Италия» перевели на русский, и даже не столько перевели — ведь в основном она написана русскими по-русски, — а после перевода итальянской части издали в России, разве что изменив название на «Итальянцы и Россия»: от перемены мест слагаемых сумма не меняется.

ВИТТОРИО СТРАДА

1. СЦЕНА РЕВНОСТИ

Среди множества вышедших в России начала XX столетия книг об Италии — переводных (Буркгардт, Патер, Тэн) и своих (Муратов, Перцов, Грифцов) — «Итальянские впечатления» В.В. Розанова стоят особняком, что утвердил своим авторитетом П.П. Муратов: «В этой странной и такой чисто русской книге не слишком много Италии».

Столь решительное суждение верно лишь отчасти. Розановские заметки легко представить в виде расходящихся кругов, и тем автор легче и раскованнее, а значит, внимательнее к впечатлениям и деталям, чем дальше от центра — Рима. На просторах Кампаньи, Тосканы, Венето он лишь оглядывается на Россию. В Риме — за Россию судорожно держится. Половина книги посвящена столице, над которой нависает розановский сладкий ужас, соблазн и пугало — Ватикан (в который он попал к тому же на праздник, в Пасху 1901 года). Трудно отделаться от ощущения, что все путешествие было затеяно этим интеллектуальным эмпириком ради одной цели: самому посмотреть на католицизм вблизи.

Розанов, написавший, что «кроме русских, единственно и исключительно русских, мне вообще никто не нужен, не мил и не интересен», нужды в заграницe, похоже, не испытывал вообще. Даже путешествие по входившей в состав Российской империи Прибалтике для 43-летнего писателя стало экзотикой: «Нужно заметить, Бог так устраивал мою жизнь, что я не только не выезжал из любимого отечества, но никогда и не подъезжал близко к его границам». Тут нет ксенофобии (да хранит Господь от зарубежной скверны), но нет и досады (столько прожил, а мало повидал). Есть благостное смирение перед высшей волей, но все же с оттенком удовлетворения.

Истоки подобного чувства — в распространенном убеждении: за рубежом настоящих, глубинных проблем нет. Эта уверенность и сформировала особый жанр русского путешествия, развивавшийся как роман испытания, как аллегория. Судьба заграницы — быть метафорой России, и путевые заметки от

Карамзина до Аксенова эмоцию явно предпочитают информации. Русский путешественник видит то, что хочет видеть, а перед его умственным взором одна страна — родина. Как правило, ему чужд космополитический рационализм Монтеня: «Я не нахожу мой родной воздух самым живительным на всем свете». Когда Петр Великий «в Европу прорубил окно», наибольший интерес как раз окно и вызвало. Были бы стекла не биты, а что за ними — во-первых, неважно, а во-вторых, заранее известно. Сумел же Маяковский главное впечатление об Америке («Я б Америку закрыл, слегка почистил, а потом опять открыл — вторично») выразить за три недели до прибытия в США. И из всех вопросов внешних сношений по-настоящему волнует тот, что пародийно задан Вен. Ерофеевым: «Где больше ценят русского человека, по ту или по эту сторону Пиренеев?»

Обычно русский путешественник возвращался с тем, с чем и уезжал: с противопоставлением западного материализма и русской духовности. Отдал дань этому и Розанов: «Хороши делают чемоданы англичане, а у нас хороши народные пословицы». При этом любопытно, что, разделяя отвращение К.Леонтьева к «среднему европейцу», Розанов невольно помещает этот тип в декорации романского мира: «Ездят повеселиться в Монако, отдохнуть на Ривьере, покупают картинки «под Рафаэля». А средоточием европейской культуры для него, как и для многих деятелей российского «серебряного века», была завершившая греко-римский путь Италия. Италии и предстояло рассчитываться за весь западный мир.

И прежде всего — за свою религию, ибо: «Чем была бы Европа без католицизма?» Самому потрогать Ватикан, так же как он плотоядно трогал историю пальцами страстного нумизмата, — вот зачем все-таки отправился впервые в 45 лет за границу Василий Розанов.

Как и положено русскому путешественнику, он повез с собой Россию, рассыпая по пути ее крохи с назойливой щедростью: Салерно — «как наш Брянск» (а речь только о размерах), собор — «современник нашему Ярославу Мудрому» (а речь только о сроках) и к месту и не к месту вспоминая Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского. Однако неверно, что в «Итальянских впечатлениях» нет Италии. Более того, даже сейчас книгой можно пользоваться в известной мере как путеводителем — столько в ней метких и остроумных замечаний о народе и об искусстве.

Гимназический учитель, Розанов преподавал читателю Италию, попутно учась сам. Искусствовед Муратов мог счесть суждения Розанова дилетантскими — и справедливо, но с тем лишь уточнением, что дилетант был гениально одарен. Выразительно сказано о Рафаэле: «Робинзон, свободно распоряжающийся на неизвестном острове!» О древнеримском миросозерцании: «Какое прекрасное начало религии у римлян: самая ранняя богиня — домашнего очага. Мы, христиане, решительно не знаем, к чему приткнуть свой домашний очаг». По поводу статуи Марка Аврелия: «Конь, движущийся в мраморе или бронзе, всегда живее человека, на нем сидящего, и похож на туза, который бьет семерку». Отчего в современной культуре нет красивых лиц: «Да потому, что душа залила тело».

Другое дело, что никакой общей искусствоведческой либо культурфилософской концепции у Розанова нет. Противоречивейший из русских писателей, опровергающий себя в пределах одной страницы, он таков и в «Итальянских впечатлениях». По любой затронутой проблеме легко набрать столько же «за», сколько «против». Правда, здесь, что для Розанова редкость, он попытался исходить из сверхзадачи — противопоставить католицизму православие с запланированным результатом — и оказался побежден своей собственной живой мыслью и чужой живой жизнью. Можно сказать и по-другому: Италия победила идеологию.

Слишком интеллектуально и эмоционально честен был Розанов, чтобы не прийти в искренний, истовый восторг от увиденного. Разумеется, он — квинтэссенция русского путешественника, как он вообще квинтэссенция русского человека, оттого помянутое русское «духовное превосходство» проявляется даже на пике восхищения Италией. Увлекательно следить за этими оговорками, словно случайными, но на деле (по Фрейду) именно корневыми. Так, он поражен подвижностью итальянцев — транспорта, походки, мимики: «Я не видал апатичного, застывшего, тупого во взгляде лица, каких так много у нас на севере». И обобщающий образ: «У нас, в России, вся жизнь точно часовая стрелка; здесь, в Италии, — все точно секундная стрелка. Она, конечно, без важности...» В этом вводном слове «конечно» — вся суть розановского взгляда на иной мир: в осознанных и продуманных выводах звучит почтительное признание чужого, но из глубин души рвется свое.

Такое раскачивание — от доводов разума к голосу сердца — и не дает дробить «Итальянские впечатления» на отдельные умозаключения. Цитировать эту книгу возможно, даже очень, и очень хочется, чем я и занимаюсь, но — бессмысленно. Знаменитая розановская субъективность здесь доходит до абсурда и пародии. Он несправедлив к тем и к другим. «Капри не дальше от Неаполя... чем от Петербурга Кронштадт. Но Кронштадт из Петербурга не виден, а Капри весь виден» — словно Финский залив виновнее Неаполитанского. И тут же — об итальянских солдатах, предстающих безо всяких объяснений «с недоразвитою душою», да и «ружья у них — глупые, не со штыками, а с какими-то искривленными ножа-

ми, точно у кухарки, готовящейся разрезать щуку». Штыки-то чем виноваты?

Розанов борется. Сам с собой, конечно. С собственной презумпцией. Ничего не выходит с идеей Италии как мертвой музейной пустыни. Впечатления — не по кускам, а в целом — единый торжествующий вопль: «Необыкновенный гений, необыкновенная изобретательность, необыкновенная подвижность». Видно, что более всего поразило Розанова: на все лады повторяемое живость и, главное, жизнеспособность католичества. Нужно было мужество, чтоб написать о Ватикане — с осуждением даже, но с уважением и признанием мощи: «Там есть бесконечная дисциплина. Но это дисциплина не мертвая, а живая».

Разница между православием и католицизмом выступает отнюдь не в богословском развороте темы, но в социокультурном, если не социопсихологическом. Еще вернее — вполне по-русски вырисовывается литературная парадигма проблемы: различие между созерцателем Обломовым и деятелем Штольцем. Душа лежит, понятно, к Обломову, но Штольц вызывает — нет, не зависть, а ревность. Вот подходящее слово для описания того комплекса, который осеняет «Итальянские впечатления» Розанова, уже потому хотя бы, что ревность невозможна хоть без толики любви.

Не сами по себе подвижность и активность католичества волнуют Розанова, а то, что по этой причине так велик приток художественных талантов на поприще католицизма и оттого так естественны в храме и музыка, и живопись, и образы животных. И хотя он твердит, словно заклиная, о несовместимости западного и восточного христианства, перед великим искусством расхождения стушевываются. А еще более — перед осязаемой жизнью, пережитым «чувством земного шара, особым космическим чувством».

И надо было приехать самому в Италию, чтобы там, а не дома прийти к главному, возможно, выводу, уже не разделяя веру на католическую и православную, а объединяясь, точнее — присоединяясь, едва ли не как младший к старшему: «Все умерло, кроме христианства».

Может быть, только в Италии православный Розанов остро ощутил себя христианином вообще. Он коснулся католичества «пальцами» на сцене его непосредственного действия — в соборе и на улице — и испытал чувство теплой близости вместе с ощущением исторической взаимосвязанности, не конкретной — всего со всем. Ревнивый испытующий взгляд оказался плодотворным. Возможно, в «Итальянских впечатлениях» и вправду «не слишком много Италии» — но ровно столько, сколько нужно.

2. ВОЗВРАЩЕНИЕ В СОРРЕНТО

Лето, окна повсюду распахнуты, и из всех окон несется божественный голос Робертино Лоретти. Это эпидемия: «Джама-а-а-айка» и «Папагал-папагал-папагалло» — от Бреста до Владивостока. «Лодка моя легка, весла большие, Санта Лючия-а-а, Санта Лючия!»: у нас ведь все переводили на русский, а что не переводилось — перекладывали. В стране, охватывающей одиннадцать часовых поясов, не заходит «соле мио», и одна шестая земной суши разом умоляет: «Вернись в Сорренто!».

Робертино тринадцать лет, как и мне. И у него уже большая пластинка, долгоиграющий «гигант». Вечером на кухне соседка Марья Павловна Пешехонова волнуется: «Ведь совсем ребенок еще, а голосина — во! Что ж за народ такой!» Ее муж Борис Захарович, полковник в отставке, главный авторитет квартиры, поясняет: «Самый талантливый народ». И рассказывает о пленных итальянцах, как они поют и играют на аккордеоне. Война кончилась не так уж давно, «немец» еще ругательство, но про итальянцев все говорят хорошо — они как бы не в счет. Даже о врагах могут быть хорошие воспоминания, если они не воспринимаются врагами. Если нет мифа об этом народе.

Национальный миф возникает только о тех, с кем есть или было что делить. С кем воевал по-настоящему. Так, в России существуют немецкий миф, французский, американский («холодная война»), даже польский. Про этих мы знаем все, и им не выйти из стереотипов, шрамами врезанных в кожу. Про большинство народов мы и знать ничего не хотим: они так далеки, что почти не существуют. Из реальных и знакомых, но не мифологизированных — два: англичане и итальянцы. Суммируя, огрубляя, срезая нюансы и обертоны, можно сказать: англичане являли для нас порядок жизни, итальянцы — жизнь.

С трудом и сомнениями пытаюсь представить — что такое для итальянцев мы. Впервые попав в Италию, я ехал от Перуджи до Рима в попутной машине какого-то виолончелиста, беседуя на дикой смеси английского, итальянского и русского о плюсах и минусах коммунизма. Через годы, в кабине канатной дороги, поднимаясь на Этну, подвергался допросу попутчиков: что будет с Горбачевым? В ресторанчике на Бурано отвечал за ошибки Ельцина. Когда-то эта политика должна кончиться — прочтение «URSS» как «ursus»[1]. Тем более что никакого URSS давно нет.

Наверное, это банально, но Европу легко представить домом с множеством помещений и пристроек разного времени, стиля, для разных надобностей. Две комнаты, вокруг которых построено все остальное, — Греция и

[1] Медведь (*итал.*). (*Прим. ред.*)

Италия. Есть побольше, вроде Германии, и поменьше, вроде Дании. Есть просторные залы от моря до моря — как Франция. Зимние и летние веранды — как Англия и Испания. Чердак — Швейцария, погреб — Голландия. Стенные шкафы — Андорра или Лихтенштейн. Солярий — Монако. Забытые чуланы вроде Албании.

Россия — двор при этом доме: огромный, неогороженный, незаметно переходящий в поле и лес. Оттуда время от времени появляются люди странных манер и образа мыслей. Идеи их большей частью заимствованы из самой же Европы, но преображены до такой крайности и абсурда, что кажутся невиданной диковиной. Нет уже никакого URSS. Но остается нечто неясное и оттого грозное на востоке.

Вот это, вероятно, главное: восток. Не только Иосафат Барбаро в XV веке, но и его комментатор начала XX Никколо ди Ленна путали русских то с татарами, то с мордвой. Дикое, языческое, совсем иное. Водка не крепче граппы, но удивляет не крепость, а манера ее пить — хотя мне-то кажется естественным не прихлебывать 40-градусный алкоголь, а опрокидывать одним махом под закуску. Под селедку, например, или лососину, которых порядочный итальянец есть не станет, потому что это сырая рыба, что неправда: засолка тоже приготовление. Непонятным явлением остается борщ, и даже в набитом русскими Нью-Йорке его могут подать в виде свекольного желе, как поступили со мной однажды в «Шератоне». В веронском ресторане «Самовар», куда я забрел, привлеченный русской вывеской, о борще только слышали — причем фантастические желеобразные небылицы. А чем полента лучше гречневой каши, которую мой квартирный хозяин в Остии, простой славный малый, на моих глазах прямо с тарелки вывалил в унитаз, когда я хотел его угостить русским чудом?

Мы, по-моему, терпимее. Я помню, как безропотно заплывал в Тирренском море к валунам, срывал с них под руководством своих новых друзей Джузеппе и Энцо мидии и бросал их потом на сковородку с чесноком и петрушкой. Моя мать не вынесла бы самой идеи съедобности ракушек и, вероятно, даже прокляла бы меня, но я не писал матери, до чего докатился ее бамбино. Мужество вообще требуется ежедневно, и, конечно, истинному русскому хочется швырнуть в официанта тарелку с макаронами, поданными на первое, когда всем известно, что это гарнир. Но мы верим, что заграница знает лучше, и оттого терпим. Да и что взять с «макаронников»? Равно как с «лягушатников»-французов или этих — «немец-перец-колбаса». Впрочем, макароны в России уважали еще со времен их фанатичного пропагандиста Гоголя, а в самые тяжелые годы вермишель и рожки серого цвета были основой рациона — они почему-то исчезали в последнюю очередь. На «пределах» нашего бытия оказывалась Италия. А когда в середине 70-х впервые появились почти настоящие длинные спагетти, они ценились как деликатес, на них приглашали, посыпая зеленым сыром вместо пармезана, существовавшего только в литературе и кино. В общем, за макароны итальянцам спасибо, пусть только научатся подавать их вовремя.

Чем могли ответить мы? С востока в Италию приходили красавицы. Чей это миф — о любви итальянских мужчин к русским женщинам? Наш? Их? Так или иначе, в России про это знали все, знали и наши козыри: светлые волосы, широкие скулы.

С той, итальянской стороны было еще представление о некоей восточной покорности, которой на самом деле нет и в помине. Тут просто историческая путаница со времен Марко Поло, того же Барбаро, Амброджо Контарини и других, намертво приписавших русских к Востоку. Это, может, и справедливо в культурфилософском плане, но никак не в вопросе семейных отношений. Здесь из истории лучше бы вспомнить, что первые боевые феминистки появились отнюдь не в Америке, а в России.

Итальянские мужчины русским женщинам были понятнее: вроде наших кавказцев, со всеми плюсами рыцарства и темперамента, только все-таки иностранцы. К тому же хорошо одетые — элегантнее других.

Богатая заграница всегда выступала земным воплощением рая. Но земля, где живут антиподы с невообразимым языком, — ад. Из корня этой амбивалентности и вырастает тот гибрид презрения и раболепия, который зовется у нас отношением к иностранцу.

В этом непростом комплексе итальянец как потенциальный жених занимает особое место. Его уважают, быть может, меньше, чем англичанина или шведа, ценят ниже, чем немца или американца. Но он способен вызывать чувство, неведомое подавляющему большинству иностранцев в России, — любовь. И если уж суждено отдать дочку заморскому дракону — пусть он будет итальянским.

Тем более что итальянцы учили нас любви. Но первым я назову имя не великого Боккаччо — хотя «Декамерон» был именно чтением полового созревания. Его ошеломляющие по эротической откровенности сюжеты мы воспринимали серьезной порнографией в своей суровой стране. Но Боккаччо, далеко отнесенный во времени, был все же экзотикой — еще большей, чем другие учителя любви: Золя и Мопассан. Ближе и понятней оказался писатель иного дарования — Васко Пратолини.

Он был похож на нашу коммунальную жизнь, только у нас про это по-русски не печатали. Сейчас я перечитал его и изумился: до чего целомудренно было наше половое воспитание. Вот что волновало до темноты в гла-

зах: какая-то Элиза по прозвищу «Железная грудь», убогий обиход проституток, утрата девственности на мешках из-под угля, волшебные фразы: «Марио и Милена желали друг друга». У нас так не писали.

У нас не писали и так: «Коммунист — живой человек, как и все люди». Одно это уже было крамолой. На первом советском издании «Повести о бедных влюбленных» стоит дата: 1956 год. XX съезд партии, Хрущев разоблачил Сталина, начиналась свобода — всякая, как только и случается со свободой. «Свобода приходит нагая», — справедливо написал Хлебников, кажется, совсем не имея в виду сексуальный аспект темы.

Свобода под вывеской братского коммунизма — это наиболее успешно доходило в итальянской упаковке. Священный для Кремля набор — Грамши, «Бандьера росса», Тольятти — открывал пути. Тысячи советских интеллигентов, вырезая из журнала «Огонек» репродукции с картин Ренато Гуттузо, не подозревали, что разлагают себя чуждым экспрессионизмом: им просто нравились броские краски и изломанные линии в эпоху румяного и закругленного. Во времена запрета на Шёнберга и Веберна московские и ленинградские эстеты получали додекафонию из рук члена КПИ Луиджи Ноно. Умные редакторы писали умные предисловия об идейной правильности Альберто Моравиа, Леонардо Шаши, Итало Кальвино.

Пратолини пришел в 50-е как литературный вариант киношного неореализма, который потряс широким потоком быта. Рокко и его братья, молодая деревенщина из Лукании, бродили по миланской полуподвальной квартире в кальсонах. Они были троюродными братьями моего соседа, полковника Пешехонова, шагавшего в нижнем белье по коридору в уборную с годовой подшивкой «Огонька» под мышкой. Все 19 членов шести семей, населявших нашу коммунальную квартиру, угрюмо следили за полковником, понимая: это надолго. Кальсонами нас было не удивить, но место им было дома, а не на киноэкране. Там они могли появиться только на партизанах, выведенных ночью на расстрел. Братья в фильме Лукино Висконти носили кальсоны, будто так и было нужно, — и постепенно мы стали понимать, что так и нужно.

Мощные страсти могли разыгрываться на кухне, и таких декораций не надо стесняться. Отсюда, я думаю, та истовая и преданная, не зрительская, а родственная любовь, которую мы испытывали к Анне Маньяни, Софии Лорен, Марчелло Мастроянни, Джульетте Мазине, Росселлини, Висконти, Феллини. Они были гениальными художниками, но главное — они оправдывали нас.

Итальянцы реабилитировали для нас быт. И даже более того — сочетание быта с высотами искусства. Камера из полуподвала взмывала на крышу Миланского собора, и гремели оперные страсти. Пафос и красота — это было вполне по нашей части, но без таких перепадов: в сталинском кино театральные таланты и поклонники с легкостью носили буржуазные бабочки и лакированные ботинки, но и помыслить было нельзя, что под черным бостоновым костюмом могут оказаться кальсоны. Уж мы-то знали, что это вещи разные. У нас, слава Богу, был Большой театр и лучший в мире балет, да и коекакая опера. Собственно говоря, та же, что в Милане: в самый разгар борьбы с космополитизмом из репродукторов по всей стране неслись мелодии Пуччини и Верди.

Первая песня, которую я выучил наизусть, была не «Марш энтузиастов» и даже не «В лесу родилась елочка», а ария Жоржа Жермона из «Травиаты»: «Di Provenza il mar, il suol...» То есть по-русски, разумеется, — у нас все оперы пелись в переводе: «Ты забыл край милый свой, бросил ты Прованс родной...» С тех пор не могу слышать эту мелодию без волнения, перебирая любимые записи: Гобби, Тальябуэ, Бастианини, Цанасси, Капучилли. Кажется, в пять лет я произносил «про вас»: соотнести «Прованс» было не с чем, даже с соусом — соус идея не русская.

Италия всегда была для России тем, что волнует непосредственно, — голосом. Мальчик Робертино; вожделенные гастроли «Ла Скала» с Ренатой Скотто; Доменико Модуньо, Рита Павоне, Марино Марини, на чьем концерте в Риге сломали все стулья; Карузо, вошедший в обиходный язык не хуже Шаляпина («Ишь распелся, Карузо»); легенда XIX века об Аделине Патти; ненависть славянофилов к засилью «Троваторов»; любимая опера Николая I — «Лючия» (кстати, любимая опера Николая II — «Тристан и Изольда», и чем это кончилось?).

Итальянцы пели лучше всех, но еще важнее то, что они — *пели*. В том смысле, что не работали. Мы с легкостью забыли, что именно они построили нам Кремль на века, куда пышнее и обширнее, чем образцы в Вероне и Милане. Но все эти строители, числившиеся в русских летописях XV века под одной фамилией — Фрязин (что означает всего лишь — «итальянец»), возводили в конце концов не многоквартирные дома и не макаронные фабрики, а нечто необязательное, по разделу роскоши.

Итальянцы не закомплексовывали нас английской разумностью, немецким трудолюбием, французской расчетливостью. Из всех нам известных иностранцев они единственные были лентяи. Ну, конечно, не больше, чем мы, и они об этом знали уже полтысячи лет: «Их (русских. — *П.В.*) жизнь протекает следующим образом: утром они стоят на базарах примерно до полудня, потом отправляются в таверны есть и пить; после этого времени уже невозможно привлечь их к какому-либо делу» (Контарини). Примерно так побывавшие к

югу от Альп русские описывали сиесту.

В Америку, как стандартный эмигрант, я ехал через Австрию и Италию. Осенью 77-го все говорили об арабских террористах, и в каждом тамбуре поезда Вена — Рим с короткими автоматами вроде немецких «шмайсеров» стояли австрийские солдаты — блондинистые, строгие, надежные: таких прислали неспроста, угроза серьезная. Утром я проснулся от ощущения невиданной красоты за окном: Доломитовые Альпы. Вышел в тамбур покурить от волнения и оцепенел: на железном полу в расхристанной форме, отдаленно напоминавшей военную, сидели черноволосые люди, дымя в три сигареты, шлепая картами об пол и прихлебывая из большой оплетенной бутыли. Карабины лежали в углу, и от всей картины веяло безмятежным покоем.

Мы, кажется, похожи — в частности, тем, что обменялись вещами почти нематериальными. Итальянцы получили от нас мифологию зимы и полюбили в своей моде меха и высокие сапоги, а собираясь к нам, с удовольствием напяливают лохматые шапки уже в аэропорту Фьюмичино. Но не от дантовского ли ада идет представление о страшном русском холоде, какого в России, пожалуй, и не бывает? В летописи чудом сохранилась запись о погоде в Москве как раз тогда, когда там гостил Амброджо Контарини. Зима выдалась на редкость мягкой, что никак не отразилось на запечатленных им по-феллиниевски красочных картинах московских морозов.

Нашим ответом было представление о незаходящем неаполитанском солнце, под которым только и можно петь и забивать голы. Певцы до нас добирались редко; но уж добравшись, влюбляли в себя, как Адриано Челентано, латинский любовник — веселый и неутомимый. Таков был и Мастроянни, и вся страна знала реплику-рефрен его слабеющего героя из фильма «Вчера, сегодня, завтра»: «Желание-то у меня есть...» — последняя доблесть мужчины.

Красивое достоинство — это Италия. Нам все подходило: будь то сицилиец из романа Лампедузы или сицилиец из фильма Копполы. Главное — не подробности, а образ. Итальянец, чем бы ни занимался, создан для любви, песен и футбола — и все делает уверенно и благородно.

Певцы все же были экзотикой, зато футболистов знал каждый: Факетти, Зофф, Булгарели, Траппатони, Ривера, Рива. Первые итальянские слова: «катеначчо», «либеро», а на каком языке передать изящество паса! Господи, верни меня в детство — хотя бы ради того чувства блаженства, пережитого, когда Сандро Маццола разбежался и ударил, а Лев Яшин бросился и взял пенальти. Полковник Пешехонов заплакал у телевизора, к которому собрались все соседи, а Маццола потом объяснил ничего не понимавшим репортерам: «Просто Яшин лучше меня играет в футбол». И я навсегда понял, что такое великий спортсмен.

Итальянцы многое сделали для нас понятным — не в схеме жизни, за этим мы шли к другим народам, а в жизни самой, в искусстве извлекать из нее главное: смысл каждого дня. И если все-таки получается итальянский миф, то, значит, так оно и есть — только он особый: приземленный и внятный. Не Вагнер, а Верди. Не Лоренс Оливье, а Джанкарло Джаннини. Солнечный день. Сладкий голос. Стакан вальполичеллы. Тарелка макарон.

...Когда-то я работал грузчиком на кожгалантерейном комбинате. В нашей бригаде имелась достопримечательность — итальянец. Володя ушел на фронт из Смоленска, попал в плен в 41-м, в конце концов очутился в Италии, работал механиком в Болонье, женился. В 48-м поехал повидаться с родными, вышел из лагеря через десять лет, возвращаться казалось бессмысленным. Кстати, что в этом случае означает слово «возвращение»?

Он выделил меня из бригады — по молодости я начинал пить не с самого утра — и рассказывал. «Будешь в Сорренто... Знаешь Сорренто? Ну да, где Горький жил. Пойдешь по главной улице вдоль моря, после подъема развилка, основная дорога налево, а тебе направо. Метров через двести крутой спуск к морю. Внизу маленький пляж — никогда никого. Ты один, видишь море и Везувий. От вокзала пешком полчаса. Запомни — у развилки направо».

Я запомнил — только потому, что в 19 лет запоминал все. Даже эту безумную инструкцию, когда пределом мечтаний была поездка с группой в Болгарию, это напутствие в заготовительном цеху кожгалантерейного комбината, где мы с Володей-итальянцем на пустых перевернутых ящиках пили красный вермут, годный для покраски заборов. Я запомнил, и приехал в Сорренто через двадцать лет, и все нашел.

■

«САМОЕ МЕСТО В МУСОРНОЙ КОРЗИНЕ...»

Составление, перевод с английского и вступление А.ЛИВЕРГАНТА

В этой подборке представлено около ста отрывков из рецензий и отзывов, в которых внутренние (а также внешние) эксперты и критики, нередко представители серьезных английских и американских издательств, солидных газет и журналов, проявляют забавную (нелепую, трогательную) недальновидность, отказывая в будущем будущим шедеврам. Недальновидность эта вовсе не обязательно является следствием дурного вкуса, самомнения, снобизма или невежества; гораздо чаще рецензент попросту теряется от нового, непривычного, не вписывающегося в устоявшиеся эстетические и нравственные представления. Наверно, поэтому особенно резкий и безапелляционный отпор встречали такие книги, как «Тристрам Шенди», «Моби Дик», «Мадам Бовари», стихотворения Уитмена и Дикинсон, проза Джойса, Пруста, Фолкнера, Лоуренса, Томаса Вулфа и Владимира Набокова — писателей, бросавших (сознательно или бессознательно) вызов литературным условностям и общественной морали. Нередко эту недальновидность разделяли и известные писатели: им тоже не всегда удавалось распознать будущих — или уже состоявшихся — литературных гигантов, и тогда их голос вливался в осуждающий, негодующий или насмешливый хор охранительной критики. В этом смысле некоторые отрицательные отзывы о книгах, ставших теперь знаменитыми, могут служить любопытным документом той или иной литературной эпохи. Случалось, что рецензенты оказывались правы, отказывая в будущей популярности таким авторам, как, скажем, Пруст или Йейтс, — коммерческий успех и литературная слава совпадают не всегда.

Справедливости ради следует сказать, что в некоторых отрицательных рецензиях критики весьма прозорливо подмечали слабости, свойственные, как известно, и великим книгам.

В особый раздел вынесены нелицеприятные отзывы известных писателей о своих собратьях по перу.

1. ИЗДАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

ГЕНРИ ФИЛДИНГ

«Том Джонс»

(1749)

На наш взгляд, книга эта подрывает основы той морали, которую обязаны прививать молодежи как родители, так и общественные институты.

ЛОРЕНС СТЕРН

«Тристрам Шенди»

(1759)

Что толку в Вашей игре ума, в неиссякаемых потоках остроумия? Удовольствие от чтения получаешь не большее, чем от созерцания любовных утех со стороны.

ДЖЕЙН ОСТИН

«Нортенгерское аббатство»

(1818)

Мы готовы вернуть рукопись за ту же сумму, за которую ее приобрели.

ДЖОН КИТС

(1818)

Друзья Джона Китса, насколько нам известно, рассчитывали, что он станет врачом, и определили его в ученики к городскому аптекарю... Как нам представляется, гораздо разумнее быть скромным аптекарем, чем скромным поэтом, а потому возвращайтесь-ка обратно в аптеку, мистер Джон, к пластырю, пилюлям и примочкам. Но, ради Бога, не расточайте снотворное и болеутоляющее столь же бездумно, как расточали Вы поэтические образы!

Подборка составлена по двум изданным в США сборникам:

Rotten Reviews, A Piterary companion. Ed. by Bill Henderson. ©1986 by Pushcart Press.
Rotten Rejections. A literary companion. Ed. by Andre Bernard. ©Pushcart Press, 1990.

ПЕРСИ БИШИ ШЕЛЛИ

«Освобожденный Прометей»

(1819)

... бред сумасшедшего... его принципы до смешного безнравственны, а поэзия — это смесь вздора, просторечия, убогости и напыщенности.

ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЁТЕ

«Вильгельм Мейстер»

(1829)

Сущий бред.

АЛЕКСАНДР ДЮМА

«Изабелла Баварская»

(1834)

Пишите-ка лучше пьесы, голубчик. В Вас гибнет драматург!

ЭДГАР АЛЛАН ПО

«Гротески и арабески»

(1836)

Наши читатели предпочитают, чтобы в томе было одно большое произведение, а не несколько малых.

ДЖОН ДОНН

(Из статьи 1837 года)

Среди его ранних стихотворений есть немало скабрезных, поздние в основном благочестивы; по-настоящему же хороших — считанное число.

ГЕРМАН МЕЛВИЛЛ

«Тайпи»

(1846)

Повесть совершенно неправдоподобна, а стало быть, внимания не заслуживает.

ЭМИЛИЯ БРОНТЕ

«Грозовой перевал»

(1847)

В этой книге все недостатки «Джейн Эйр» увеличены во сто крат, и единственным утешением служит мысль о том, что роман этот никогда не будет пользоваться широким спросом.

ГЕРМАН МЕЛВИЛЛ

«Моби Дик»

(1851)

Вынуждены сообщить Вам, что не находим возможным издавать Вашу книгу, поскольку для юного английского читателя считаем ее непригодной. Роман затянут, устарел и, с нашей точки зрения, не заслуживает той репутации, которой пользуется.

... такое впечатление, что автор не столько не может, сколько не желает обучиться литературному ремеслу.

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

«Холодный дом»

(1853)

Здесь огрехов больше, чем во всех предыдущих книгах мистера Диккенса, вместе взятых: композиция отсутствует, роман бездумен и слезлив.

УОЛТ УИТМЕН

«Листья травы»

(1855)

Считаем целесообразным не связывать с этой книгой никаких надежд.

Уитмен разбирается в искусстве как свинья в апельсинах.

Убежден, к поэзии, любой поэзии, это никакого отношения не имеет.

Хотя Уитмен был лишен истинно поэтической оригинальности, ему достало ловкости выдумать литературный трюк и ума — этим трюком постоянно пользоваться.

ГЮСТАВ ФЛОБЕР

«Мадам Бовари»

(1856)

Вы похоронили свой роман под ворохом деталей, хорошо описанных, но никому не нужных...

Мсье Флобер — не писатель.

ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК

(1856)

В изображении характеров и страстей, а также в разработке сюжета он неизобретателен... Во французской литературе мсье Бальзак займет весьма скромное место.

ЭМИЛИ ДИКИНСОН

«Без названия»

(Ранние стихотворения)

(1862)

Хоть бы одна правильная рифма!

ЛЬЮИС КЭРРОЛЛ

«Алиса в Стране чудес»

(1865)

Как нам представляется, любого нормального ребенка эта холодная, вычурная книга скорее озадачит, чем увлечет.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

«Анна Каренина»

(1877)

Сентиментальная чушь. Покажите мне хотя бы одну страницу, где была бы свежая мысль.

ТОМАС ХАРДИ

«Возвращение на родину»

(1878)

Мы полагаем, что главная цель сочинителя — забавлять, так вот, попытавшись нас позабавить, мистер Харди потерпел фиаско.

МАРК ТВЕН

«Приключения Гекльберри Финна»

(1884)

Бессовестная насмешка над самыми чистыми помыслами... Мистер Клеменс нарушает все мыслимые правила приличия.

Очень возможно, что через сто лет Твена будут помнить только по «Знаменитой скачущей лягушке...».

РЕДЬЯРД КИПЛИНГ

«Стихотворения без названия»

(1889)

Простите, мистер Киплинг, но Вы совершенно не владеете английским языком.

ГЕНРИК ИБСЕН

«Кукольный дом»

(1889)

Впечатление такое, будто кто-то поставил на сцене приготовление воскресного обеда.

ТОМАС ХАРДИ

«Тэсс из рода д'Эрбервиллей»

(1891)

...неподобающая откровенность.

ОСКАР УАЙЛЬД

«Портрет Дориана Грея»

(1891)

Многое здесь вызывает отрицательные эмоции.

... Изнеженно, тошнотворно, вредно (хотя и не вполне то, что принято называть «предосудительным») и вдобавок скучно.

«Веер леди Уиндермир»

(1892)

Мой дорогой сэр,
я прочел Вашу рукопись. Ох, мой дорогой сэр...

СТИВЕН КРЕЙН

«Мэгги, девушка с улицы»

(1893)

... для нас это слишком жестоко.

УИЛЬЯМ БАТЛЕР ЙЕЙТС

«Стихотворения»

(1895)

Я рад, что нет ни одного критика, который бы утверждал, что мистер Йейтс со временем станет знаменит. В противном случае я бы разочаровался в роде человеческом... Его стихи совершенно пусты, лишены всякого смысла. Они не ублажают слух, не разжигают воображение, не будят мысль...

Трудно поверить, что кто-то такие стихи покупает.

ГЕРБЕРТ УЭЛЛС

«Машина времени»

(1895)

Для неподготовленного читателя книга недостаточно занятна, для подготовленного — недостаточно глубока.

«Война миров»

(1898)

Нескончаемый кошмар. Сомневаюсь, чтобы этим романом увлеклись читатели. Думаю, что их приговор будет: «Не читайте вы эту чудовищную книгу!»

КОЛЕТТ

«Клодин в школе»

(1900)

Лично я не сумел бы продать и десяти экземпляров.

ТЕОДОР ДРАЙЗЕР

«Сестра Керри»

(1900)

Боюсь, что эта книга не заинтересует наших читательниц, а ведь именно от них зависит в наше время судьба большинства романов.

... безнравственно и плохо написано... выбор Ваших героев крайне неудачен... не самый успешный дебют для начинающего автора.

ДЖЕК ЛОНДОН

«Закон жизни»

(1900)

.... вызывает отвращение и тоску.

ДЖОЗЕФ КОНРАД

«Сердце тьмы»

(1902)

Было бы крайне неразумно делать вид, будто эта книга будет пользоваться широким читательским спросом.

ДЖОРДЖ БЕРНАРД ШОУ

«Человек и сверхчеловек»

(1905)

... известным, а уж тем более состоятельным писателем Шоу не будет никогда.

ЭПТОН СИНКЛЕР

«Джунгли»

(1906)

...Этой книге самое место — в мусорной корзине.

ДЖОН ГОЛСУОРСИ

«Сага о Форсайтах»

(1906)

...Написали бы лучше пьесу — у Вас получится.

Автор пишет, чтобы доставить удо-

вольствие не столько читателю, сколько самому себе, отчего его роману не хватает естественности... ничего удивительного, если средний читатель не сможет вникнуть в сложные семейные отношения действующих лиц... в книге нет ни одного по-настоящему положительного героя, поэтому даже к тем, кто страдает и мучается, трудно испытывать сочувствие.

...в нашей стране книга не продастся: интрига отсутствует, а все герои — британцы до мозга костей.

ЭЗРА ПАУНД

«Portrait d'une femme»

(1912)

В первой строке слишком много «г».

МАРСЕЛЬ ПРУСТ

«В поисках утраченного времени»

(1913)

Дорогой мой, делай со мной что хочешь, но я не могу взять в толк, зачем автору понадобилось тридцать страниц, чтобы описать, как он перед сном ворочается в постели.

ДЖЕЙМС ДЖОЙС

«Портрет художника в юности»

(1916)

Довольно сбивчиво, да и авторская позиция сочувствия не вызывает.

В военное время привлечь думающего читателя не так-то просто.

Работа проделана немалая, но раскупаться книга не будет.

В качестве картины ирландских нравов ничего собой не представляет.

ШЕРВУД АНДЕРСОН

«Уайнсбург, Огайо»

(1919)

... для нас слишком безысходно.

ТОМАС МАНН

«Будденброки»

(1921)

Два толстых тома пустой болтовни о пустых людях.

ДЖЕЙМС ДЖОЙС

«Улисс»

(1922)

Непохоже, что в этой книге глубокий смысл. Игра ума, да.

ТОМАС СТЕРНЗ ЭЛИОТ

«Бесплодная земля»

(1922)

Иногда мистер Элиот демонстрирует, что совсем неплохо владеет белым стихом, — но и только. В остальном же он непрерывно цитирует, пародирует и имитирует. Увы, пародии его грубы, а имитации неприхотливы.

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ

«Вешние воды»

(1926)

Желание напечатать эту книгу было бы с нашей стороны дурным вкусом и даже жестокостью.

ДЭВИД ГЕРБЕРТ ЛОУРЕНС

«Любовник леди Чаттерли»

(1928)

Хотя бы ради себя самого не печатайте эту книгу!

Мистер Лоуренс — извращенец. Он совершенно помешался на сексе... нет никакого сомнения в том, что приличное общество от него отвернется.

УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР

«Сарторис»

(1929)

Если б у книги была композиция, можно было бы ее сократить, переработать, но она настолько бесформенна и многословна, что ничего не получится. В романе нет сюжета — и это хуже всего.

ТОМАС ВУЛФ

«Взгляни на дом свой, Ангел»

(1929)

... в наличии все недостатки молодости и неопытности.

... В прошлом году мы выпустили четыре книги такого типа, и ни одна из них успеха не имела... ни редактура, ни сокращения ничего не дадут...

Хуже некуда.

Мне кажется, что огромный дар мистера Вулфа заключается в том, что всё окружающее для него интересно, ценно и важно. Однако ему не хватает главного — суметь заразить своим интересом читателя.

ДЖОН ДОС ПАССОС

«42-я параллель»

(1930)

... он похож на человека, который пытается бежать одновременно в десяти направлениях и в результате стоит на месте, производя ужасающий шум. Иногда шум этот забавен, чаще же однообразен.

ИВЛИН ВО

«Мерзкая плоть»

(1930)

Мистер Во лишен того вдохновения, что отличает истинного сатирика от карикатуриста... Его роману не хватает энергии... фабула вымученна, а многие приемы заимствованы из арсенала клоунов.

УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР

«Святилище»

(1931)

Нет, этого я напечатать при всем желании не могу. В противном случае за решеткой окажемся мы оба.

ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ

«Волны»

(1931)

Это камерное повествование происходит за наглухо закрытыми ставнями... Скучно.

ОЛДОС ХАКСЛИ

«О дивный новый мир»

(1932)

Мрачная и тяжеловесная пропаганда.

... довольно забавная книга; когда человек остроумен, то и двух-трех нехитрых идей достаточно, чтобы получилось интересно.

ДЖЕЙМС КЕЙН

«Почтальон всегда звонит дважды»

(1934)

Думаю, что в самом скором времени Вы найдете более эффективный способ заработать на жизнь, чем сочинять книги.

ИРВИНГ СТОУН

«Воля к жизни»

(1934)

Длинный, скучный роман о художнике.

ЛУИ ФЕРДИНАНД СЕЛИН

«Путешествие на край ночи»

(1934)

... Если это — жизнь, то лучше не жить.

ФРЭНСИС СКОТТ ФИЦДЖЕРАЛЬД

«Ночь нежна»

(1934)

Любой второсортный английский светский романист мог бы написать эту книгу лучше, чем Ф.Скотт Фицджеральд...

СОМЕРСЕТ МОЭМ

«Бремя страстей человеческих»

(1935)

Типичный «разгребатель грязи».

Этика этой книги откровенно языческая.

УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР

«Авессалом, Авессалом»

(1936)

Последний всплеск того, кто когда-то был примечательным, хотя и не первоклассным талантом.

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ

«По ком звонит колокол»

(1940)

По самым скромным подсчетам, американские читатели потратят на эту книгу один миллион долларов. За эти деньги они получат всего 34 страницы прекрасного текста. На этих 34 страницах рассказывается о резне, учиненной в маленьком испанском городке в самом начале гражданской войны... Мистер Хемингуэй, пожалуйста, издайте сцену резни отдельно, а о романе «По ком звонит колокол» забудьте — пусть о гражданской войне в Испании пишет Мальро...

УИЛЬЯМ СОМЕРСЕТ МОЭМ

«На острие бритвы»

(1944)

Издавать нежелательно. Это произведение представляется мне малоинтересным — думаю, многие со мной согласятся. Диалог временами неплох, некоторые персонажи довольно любопытны, но рассуждения о жизни утомительны и длинны, а авторский взгляд на мир безысходен...

Сомневаюсь, чтобы эта книга пользовалась спросом у читателей.

ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ

«Скотный Двор»

(1945)

Многие аспекты внутренней и внешней политики Советского Союза вызывают и у меня серьезные претензии, однако такого рода... пасквиль я издавать не вправе.

В Соединенных Штатах Америки рассказы о животных спросом не пользуются.

Уже тот факт, что в качестве правящего класса у Оруэлла выведены свиньи, заденет многих читателей, тем более таких обидчивых, как русские.

РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН

«Вся королевская рать»

(1946)

И герои, и героини выражаются на страницах романа самым непотребным образом; их поведение вогнало бы в краску готтентота-язычника.

ТОМАС СТЕРНЗ ЭЛИОТ

«Вечеринка с коктейлями»

(1949)

Через несколько дней — чтобы не сказать часов — я вдруг понял, что это полная белиберда.

СЭМЮЭЛ БЕККЕТ

«Моллой» и «Малон умирает»

(1951)

Я не смог прочесть ни тот, ни другой роман; глаза скользили по строке, не улавливая смысла — если это можно назвать смыслом... Это не грустно и не смешно... думаю, что главная беда подобных романов, если прочесть их внимательно, заключается в том, что они попросту скучны. Издавать эти произведения бессмысленно: дурной вкус американского читателя пока не соответствует дурному вкусу французского авангарда.

ДЖЕРОМ ДЭВИД СЭЛИНДЖЕР

«Над пропастью во ржи»

(1951)

Военные романы последних лет приучили нас к ругательствам и непристойностям, но когда сквернословят совсем еще дети, да еще из приличных семей, волосы, по чести сказать, дыбом встают...

АННА ФРАНК

«Дневник Анны Франк»

(1952)

Героине, мне кажется, не хватает глубоких чувств, отчего книга имеет чисто познавательный интерес.

УИЛЬЯМ ГОЛДИНГ

«Повелитель мух»

(1954)

Нам все же кажется, что Вам не удалось дать ход весьма многообещающей идее.

УИЛЬЯМ САРОЯН

«Спек, особая сардинка»

(1954)

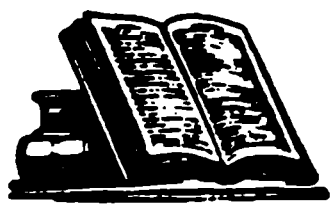
Даже если бы эти десять страниц о сардинке, которая не хочет быть сардинкой, и маленьком мальчике, который не хочет быть маленьким мальчиком, вместе с Сарояном писали Исаия, Уильям Джеймс, Конфуций, Вилла Кейтер и Микки Спиллейн, — рассказ и тогда бы вряд ли стоило печатать.

НОРМАН МЕЙЛЕР

«Олений парк»

(1955)

Если эта книга увидит свет, книгоиздание будет отброшено на четверть века назад.



ВЛАДИМИР НАБОКОВ

«Лолита»

(1955)

Эту историю следовало бы рассказать не широкому читателю, а психоаналитику... Тошнотворное чтение — даже для умудренного опытом фрейдиста... Продаваться роман не будет, он принесет огромный вред подрастающему поколению.... Больше всего меня угнетает мысль о том, что автор настаивает на публикации этой книги. Ее следовало бы закопать поглубже в землю и завалить для верности камнем.

Каждый книготорговец должен отдавать себе отчет в том, что он имеет дело с откровенной порнографией.

АЛЬБЕР КАМЮ

«Падение»

(1957)

Язык, которым написана эта книга, напоминает заискивающий лепет попрошайки. В книге полно богемного вздора о том, что, дескать, буржуазия хуже профессиональных преступников, а также стандартного набора циничных пошлостей вроде: «Не верьте вашим друзьям, когда они просят вас быть с ними искренним».

ДЖОН ДОС ПАССОС

«Великие дни»

(1958)

Пассажи с подробным описанием половых актов и естественных отправлений оскорбляют меня до глубины души. Тем более что в них нет никакой необходимости.

ГАРОЛЬД ПИНТЕР

«День рождения»

(1958)

Что все это значит, известно лишь самому мистеру Пинтеру: его герои несут какую-то тарабарщину, бредят наяву и совершенно не в состоянии объяснить свои действия, мысли и чувства. Если автор постарается забыть о Беккете, Ионеско и Симпсоне, он, безусловно, будет писать лучше.

ЭДГАР ЛОУРЕНС ДОКТОРОУ

«Добро пожаловать в тяжелые времена»

(1960)

Быть может, найдется читатель, который примет все это за чистую монету, — только не я.

ДЖОЗЕФ ХЕЛЛЕР

«Поправка-22»

(1961)

Не имею ни малейшего представления, что хотел сказать автор... Потуги на юмор и даже на сатиру...Вся книга строится на двух приемах, которыми автор не владеет... Скучно до бесконечности.

Хеллер купается в собственном смехе и в конечном счете в нем тонет. В результате остается лишь ворох довольно сомнительных шуток, притворный гнев, грязные словечки, напускное безумие и шаловство... автор кривляется, точно ребенок, оставшийся без присмотра родителей.

ГЮНТЕР ГРАСС

«Жестяной барабан»

(1961)

Эта книга непереводима.

ОКТАВИО ПАС

«Лабиринт одиночества»

(1962)

Едва ли эта книга заинтересует американского читателя. Ведь писалась она для мексиканцев.

ДЖОН ЛЕ КАРРЕ

«Шпион, который пришел с холода»

(1963)

Перед вами Ле Карре — писатель без будущего.

ИСААК БАШЕВИС ЗИНГЕР

«В отцовском дворе»

(1966)

Чересчур приземленно.

2. ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

ЭДМУНД СПЕНСЕР

«Королева фей»

(1590—1596)

Среди английских классиков Спенсер занимает на книжной полке почетное место — на полке, но не на столе.

Дэвид Хьюм

УИЛЬЯМ ШЕКСПИР

«Гамлет»

(1601)

Вульгарная и жестокая драма... впечатление такое, будто эта пьеска — сочинение пьяного дикаря.

Вольтер

«Отелло»

(1604)

Чистая мелодрама. Все характеры поверхностны.

Джордж Бернард Шоу

«КОРОЛЬ ЛИР»

(1605)

В этой драме есть серьезные недостатки, и их немало.

Джозеф Уортон

«Ромео и Джульетта»

(лондонская постановка 1666 года)

...На «Ромео и Джульетте» впервые. Худшей пьесы и худших актеров мне видеть не приходилось.

Сэмюэл Пипс

ГЕНРИ ФИЛДИНГ

«Том Джонс»

(1749)

Более продажной книги я, пожалуй, не знаю.

Сэмюэл Джонсон

ЧОСЕР

Несмотря на расточаемые Чосеру комплименты, я считаю его развратным и ничтожным; своей славой он обязан древности и заслуживает ее в гораздо меньшей степени, чем «Пьер Пахарь» или Томас Эркельдаун.

Лорд Байрон, 1835

ДЖЕЙМС ФЕНИМОР КУПЕР

«Следопыт»

(1841)

На одной странице «Следопыта» Купер ухитрился нарушить 114 заповедей литературного мастерства из 115. Это мировой рекорд.

Марк Твен

УИЛЬЯМ ВОРДСВОРТ

«Прелюдия»

(1850)

История эта стара как мир. Старые как мир восторги при виде гор и водопадов. Старая как мир и крайне неубедительная философия о воздействии природы на человеческий разум; старая как мир, вздорная мистика; нескончаемое литературное пространство тупого, плоского, приземленного пустословия.

Томас Бабингтон Маколей

ШАРЛЬ БОДЛЕР

«Цветы зла»

(1857)

Через сто лет книга эта будет считаться во французской литературе не более чем курьезом.

Эмиль Золя

ДЖЕЙН ОСТИН

...Замужество — это единственная проблема, которая волнует писательницу... А ведь самоубийство куда респектабельнее.

Ралф Уолдо Эмерсон, 1861

РАЛФ УОЛДО ЭМЕРСОН

Дряхлый и беззубый павиан.

Томас Карлейль, 1871

ДЖОРДЖ ЭЛИОТ

«Миддлмарч»

(1871—1872)

«Миддлмарч» — это сокровищница частностей и несуществующее целое.

Генри Джеймс

ГЕНРИ ДЖЕЙМС

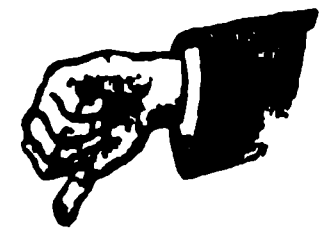
... идиот, к тому же бостонский, хуже которого на свете не было и не будет.

Генри Луис Менкен

УОЛТ УИТМЕН

Уитмен, точно большой косматый пес, которого только что спустили с цепи, носится по всей земле и лает на луну.

Роберт Льюис Стивенсон, 1882



ДЖОРДЖ БЕРНАРД ШОУ

«Оружие и человек»

(1894)

В один прекрасный день Шоу может написать серьезную и даже талантливую пьесу — если только он... уяснит себе разницу между проницательностью и умом.

Уильям Арчер

«Человек и сверхчеловек»

(1904)

Сдается мне, что по большому счету Шоу — скорее прохвост, чем гений.

Бертран Расселл

ЭЗРА ПАУНД

Деревенский умник, который хорош, если живешь в деревне, и плох, если в деревне не живешь...

Гертруда Стайн

ДЖЕЙМС ДЖОЙС

«Улисс»

(1922)

Я закончила «Улисса» и считаю, что это осечка. Книга затянута и многословна. От нее остается неприятный осадок. Она претенциозна. Она вульгарна — и не только в общепринятом, но и в чисто литературном смысле. Первоклассный писатель слишком уважает свое ремесло, чтобы фокусничать.

Вирджиния Вулф

Портреты цветов, или Топография наготы

Американка Джорджия О'Кифф (1887 — 1986) войдет в историю искусства двадцатого века не только как самобытная художница, но и как натурщица, которую фотографировали больше чем кого бы то ни было.

Джорджия родилась и выросла на Среднем Западе в большой фермерской семье. Довольно рано у нее обнаружились способности к живописи. В двенадцать лет она уже точно знала, что станет художницей. Джорджия посещала разные учебные заведения, в том числе нью-йоркскую Лигу искусств, считавшуюся на ту пору лучшим художественным институтом, но тяжелый тиф, едва не приведший к смерти, а затем и финансовые трудности не позволили ей получить высшее образование.

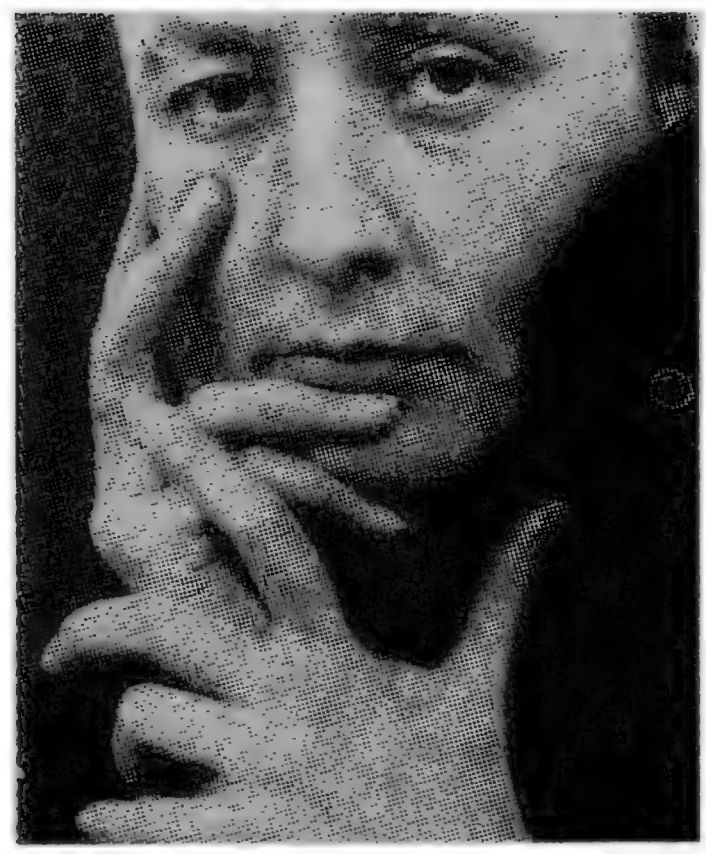
Решающей в судьбе Джорджии О'Кифф стала встреча с Альфредом Штиглицем. Они познакомились в 1908 году в маленькой нью-йоркской галерее Штиглица, устроенной им в собственной квартире на Пятой авеню и названной «291» — по номеру дома. Здесь задолго до того, как широкая американская публика сумела познакомиться с новейшим европейским искусством, Штиглиц устраивал выставки Анри Матисса, Поля Сезанна, Огюста Родена, Жоржа Брака и Пабло Пикассо.

Альфред Штиглиц (1864 — 1946), сын состоятельных немецких эмигрантов, был пионером художественной фотографии и завоевал на этом поприще широкую известность. С 1902 года он начал выпускать журнал «Camera Work», который был посвящен не только последним достижениям фотографии, но и теоретическим вопросам современного искусства. Об уровне этого издания говорит список авторов: Оскар Уайльд, Бернард Шоу, Василий Кандинский, Гертруда Стайн, Морис Метерлинк.

Штиглиц разрабатывал оригинальную идею фотопортрета. О'Кифф позднее вспоминала: «Альфред понимал под портретом не просто одну-единственную фотографию или картину. Он мечтал о том, чтобы запечатлеть ребенка в момент рождения и сопровождать его с камерой в течение всей жизни».

Джорджия О'Кифф была для Штиглица идеальной моделью. Он начал фотографировать ее в 1917 году. За первый год им было сделано более 200 снимков обнаженной натуры. Штиглиц создавал ПОРТРЕТ О'Кифф на протяжении долгих лет. У этой работы была своя внутренняя эволюция. Как бы изучая топографию наготы, он фотографировал отдельные части ее тела, сильно их увеличивал, как будто возводил в абсолют: мочку уха, изгиб шеи, голову, руки, живот. С течением лет художника все больше интересовал целостный образ женщины, ее душевное состояние.

Параллельно эволюционирует и творчество самой художницы. Ее первые почти абстрактные акварели, носившие сильный отпечаток последних европейских веяний, постепенно переросли в самобытные масляные холсты большого формата, на которых чаще всего можно было увидеть гигантские лепестки цветов, их увеличенные «тела» и «лики». О'Кифф использовала в своей живописи последние достижения фотографии. Благодаря этому ее картины находились на грани абстракции, реальности и сюрреализма.



Джорджия О'Кифф, 1918

Цветы были для О'Кифф основной темой и визитной карточкой ее творчества. Вторя Штиглицу, она создает ПОРТРЕТЫ цветов, пристально вглядываясь в их строение, идя от частного к общему.

«Живые цветы сравнительно малы. При этом каждый человек имеет свое представление о цветах. Однако в определенном смысле никто не всматривается в цветы. У людей нет времени разглядывать маленькие цветочки. А для подробного разглядывания нужно время — так же как и для дружбы нужно время. Поэтому я решила рисовать то, что я вижу, что цветы значат для меня. Но мне приходится рисовать их большими, чтобы на мои цветы обратили внимание даже занятые ньюйоркцы...» — писала О'Кифф в каталоге одной из многочисленных ее выставок. Только за 14 лет, с 1918-го по 1932-й, ею было создано более 200 картин с изображением цветов. Любимыми цветами О'Кифф были розы, маки, камелии, петунии, подсолнечники, но больше всего ее привлекали экзотические орхидеи, ирисы и каллы.

В 1924 году состоялась первая совместная выставка Штиглица и О'Кифф, на ней были представлены пятьдесят одна картина О'Кифф и шестьдесят один фотопортрет художницы.

Выставка вызвала шумный скандал и ажиотаж в прессе, публика была шокирована столь откровенной эротикой. Пуританский Нью-Йорк воспринимал обнаженную фотонатуру лишь тогда, когда она стыдливо маскировалась античными атрибутами. Сама натурщица должна была оставаться безымянной. Штиглиц и О'Кифф не соблюли этих правил приличия. Скандал усугублялся еще и тем, что Штиглиц был женат и в финансовом отношении зависел от жены. Дело кончилось в том же 1924 году разводом Штиглица и его свадьбой с О'Кифф, которая была на двадцать четыре года моложе.

Почти полвека спустя на ретроспективной выставке О'Кифф в Метрополитен-музее она вспоминала о том, как Штиглиц работал: «Он всегда фотографировал полный энергии и страсти. Для съемки он использовал стеклянные негативы, которые требуют выдержки в 3-4 минуты. Мне приходилось сохранять абсолютную неподвижность. Это ужасное мучение, когда нельзя моргнуть, поморщиться или поежиться... Руки тяжелеют, наливаются свинцом. Я часто портила съемку, потому что не могла удержаться от того, чтобы не пошевелиться. И каждый раз Штиглиц устраивал жуткий скандал». Тем не менее в архивах сохранилось более пяти тысяч фотопортретов О'Кифф, тысяча из которых признана шедеврами.

Совместная жизнь Джорджии О'Кифф и Альфреда Штиглица, протекавшая в постоянном соперничестве и противоборстве двух художников, оказалась короткой. Однако, несмотря на это, они оставались друзьями и продолжали общаться до самого конца.

После смерти Штиглица в 1946 году О'Кифф переезжает в уединенный дом в пустыне Нью-Мексико. Красоты пустыни давно привлекали ее, там она и прожила последние сорок лет жизни. Пустынные ландшафты и изображения глинобитной хижины, где она поселилась, становятся основным сюжетом ее картин. В конце 40-х годов возникает цикл работ с останками животных на фоне бескрайних монохромных сюрреалистических пейзажей.

Джорджия О'Кифф получила прижизненное признание не только в Америке, но и далеко за ее пределами. О ней было снято несколько документальных фильмов и написан ряд значительных монографий. Так случилось, что ПОРТРЕТ художницы, начатый Штиглицем, был продолжен и жизнь О'Кифф оказалась запечатлена подробнейшим образом.

Джорджия О'Кифф всего лишь немного не дожила до своего столетнего юбилея, который был отмечен грандиозной ретроспективной выставкой, состоявшейся в вашингтонской Национальной галерее искусств в 1987 году.

О. ХЛЕБНИКОВА

■

У книжной витрины

МОРИС ДЖИ

История преступления

M a u r i c e G e e. Crime Story. «Faber»

Хотя Новая Зеландия успешно решила многие проблемы, социальное неравенство остается главной болевой точкой этого небольшого островного государства. Именно это неравенство — и его последствия — служат причиной и фоном для событий в новом романе одного из ведущих новозеландских прозаиков Мориса Джи.

Столкновение богатых и бедных обретает вполне конкретные формы во время нападения неуравновешенного, ожесточившегося Брента Россера на дом состоятельного столичного дельца Атола Пита. Ограблению помешала внезапно вернувшаяся жена хозяина, Улла. Напавший на Уллу Брент калечит ее, в результате чего Уллу парализует. Гвен Пит, свекровь Уллы, тяжело переживает это несчастье, к которому добавляются злоключения прочих членов семьи — прохвоста Атола и его брата Гордона, глупого и жадного неудачника, оказавшегося под судом за мошенничество.

Автор сосредоточен не на иллюстрации идей, а на характерах, каждый из которых воплощает конкретную болезнь современного общества: социально опасный тип, религиозный фанатик, продажный бизнесмен, выпавший из жизни эмигрант, разочарованная мать. Роман показывает, как социальное неравенство толкает людей на путь преступности — почти все персонажи являются одновременно и преступниками, и жертвами.

ДЖОН ИРВИНГ

Сын цирка

J o h n I r v i n g. A Son of the Circus. «Bloomsbury»

Новый роман американского писателя Джона Ирвинга, как и многие его предыдущие книги, стал бестселлером и событием на последней Франкфуртской книжной ярмарке.

Главный герой, доктор Фаррух Дарувалла, родился в Бомбее, учился в Вене и почти всю сознательную жизнь провел в Торонто, однако Канада так и не стала для него родиной. Но и в Бомбее, куда он постоянно наведывается и где подолгу живет, доктор чувствует себя чужим. Здесь он бесплатно оперирует детей-калек (Дарувалла — хирург-ортопед). Попутно доктор занимается генетикой — это его увлечение — в надежде обнаружить ген, из-за которого на свет появляются карлики. В Индии большинство цирковых клоунов — карлики; у них доктор берет кровь на анализ и попутно помогает своему приятелю, бывшему клоуну, спасать собратьев от нищеты.

Есть у доктора и еще одно увлечение — кино. Много лет он пишет сценарии для индийских фильмов с участием популярного персонажа — инспектора Дара. Это любимое детище доктора, а в роли инспектора снимается его воспитанник. Много лет исполняя эту роль, он почти слился со своим героем. Инспектор Дар и его исполнитель вызывают у публики разные чувства — от восхищения до ненависти. После выхода очередной серии о преступнике-маньяке в Дели совершается серия убийств, прямо связанных с фильмом, а инспектор Дар начинает получать анонимные письма с угрозами. Еще больше усложняет ситуацию появление в Дели Мартина, брата-близнеца инспектора Дара: разлученные при рождении, они даже не подозревали о существовании друг друга; следует череда традиционных недоразумений с двойняшками...

ДАЧА МАРАИНИ

Голоса

D a c i a M a r a i n i. Voci. «Rizzoli»

Дача Мараини весьма популярна в Италии: каждая ее новая книга подолгу держится в списках бестселлеров. Не стал исключением и роман «Голоса», в котором писательница впервые обратилась к жанру психологического детектива.

Как и положено, здесь есть преступление, его жертва, круг подозреваемых и следователь. Молодая красивая Анджела Бари найдена зверски убитой в своей квартире. Ее соседка, радиожурналистка Микела Канова, подключается к расследованию: Микела имеет дело с голосами людей, и она начинает записывать на диктофон тех, кто знал убитую. Постепенно складывается фонотека с прямо противоположными рассказами о жизни Анджелы и не менее противоречивыми свидетельствами, где каждый выгораживает себя.

Проститутка Сабрина утверждает, что Анджела тоже торговала собой и пользовалась вниманием молодого покровителя Нандо. Сам Нандо не отрицает, что был влюблен в Анджелу, но отвергает свое участие в убийстве (что затем подтверждается и полицией). Микела встречается также с легкомысленным любовником Анджелы, приезжающим из Генуи. Еще более запутывает следствие рассказ сестры Анджелы, Людовики: больное воображение

рисует ей жуткие картины (избиения, инцест, аборт, психиатрическая клиника), где на ее месте оказывается сестра. Людовика обвиняет их отчима; на встрече с Микелой тот все отрицает, однако затем присылает кассету с признанием, что в роковую ночь он был у Анджелы, но не убивал ее. Наконец Нандо передает журналистке кассету с записью голоса самой Анджелы: подозрение опять падает на отчима, но нет ли в этом просто мести униженной падчерицы?

ЭНРИКО ПАЛАНДРИ

Обратный путь

Enrico Palandri. La via del ritorno. «Bompiani»

Мне ранит сердце песнь щегла,
Терновый куст мне колет грудь.
Мне все твердит, что жизнь прошла,
Что дней минувших не вернуть...

Строки из «Вольного Дуна» Р.Бернса, как грустный куплет из шотландской баллады, пронизывают внутренний монолог героя Э.Паландри, итальянца, ненадолго вернувшегося на родину после нескольких лет пребывания в Англии. Путешествие из Лондона в Рим - это и путешествие героя во времени, попытка связать оборванную нить прежней и настоящей жизни, восполнить утерянную цельность мироощущений, исчерпать мучительную пустоту бытия.

Перед мысленным взором рассказчика возникают картины его детства, лица ушедших друзей и матери, чудом уцелевшей в аду Треблинки. Именно через воспоминания пролегает обратный путь героя к обретению себя. Но возвращение к себе — овеянное новой нежностью, побеждающей пустоту, — произойдет уже не в лоне родной Италии, а среди новых друзей, на берегах туманного Альбиона.

НАТАЛИ САРРОТ

Здесь

Natalie Sarraute. Ici. «Gallimard»

Открытием книжного осеннего сезона года во Франции стала книга девяностопятилетней прародительницы «нового романа» Натали Саррот. Казалось, в 1989 году романом «Ты себя не любишь» она закончила литературную деятельность, но вот еще один роман, про который сама писательница предпочитает ничего не говорить, полагая, что все сказано в нем самом.

Двадцать глав объединяет одно: наши мысли, обозначенные словами. Когда мы думаем, никогда не пользуемся местоимениями «я» или «мы» — писательница заменила их словом «здесь», обозначив им пространство внутри каждого из нас. Оно никогда не пустует. Правда, порой заполняющие его слова ускользают, и мы начинаем их мучительно искать, припоминая буквы, слоги, из которых складывается имя художника, или название растения, или целая история. Забытое слово в свою очередь напоминает о других именах, понятиях, ощущениях... Пересказать сюжет невозможно. Книга о том, как часто ставят нас в тупик самые простые вопросы. Как трудно бывает избежать банальностей в разговоре. Знаем ли мы значение слов «несчастье», «добро», «зло»? Умеем ли мы вообще говорить? Кстати, некоторые рецензенты вторят автору: «Об этом романе сложно что-то сказать, его надо прочесть».

МАРИО СОЛЬДАТИ

Вечера

Mario Soldati. Le sere. «Rizzoli»

Новый бестселлер старейшего (он родился в 1906 году) итальянского прозаика еще более укрепляет мнение соотечественников о нем как о мастере слова. «Вечера» — это неторопливый рассказ много пожившего, много испытавшего и повидавшего человека. Истории, путешествия, портреты знакомых и друзей, воспоминания, признания — все есть в этой разножанровой книге, лишенной, в отличие от многих других, самолюбования.

Марио Сольдати не просто умелый рассказчик, он не просто увлекает читателя — он его завораживает, подобно тому как фокусник завораживает зрителей. Тонкий и пытливый наблюдатель, он находит гармонию и элегантность в обычном — например, в вечерней нью-йоркской площади. Он умело использует свой почти алхимический дар превращать привычное в тайну, легенду, красочный пейзаж.

Особым чувством проникнуты страницы, посвященные многочисленным и неизменно дорогим друзьям. Джорджо Бассани, Нино Рота, Джованни Комиссо, Тино Рикельми, Грэм Грин — портрет каждого деятеля культуры занимает почетное место в литературной галерее М.Сольдати, и для каждого из них автор находит неповторимые слова. Общение с разными людьми — будь то композитор Биксио, который лично для М.Сольдати впервые исполняет знаменитую «Мариу», ученый Фердинандо Нери или политик Амендола — всегда обогащало писателя, и теперь он делится этим богатством с читателями.

■

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

ДИДЬЕ ВАН КОВЕЛЕР (DIDIER VAN CAUWELAERT; род. в 1960 г. в Ницце) — французский писатель, критик, сценарист. Автор романов «Двадцать лет и еще немного» («Vingt ans et des poussières», 1982; премия Дель Дука), «Рыбка любви» («Poisson d'amour», 1984; премия Роже-Нимье), «Каникулы призрака» («Les vacances du fantôme», 1986; книжная премия Гутенберга, 1987), «Горький апельсин» («L'orange amère», 1988) и др., пьесы «Астроном» («L'Astronome», 1983; премия «Театр», присуждаемая Французской академией).
Роман «Путь в один конец» («Un simple aller». Paris, Éditions Albin Michel S.A.) удостоен Гонкуровской премии за 1994 год.

НИНА КАССИАН (NINA CASSIAN; род. в 1924 г. в г. Галац на Дунае) — румынская писательница, лауреат нескольких национальных премий. Окончила театральную студию и музыкальную школу. Пианистка, композитор. Дебютировала в 1945 году стихами и переводами. Автор многих сборников стихов, среди них «Лестница» («Scara», 1947), «Наша душа» («Sufletul nostru», 1949), «Молодость» («Tinereţea», 1953); наиболее известны «Ambitus» (1968), «Реквием» («Requiem», 1971), «Для сострадания» («De îndurare», 1981), «Обратный счет» («Numărătoarea inversă», 1983). Переводила на румынский язык стихи П.Целана, Б.Брехта, Г.Аполлинера, В.Маяковского.
В последние годы правления Чаушеску вынуждена была эмигрировать в США, где и живет в настоящее время.
Публикуемые стихи взяты из двуязычного (англо-румынского) сборника «Овации на похоронах», вышедшего в Англии в 1992 году («Cheerleader for a Funeral». Poems. London, Forest Books). Часть стихотворений получена редакцией в рукописи.

ТИБОР ДЕРИ (DÉRY TIBOR; 1894 — 1977) — венгерский писатель, лауреат премий имени Лайоша Кошута и Аттилы Йожефа. Автор романов «Неоконченная фраза» («A befejezetlen mondat», v.I—III, 1947), «Ответ» («Felelet», v.I—2; 1950—1952), «Приговора нет» («Itélet nincs», 1969), «Г-н А.Г. в стране Икс» («G.A. úr X-ben», 1964), повестей «Ники» («Niki», 1955), «Милый бó-пэр!..» («Kedves bopeer!..»; «ИЛ», 1979, № 7), «Воображаемый репортаж с американского поп-фестиваля» («Képzelt riport egy amerikai popfestiválról», 1971), сборников новелл «Игры в преисподней» («Alvilági játèkok», 1946), «Любовь» («Szerelem», 1963), «Теокрит в Уйпеште» («Theokritosz Újpesten», 1967), книги эссе «Наслоения дней» («Napok hordaléka»; фрагменты из нее публиковались в «ИЛ», 1983, № 9) и др.
По новеллам Тибора Дери «За кирпичной стеной», «Любовь» и «Две женщины» сняты фильмы, обошедшие экраны многих стран мира.
Новелла «Две женщины» взята из сборника «Теокрит в Уйпеште» («Theokritosz Újpesten», Budapest, Szépirodalmi kőnyvkiadó, 1967); письма — из сборника «Книга писем» (Leveles kőnyv», Budapest, TÉKA); статья Пала Реза — из журнала «The Hungarian Quarterly», Budapest, весна 1993).

УИЛЬЯМ ГОЛДИНГ (WILLIAM GOLDING; 1911 — 1993) — английский писатель, лауреат Нобелевской премии (1983). Автор романов «Повелитель мух» («Lord of the Flies»; 1954, рус.пер. 1969), «Наследники» («The Inheritors», 1955; рус.пер. 1981), «Утрата свободы» («Free Fall», 1959), «Шпиль» («The Spire», 1964; перевод напечатан в «ИЛ», 1968, № 10), «Зримая тьма» («Darkness Visible», 1979), «Верительная грамота» («Rites of Passage», 1980, премия «Букер», 1980), повести «Скупец Мартин» («Pincher Martin», 1956) и др.произведений.
Роман «Пирамида» был издан в Англии в 1967 году («The Pyramid». London, Faber and Faber).

ЗВЕРЕВ АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ (род. в 1939 г.) — литературовед, критик, доктор филологических наук. Автор книг «Джек Лондон» (1975), «Модернизм в литературе США» (1979), «Американский роман 20—30-х годов» (1982). «Грустный, солнечный мир Сарояна» (1982), «Мир Марка Твена» (1985), «Дворец на острие иглы» (1989) и многих статей в периодических изданиях, в том числе в «Иностранной литературе».

ТОМАС Р.ПИНЧОН (THOMAS R.PYNCHON; род. в 1937 г. в штате Нью-Йорк) — американский писатель. Первый роман Т.Пинчона «V», вышедший в 1963 году, был отмечен премией Фолкнера за лучший литературный дебют. Перу Т.Пинчона принадлежат романы «Выкрикивается сорок девятый лот» («The Crying of Lot 49», 1966; премия Розенталя), «Радуга земного притяжения» («Gravity's Rainbow», 1973; Национальная книжная премия), «Вайнленд» («Vineland», 1990), сборник ранних рассказов «Учась потихоньку» («Slow Learner», Early Stories, 1984).

Публикуемый рассказ «Энтропия» («Entropy») впервые был напечатан в журнале «Kenyon Review», 1960.
Эссе «К Тебе тянусь, о Диван мой, к Тебе...» («Nearer, My Couch, To Thee...») взято из журнала «New York Review of Books», 1993).

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ (род. в 1966 г.) — критик, культуролог, переводчик с английского; автор работ, посвященных творчеству И.Бродского, В.Аксенова, Дж.Оруэлла, М.Кундеры, Т.Пинчона, проблемам кино. Помимо «ИЛ» печатался в журналах «Знамя», «Искусство кино», «Киноведческие записки» и др.

■Переводчики:

КУДРЯВИЦКИЙ АНАТОЛИЙ ИСАЕВИЧ (род. в 1954 г.) — поэт, прозаик, переводчик с английского. Автор четырех книг стихов, в том числе «Звезды и звуки», «В белом огне ожиданья» и др. В его переводах изданы романы «Джослин» Дж.Голсуорси, «История куклы-непоседы» Э.Гарднера, «Вилла на холме» и цикл рассказов «Эшенден» С.Моэма («ИЛ», 1992, № 7), рассказы Конан Дойла, С.Ликока, Г.Честертона («ИЛ», 1992, № 11,12), стихи Энрайта («ИЛ», 1992, № 7), Д.Моррисона («ИЛ», 1993, № 4), Р.Олдингтона («ИЛ», 1995, № 9) и др.

МАВЛЕВИЧ НАТАЛИЯ САМОЙЛОВНА — переводчик с французского. В ее переводе публиковались «Сказки кота Мурлыки» М.Эме, «Портреты-воспоминания» Ж.Кокто (Библиотека «ИЛ», 1985); в «ИЛ» печатались также «Песни Мальдорора» Лотреамона (1993, № 1), романы «Перелом» А.Сарразен (1993, № 10,11), «Голубчик» Э.Ажара (1995, № 7), рассказы Б.Виана и др.

ЗИНГЕР ГЕОРГИЙ РУБИНОВИЧ (род. в 1947 г.) — переводчик с французского, автор работ по истории французской драматургии и театра XVII—XIX вв., в том числе монографии «Рашель» в серии «Жизнь в искусстве» (М., «Искусство», 1980).

КОВАЛЬДЖИ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1930 г.) — поэт, прозаик, критик, переводчик с румынского и молдавского языков. Его первый сборник стихов «Испытание» вышел в 1955 г., затем последовал ряд поэтических сборников, повесть «Пять точек на карте», роман «Лиманские истории», рассказы. Произведения К.Ковальджи переведены на многие европейские языки.

МАЛЫХИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА — литературовед, переводчик с венгерского, автор многих статей к изданиям произведений венгерских писателей на русском языке. В ее переводе изданы: роман «Ответ», повести «Исполин», «Ники», «Милый бо́-пэр!..» («ИЛ», 1979, № 7) Тибора Дери; а также романы «Траур» Ласло Немета, «Шандор Петёфи» Дюлы Ийеша, «Загадка Прометея» Лайоша Мештерхази («ИЛ», 1976, № 4,5), повести «Старый доктор» Дюлы Фекета («ИЛ», 1965, № 9), «20 часов» Ференца Шанты и др.

Е.СУРИЦ (Богатырева Елена Александровна) — переводчик с английского, французского, немецкого и скандинавских языков. В ее переводах издавались романы «Доводы рассудка» Дж.Остин, «Повелитель мух» У.Голдинга, «Консервный ряд» Дж.Стейнбека, «Я в замке король» С.Хилл («ИЛ», 1978, № 1,2), «Миссис Дэллоуэй» В.Вулф («ИЛ», 1984, № 4), «Орландо» В.Вулф («ИЛ», 1994, № 11), «Лови момент» С.Беллоу, «Пан» К.Гамсуна, «Записки Мальте Лауридса Бригге» Р.М. Рильке (Библиотека «ИЛ», 1988), драмы А.Стриндберга, пьесы Э.Ионеско, С.Беккета, сценарии И.Бергмана и др. Лауреат премии «Инолит» (1994).

ЛИВЕРГАНТ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ (род в 1947 г.) — литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения. В его переводах издавались романы «Черная беда» И.Во («ИЛ», 1991, № 6), «Высокое окно» и «Вечный сон» Р.Чандлера, «Красная жатва» Д.Хэммета, «Пасынки судьбы» У.Тревора, «Улики» Дж.Бэнвилла («ИЛ», 1995, № 2), «Жертвы» Ю.Маккейба («ИЛ», 1995, № 2), рассказы Д.Кольера, Г.Миллера, Дж.Тэрбера [illegible] статьи и очерки [illegible] тертона и др.

“МИР ЗНАНИЙ” - ГОРОДУ И МИРУ
“ВЕЛИКИЕ КНИГИ” - ИСТИННЫМ КНИГОЛЮБАМ

“GREAT BOOKS OF THE WESTERN WORLD”

60 томов, 517 произведений 130 авторов

“Великие книги западной цивилизации” - это собрание произведений, оказавших наибольшее влияние на развитие цивилизации за последние 2 500 лет. Наряду с выдающимися произведениями художественной литературы - от Гомера до Оруэлла, в собрание вошли сочинения видных историков, политиков и экономистов - от Геродота до Кейнса, трактаты знаменитых философов и теологов - от Платона до Ролана Барта, труды великих естествоиспытателей - от Архимеда до Нильса Бора.

Объединяет это собрание книг, превращая его в настоящую “энциклопедию идей”, уникальный двухтомный тематический указатель - **“Синтопикон”**.

“Синтопикон” - это ключ к сокровищнице “Великих книг”. В нем приведены 3 020 идей, оказавших наибольшее влияние на развитие человечества, с точным указанием на то, в каком томе, у какого автора и на какой странице собрания “Великих книг” та или иная идея обсуждается. “Власть толпы”, “Божественное и земное”, “Интерпретация сновидений”, “Цикличность истории”, “Супружеская неверность”, “Расширение Вселенной” - это лишь некоторые из них. К примеру, если Вас интересует развитие идеи “свободной торговли”, то, раскрыв “Синтопикон”, Вы найдете статью, рассказывающую об эволюции этой идеи на протяжении веков, и список произведений, авторы которых ее обсуждают - от Геродота и Гегеля до Маркса и Вебера. Если Вы хотите читать по-русски, возьмите отечественное издание соответствующего произведения - почти все книги этого собрания переведены на русский язык.

“GREAT BOOKS OF THE WESTERN WORLD” -
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К “БРИТАНСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ”.

“БРИТАННИКА” - ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ФАКТОВ,
“GREAT BOOKS” - ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ИДЕЙ.

АОЗТ “Мир Знаний”

Тел.: (095) 962 0735, 962 0779, 161 0775; факс: (095) 962 0197, 161 06 75 - в Москве;
Тел./факс: (812) 352 3016 - в Санкт-Петербурге;
Тел.: (8462) 356 821, 358 608 - в Самаре.
Почтовый адрес: Россия, 107392, Москва, а/я 14. E-mail: mir@znanija.msk.su